

МИЛИЙ ЕЗЕРСКИЙ

ГРАКХИ



ВЛАСТЬ И НАРОД. TETRALOGIA ROMANA DE BELLI CIVILIBUS.

Научный редактор доктор исторических наук, профессор Немировский Александр Иосифович.

Художник Алексей Томилин

ТРАГЕДИЯ РИМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

*Перетирается снова в гражданской войне поколенья, Рушится Рим своими же силами...
Рим, что сумел покорить синеокое войско германцев И Ганнибала, страх вызывавшего.
Ныне ты жертва проклятья убитого Ромулом Рема, Кровь в тебе вопиет братская...*

Так воспринимал гражданские войны поэт Гораций (сам с оружием в руках защищавший римскую республику), видя в них следствие проклятья, обрушившегося на потомков братоубийцы Ромула. Римский историк Флор осмысливал гражданские войны на манер Эсхила и Софокла, как трагедию, ниспосланную завистливой судьбой, не прощавшей никому чрезмерного могущества: «Причина столь великого бедствия обычная — переизбыток счастья... судьба, завидуя народу-владыке, вооружила его на собственную погибель. Исступление Мария и Цинны было как бы пробой сил. Шире, но еще в пределах Италии, прогремела сулланская буря. Но ярость Помпея и Цезаря охватила Рим и Италию, все племена и народы, подобно наводнению и пожару, так что неверно было бы говорить о гражданской войне. Это и не союзническая война, и не внешняя, — это более, чем их сочетание, и более, чем война».

Сколь ни наивным было определение причин гражданских войн, погубивших римскую республику, древний историк точно определил их как трагедию в нескольких актах, каждый из которых характеризуется расширением географического ареала, увеличением количества втянутых в катастрофу действующих исторических персонажей и жертв. При этом прологом к гражданским войнам все же было не «исступление Мария и Цинны», а выступление братьев Гракхов, хотя в их время еще убивали друг друга не мечами, а камнями и палками.

Каждый из четырех этапов гражданских войн в Риме представлен в художественной литературе на многих языках повестями и романами — о Гракхах, Аристонике, Эвне, Марии и Сулле, Митридате, Спартаке, Катилине, Крассе, Цицероне, Антонии и Клеопатре. Но тот, кто пожелает получить представление обо всем столетнем периоде гражданских войн в Риме в зримых, образах, должен будет обратиться к сериалу М. Езерского.

Милий Викентьевич Езерский, родившийся в 1891 году в древнем русском городе Изяславле, на восточной границе Волынской земли, принадлежал к тому первому поколению советских писателей, которые начали печататься сразу же после гражданской войны 1918–1921 года и прошли через ее бедствия. Сначала были рассказы, публиковавшиеся в журналах «Красная новь» и «Земля Советская», повести и романы, посвященные народам русского Севера — поморам, ненцам, коми и пермякам: «Полунощь» (1928), «Самоядь» (1928), «Чудь белоглазая» (1929), «Душа Ямала» (1930), «Золотая баба» (1931). Писателя привлекли не только своеобразная природа Севера и быт этих северных народов, но и страдания, которые им пришлось пережить в годы гражданской войны и сразу после нее.

Далее следовал пятилетний промежуток, потребовавшийся для перехода от «страны гипербореев» к античному, средиземноморскому Югу. Этого времени было бы недостаточно, если бы не классическая языковая школа, которую писатель прошел в гимназии, не его начитанность в античных авторах и его постоянный интерес к культуре и быту античного мира.

Милий Езерский дал циклу своих романов о гражданских войнах в Риме («Гракхи», «Марий и Сулла», «Триумвиры», «Конец республики») меткое название «Власть и народ», отражающее главные проблемы и болевые точки эпохи.

Смысл общественного конфликта, лежащего в основе гражданских войн Римской республики, в том, что «народ», к которому на первом витке гражданских войн правители вынуждены были прислушиваться, поскольку, не имея реальной власти, он все же обладал правом выбора своих властителей на народных собраниях, постепенно утрачивает какое-либо политическое влияние и отдает свои голоса тем, кто больше за них дает, и тем самым превращается в паразитическую чернь, от имени которой выступают прожженные политики и демагоги, преследующие собственные экономические выгоды и интересы.

При всех своих недостатках романы Езерского — отрадное явление. М. Езерский не превратил историю гражданских войн в Риме ни в пропагандистское, ни в бульварное чтиво. Автор воссоздает

духовную обстановку Рима, трагический накал событий, ход военных действий, быт и нравы римского общества времени деградации семьи и ее патриархальных устоев, и читатель может получить по романам достаточно полное представление о том, каким было Средиземноморье две с лишним тысячи лет назад, как одевались, что ели и пили и даже как любили древние греки и римляне.

М. Езерский умело воссоздает атмосферу гражданских войн или «гражданского безумия», как их назвал один древний автор, — эпохи, когда было уничтожено само понятие гражданственности, бывшее когда-то моральной основой римского города-государства. Рисуя массовые убийства, попеременно сменявшиеся изоцрненной системой уничтожения противников по заранее составленным спискам, писатель развертывает картину римского общества с процветанием низменных пороков и безудержным разгулом не менее низменных страстей. Здесь М. Езерскому не приходилось чего-либо домысливать или сгущать краски. Он просто следовал за источниками, в то же время их не пересказывая. Внутренняя мотивация поступков принадлежит ему, и то, как себя поведет исторический персонаж в той или иной ситуации, выглядит как закономерное развитие черт его характера, — и в этом одно из главных достоинств романов М. Езерского.

Перед автором такой исторической эпопеи, какой является тетралогия «Власть и народ», вставала задача введения читателя в пестрый мир каждодневной жизни быта и простых жизненных проявлений, нравов, предрассудков, правовых и культурных традиций не только греков и римлян II–I вв. до н. э., но и других средиземноморских и европейских народов этого времени, ибо действие романов развертывается в Галлии и в Египте, Северной Африке и Малой Азии. К выполнению этой задачи М. Езерский подошел с полным пониманием ее серьезности и проявил глубокую эрудицию.

Тетралогией М. Езерского, как я помню по своему опыту, зачитывалось предвоенное студенчество. Но критика ее отвергла. В единственной рецензии, написанной прекрасным знатоком древних языков Б. В. Казанским, романам была дана резко негативная оценка лишь на основании погрешностей в написании и понимании древних терминов¹. Возможно, о романе отозвался бы кто-нибудь еще, но шел 1941 год, а после войны возвращаться к «старой литературе» никто не думал. Так получилось, что среди имен зачинателей исторического жанра в нашей стране не оказалось имени М. Езерского.

Чтение романов М. Езерского даст много и тем, кто знает о древнем мире не понаслышке, ибо художественный ракурс всегда открывает что-нибудь новое и неожиданное. Для большинства же читателей вступление в этот мир по следам писателя будет далеко не легким. Наверняка будут жалобы на загромождение произведений иностранными словами. А между тем замена этих слов русскими словами (или вошедшими в русский язык словами новых языков) может привести к курьезам и, в лучшем случае, к неточности. Чтобы было ясно, о чем идет речь, приведем несколько примеров. Русские переводчики XVIII и начала XIX вв., будучи строгими противниками засорения родного языка иностранщиной, встречая в латинских текстах слово «ростры», переводили его как «лобное место», видимо, исходя из того, что ростры занимали на римском форуме то же центральное место, что и лобное место на Красной площади, и с него обращались к народу. Однако «ростры» элемент демократии, с ним связывались политические споры, с лобного же места объявляли волю царей, на них или возле них рубили головы. Поэтому «ростры» стали переводить французским словом латинского происхождения — трибуна, ораторская трибуна. Но это слово не передает внешнего вида римских «трибун» — ведь они получили свое название по укрепленным на возвышении для ораторов носам кораблей, рострам, трофеям римских побед. Так, в конце концов, слово «ростры» вошло в словарь русского языка с множеством других латинских слов: «гладиаторы» (не предлагавшиеся «мечники»), «патриции» (не «вельможи»), «цирк» (не «игральный круг»), «колонии» (не «селения»), «педагог» (не «дядька»), «наварх» (не «адмирал»), «портики» (не «переходы»), «проскрипция» (не «ссылка»), «понтифики» (не «волхвы»), «куруя» (не «ратуша») и др.

Таким образом, мы не вправе винить писателя в нагромождении иностранных терминов, а если кому-нибудь эти слова трудны для понимания, то это дефект образования, не только личного, но и

¹ Казанский Б. В. Власть и народ. Литературное обозрение, 1941, № 8 (ошибки, замеченные рецензентом и нами, в этом издании устранены.)

общественного. С уничтожением классического образования в школах, при том ничтожном минимуме знаний по древней истории, который дается школьникам пятого класса, студент, не говоря уже о других категориях читателей, открывая роман М. Езерского, попадает в темный лес.

Но, если это так, мы должны быть благодарны М. Езерскому за то, что он дает возможность тем, кто относится к чтению исторических романов не только как к времяпровождению, расширить культурный и исторический кругозор.

В древности много рассуждали о пользе написания исторических трудов и пришли к выводу, что знание истории помогает последующим поколениям избежать ошибок, допущенных предшественниками. Но опыт показывает, что каждое человеческое поколение начинает с нуля и, согласно древней поговорке, каждый раз спотыкается о тот же камень. Зачем же тогда историческое знание, если нам остается при взгляде на течение исторических событий повторять вслед за героем Лессинга Натаном Мудрым: «Все это уже было»?

Однако знание истории все же имеет смысл, ибо где его нет, господствуют мифы. Мифы нового времени о древних культурах очень устойчивы и далеко не безвредны. С именем «Афины» ходячий миф связывает демократию и свободу, с именем «Рим» — порядок и законность, едва ли не правовое государство. Но кто, как не Афины в лице великого мыслителя Платона сформулировали теорию тоталитарного государства! А что такое римская законность, мы можем судить по романам М. Езерского.

Мы начали наше предисловие со стихов Горация. Уместно будет привести другие его строки из того же стихотворения о гражданских войнах, снабдив их кратким комментарием:

*Решения лучшего нет, чем то, что приняли фокейцы,
Город покинув, богами проклятый...
Все, в ком доблесть жива, не слушая женских стенаний,
Плывите мимо берегов Этрурии...
Манит нас всех Океан, омывающий мир населенный,
Отыщем острова Блаженные...²*

Острова Блаженных, равно, как помещенная с ними рядом платоновская Атлантида, которую и поныне отыскивают дилетанты в истории — древний миф древности, предлагающий несуществующий выход в безвыходном положении. Золотой век на заре человеческой истории, постулированный многими мыслителями от Гесиода до Руссо, такой же социальный миф, но экологическая реальность. Тоталитарное государство будущего, сконструированное Платоном, к сожалению, не миф.

Доктор исторических наук НЕМИРОВСКИЙ А. И.

Пролог

Третья Пуническая война кончилась полным разгромом неприятеля. На месте разрушенного Карфагена плуг римского жреца взрыл последнюю борозду, и тотчас же вспаханную землю засеяли солью и предали вечному проклятью.

Римские легионы, выстроившись, не сводили глаз с огромного пустыря, где совсем недавно шумел богатый торговый город, грозный соперник Рима, краса финикийских гаваней.

Победоносный полководец Публий Корнелий Сципион Эмилиан Младший, окруженный сподвижниками, выехал верхом на середину поля и произнес речь, поздравляя воинов с окончанием Ливийского похода. Он объявил, что легионеры, вернувшись в Италию, получают заслуженный отдых и награду, и, повернув коня, отъехал к преторию. Легионы прокричали громогласным хором благодарность вождю и сенату и стали расходиться.

Знойное африканское небо казалось добела раскаленным, и жаркое, как полыхающая печь, солнце чудовищным глазом разъяренного киклопа висело над

² Перевод стихов и прозаических отрывков А. И. Немировского.

потрескавшейся землей и сухими песками, которые вздымал морской ветерок. Потные люди побежали в тень палаток и к морю, чтобы на ветру окунуться в соленую воду.

В одной из палаток сидели два старых легионера, тихо беседуя:

— Не радуется меня отдых, — говорил широкоплечий воин с темно-багровым лицом, исполосованным в боях, — приехали земляки из Арпина, говорят: «Жить тяжело, нобили разоряют пахарей, отбирают за долги земли...»

— Басни, Тит, басни!..

— Клянусь Марсом, земляки говорят, что в виллах работают только рабы, а свободнорожденных не берут. Куда же нам идти? В город? А что там делать? Ремеслом заняться? Эх, трудно отвыкнуть от земли! Молчишь, Марий?

— Теперь возделывать хлеб невыгодно. Разве не знаешь, что привозный — египетский и сицилийский — дешевле нашего? На виллах разводят виноград, сажают оливки: поняли, видно, что это — прибыльнее.

— Что же ты спорил? — удивился Тит.

— Нет, я не спорил. Я думал так: возвращусь на родину, — для себя буду сеять хлеб, а виноград и оливки пойдут на рынок.

Тит засмеялся:

— Эх ты, чудак! Вспомни, что говорил Маний: и ты, и я, и он, — все мы разорены, и нам теперь не подняться.

Марий прищурился:

— У Мания язык вертится, как спица в колесе.

— Он сказал, — продолжал Тит, — что твоя жена продает утварь.

Нахмурившись, Марий молчал. Не дождавшись ответа, Тит встал и вышел из палатки.

Земляки из Арпина, приплывшие в Африку, были их соседями, и Тит хотел расспросить подробнее о жизни разоряющихся земледельцев.

Их было человек восемь — все в заплатанных туниках, в грубой, самодельной обуви из воловьей шкуры, в накинутых на плечи плащах. Они полулежали в палатке, переругиваясь.

— Молчи, чтобы гром тебя поразил! — крикнул человек с бронзовым лицом и быстрыми черными глазами. — Слыхали?

— Голодны мы, с утра не ели, а ты — слышали! — ответил седой бородач со впалыми щеками.

— Опоздали в легион, понял? Воины поедут на отдых...

— На отдых? Ха-ха-ха... На какой отдых? Они разорены. Ни крова, ни пожитков. Слышишь, Маний? Видно, женам и дочерям идти в Субурру.

— Молчи, бородатый Тифон!

В это время в палатку вошел Тит, и спор прекратился.

— Садись, садись, — заторопился Маний, подстилая свой плащ. — Что один? А где Марий?

— Марий упрям. Он поверит, когда увидит.

— А мы спорили с Аэцием, — он свое да свое...

— О чем? — спросил Тит, повернувшись к Аэцию, которого уважал, как и все соседи, за помощь по хозяйству и за отливку разных вещей из бронзы и меди.

— Что, Камилл, — не ответив, обратился тот к младшему сыну, почти юноше, который сидел в стороне, — видно, в батраки нам идти...

— В батраки, батраки! — крикнул Маний. — А кто возьмет?

— Что же нам делать? — задумался Аэций.

— Требовать земли, — твердо сказал Тит, — пусть народные трибуны подумают о бедняках...

Марий лежал в глубине своей палатки, и сомнения не давали ему покоя: если земли больше нет, если жена все распродала то как жить дальше? Если бы республика помогла, он поправил бы свои дела и поборолся бы еще с нобилями.

На другой день легионы отплывали в Италию на карфагенских судах, захваченных победителями на римских триремах и квадриремах. Гребцы пели хвалебные гимны в честь Сципиона Эмилиана, величая его Африканским, превознося его подвиги, храбрость, честь.

Марий, Тит, Маний и Аэций, подпевая, смотрели на пустынные берега Африки, на спокойное море, солнечно-лазурное, на небеса, радующие глаза, и забывали о трудностях предстоящей жизни. А когда, после нескольких дней пути, они увидели зеленые берега Италии, леса и рощи, деревеньки и виллы, когда услышали медью звенящую римскую речь, они воздели руки к небесам и воскликнули:

— Хвала богам за счастливое возвращение к ларам! Пошлите нам, боги, мир и благополучие на родине!..

Все, что рассказывали земляки, оказалось правдою: разоренные земледельцы метались между виллами и городами в поисках работы, а нобили и всадники жили в довольстве и роскоши, которую не в силах были сдержать ни суровые законы римских магистратов, ни строгое наблюдение цензоров. Деревенская беднота шла в города, увеличивая огромное число плебса, приспособляясь к жизни ремесленников; количество землевладельцев падало, и республике неоткуда было вербовать на военную службу здоровых духом и телом воинов, подобных тем, которые столетиями стояли на страже Рима, воевали и расширяли его владения.

В полях работали рабы, закованные в кандалы, на виллах — тоже рабы и невольницы, и только на время полевых работ нанимались свободнорожденные, а те, что оставались на круглый год, были немногочисленны.

Фульциния, жена Мария, встретив мужа на пороге ветхого домика, расплакалась. Из-за спины его выглядывал крупный мальчик с хмурым лицом.

— Подойди, Марий, — сказал отец, обращаясь к сыну. — Дай на тебя посмотреть. Как ты вырос!

Они обнялись.

— Это не жизнь, — с внезапной злобой вымолвил мальчик. — Все кричат: «Когда же плебс соберется с силами?»

— Что ты говоришь? — засмеялся отец. — Сенат позаботится о нас...

Работая однажды с сыном в поле, он увидел Тита, пахавшего свою полосу.

— Боги и республика — за нас, — весело сказал Марий своему другу. — Увидишь, Тит, как заживем, увидишь!..

Тит недоверчиво покачал головою.

— Нам удалось взять поля в аренду, потому что мы — воины, — ответил он, — а Маний и Аэций ничего не добились: одному пришлось ехать в Рим, а другому — в Капую..

— А что они там будут делать?

— Что придется. Вот почему я не верю в помощь республики. Подумай: кто во главе ее? Нобили. Кому платим за землю? Нобилям. Кто разоряет нас? Они, они, все они! Понял теперь? Землю нужно завоевать...

Марий задумался. Речи Тита напомнили ему слова сына: «Когда же плебс соберется с силами?» Тогда сын недоговорил, но отец понял, что он хотел сказать.

Книга первая

I

В доме Сципиона Эмилиана вставали чуть свет: сперва подымались рабы, — бронзовый язычок медного колокольчика возвещал о наступавшем утре; через несколько минут слышался голос матроны, возгласы рабынь, властная речь хозяина. И дом оживал, наполнялся звоном посуды, топотом ног, шорохами.

Сципион сидел в табличне перед этрусским зеркалом, и молодой раб, грек из разрушенного Коринфа, старательно покрыв его щеки смесью сала и золы, взял со стола полукруглую бритву и принялся брить господина. Эмилиан видел отражение своего полного лица, румяного, как у юноши, без морщин, несмотря на преклонные годы, видел быстрые, живые глаза, виски, убеленные серебром старости, и думал, что ему уже под пятьдесят (так старый Хронос, владыка вечности, торопливо сгонял в кучу мгновения, часы, дни и месяцы, нагромождая годы), а республика как будто забыла о нем, предоставив его жизнь и досуги наукам, литературе, философии, спорам о политике в любимом кружке; там собираются умные, даровитые мужи, приятно проводят быстролетные часы, обсуждая Ксенофонта, Платона, Аристотеля, римских поэтов и писателей.

Он не заметил, когда раб выбрил ему щеки и подбородок; теперь брадобреей стоял перед ним с глиняной чашкой и грубым полотенцем.

— А, уже? — очнулся Сципион и принялся умываться, фыркая и разбрызгивая теплую воду.

Войдя в атриум, он подошел к жене, поднявшейся ему навстречу, и поцеловал ее в лоб. Она, зардевшись, как девочка, схватила его руку, чтобы поцеловать, но Сципион отдернул и спросил ровным голосом:

— Как спала, Семпрония?

Жена улыбнулась, кивнула в знак благодарности. На ее Щеках проступил бледно-розовый румянец. Лицо ее, усеянное круглыми, как зернышки, неглубокими ямочками после неизвестной болезни в детстве, было некрасиво.

Сципион прошел в таблин, раскрыл домашнюю книгу, в которую заносились все поступления, начиная с денег и кончая плодами, а также расход по дому, спросил о хозяйстве, справился о съестных припасах и сказал:

— Распорядись, чтобы рабы закупили, что нужно, в лавках Сульпиция и Герания по своей цене.

Когда Семпрония вышла, он сел у водоема. Занавеси, служившие обыкновенно днем для защиты атриума от солнца, были раздвинуты вверху, у отверстия в крыше, и бледное утро проникало в дом, дыша прохладою. Напротив, во всю боковую стену, выглядывало из-за колонн изображение пожара Трои: огненные змеи вздымают красные языки к черному небу, храмы и дома, объятые пламенем, рушатся, голые женщины и дети в ужасе мечутся на улицах, бросаются под ноги разъяренных лошадей, а на развалинах, залитых морем огня, идет страшный последний бой.

«Так же, как сгорела некогда Троя, разрушен мною Карфаген». Он вспомнил о своих слезах на пепелище сильного, богатого города и беседу с Полибием о гибели в будущем Рима:

«Будет некогда день и погибнет священная Троя,
С нею погибнет Приам и народ копьеносца Приама»³.

Семпрония вернулась, села рядом с мужем. Вслед за нею в атриум вошли рабы и невольницы. Они низко кланялись, приветствуя господина, а госпоже целовали руку. Так было заведено самим Сципионом: он не хотел подражать патрициям, рабы которых бросались к их ногам, целовали руки господина, человеческое отношение его к слугам было известно всему Риму.

Не успела удалиться Семпрония, а за нею рабы, как у входных дверей слышались голоса. Сципион знал, что это пришли клиенты с утренним приветствием, что они стоят перед дверью и смотрят который уже раз на надпись с добрым предзнаменованием: «Счастливо это место», — на имя господина, вырезанное на дереве, и на рисунок, изображающий Валетиду, богиню здоровья, сидящую у ног Юпитера. И он приказал впустить клиентов.

Черный эфиоп, сверкая желтоватыми белками глаз, распахнул двустворчатую дверь, открывшуюся внутрь, и в атриум ворвались голоса, утренний ветерок.

Клиенты входили медленно, с порога кланялись и, проходя мимо вставшего с лавки патрона, приветствовали его громкими выкриками:

— Привет господину!

Сципион был высокого роста, плечист и теперь, стоя среди атриума, казался выше клиентов на голову. Приветливо улыбаясь, он жал им руки, беседовал с ними: одного спрашивал о здоровье, другого — о родах жены, третьего — о женихе дочери, четвертого — о судебном решении по его делу; каждого клиента он знал по имени, помнил его службу и ценил, сообразуясь с тем, насколько тот был честен, полезен и предан ему.

— Скажи, Афраний, — обратился он к седому клиенту со слезящимися глазами и взлохмаченной бородою, — как твое дело с Назикою? Разбиралось уже?

— Нет, господин, все откладывается, — сказал старик и прибавил вполголоса: — Думаю, Назика подкупает судей. А что может сделать неполноправный человек? Ты знаешь, я лишен возможности владеть землею.

Это была тяжба со Сципионом Назикой из-за клочка земли, арендованной Афранием у Фульвия Флакка: жадный нобиль привлек к суду обоих, заявив, что участок по праву принадлежит ему, и ссылаясь на то обстоятельство, что земли, расположенные рядом, возделывались его рабами, и хотя этот клочок составлял общественную собственность, владеть которой все отказывались, в том числе и сам Назика, он заявил в суде, что передумал и решил взять землю, но Фульвий Флакк «похитил» ее из-под самого носа. Это был пустырь, заросший сорными травами, и никому не приходило в голову, а меньше всего Сципиону Назике, что, возделав эту землю, можно извлечь из нее пользу. Сам Афраний, как клиент, не мог тягаться в суде с сильным оптиматом и надеялся на помощь патрона.

— Не беспокойся, Афраний, — сказал Сципион Эмилиан, окинув быстрым взглядом толпившихся в атриуме и на улице людей (все они принадлежали к роду Корнелия и, кроме своего имени, назывались Корнелиями, потому что род патрона переходил на них): он сразу увидел, что большинство были любопытные, пришедшие пожелать доброго утра и узнать новости, и только небольшая часть состояла из

³ Гомер. «Илиада». VI, 448. (Перевод Н. Гнедича.)

преданных людей, сопровождавших его ежедневно на форум, а несколько человек — самые близкие и преданные друзья — не оставляли его ни на минуту, когда он находился вне дома, и считались членами семьи наряду с родственниками.

Афраний принадлежал ко второму разряду: у него были свои дела, мало свободного времени, и он мог сопровождать патрона только на форум.

Сципион подозвал к себе вольноотпущенников Сульпиция и Герания и спросил, как идет торговля. Это были молодые люди, любимые патроном за честность и привязанность к нему.

— Дела идут хорошо, — молвил Сульпиций, — лавка у храма Кастора дала за вчерашний день двести денариев прибыли, таверна у Мугонских ворот — четыреста, потому что я стал продавать вино на унцию и секстанс дешевле, и народ повалил ко мне. С овощной же лавки на Палатине имеем пятьдесят чистых денариев по вине раба, который поздно доставил бобы, горох, лук и чеснок.

— Ты наказал его?

— Я велел дать пятнадцать ударов.

Сципион вспыхнул: на правой щеке задрожал мускул, что служило признаком раздражения.

— Чьей властью? — спросил он свистящим шепотом. — Ты узнал, почему раб опоздал? Говори.

Сульпиций молчал.

— Говори же! — бешено крикнул Сципион, и лицо его налилось кровью.

Но в это время чья-то рука легла ему на плечо, и старческий голос нарушил тишину, охватившую атриум.

— Умей умерять гнев; берегись, чтобы злой демон не испортил тебе дня.

Сципион обернулся: сзади стоял Полибий в светлом хитоне. Спокойное лицо друга, обросшее белой густой бородою, греческая речь, голос, в котором слышалось порицание, подействовали на Сципиона умиротворяюще. Он смутился, лицо его смягчилось, приняло обычное выражение холодного равнодушия.

— Ну, а твои дела? — обратился он к Геранию, но Сульпиций, от которого Сципион отвернулся, бросился к его ногам, охватил его колени.

— Не гневайся, господин, — шептал он, — лучше накажи недостойного раба твоего.

— Встань, Сульпиций, погорячился я, но и ты виноват. Если раб опоздал не по своей вине, исправь зло...

И резко повернулся к Геранию.

— Мои дела шли не так хорошо, как у Сульпиция. От продажи оливок я получил прибыль в сто денариев, а вино дало сто двадцать три денария.

Не успел он договорить последних слов, как толпа расступилась, и в атриум проник маленький горбун с мрачными колючими глазами на лице, обросшем рыжим волосом. Одежда его состояла из дорогой хламиды, усыпанной золотыми и серебряными блестками, похожими на звездочки, голый череп желтел, как спелая тыква.

Горбун бросился к ногам Сципиона, схватил край его тоги, прижал к губам.

— О, господин мой, — крикливым голосом заговорил он по-гречески, — я чужеземец и обращаюсь к твоему высокому, великодушному покровительству. Прими меня под свою защиту, не дай попасть в рабство. Ты — величайший полководец, поразивший ливийских пунов, слава и гордость державного Рима... Ты...

— Кто ты и откуда? — прервал его Сципион, не любивший лести. — Да встань же!

Такой же я человек, как и ты...

— О, господин мой! Я бедный изгнанник из Пергамского царства... Нет, даже не изгнанник, а беглец. Я бежал от гнева Аттала... Я — купец, резчик по драгоценным камням, геммам, я подарю тебе...

— Замолчи, бесстыдный человек, — послышался старческий голос Полибия. — Разве не знаешь, что Сципион Эмилиан делает добро не ради подарков?

Мрачные глаза горбуна сверкнули злобой. Улыбка мелькнула по тонким губам:

— О, прости меня, великий римлянин, за глупость, которую выговорил мой язык! О, прости, прости, заклинаю тебя именем Юпитера-Статора! — И зашептал, приблизившись к Сципиону: — Я не только купец, но и чародей. Я знаю тайны неба и земли, предсказываю будущее, излечиваю недуги, przygotowляю любовные напитки.

— Молчи, — с презрением прервал его Полибий. — Ты все знаешь и все можешь, а не знаешь, к кому попадешь клиентом, и не мог повлиять на Аттала, чтобы он не выгнал тебя из своего царства.

Ненависть загорелась в мрачных глазах горбуна.

— На все воля богов, — смиренно произнес он, наклонив лысую голову. — Мой корабль плывет теперь по морю и через несколько дней будет в Риме. Я везу древние папирусы времен Трои, доспехи Александра Македонского, купленные мною у Селевкидов за сто талантов, речи Демосфена и... — быстро взглянул он на Сципиона, — и... «Анабазис» Ксенофонта...

Лицо Сципиона загорелось: в глазах сверкнула радость, и Полибий подумал: «Хитрый горбун ловко попал в Ахиллесову пятю».

— Ксенофонта я люблю, — услышал он голос Сципиона, — и если мы сойдемся в цене...

— О, господин мой, — страстно вскричал горбун. — Все мое — твоя собственность, и я сам с красавицей-женой и афродитоподобной высокоподпоясанной дочерью — твои рабы.

— Ты еще не назвал своего имени...

— Я — Лизимах, родом с Родоса. Мой покойный отец оказал услугу победителю Ганнибала: когда не хватило у римских войск продовольствия, он доставил в лагерь при Заме много медимнов пшеницы...

— Если ты говоришь правду...

— О, господин мой! Взгляни на этот перстень: сам Сципион Африканский Старший вручил его моему отцу.

И он протянул тяжелый золотой перстень с широким топазом, на котором было высечено: «П. Корнелий Сципион».

Сципион Эмилиан смотрел на перстень и думал о том недалеком прошлом, когда сражался и побеждал, веря в великое будущее Рима, знаменитый полководец: его доблестных легионов уже нет, но слава побед переживет века, докатится до чуждых поколений.

Голос Полибия вывел его из задумчивости:

— Мы можем легко узнать, принадлежал ли этот перстень Сципиону Старшему.

— Каким образом?

— Покажем его благородной Корнелии. Если дочь видела перстень у своего отца — всякие сомнения отпадут.

— Тогда я приму Лизимаха под свое покровительство. Пошли кого-нибудь к Корнелии.

Отпустив клиентов, кроме близких и верных друзей, Сципион прошел в таблин, вынул из архива свиток папируса, озаглавленный «Чужеземцы», и кликнул раба-писца:

— Впишешь этого человека, — указал он на Лизимаха, молча стоявшего у водоема и озиравшегося исподлобья по сторонам, — в число моих клиентов. Не забудь расспросить его подробно о семье, состоянии, рабах.

Писец, юноша-александриец, низко поклонился. В это время вернулся Полибий.

— Я сам побывал у благородной Корнелии, — сказал он, возвращая перстень Лизимаху, — и матрона, заплакав, признала эту драгоценность собственностью отца.

— Я не сомневался в этом, — кивнул Сципион и шепнул другу: — Но скажу тебе по совести — не нравится мне этот горбун.

— Ты прав, — также шепотом ответил Полибий, — я сразу увидел, что у него низкая, коварная душа. Сципион обернулся к греку:

— Скажи, Лизимах, известны ли тебе обязанности клиента и будешь ли их честно исполнять?

— О, господин мой! — вскричал грек, взмахнув рукою. — Будь во мне уверен. Я — человек исполнительный, был послом в Каппадокии, управлял городами Пергамского царства...

— Однако ты бежал из Пергама...

— Пусть Немезида накажет царя!.. Он хотел мою жену и дочь запереть в своем гинекее...

Зазвенел колокольчик, трижды, с перерывами.

— Уже три часа⁴, время завтрака, — удивился Сципион, — этот горбун задержал нас.

Завтрак Сципиона был прост: свежий хлеб, который обмакивали в вине с медом, финики, оливки, сыр. За большим столом сидели Сципион, Семпрония, Полибий, клиенты, пребывавшие постоянно при патроне, а также Сульпиций и Гераний; оба вольноотпущенника отлучались по делам, когда Сципион спал или у него собирались друзья, а в лавках торговали надежные рабы, которым за старательную службу была обещана свобода; за вторым столом сидели клиенты, сопровождавшие патрона только на форум, и в их числе — Афраний и Лизимах, за третьим — рабы и невольницы.

Солнце, продираясь сквозь густую листву дикого винограда, цепко тянувшегося вверх, играло на каменных плитах у входа, когда Сципион и Полибий, окруженные толпой клиентов, вышли из дому.

Лизимах шел сзади, с любопытством озираясь по сторонам: неприглядны были постройки, мрачны здания богачей. «И это — всесильный Рим, гроза народов, — с презрительной улыбкой думал грек, сравнивая Рим с Афинами, — и это народ, покоривший Карфаген и Грецию! Какая бедность!»

Но когда он увидел гору и на юго-западной вершине ее Капитолий, казалось, подпиравший прозрачно-голубое небо, а кругом мраморные сооружения, воздвигнутые Сципионом Назикой, величественный храм Юпитера в смуглом золоте орнаментов; когда увидел в стороне темный Табулярый, в котором находились архив и сокровищница, а на северных склонах горы крепость с храмом Юноны и местом, откуда авгуры наблюдали небесные знамения; когда эта громада зданий приблизилась, возносясь в солнечном сиянии, как бы собираясь улететь, он с недоуменным

⁴ 3 часа по летнему римскому времени соответствуют 8 ч. 30 мин. утра (европейское время).

восхищением остановился; форум кипел, — разрозненные голоса клиентов, крики торговцев из соседних улиц, возгласы плебеев, рабов, — все это сливалось в многоязыкий говор, где нежная, приятная для слуха греческая речь пресекалась медно-грубой латинской или быстрым гортанным языком варваров-вольноотпущенников.

Форум находился между Капитолием, Эсквилином и Палатином.

Лизимах смотрел на храмы, здания, базилики, в которых толпился народ, и глаза его разбегались.

«Да, хорош Рим, — подумал Лизимах, — конечно, это не Афины, а все же после них он займет первое место в мире. В Александрии прекрасно и обширно здание библиотеки — и только, в Пергаме — сады и царский дворец, а здесь и набережная, и доки, заново отстроенные Гермодором, и холмы с храмами, и форум».

Между тем Сципион, приветствуемый возгласами: «Да здравствует!» — обошел несколько раз форум. Он встретил Назику, дерзкого великана с грубым голосом, и, отозвав его в сторону, заговорил о тяжбе с Фульвием Флакком и Афранием:

— Ведь ты знаешь, дорогой коллега, что это дело несправедливое, Афраний — мой клиент, и я...

Полное лицо Назики налилось кровью: он ненавидел Фульвия Флакка и готов был на все, чтобы досадить ему, но против Эмилиана идти не решался.

— Если хочешь, я прекращу тяжбу, — молвил он с нескрываемым сожалением, — я затеял ее для того, чтобы...

— Знаю, — усмехнулся Сципион, — но поверь, если это дело будет проиграно Фульвием, он ничуть не опечалится, и только мой клиент потеряет много.

Сципион Эмилиан взял Назику под руку и повел в Эмилиеву базилику, где решались судебные дела.

Афраний, узнав, что тяжба прекращена, тотчас же отправился обрадовать Фульвия Флакка, думая, в простоте душевной, что и патриций будет доволен не менее его, но тот равнодушно пожал плечами. У него были иные заботы: он сидел над свитком папируса, края которого придерживал вольноотпущенник Геспер, и что-то писал.

Послеполуденный отдых Сципион Эмилиан провел, лежа на постели, раздумывая, сколько запросит хитрый грек за «Анабазис» Ксенофонта: «Если книга в золотом переплете, с застежками, написана четко, красиво и грамотно, то не жаль заплатить двадцать тысяч сестерциев, да горбун, наверно, запросит один талант, хотя и хитрил, обещая подарить. Ну, а если захочет сделать подарок, взять или нет? Ведь получится, что я за книгу принял его в клиентелу... Нет, откажусь. Не пристало Сципиону Эмилиану получать подарки, когда он сам может дарить». Но тут он поймал себя на гордости и подумал, что бы сказал Полибий, узнав об этом, и ему стало стыдно. «Разве я могу дарить вещи стоимостью в талант? Много я подарил Полибию, Луцилию, Гаю Лелию, Спурию Муммию, Фурию Филлу, Панецию? Чем отплатил покойному Теренцию за представление его «Братьев» и «Тещи» во время торжественных похорон отца моего Эмилия Павла? Подарил виноградники, домик, оливковые насаждения. Но ведь этого мало; а брат мой Фабий не поскупился и отдал ему богатую виллу близ Брундизия, со всем имуществом и рабами. А я пожалел. Полибий, Гай Лелий и Луцилий достойны награды за свои труды; они лучшие мои советники и друзья. Но если я — скряга, то уж не буду вдобавок к этому подлым, — не имею я права принять Ксенофонта от Лизимаха». Он встал, прошел в таблин, кликнул писца:

— Говори, что записал о Лизимахе.

Юноша прочитал высоким, женоподобным голосом:

— Лизимах — сын Дионисия, родом грек с Родоса, пергамский купец, сорока пяти лет, семейный: жена Кассандра, тридцати, и дочь Лаодика, четырнадцати лет. Состояние — корабль с имуществом, рабами и невольницами, стоимостью в пятьсот талантов.

— Сколько? — вскричал Сципион, не веря своим ушам.

— Пятьсот талантов, — равнодушно повторил александриец, точно это было пятьсот медных унций.

— А где он думает жить?

Писец покраснел: он получил от Лизимаха двадцать сестерциев, и ему казалось, что господин знает об этом или догадывается. Но Сципион ничего не знал.

— Лизимах обещал сказать завтра утром, — смущенно выговорил александриец, — а сегодняшнюю ночь проведет в гостинице на Аппиевой дороге.

Сципион встал:

— Можешь идти, да передай госпоже, что я желаю говорить с нею.

Семпрония быстро вошла, остановилась у порога.

— Садись, побеседуем о важном деле.

Сципион рассказал о клиенте Лизимахе и его состоянии.

— Если тебе нужны драгоценности, не стесняйся, этот грек — купец, и я давно уже собираюсь сделать тебе подарок.

Густая краска залила лицо, изборожденное ямочками, уши и шею матроны.

— Ты добр, — шепнула она, сжав его руку, — но я хотела бы, чтобы ты сам для меня выбрал.

Лишь только жена вышла, Сципион отомкнул огромным ключом окованный сундук, вынул из него не без труда тяжелый ларец и поставил на стол. Выдвинув одновременно на палец боковые стенки, он потянул к себе крышку: стенки вернулись на прежние места, крышка легко открылась: груда золота и драгоценных камней, тронутая легким налетом пыли, засверкала тусклым блеском.

— Что это приходит мне в голову? — прошептал он. — Какие мысли? Видно, прав Полибий: злой демон испортил мне день.

Схватив медный колокольчик, он позвонил и, не впуская раба в таблин, приказал позвать госпожу.

Семпрония прибежала испуганная, дрожащая.

— Что случилось? — с беспокойством выговорила она, задыхаясь.

— Я вспомнил, что не сказал тебе самого главного: ты не знаешь, что хранится в этом сундуке; в нем — ларец, а в ларце — состояние Сципионов. Взгляни.

Семпрония вскрикнула.

— И это...

— Все твое... Ключ хранится в потайном месте, которое я тебе покажу.

— Почему ты говоришь об этом?

— Ты должна знать. Если я умру раньше тебя, богатство не должно пропасть.

— Но я не понимаю... — пролепетала Семпрония, — для чего ты хочешь купить еще драгоценностей у грека?

— У моего менялы скопилось очень много денег: лучше обратить их в золото, чем держать в медных ассах или серебряных сестерциях.

— Да, да, — рассеянно выговорила жена. — Но почему тебе пришло это в голову сегодня?

— Я сам не знаю, — сознался Сципион, — иногда в голову приходят мысли, которых и не ожидаешь.

Он встал, убрал ларец в сундук, а ключ понес в ларарий и положил под старую бронзовую статую Юпитера.

— Никто не подумает искать его здесь, — молвил он, повернувшись к Семпронии. — Мои драгоценности — безделица по сравнению с тем, что вывозят из ограбленных городов полководцы. Но я не жалею об этом: я не взял ни одного асса из добычи, принадлежавшей государству, ибо Рим — наша родина, и я люблю его так же крепко, как презираю и ненавижу злодеев, грабящих отечество.

— Зачем ты мне это говоришь? — с гордой радостью на лице сказала Семпрония. — Ты великий, величественнее Сципиона Старшего, ибо ты с корнем вырвал вечную угрозу нашему благополучию, растоптал Карфаген; ты честен, честнее Сципиона Старшего, потому что на нем была тень подозрения в сокрытии добычи, а на тебе никогда; ты умен, умнее его, ты учишься в кругу друзей наук, переводишь с греческого, ратуешь за чистоту нашего языка, ты привлек к себе поэтов, ученых и писателей, и мне ли, глупой женщине, сомневаться в твоих доблестях и добродетелях? Вчера, входя в наш дом, я прочитала на дверях: «Здесь обитает счастье!» — и задумалась: я поняла, что рядом с этой надписью должна быть другая — простые слова, отмечающие твои достоинства. И я приказала — прости, что не посоветовалась с тобою, — прибавить еще три слова: «Здесь обитает добродетель!»

Сципион обнял ее:

— Благодарю тебя. Но ты сделала это больше для себя. Правда, я выше всего ценю добродетель, но она свойственна и тебе.

Взволнованная, вся дрожа от радости и переполнявшего сердце счастья, Семпрония обвила его шею руками, прижалась к грубой, обветренной щеке воина.

— Я обожаю тебя, Публий! И если ты умрешь раньше меня, я буду молиться тебе, чтобы ты охранял меня, одинокую женщину, от всего злого, как охраняешь нашу республику от врагов!

II

В десять часов⁵ в атриуме стали собираться гости, члены кружка. Сципион с друзьями обсуждали события в провинциях, а Семпрония (она любила присутствовать на вечерах), слушала, вышивая коврик для ларария.

— Понимаешь ли ты, почему Рим, разрушивший Коринф и Карфаген, не в силах справиться с Нуманцией? — говорил Полибий, с любовью сжимая руку Сципиона. — Ведь если меры не будут приняты, государство пострадает.

Сципион вздохнул.

— Не мы покорили Македонию, а она нас, — заговорил он после долгого молчания, — я всегда был против завоеваний, но что поделаешь, когда власть посылает сражаться? Должен ли рассуждать воин? В таком положении были мы — и я и Люций Муммий. Мне жаль было разрушать богатый, цветущий город, купцы которого подрывали торговлю наших всадников и оптиматов, а Муммий долго колебался, получив приказание сената разграбить Коринф за свободомыслие. А что получилось? Наплыв невиданных богатств породил стремление к восточной роскоши,

⁵ 10 часов по летнему римскому времени соответствуют 5 ч. 2 мин пополудни (европейское время).

лени, разврату.

— Да, Рим — гнездо пороков: роскошные яства, дорогие вина, пьянство, погоня за удовольствиями и развлечениями, покупка вавилонских ковров, красивых рабынь и мальчиков, восточные оргии, — вот чем мы можем похвастаться, а еще совсем недавно Рим был иным. Железные легионы побеждали, были суровы, не знали изнеженности.

— Ты прав, Полибий, вчера я видел легион, который отправлялся в Испанию; я дрожал от негодования, скорби и презрения, видя воинов, за которыми рабы несли снаряжение, видя толпы всякого сброда — волшебников, прорицателей, блудниц, следовавших за войском. И я не мог удержаться, чтобы не остановить претора и не крикнуть ему о подлой распущенности, червем подтачивающей войско.

— Напрасно ты погорячился, Публий! Претор, легат, трибун — все они боятся своих подчиненных, которые нередко богаче своих начальников, имеют связи с семьями сенаторов, видных публиканов. И неудивительно, что воинам разрешается поступать, как придет в голову.

Все это дурно, но поправимо. Хуже всего у нас в провинциях: восстание рабов на Сицилии расширяется, некий чудотворец Эвн объявлен рабами царем Антиохом, весь остров волнуется, рабы жгут виллы, убивают господ, разбегаются... Подумай, Полибий, грубые варвары наносят поражения римским легионам!

— А в Испании лучше? — вкрадчиво заметил старик. — Разве четыре тысячи нумантийцев не разбили несколько лет назад сорока тысяч римлян?

— Не напоминай о позоре, прошу тебя!

В это время вошли почти одновременно Гай Лелий и Луцилий.

Гай Лелий, муж пожилой, с сединой на висках и совершенно лысый, старше Сципиона не только летами, но и лицом, изборожденным морщинами, был полной противоположностью своего великого друга: нетвердый в поступках, помышлявший больше о собственном благополучии, дерзкий с лицами, стоящими ниже его по общественному положению, он не отличался гибкостью ума, и если выступил несколько лет назад с законом о разделе общественных земель, захваченных частными лицами, но принадлежавших государству, то потому только, что эта мера давно назрела в республике, как единственный выход из создавшегося положения: деревенский плебс разорялся, продавал за долги свои земли, которые переходили в собственность крупных землевладельцев, и в поисках заработка шел в города. Нужно было улучшить положение плебса, из гущи которого набирались легионы, остановить новыми наделами его разорение, и Гай Лелий предложил свой полезный для республики закон. Однако ни он, ни сам Сципион, который горячо поддерживал своего друга, не учли того, что земли были захвачены сенаторами и публиканами, бравшими их на откуп. Нобили выступили против закона. Кругок Сципиона заколебался, растерялся, и Лелий взял свой закон обратно. В благодарность за это сенат дал ему прозвище «Мудрого», но это слово звучало скрытой насмешкой, и Лелий обижался, когда Луцилий величал его этим именем.

Луцилий, родом латинянин, был моложе Сципиона на пять лет, но казался гораздо старше: у глаз, губ и на лбу залегали морщины, седина серебрилась в редких волосах. Но лицо его, хитрое, лисье, и бегающие, беспокойные глаза поражали постоянным насмешливым выражением, веселые речи — неожиданными колкостями, громкий, трескучий смех — презрительными нотками. Это был талантливый старик, и Сципион ценил его за ум и природные дарования, но не любил, называя про себя «двуликим

Янусом».

Гай Лелий и Луцилий приветствовали матрону низкими поклонами. Луцилий, взглянув на коврик, рассыпался в похвалах, восклицая:

— Как это прекрасно! Эти цветы напоминают мне поля, окружающие родную Суэссу, на которых я резвился босоногим мальчиком. Хвала лучезарному Фебу: он позаботился о цветах больше, чем о людях!

И, засмеявшись, повернулся к Сципиону:

— Взгляни, Публий, на искусство твоей благородной супруги! Ты согласишься со мною, что сам Феб уступил ей в умении создавать такую красоту.

Сципион понял Луцилия: латинянин намекал на свое бесправие.

— Ошибаешься, Гай, — шутливо возразил Сципион, — скупой Феб ревнует поля Суэссы к холмам всемирного города. Разве на этих полях не вырастают в чистоте иные цветы, Луцилий, — быстроногие девы, смелые, как воины, гордые, как орлицы?

— Твоя речь возвышенна, Публий, — усмехнулся сатирик, — в ней мне послышался гекзаметр, — да, да, не удивляйся, гекзаметр гомеровых песен! Но избегай, прошу тебя, этой напыщенности. Она скорее к лицу нам, поэтам, чем тебе, полководцу.

— А разве я тоже не писатель? Разве мы с Гаем Лелием не перевели с греческого нескольких комедий? Лелий, кроме того, пишет воспоминания о событиях в Африке и Риме...

— Это хорошо, но напыщенность — мать празднословия; чистый римский язык, пусть даже грубый, звенит медными раскатами...

— Может быть, ты прав, — вмешался Лелий, — но язык Гомера приятнее для слуха и красивее по оборотам речи, — и повернулся к Семпронии: — Искусство твое в рукоделье известно, но мужи мало ценят женскую работу; зато высоко восхваляют твое пение под звуки кифары. Прошу тебя — не откажи нам в удовольствии.

Семпрония взглянула на мужа.

— Да, да, — сказал Сципион, — ты давно не пела и не играла.

— Как тебе угодно, — молвила матрона и, хлопнув в ладоши, приказала вошедшей рабыне подать кифару.

Отложив коврик, Семпрония тронула струны: нежные звуки медленно растворялись в атриуме. И вдруг она ударила плектроном, запела по-гречески:

Жило в просторном дворце пятьдесят рукодельных
невольниц,
Рожь золотую мололи одни жерновами ручными.
Нити сучили другие и ткали, сидя за станками
Рядом, подобные листьям трепещущим тополя; ткани же
Были так плотны, что в них не впивалось и тонкое масло.
Сколь феакийские мужи отличны в правлении были
Быстрых своих кораблей на морях, столь отличны их жены
Были в тканье: их богиня Афина сама научила
Всем рукодельным искусствам, открыв им и хитростей
много^б.

^б Гомер. «Одиссея», VII, 103–111. {Перевод В. Жуковского.}

Она замолчала. Звуки умирали в безмолвном атриуме. Все сидели неподвижно. Первым очнулся Луцилий.

— Клянусь Юпитером, — прошептал он, — ты, Публий, счастливейший из смертных!

Сципион не успел ответить. В атриум входил грузный, огромный, с широким лицом, обросшим бородою, Сципион Назика.

— Привет благородной матроне и ученым мужам, — загудел густой бас.

— Привет любителю искусств, — ответил Сципион, идя ему навстречу. Он не любил Назику за темные дела, которые тот вел совместно с престарелым сенатором Титом Аннием Луском через своих волноотпущенников (ходили слухи, что они скупают рабов на Делосе и продают в Риме у храма Кастора), но уважал за любовь к искусствам; Назика, внук Сципиона Африканского Старшего, описал по-гречески войну с Персеем, вместе с Фульвием Нобилиором поощрял Энния создать римский эпос, воздвиг на Капитолии мраморные здания и на форуме — клепсидру. — А я к вам, коллеги, не надолго, — говорил он, усаживаясь рядом с Полибием, — хочу прочитать и обсудить с вами стихи старика Пакувия; только что получил их из Брундизия.

Он положил несколько навощенных дощечек на стол, оглянул собеседников угрюмым взглядом.

— Ты позволишь? — обратился он к Сципиону Эмилиану. — Я задержу вас, коллеги, на короткое время, тем более что тороплюсь по государственным делам. Я прочту только два отрывка: слова автора и ответ хора.

Он взял дощечки и стал читать.

— Четвероногая, неповоротливая, жилица нив, шершавая,
Ползучая, малоголовая, змеиношея
Живые звуки испускает замертво.

Хор отвечает:

В туманных выражениях описываешь то,
Что с трудом уразумел бы и мудрец;
Скажи открыто, чтоб мы поняли.

— Это не стихи, — вскричал Луцилий, — а набор слов! И хор верно говорит, что не понимает.

— Настоящая загадка сфинкса, — улыбнулся Полибий, — а кто будет Эдипом? Но Сципион Эмилиан был иного мнения.

— Луцилий неправ, — решительно сказал он, взглянув на сатирика. — Это стихи...

— Загадка, — перебил Луцилий, волнуясь.

— Ну и что ж? Разве аттические трагики не позволяли себе загадочных описаний? Это стихи, повторяю я, но не блестящие.

— Плохие! — крикнул Луцилий, но в это время заговорил Лелий, и сатирик с досадою замолчал.

— Друзья, я согласен с Луцилием. Ты же, Публий, слишком снисходителен к старику. Эти стихи не влияют на душу, — все равно что прочитал вывеску на улице. Если сравнить обе части, — то вторая, конечно, лучше.

Но Сципион Эмилиан не сдавался.

— Когда будет разгадка, — говорил он, — содержание примет определенный смысл. Это, несомненно, имел в виду Пакувий.

— Правда, — поддержал его Назика, — кто понимает прекрасное, тот должен разгадать, что хотел сказать поэт.

Все молчали.

Послышался смех, и Семпрония, продолжая улыбаться, отложила свой коврик:

— Если благородные мужи позволят женщине вмешаться в их беседу, то я, думаю, разгадала бы.

Сципион Эмилиан улыбнулся:

— Говори.

— Мне кажется, Пакувий разумел под животным черепаху.

На смущенных лицах метнулись улыбки, и смех наполнил атриум.

— Правда, правда, — кричали все, — а мы и не догадались!

Назика заговорил среди наступившего молчания:

— Ты оказалась умнее мудрых мужей, благородная Семпрония! Старик Пакувий недаром мне пишет: «Стихи, с виду безобразные, таят в себе красоту, а красота, по словам божественного Платона, порождает Эрос, что значит любовь, а любовь ведет к познанию истины, которая состоит в стремлении знать, размышлять и учиться».

— Не понимаю, — засмеялся Луцилий, — то, что Пакувий считает красотой, для нас безобразно. Поэтому говорить о красоте не имеет смысла. Напиши старику, — повернулся он к Назике, — что не ему в его годы говорить об Эросе.

— Да ты рехнулся! — грубо ответил Назика. — Изучи Платона, а затем и рассуждай об Эросе. Если хочешь, я поучу тебя, как школьника.

Луцилий вспыхнул, но сдержался.

— Эрос есть влечение, врожденное человеческой душе, — продолжал Назика, наслаждаясь бешенством Луцилия, — и оно, по своей природе, занимает середину между миром чувственных восприятий и миром идей...

Не владея больше собою, Луцилий встал и пошел к двери.

— Куда же ты? — вскричал Сципион Эмилиан.

— ...душа же, сопричастная идее жизни, бессмертна и вечно стремится прорваться через телесную оболочку к истинно действительному миру образов.

— Я не хочу его слушать, — с бешенством шепнул Луцилий, — если б я не был бесправным, я бы...

— Успокойся, прошу тебя... Сципион Назика известен всем своей грубостью, но он не хотел тебя обидеть.

Между тем Назика, видя, что Луцилий не желает его слушать, встал в свою очередь.

— Подожди! — закричал он с грубым смехом. — Молча уйти — это не значит опровергнуть Платона. Что бы ты ни говорил, а истина — сущий идеал, превосходящий чувственную действительность, в которой бытие смешано с небытием...

— Есть только положительное бытие, — с раздражением перебил Луцилий, — и никакого небытия нет вовсе. Поэтому нет множества вещей, разделенных пустым пространством, нет небытия во времени, нет движения. А чувственный мир явлений есть только мнимый, кажущийся...

— Софизмы Ксенофана! — презрительно усмехнулся Назика. — Истина есть

сущая истина, живое всеединство, мировая совокупность идей, в которой Единое от века осуществляется в своем Другом... А чувственный мир отличается от Истины и подобен ей, — иначе его бы не было вовсе: он свойственен по существу, — прекрасен и безобразен...

— Труды Гераклита! Вот откуда позаимствовал Платон эти мысли... И это не все, а метампсихоз Пифагора? А примиряющее объединение идей Сократа, Пифагора и Солона, выраженное в его «Законах»? Разве это не отход от этических и политических идеалов «Государства»?..

— Ты лжешь! — грубо прервал его Назика. — Никогда Платон не отказывался от своего учения...

— А ты согласен с идеями его «Государства?» — ехидно спросил Луцилий.

— Конечно. Какой дурак будет их оспаривать? — насторожился Назика, почувствовав ловушку.

— Значит, ты согласен, что государством должны управлять философы...

— Конечно...

— ...что должна быть уничтожена семья, собственность, что все твое и мое переходит во владение общины?

Назика молчал.

— А так как ты утверждаешь, что согласен с Платоном, то почему же ты владеешь землями, богатствами, виллой-музеем в окрестностях Брундизия, отчего не отказываешься от семьи?..

Все засмеялись.

Назика побагровел, глаза его беспомощно замигали, кулаки сжались.

Дурак! — загремел он и бросился на Луцилия. Но сильная рука Сципиона Эмилиана удержала его:

— Успокойся. Не забывай, что ты в моем доме.

Назика круто повернулся, собрал дощечки со стихами Пакувия, завернул их в кусок льняной материи и сунул себе за пазуху.

В это время вошли в атриум молчаливый Фурий Фил и щеголь Спурий Муммий, брат разрушителя Коринфа. Рабы принесли светильни, запахло бараньим жиром.

Беседа возобновилась, как только ушел Назика. Луцилий вернулся на свое место и, указывая на дверь, сказал Полибию:

— Какой неприятный человек!

— Да, он был неправ, — согласился Полибий, — но и ты не лучше его. Бери пример с Эмилиана, — вот идеальный человек. У него мера соблюдена во всем, он умеет владеть собою в несчастье, потому что он привил своей душе все правила древне-эллинской и стоической нравственности.

— Сципион — велик, — улыбнулся Луцилий, и по тому, как это сказал, и по насмешливому выражению лица было непонятно, смеется он или нет.

К ним подошел Сципион.

— Каков Назика? — молвил он со смехом. — Умен и хитер. Нужно сознаться, что Платона он знает...

— Зато Пакувий хромает на обе ноги, — прервал Луцилий.

— Повторяю: Назика хитер, я не верю, чтобы Пакувий мог утвердить красоту своей черепахи Платоном. По-моему, Назика все это выдумал.

— С целью?

— С целью задеть тебя, Луцилий! Скажи, не встречался ли ты с ним прежде?

— Никогда. Он напал на меня потому только, что я — латинянин.

Дверь распахнулась: в атриум ворвался ветер, и светильни замигали, чадя и потрескивая. Вошел молодой человек, в новой тоге, с коротким мечом у пояса. На безбородом лице его тихо светились кроткие голубые глаза, на губах блуждала улыбка, от которой лицо казалось еще привлекательнее. Он был несколько похож на Семпронию, а когда заговорил, приветствуя Сципиона и его друзей, голос его приятно прозвучал.

— Садись, садись, Тиберий, — ласково сказал Сципион, обнимая гостя и подводя к жене. — Теперь ты довольна?

Семпрония улыбнулась и, приподнявшись, поцеловалась с Гракхом. Это был ее родной брат, и она, встречаясь с ним, каждый раз испытывала нежность сестры к продолжателю славного рода Семпрониев.

— Что у тебя нового? — спросила она.

— Я пришел сказать, что послезавтра уезжаю в Испанию с Гостилием Манцином.

— Под Нуманцию? — встрепенулся Сципион.

— Да, квестором при консуле.

— Счастливого пути, Тиберий, — ласково сказала сестра, — да хранят тебя всемогущие боги и да покровительствует тебе Минерва так же, как покровительствовала на стенах Карфагена!

Со всех сторон посыпались пожелания. Гракх кланялся и благодарил. Он думал об Испании, где некогда сражался его отец, о Нуманции, под стенами которой гибнут римские легионы.

Рабыни внесли стол и поставили посередине атриума. Сципион каждый раз оставлял друзей ужинать, зная, что собеседования нередко затягивались далеко за полночь.

Тиберий остановился у колонны и смотрел на окружавших его людей. Это были мужчины образованные, умные, и он думал о Гае Лелии, который беззаботно шутил со Сципионом, позабыв о своем полезном законе.

«Мудр ли он в самом деле? И если мудр, то не трус ли? Предложить закон и взять его обратно в угоду жадным нобилям — подло. Но ведь Эмилиан мог поддержать Лелия, мог провести закон, а этого не сделал. Почему? Человек честный, он допустил подлость, храбрый воин, он допустил трусость».

— О чем задумался? — услышал он голос зятя и поднял голову: перед ним стояли Сципион и Лелий.

Тиберий горько улыбнулся:

— Я не понимаю тебя; благородный Лелий, ты предложил закон и...

— Какой закон? — удивился Лелий. — Не понимаю, о чем ты говоришь.

Тиберий горько улыбнулся:

— Ты уже успел забыть о том, что не раз обсуждалось в кружке, вызывало споры... Клянусь Юпитером, или ты не хочешь говорить, или для тебя благо республики — пустой звук. Речь идет об отнятии у нобилей неразделенных общественных земель. Почему ты покорился воле сената?

Лелий побагровел, быстро взглянул на Сципиона.

— Не тебе меня спрашивать и не мне тебе отвечать, — выговорил он, задыхаясь. — Сенат римского государства сам заботится о благе народа, и если мы, граждане, предлагаем закон, то сенат вправе принять его или отвергнуть.

— Сенат заботится о благе государства? Да ты шутишь, благородный Лелий! Прежде ты говорил иначе. Хочешь, я припомню тебе?.. Развращенность знати и

нищета земледельцев ведут республику к гибели.

— Сенат лучше знает, что делать! Тиберий вспыхнул:

— Тебя называли Мудрым, но я не понимаю, в чем твоя мудрость? Если в том, что ты отказался от своего закона, то это...

— Молчи! — крикнул Лелий, сжав кулаки и подступая к Тиберию. Но Сципион встал между ними.

— Глупый! — молвил он, обращаясь к Тиберию. — Как ты не можешь понять, что закон пришлось бы проводить насильственно, а это угрожало государству внутренними волнениями.

— И вы трусили?

— Трусили. Но не за себя, а за целостность отечества.

Тиберий не унимался:

— Неужели, по-твоему, лучше, чтоб республика разлагалась, как смердящий труп? Взгляни на сенаторов, всадников, воинов, земледельцев: такие ли они, как были во времена Сципиона Старшего? Одних развратила роскошь, удовольствия, жадность, другие пренебрегают дисциплиной, не хотят воевать, помышляют о грабежах, а земледельцы разоряются. Скажи, откуда будет вербовать республика воинов, чтобы создавать непобедимые легионы? Деревни обезлюдели, разоренные земледельцы станут нищими. Они пополнят голодные толпы безработного плебса.

— Я ненавижу настоящее время, — нахмурился Сципион и, вздохнув, прибавил: — О, если бы возможно было вернуться к цветущим временам, когда существовал один закон для римских воинов — побеждать или умирать! Римское государство уже достаточно блестяще и велико, и я молю богов, чтоб они сохранили его целым на вечные времена.

Лелий потихоньку отошел от них.

— Нет, ты скажи, что делать, — волновался Тиберий. — Где выход? А ведь ты, первое лицо в республике, мог бы провести закон Лелия. Пусть даже и насильственно, лишь бы спасти государство.

— По-твоему, создать охлократию? Да она развалит республику, не удержит в руках своих власти! Я всегда стоял за смешанную форму правления.

— Аристократия и плебс? И предпочтение сенату?

— Конечно. Посади гончара, сыромятника или медника в сенат, что получится?

Мысль об этом показалась Сципиону настолько дикой, невозможной, что он рассмеялся. Тиберий был того же мнения, однако сказал:

— Почему ты заговорил об охлократии? Кто о ней думает? Может быть, одни только рабы, восставшие в Сицилии. Ну что ж! Если римская республика будет в дальнейшем так же разваливаться, как разваливается теперь, они создадут свое государство, покорят и подчинят нас, владык мира, своему господству.

Полибий давно уже прислушивался и, когда разговор стал чересчур громким, он вмешался:

— Все это хорошие мысли, но как их осуществить? Во главе республики стоит сенат, состоящий из граждан, лишенных личной доблести, только один человек обладает древней доблестью: это ты, благородный Эмилиан! (Сципион замахал на него руками, поправил сползшую с плеча тогу.) Но что может сделать один против легиона? Мы давно говорим о задержании роста крупного землевладения, о сохранении прежнего войска, которое состояло из средних и мелких земледельцев. Гай Лелий предложил закон, но...

— Струсил? — перебил Тиберий. Старик строго взглянул на него:

— Зачем ты вызываешь ссору? Я смотрю на вещи иначе: не наступило еще время для этих законов.

— Но если оно будет медлить, мы его подгоним! Сципион и Полибий переглянулись.

— Да, подгоним! — воскликнул Тиберий. — Плебс ждет улучшения своей участи, а мы, как кроты, забились в норы и бездействуем.

— Начать борьбу — значит идти против власти, — твердо сказал Сципион, — а власть есть священная основа государства.

— О какой власти ты говоришь? — возмутился Тиберий. — Ты сам себе противоречишь: то утверждаешь, что ненавидишь наши постыдные будни, то начинаешь защищать власть, единственную виновницу тяжелого положения плебса.

Сципион молчал, не зная, как опровергнуть обвинения в двойственности суждений, и досадовал, что нарушена гармония души, испорчено настроение, а члены кружка вяло ведут беседу, бродят бесцельно по атриуму и дремлют, как этот молчаливый Фурий Фил.

Полибий неуверенно сказал:

— Пока выход для нас — в учении стоиков. Разве тебе не по душе древнеэллинская добродетель, которая отвлекает человека от общественной жизни, погружая его в личные переживания?

— Ты противоречишь себе, повторяешь слова Спурия Муммия.

— Да, но идея всеобщего братства, общин, отречения от семьи настолько отдаленна, что приходится выбирать между ней и бездействием.

— Я не рожден для такой скучной жизни. Мне нужна общественная деятельность, исполнение гражданского долга по отношению к родине. Я хочу бороться за восстановление мелких земледельцев, за создание доблестных легионов, я хочу...

Он не договорил: рука Семпронии, тихо подошедшей сзади, зажала ему рот.

— Ужин на столе, — молвила внучка Сципиона Старшего, улыбнувшись мужу, — проси, Публий, гостей.

III

Геспер, молодой вольноотпущенник Фульвия Флакка, выехал глухой беззвездной ночью через Эсквилинские ворота, которые охранялись преданной Фульвию стражей из легионеров, служивших некогда под его начальством. Геспер бросил им мешочек с золотом, крикнул: «По приказанию сената!» — и погнал лошадь, стараясь поскорее выбраться из предместий Рима.

Было так темно, что он в двух шагах ничего не видел. В воздухе чувствовалась гроза. Но Геспера это не пугало: он был в дорожном плаще и в полусапогах. Только беспокоила его темнота, мешавшая быстрой езде, и он подумал, что до грозы будет ехать медленно, а когда засверкают молнии, освещая дорогу, поедет быстрее.

Он ехал далеко на юг, с остановками в нескольких городах. Вспомнил, что осторожный господин сам зашил в его пилей четырехугольную дощечку, величиною с ладонь, и сказал шепотом, почти на ухо: «Будь осторожен, не затевай ссор и драк, много не болтай. Помни, чем южнее, тем беспокойнее: в городах и виллах Кампании и Лукании рабы волнуются, ожидая нашествия соплеменников, которые восстали на Сицилии. Спросят, куда едешь, говори: «В имения Скавра». По пути остановишься в

Капуе у отливщика бронзы Аэция и в Велии у живописца Флавия. Обоим покажешь этот перстень, и они передадут тебе, что нужно. В Велии разошьешь свой пилей, — узнаешь, куда ехать. Вернешься благополучно — получишь награду».

Следующие ночи не были похожи на ту грозную. Тогда он промок насквозь и чуть не лишился пиля, который сорвал с головы сильный ветер; к счастью, все обошлось благополучно: пилей лежал в канаве, и зашитая дощечка чувствовалась на ощупь.

Помня наставления Фульвия Флакка, Геспер погонял лошадь, стараясь не терять времени. Он ехал круглые сутки, изредка останавливаясь, чтобы поесть, несколько часов соснуть, и мчался по военной дороге, опережая всадников, войска и обозы, двигавшиеся на юг.

В Капую он приехал вечером на взмыленной лошади. Усталый, покрытый пылью с ног до головы, он отправился в западную часть города, населенную ремесленниками и пирожниками, мелкими торговцами и людьми без определенных занятий. Молоденькие блудницы, почти девочки, зывали прохожих в свои бедные деревянные домики, расположенные наискось от домов гончаров и сыромятников.

Геспер спешил и быстро пошел вперед, ведя лошадь под уздцы и расспрашивая прохожих, где живет отливщик бронзы.

Аэций, живой белобородый старик, одетый в запятнанную жиром тунику, работал в деревянной пристройке позади дома, несмотря на сгущавшиеся сумерки. Грубые светильни, установленные на бронзовых подставках, горели ярко, почти не мигая. Три сына, смуглые, бородатые, молчаливые, усердно работали и не повернулись, услышав голос чужого человека: один стоял перед плавильной печью и размешивал прутом медь, в которую, по указанию отца, лил расплавленное олово. Другой — оттискивал мечи и наконечники копий во влажном песке, в ожидании, когда брат крикнет, что бронза готова и можно наливать в формы. Третий — младший — трудился, под наблюдением старика, над глиняной формой: он приготовил слепок вазы из мягкого воска и вырезал на одной стенке похищение Европы, а на другой — бой гигантов с Юпитером.

Геспер протянул старику перстень.

Взглянув на топаз, Аэций вскочил, низко поклонился гостю:

— Рад тебя видеть. Кто от господина — всегда найдет у меня приют.

Он взял Геспера под руку и повел в атриум, где у очага хлопотала старуха с невестками:

— Жена! Вот гость издалека. Накорми и уложи спать.

— Чуть свет я уеду, — сказал Геспер, — не забудь передать что надо.

— Чуть свет — получишь.

Солнце еще не всходило, когда Геспер проснулся. Он поспешил в пристройку, где уже работал старик с младшим сыном. Увидя гостя, Аэций подошел к нему:

— Торопишься? А то бы остался поесть. Оливки хороши, хлеб мягок, свеж и пахуч.

— Пора ехать.

— Как хочешь. А я встал, снарядил сыновей за медью и оловом. А с ним (он указал на младшего, который обжигал на огне глину воскового слепка) работаю. Подожди.

Старик смотрел, как воск, расплавляясь, вытекал через боковые отверстия. Потом бросился к печи, зачерпнул ковшом расплавленную бронзу и стал наливать в форму.

— Послушай, Камилл, остынет бронза — разбей глину, принимайся за отделку.

— Хорошо, отец!

Лишь теперь старик повернулся к Гесперу.

— Не сердись, что я задержал тебя, — молвил он, улыбнувшись, — но это наш хлеб. Передай господину, что нас триста человек. Уставшую лошадь твою я обменял на крепкую, выносливую. А теперь возьми, что приказано.

И он протянул ему широкий меч, блеснувший при свете огня смуглым золотом.

— Ты куешь мечи? — удивился вольноотпущенник.

— Я изготавливаю все, — перебил его Аэций, — смотри... Он подвел гостя к полкам, на которых лежали бритвы, пилы, крючки для рыбной ловли, наконечники для стрел, удила, гвозди, косы.

— Выработка из бронзы обходится дешевле, а хорошее норикское железо намного дороже меди. Работаем искусно а чинить сломанные вещи не научились: все эти ножи (он указал на землю) придется расплавлять и отливать заново. А я все думаю: не может быть, чтобы не было металла, который не скреплял бы сломанной вещи (он помолчал, задумался). Хочешь посмотреть, как мы пользуемся для отливки камнем? Эта работа потруднее.

— Мне пора, — решительно прервал его Геспер. — Будь здоров.

— Прощай.

Вольноотпущенник вышел на безлюдную улицу, вскочил на резвую лошадь, едва удерживаемую под уздцы миловидной невесткой старика, и вскоре скрылся за храмом Минервы, который широким туловищем заслонял богатые дома.

В Ноле и Салернуме, небольших городках, Геспер останавливался ненадолго, а Пестум проехал галопом, стараясь выбраться поскорее в поля.

Морской ветер наливал тело бодростью, солнце ласкало лицо и руки, виноградники, оливы, колосющиеся хлеба радовали глаз, но когда у дороги он увидел рабов, закованных в цепи, услышал брань надсмотрщиков, свист бичей, крики избиваемых людей; когда толстый, бородатый вилик, верхом на горячем, как огонь, жеребце, врзался в гущу рабов и стал топтать их, а надсмотрщик ударил одного бичом по лицу; когда закованные невольники закричали что-то на своем языке и принялись в отчаянии разбивать свои цепи о цепи товарищей, Геспер ухватился за меч, скрытый под плащом, чтобы расправиться с виликом, но вовремя сдержался: вспомнил слова Фульвия: «Не затевай ссор и драк», вспомнил, что Велия недалеко, поручение еще не выполнено — и, отвернувшись от жуткого зрелища, погнал лошадь.

В Велии он нашел без труда живописца Флавия и с любопытством смотрел, как ученики его старательно разрисовывали чернолаковые сосуды бледными прямыми полосками с затейливыми завитушками, а на белых вазах изображали черных кентавров и свирепых киклопов. Поливная посуда не понравилась Гесперу, и он прошел мимо нее, не заметив, что обидел своим невниманием хозяина. Он остановился перед полкой, уставленной пестрыми вазами, залюбовался ими.

— Эти вазы, — смягчившись, сказал Флавий, уловив на лице гостя восхищение, — образцы давно прошедших времен, Правда, это подражание аттическому искусству, но работа хороша. Белые и красные вазы куплены мною в Апулии, а этот апулийский кратер с золотистой краской подарен мне Сципионом Младшим, тонким ценителем прекрасного, когда я был два года назад в Риме. Скажи, здоров ли великий гражданин, хранят ли его боги, не лишают своих милостей?

— Сципион здоров, — сухо ответил Геспер, не любивший, как и Флакк, знаменитого полководца. — А эти вазы?

— О, эти, — с любовью взглянул на них Флавий, — эти — красота! Вот ваза из

Гнатию⁷: взгляни.

Геспер смотрел. На черной вазе, как живая, выделялась нагая женщина: вздыбленные груди, тонкие руки и ноги, выпуклый живот: она стояла, улыбаясь, закинув руки за голову, и как бы потягивалась в одолевающей истоме.

— Какие очертания тела, изгиб бедер! — шептал Флавий. — Скажи: разве можно в нее не влюбиться?

Он подошел к вазе и задрожавшими руками погладил голое тело. Он что-то шептал, и Геспер, прислушавшись, уловил бессвязную, прерывистую речь:

— О, Венера моя... я люблю тебя... сойди ко мне, умоляю...

Геспер кашлянул: любовь Флавия поразила его, он не знал, что думать, и чтобы скрыть смущение, громко спросил:

— Скажи, благородный Флавий, что ты думаешь об этих вазах?

Флавий растерянно взглянул на него.

— Это — александрийские вазы, — тихо вымолвил он, — но ведь они подражание древнему милетскому искусству, которое отжило давно и едва ль возродится...

Переночевав у Флавия, Геспер получил от него маленькую вазу, в которой хранился тонкий свиток папируса, перевязанный ниткою.

— Отдашь, кому следует, — сказал Флавий и не удивился, когда Геспер, расшив свой пилей, вынул из него навощенную дощечку.

«Путь твой на Сицилию, город Тиндарида, а оттуда в лагерь Эвна. Передай ему меч, вазу с свитком и уезжай. Узнай о силах рабов и римских легионов».

Геспер понял, повернулся к Флавию.

— Когда отплывает корабль в Тиндариду?

— Завтра утром, но тебя едва ли возьмут. Нужно иметь разрешение сената.

— Оно у меня есть.

На другой день вольноотпущенник отплыл на Сицилию. Ветер был попутный, и бирема, подгоняемая дружными силами гребцов, весело плыла по морю. Геспер был все время настороже: в случае опасности он готов был броситься в море, лишь бы не выдать доверенной ему тайны. Но все было спокойно. Его окружали моряки и воины, возвращавшиеся после выздоровления в свои легионы, раненые, мало пригодные к службе, подгоняемые надеждой выслужиться. Все эти люди не обращали на него внимания, занятые беседою о восстании рабов.

— Чего им нужно? — говорил кривой на левый глаз легионер, пожимая плечами. — Хозяева кормят их, поят, одевают, а они бунтуют... Чего им нужно? — повторил он, окинув собеседников одиноким взглядом, и наклонил голову сбоку, по-птичьи.

— Чего надо? — усмехнулся моряк со шрамом на щеке. — Свободы. Без нее жизнь хуже смерти.

— Ого, — вскричал сиплым басом старый воин и сжал кулаки. — Раб на то, чтобы работать, легионер, чтобы сражаться, патриций, чтобы управлять, плебей, чтобы повиноваться, сенат, чтобы владычествовать...

— Гм... по-твоему, раб — не человек? — спросил моряк, презрительно взглянув на старика.

— Раб — вьючное животное.

— Скажи, старик, — заговорил моряк, и шрам на его щеке налился кровью, —

⁷ Г н а т и я — приморский городок в Апулии.

какая разница между тобой и рабом? Разве ты не животное, которое шлют на убой? Ты тридцать лет служишь по закону да годы поневоле. Сколько тебе лет? Шестьдесят, говоришь? Ну и что ж? Тебя ожидает смерть в бою или нищенство, если останешься калекою...

— Врешь! — вскипел старый воин. — Республика позаботится о нас... Сенат...

— Ха-ха-ха... А кто у нас в сенате? Кто будет защищать плебея?

Беседа становилась опасной, и многие поторопились уйти. Остались только легионер, моряк и старик. Геспер, сидевший в стороне, слушал, не ввязываясь в разговор.

— Мы, легионеры, — сказал старый воин, — привыкли не рассуждать, а повиноваться. Вот ты: наболтал глупостей — и все разошлись.

— Не потому разбежались, что я говорил глупости, — вспыхнул моряк, — а оттого, что боятся начальства. А рабы не испугались, восстали: Эвн бьет римские легионы, тех воинов, которые разрушили Коринф, взяли и сожгли Карфаген.

— Войска уже не те, — сказал со вздохом старик, — теперь воин помышляет о пьянстве и девках. Что ему слава и могущество республики?

— А ты забыл, старик, кому обязана республика славными победами? Вам, земледельцам. Это вы завоевали много стран, а сами остались без клочка земли. А кто имел этот клочок, тот должен был продать его за долги. Ведь жить не на что, жена, дети, старики-родители есть хотят, а где возьмешь? Бился я, бился, как рыба на песке, чуть не подох и пошел служить республике...

— И хорошо сделал! — воскликнул старик. — Стоять на страже родины — святое дело...

Моряк хрипло рассмеялся:

— Ну и чудак же ты, старик! Как не поймешь, что мы боремся за благо нобилей, стоим на страже сената, а не родины?

— Нет, ты что-то не так говоришь... Кривой на глаз легионер горько усмехнулся:

— Я скажу о себе: я — земледелец, пошел добровольно в войска, а почему? Земли лишился. Куда было идти? Соседи разъехались кто куда: одни в Испанию, другие в Ливию, третьи на Сицилию. А я записался в легион. В бою с рабами потерял глаз, меня не хотели принимать в войско, я упросил легата и квестора, которые наградили меня за храбрость.

— Не говорил ли я? — вскричал моряк. — Вот вам забота республики, забота оптиматов!

— У нас есть народные трибуны, комиции, — неуверенно пробормотал старик, — и я не знаю, чего вы хотите? Я честно служил, честно сражался у Пидны, под начальством Павла Эмилия, был награжден за разрушение Коринфа, меня отличил, как лучшего, Люций Муммий. Ну, а если я погибну за родину — тем лучше: смерть в бою желаннее, чем в постели.

— Врешь ты все, старик! — не поверил моряк. — Что тебе дали эти завоевания?

— Я получил землю, обрабатывал, потом ушел на войну. А Марий не сумел повести дело: землю пришлось продать...

— А почему не сумел?

— Молод был... в долгах запутался...

— А где он теперь?

— Сын? Что поделаешь? — поник старик головою. — Пошел в батраки к богатому патрицию...

Моряк злобно рассмеялся.

— Я так и знал, — резко сказал он. — Наши враги не рабы, а — нобили. Почему же ты защищаешь их?

— Замолчи! — вспыхнул старик. — Я знаю римский народ и служу ему. Разве сенаторы не мозг республики?

— Врешь, будь в сенате плебеи, народ жил бы лучше.

— Какой народ?

В это время громкий крик воинов и моряков заставил их броситься к борту судна:

— Липарские острова!

Впереди, в зеленоватой дымке, сливавшейся с голубыми волнами моря, открылись гористые острова. Небо опрокинулось широкой чашей, облитой солнечным светом, и справа от корабля зашумела листва деревьев Стронгилы, веселого островка. Геспер смотрел на высоких полногрудых женщин, стиравших одежды, на девушек и детей, и ему приятно было думать, что на этом островке спокойно, нет войн, и жизнь течет мерно, безмятежно, как ручеек в чаще леса, — годы, годы — и Пан приходит на бережок, чтобы подремать под ласковое журчание. Когда же на горизонте возникли Дидима, Липара и Гиера, такие же солнечные, такие же мирные, как Стронгила, Геспер подошел к моряку, заглянул ему в глаза:

— Взгляни, какая тихая жизнь на этих островах! Разве тебе не хотелось бы жить здесь, ловить рыбу, петь песни, благодарить богов за счастливую жизнь?

Моряк презрительно усмехнулся:

— И это ты называешь жизнью? Жизнь там, на Сицилии... Там борются люди. Они восстали, они освободились от ига врагов. И если суждено им умереть, они умрут в боях. А это (он указал на островок Гиеру, оставшийся позади) скучная, мышьяная жизнь; она доводит человека до самоубийства. Но и на этих островах не без невзгод: много жизней уносят землетрясения и извержения.

— Кто ты? — шепнул Геспер.

— Зови меня Аврелий. Я — воин, а теперь моряк. Сначала я служил под начальством Люция Муммия, с ним разрушал Коринф, потом вернулся на свою землю, но меня стали душить долгами и я, распродав имущество, стал нищим. Я отправился в Рим, пристал к толпе бездельников; они жили случайным заработком... Я многое, многое понял... Если сам плебс плохо стоит за себя, то кто же будет стоять за него?

— Но рабы и свободнорожденные восстали...

— А, это другое дело! На Сицилии можно создать такую крепкую республику, с сенатом из рабов, с победоносными легионами, что сам Рим содрогнется от ужаса.

И вдруг взглянул прямо в глаза Гесперу:

— А ты кто? Много уж меня спрашиваешь...

Но вольноотпущенник был осторожен и повторил то, что говорил о своей поездке каждому.

— Ну что ж, — оживился моряк, — тогда поедем вместе, только молчи. Я знаю кое-кого в Тиндариде...

Он отошел от Геспера и больше к нему не подходил.

Когда же впереди всплыла из морской пучины дымящаяся Этна, а за нею пристань, вся в пене, как Анадиомена, и ближе придвинулись зеленые сады и темная громада храма Нептуна, моряк оглянулся на Геспера, как бы призывая его в попутчики. Вольноотпущенник не колебался. И лишь только бирема причалила, он взял сумку и поспешно сошел на берег, чтобы не потерять моряка в многочисленной толпе.

IV

Тиберий с тяжелым чувством ушел от Сципиона тотчас же после ужина. Он видел, что Эмилиан и члены его кружка, на которых он возлагал надежды, не в силах облегчить положение плебса.

«И в самом деле, что они могли сделать, — думал он, — после того, как отказались от борьбы с сенатом, и Лелий, трусливо поджав хвост, как побитая собака, взял свой закон обратно? А теперь? Они занимаются литературой, философией, слушают умные речи Полибия, который боготворит Сципиона. С ними мне не по дороге».

Его потянуло в кварталы бедняков-ремесленников; он хотел обдумать наедине, где выход из тяжелого положения. Но тут он вспомнил, что едет послезавтра в Испанию, оторвется надолго от Рима, и опечалился: «Я, неплохой оратор, усовершенствуюсь в этом искусстве, буду защищать плебс от посягательств оптиматов и, если угодно богам, вернусь с обдуманном законом, который предложу в комициях; я подниму плебс на борьбу. Разве не внушал мне отец мой стоять за справедливость, разве он сам не боролся с преступной олигархией?»

Вечер был теплый, несмотря на легкий ветерок. Тонкая печаль исходила от лунного сияния, тихо проникая в смятенную душу. Осеребренные храмы, мосты и здания дремали в отдалении. Голоса людей плескались в воздухе, падая и вздымаясь.

Гракх вышел на форум, освещенный светильнями; они находились под медными навесами и чадили от дуновения ветра; пламя, часто мигая, рождало бесформенные тени, пробегавшие по каменным плитам.

Тиберий шел в глубокой задумчивости, не обращая внимания на попадавшихся навстречу женщин: проходили в тогах, с разрезом спереди⁸ шурша сандалиями; неслышно проплывали, как видения, изящные чужеземки в прозрачных туниках, сквозь которые виднелись молодые тела. Те и другие были в желтых париках, с наброшенными поверх светлыми капюшонами. Рабы сопровождали блудниц, исполняя их любовные поручения.

— Честные блудницы! — донесся чей-то голос, и Гракху показалось, что он где-то его слышал. — Я люблю их, особенно чужеземок.

— Пойдем в Субуру, — ответил другой голос, низкий, грубый. — Ночь тепла, как страстное дыхание девственницы. (Они захохотали.) Клянусь Юноной, у Целийского моста в лупанаре, который сегодня открывается, будет веселое торжество...

— Ты смеешься, Люций, какое торжество может быть в лупанаре?

«Люций Кальпурний Пизон», — с отвращением подумал Тиберий и ускорил шаги; он хотел выбраться поскорее из этого места, но спокойный ответ Пизона удержал его:

— Уверю тебя, Марк, что там торжество. Неужели Марк Эмилий Скавр откажется посмотреть на такое зрелище? Девственница вступает на путь любви, ее моют, одевают, украшают, сводник взимает с похитителя невинности полфунта серебра, а затем девушка продается кому угодно за одну золотую монету.

— Не пойду, далеко.

— Послушай, я расскажу тебе, как происходит торжество, — говорил Пизон, сладострастно хихикая, — я бывал не раз на этих празднествах.

— Главным участником? — засмеялся Скавр.

⁸ Некоторые блудницы носили тогу, подобно мужчинам.

— Вовсе нет. Я люблю наблюдать нравы, ведь я пишу «Анналы» — большой исторический труд от основания Рима до нашего времени.

— И ты вписываешь туда все лупанары и торжества в них? — издевался Скавр.

— Брось, Марк! Если хочешь слушать, то не мешай. Это понадобится для твоего жизнеописания. Ведь ты пишешь, правда?

— Пишу, — неохотно ответил Скавр.

— А записал, как ты заразился в плебейском лупанаре и как лечила тебя старая сводня?

Скавр вспыхнул, но сдержался:

— Язычок у тебя, Люций, как жало...

Гракх был раздражен подслушанным разговором. Он прошел мимо храма Кастора и направился в темную улицу, которая зияла, как черная яма.

«Куда я иду и зачем? — задумался он. — Искушать судьбу? Плебс отдыхает от тяжелых трудов, а я хожу по улицам, не зная, чем ему помочь. Когда я добьюсь трибуната, я не остановлюсь ни перед чем».

Он вернулся на форум и медленно пошел домой.

Молодая девушка, подросток, подбежала к нему, смело ухватила за его тогу:

— Пойдем, господин?

Тиберий хотел прогнать ее, но не решился.

— Не нужно, — тихо вымолвил он и сунул ей в руку монету.

Девушка отпустила тогу и с недоумением смотрела на него. Тиберий шел, не замечая ее. Она следовала за ним, прячась за выступы домов.

В темном переулке догнала его, схватила за руку.

— О, господин мой, — говорила она, всхлипывая, — ты добр, возьми меня к себе. Сжался над бедной, одинокой девушкой.

— Кто ты? Рабыня или свободная?

— Я римлянка. Мать моя умерла... Мы очень нуждались... Куда мне деваться? Я голодна. И сегодня я вышла (прости, господин!) первый раз...

Голос ее дрожал.

— У тебя есть разрешение?

— О, нет.

Гракх задумался. «А ведь таких девушек много... тысячи... И это республика?..»

Он взял ее руку, сжал в обеих ладонях.

— Как тебя звать?

— Тарсия...

— Ну, пойдем...

В атриуме был еще свет, когда Тиберий вошел с девушкой.

Он сразу увидел недовольство на лице жены и рассмеялся:

— Вот, Клавдия, привел я тебе помощницу. Приюти ее. Она одинока. Возвращаясь от Сципиона, я нашел ее на ступенях храма.

Жена не удивилась; она привыкла к неожиданностям со стороны мужа: то он приводил несчастных рабынь и стариков, которые ни на что не были пригодны, то девиц, оказывавшихся потом дерзкими лентяйками или воровками, то, наконец, избитых рабов, которых покупал у жестоких господ. Когда Клавдия упрекала его, что рабыня сбежала, совершив кражу, или сказала дерзость, он неизменно отвечал: «Чего же ты от них хочешь? Бедные, несчастные, забитые, они ищут для себя лучшего и если берут чужое, то не потому, что жадны, а оттого, что для них составляет удовольствие

иметь вещь, которой владели господа, держать ее в руках. Скажи, что они украли?» — «Рабыня унесла зеркальце, а раб золотое сердечко — буллу, которую носил наш умерший мальчик. Увы! — всхлипывала она. — Эта булла не предохранила его от смерти, а ведь золото имеет силу отдалять все злое». — «Что же делать? Жаль, конечно, как память, но ты пойми, милая Клавдия, одно: рабы, как дети: что блеснит — то и берут».

Вспоминал: через несколько дней жена, проходя мимо таблина, увидела золотую буллу на столе; удивившись, она позвала рабыню, и те объяснили: раб узнал, что госпожа плачет, жалея сердечко, как память о сыне, и передал его через девочку-рабыню, а на другой день вернулся и сам. Он раскаивался в своем поступке, валяясь у ног Клавдии.

Тиберий всегда находил слово оправдания: он жалел человека, любил его, и ему больно было, когда раба наказывали. В городе говорили, что Гракхи обращаются с невольниками лучше, нежели сам Сципион Эмилиан.

И теперь, когда муж привел неизвестно кого («Может быть, блудницу», — подумала Клавдия), девушку, которой никто не знает, она захотела отказаться от этой скромной («С виду, конечно», — подумала опять) девушки, топнуть ногою, выгнать ее за дверь, но, взглянув украдкой на нее, а затем на Тиберия, на его строгое лицо, с добрыми, кроткими глазами, она устыдилась своих мыслей и, подойдя к мужу, весело сказала:

— Ты хорошо сделал, что не бросил ее на ступенях храма.

Тиберий покраснел: он солгал, но так было лучше. Обняв жену, он поцеловал ее в губы.

— Не сердись, что я тебе надоедаю своей жалостью.

— Разве ты надоедаешь? Я горжусь, что у тебя великая душа римлянина.

...Его тянуло в кварталы бедноты, а зачем — он сам не мог себе объяснить. Было ли это смутное желание ближе соприкоснуться с действительностью, слиться с тяжелой жизнью плебса или стремление уже теперь начать свою деятельность, заручиться поддержкой ремесленников и разоренных земледельцев, толпами приходивших в город?

Встал чуть свет и, предупредив жену, что в этот день принимать клиентов не будет, вышел на улицу.

Рим медленно пробуждался. Дома, мимо которых он проходил, оживали: голоса рабов, визгливые возгласы невольниц летели за ним, как вспугнутые птицы, и, не успев утихнуть, сменялись свежими звуками; вольноотпущенники открывали свои лавки, переругиваясь с крупными торговцами; продавцы зелени толкали перед собой двухколесные тележки, нагруженные луком, чесноком, горохом, бобами; быстроглазые, растрепанные рабыни второпях покупали зелень, торгуясь из-за каждой унции; метельщики подметали улицы у домов своих господ.

Выйдя на Священную улицу, Тиберий остановился. Солнце не всходило, а улица кипела уже народом: открывались таверны, кабачки с пестрыми вывесками (одинаковое изображение бородатого раба с амфорой), красильни, лавки обуви, готового платья, золотых изделий, палатки менял. Высокие дома, неуклюжие и грязные снизу, оглашались разговором, смехом, криками, ссорами: они были переполнены (наплыв безземельных хлебопашцев, ищущих заработка, был велик), а управляющие-вольноотпущенники взимали плату за помещение «по одежде и облику» людей, вовсе не заботясь о добросовестности. Дома приносили громадную прибыль, и

вольноотпущенник наживался, обманывая нередко своего патрона.

Кутилы, по двое и по трое, шли заплетающимися шагами, поддерживая друг друга; после бурно проведенной ночи глаза у них были мутные, опухшие. Они ругались, задевая прохожих, и щедро получали от них пинки и тумачи.

У булочных толпился народ. Пирожники зазывали покупателей, расхваливая свой товар. Дети шли в школу; они покупали второпях пирожки с вареньем и бежали вперегонки со смехом и шутками. Рабы-проводящие едва поспевали за ними.

Гракс шагал быстро, как воин. Не останавливаясь, он пересек форум, на котором собирался уже народ, миновал храм Кастора и очутился в части города, заселенной беднотою.

Грязные улицы поражали нечистотами: нога утопала в соре и густой жиже помоев, которые выливались прямо на улицу. В мастерских кипела работа: в кузнице, устроенной почти на улице, кузнец и молотобойцы, в одних туниках, раздували горн, бухали тяжелыми молотами; портной, с огромными ножницами, болтавшимися у пояса, шил желтоватую тунику, ловко работая длинной иголкою; сапожник и подмастерье тачали женские полусапожки, поплеывая себе на пальцы; горшечники обжигали горшки чуть ли не на середине улицы, не заботясь о том, что прохожие могли задеть миски, уложенные в высокие колонны; а жены их, зазывая покупателей, продавали скопившиеся изделия.

На Тиберия не обращали внимания: каждый был занят своей работой.

Он подошел к кузнецам.

Старик, с багровым лицом, исполосованным мечами, раздувал горн; он искоса взглянул на Гракха, на его чистую тогу и, усмехнувшись, потупился. Взгляд его, казалось, говорил: «Не туда попал, господин! Посмотри, посмотри, как живут плебеи».

Тиберий, смущаясь от их взглядов, в которых светилось недружелюбие, спросил:

— Как живете, граждане? Давно оторвались от земли?

«Не то, не то нужно было сказать, — закружились мысли, — конечно, этот старик никогда не видал земли, а работники...»

Дружный смех плетью стегнул его по лицу, он вспыхнул, растерялся.

— Как живем? — заговорил старый кузнец, не переставая смеяться. — Разве не видишь — впроголодь!.. Работы мало, а хлеба не накупишься. Все мы от земли, пришли в город, кто когда: я раньше, а они, — указал он на молотобойцев, — в прошлом году. Все мы разорились. А я воевал под Карфагеном и в Греции..

— Что же республика? Старик дерзко засмеялся:

— Республика трещит, как узкая туника на гладиаторе. Так я говорю, Маний?

Портной вскочил, ножницы закачались, ударяясь об его колени, быстрые черные глаза остановились на Гракхе.

— Республика? Дело не в ней, а в сенате. Засели там жадные пауки, сосуд плебеев. Жизнь перевернулась. Завоевания убили нас, господин!

Тиберий удивился. Портной рассуждал не хуже любого сенатора, и вдруг мысль об охлократии, о которой презрительно отзывался Сципион, кольнула его: «Посади этого человека в сенат, и он докажет, что не Рим разрушил Коринф и Карфаген, а эти города разрушают нашу республику».

— Ты говоришь верно, Маний, но как найти выход из этого положения?

— А ты кто?

— Ты меня не знаешь. Я — Тиберий Гракс.

— Гракс? — вскричал старый кузнец, и улыбка растянула шрамы на лице. — Да я

тебя помню. Ты сражался под Карфагеном. Когда мы брали Мегару, предместье города, — повернулся он к молотобойцам, — Тиберий Гракх, во главе молодых воинов, взял башню, очистил стены города от неприятеля, открыл ворота, впустил консула с отрядом. Так была взята Мегара. А Газдрубал, карфагенский полководец, рассвирепел и казнил римских пленников на стенах города. Мы видели казнь, а помочь ничем не могли.

Тиберий протянул старику руку.

— Я рад, что встретился с воином, который был под Карфагеном. Как тебя звать? Тит? Ты помнишь, конечно, Сципиона Эмилиана. Обратись к нему.

— Нет, Сципион — плохой сторонник плебса. Тиберий опустил голову: он был того же мнения.

— Вот ты, — продолжал старик, не выпуская руки Гракха из своих заскорузлых рук, — ты должен был знать о земельном законе Лелия. А почему не поддержал его?

— Что ты, Тит, разве я — народный трибун, чтобы проводить законы, налагать на них вето.

— Но ты за нас! — крикнул портной, оглядываясь на ремесленников, сбежавшихся отовсюду, чтобы послушать нобиля, который пожимал руку кузнеца. — И мы тебя поддержим... отдадим тебе свои голоса...

— Увы, граждане, я уезжаю завтра в Испанию с консулом Манцином...

— Ну и что ж? Вернешься! — крикнул Тит.

— С каким это Манцином? — засмеялся портной, сверкнув зубами и глазами. — Ты говоришь о Гостилии Манцине?

— О ком же другом? — с недоумением спросил Тиберий.

— Этот Гостилий, когда был еще эдилом, любил совершать обходы лупанаров, преследовать волчиц⁹ разыскивать тайные притоны. Эдилы ходят с ликторами, а он решил, что ликторы — ненужные свидетели; в одиночку легче обижать блудниц, требовать бесплатных ласк. Однажды Манцин вернулся из обхода не пешком, а на носилках: он хотел силою ворваться к Мамилии, но грудастая волчица угостила его камешком, величиной с твою голову.

Все засмеялись, а Гракх поморщился: Манцин не нравился ему своей заносчивостью, самохвальством, дерзкими речами.

— Квириты, — сказал Тиберий, оглядев столпившихся вокруг него ремесленников, — я вижу, что большинство из вас, особенно молодежь, земледельцы, которые были вынуждены бежать в Рим в поисках работы и пропитания. Ваши участки проданы, вы разорились. Ваши семьи лишены куска хлеба и голодают. Рим наводняется толпами земледельцев: каждый день они приходят с юга, востока, запада и севера. Их труд заменяется дешевым трудом рабов. Справедливо ли это? Справедливо ли прижимать римлянина, лишать его хлеба, отнимать у него землю, которую он завоевал? Скажите, квириты, так ли я говорю?

— Верно, верно! — закричала толпа. — Земля была нашей кормилицей.

— Земля одевала нас!

— Наши овцы свободно паслись...

— Так вот, квириты, землю вы должны получить обратно...

— Эдилы, эдилы! — воскликнул кто-то.

⁹ Латинское слово *lupa* (отсюда «лупанар») имеет два значения: а) волчица; б) блудница, проститутка (примеч. А. И. Немировского)

Толпа бросилась врассыпную, и вскоре застучали опять молоты, началась торопливая работа.

Стоя у горна, Гракх дожидался эдила, перед которым шел ликтор.

Эдил, толстый, потный человек, с багровым лицом, приблизился к кузнице, оглядел ее, и, увидев нобиля, наблюдавшего за работой старика, подошел к ним.

— Кто ты? — спросил он. — И по какому праву собираешь народ?

Тиберий назвал себя.

Эдил поклонился и заискивающе улыбнулся:

— Как здоровье благородного Сципиона Эмилиана? Я давно не был у него, занятый служебными обязанностями.

Гракх сухо ответил, что Сципион здоров, и, отвернувшись, пошел к форуму.

Он был доволен сегодняшним утром: теперь он был уверен, что никто не оторвет его от борьбы, и смотрел радостными глазами на встречавшихся по пути рабов и плебеев.

Он вошел в атриум с улыбкою на лице.

— Где ты был, Тиберий? — вскричала Клавдия, бросаясь к нему. — За тобой приходили от консула Гостилия Манцина.

Гракх вспомнил презрительное отношение плебса к его начальнику и сказал:

— Пошли сказать, что я зайду к нему вечером, а этот остаток дня я хочу провести с вами.

В атриуме находилось несколько близких друзей: Диофан Митиленский и Блоссий, оба старики, в светлых хитонах, один задумчивый, медленный в движениях, и другой — веселый, подвижный; Квинт Элий Туберон, племянник Сципиона Эмилиана, с надменным лицом и презрительным взглядом; Гай Фанний, участник взятия Карфагена, сверстник Тиберия, хитрый, льстивый притворщик, и Гай Семпроний Тудитан, историк, работавший над «Книгой магистратов», человек честный, прямой, приятный в разговоре.

Тиберий ласково приветствовал друзей и, обратившись к жене, спросил, почему не вышла мать.

— Она занята переводом трагедии Эврипида, — ответила Клавдия, — но если желаешь, я скажу ей, что ты пришел.

— Прошу тебя.

Вошла Корнелия в сопровождении Гая, пылкого, стремительного юноши. Женщина седая, но еще крепкая, она держалась прямо, несмотря на свой преклонный возраст, и гордо закидывала голову, как будто была супругой первого лица в сенате.

Младшая дочь Сципиона Африканского Старшего, победителя Ганнибала, она, выйдя замуж за Тиберия Семпрония Гракха, родила ему двенадцать детей, из которых девять умерли в младенческом возрасте, и только трое остались в живых: два сына и дочь. Она любила детей той глубокой материнской любовью, которая была присуща матронам седой древности, а на сыновей возлагала огромные надежды, мечтая об их исключительной для республики деятельности. «Они — мое украшение», — говаривала она друзьям. «Они — мое украшение», — повторяла она, расхваливая Тиберия и Гая, и в ее взгляде сверкала гордость матери, родившей таких детей.

Младший сын Гай был привлекателен: высокий ростом, хорошо сложенный, он пленял римских красавиц. Ему недавно исполнилось семнадцать лет, и на нем была мужская тога, складки которой он то и дело оправлял, любуясь собою в большом зеркале. Щеголь, как большинство новой молодежи, он делал крупные издержки на

одежду, золотые украшения, драгоценные камни, и Корнелия безропотно покорялась воле младшего сына, не желая, чтобы он был одет хуже других и казался беднее небогатых сверстников.

Корнелия подошла к Тиберию.

Склонясь, он поцеловал ее руку.

— Я вышел так рано по небольшому делу. — И, целуя Гая в губы, прибавил: — А вчера ночью, возвращаясь от Эмилиана, привел в дом девушку. Ты видела ее, мать?

Корнелия кивнула и, кликнув рабыню, сказала:

— Позови Тарсию, я хочу видеть, хорошо ли ее вымыли и как одели.

Девушка робко вошла и остановилась среди атриума. На ней была новая туника и сандалии, лицо вымыто, волосы гладко причесаны.

— Скажи, Тарсия, довольна ли ты? — спросил Тиберий.

— О, господин мой, ты сделал для меня все... Ты спас меня...

— Что ты умеешь делать?

— Умею ткать и пряхь, занималась рукоделием. Когда она ушла, Корнелия обратилась к Блоссию:

— Сегодня я кончаю перевод «Медей», не будешь ли так добр просмотреть со мной начало?

— Я очень рад, что ты доверяешь мне ознакомление с этой работой.

— А теперь, друзья, посоветуйте мне, что перевести из Аристофана.

— «Облака», конечно, «Облака»! — единогласно воскликнули Диофан, Блоссий и Тиберий.

А Гай Семпроний Тудитан заметил:

— В «Облаках» осмеяны софисты, а это для нас, римлян, особенно важно: меньше будет увлекаться наша молодежь Карнеадом.

Тиберий провел этот день в семье, беседуя с матерью и друзьями, а вечером пошел к Гостилию Манцину. Консул объявил ему, что он отправляется в путь ровно в два часа¹⁰ и приказал явиться на форум без опоздания.

Собирая мужа в дорогу, Клавдия всхлипнула.

— Приезжай поскорее, — шептала она, целуя его руки и обливая их слезами, — я отвыкла от твоих путешествий и буду очень скучать.

V

Аврелий и Геспер шли по улице. Моряк говорил вполголоса:

— Надоела мне эта морская жизнь — всюду распушенность, пьянство, побоища. И отчего только Нептун не потопит все корабли вместе с людьми?

Навстречу валил народ: римляне в тогах, греки в хитонах, сицилийцы в разноцветных одеждах, похожих на хламиды. Рабыни, с детьми на руках, неряшливо одетые, злые, переругивались друг с дружкой, торопясь поскорее втиснуться в боковую улицу, до того запруженную народом, что всякое движение остановилось.

Улицы возбужденно шумели.

Геспер спросил стоявшего рядом ремесленника, куда бежит народ.

— Раба ведут на казнь, — ответил рослый бондарь, протискиваясь вперед.

Аврелий окинул глазами улицу и вместо того, чтобы присоединиться к толпе,

¹⁰ 2 часа по летнему римскому времени соответствуют 6 ч. 58 мин. утра по европейскому.

направился в противоположную сторону. Геспер, недоумевая, последовал за ним.

Аврелий шел быстро, как видно, торопясь. Геспер заметил, что город он знал: свернул в боковую улицу, прошел несколько шагов и остановился перед ветхим домиком (черепичная крыша зияла большими дырами; гнили и обваливались балки, и неизвестно было, как он еще держится).

Толкнув дверь, Аврелий проник внутрь — темный атриум был завален старьем; пахло потом, грязными, давно немытыми одеждами, кожей. Геспер, остановившись на пороге, увидел дряхлого старика, поднявшегося им навстречу.

— Кто такие? — говорил старьевщик, туря красные, воспаленные глаза. — Кого посылает ко мне добрый Меркурий, радетель о нуждах моряков?

— Неужели не узнал, дедушка?

— Это ты? А я было подумал, что...

— ...что меня перевозит Харон через Стикс.

— Ты угадал... Э, да ты, кажется, не один...

— Со мною друг. Наш путь в виллу Скавра... Старик покачал головою.

— Куда вы поедете? — зашептал он, озираясь. — Вся Сицилия кипит на огне Этны, как горшок с водою. А вилла Скавра находится как раз по дороге в Тавромений, — там расположился лагерь Эвн.

— А Клеон? Разве он не с Эвном?

— Клеон стоит поближе к Энне, а римляне наступают на Тавромений. Не знаю, как вы проберетесь.

— Мы подумаем, — молвил Аврелий, осматривая атриум. — Мне, дедушка, нужна одежда вольноотпущенника и старый пилей.

— Разве тебе надоело морское дело? — усмехнулся старик. — Кормят вас хорошо, в вине не отказывают, платят исправно, а приплыло судно к месту — ступай на берег, пей, веселись, люби девчонок...

— Это, дедушка, не жизнь.

— Что же ты задумал? Аврелий покосился на Геспера:

— А задумал то, о чем говорил с тобою.

— А не опасно? — осторожно спросил старик.

— А чего бояться? — пожал плечами Аврелий. — Я человек твердый...

Он не договорил и стал рыться в старье, подняв тучу пыли. Переодеваясь, он прислушивался: с улицы доносился глухой шум, голоса. Аврелий надел на голову пилей, шепнул:

— Что у вас делается в городе? Народ торопится, бежит; насилу мы к тебе добрались...

Старик вздохнул.

— Собираются казнить раба; он ударил своего господина, повалил на землю, стал душить.

— Задушил? — прошептал Аврелий с загоревшимся взглядом.

— Нет, оторвали его, — с сожалением произнес старик. — А раба присудили: водить по улицам, бить, а затем распять.

Шум приблизился.

Геспер и Аврелий выскочили на улицу. Прямо на них двигалась толпа, сдерживаемая легионерами: острия копий вспыхивали на солнце огоньками, шлемы ослепительно сверкали.

Впереди шел голый раб. Лицо его, потное, окровавленное, обросшее густой

бородой, с прядями черных волос, слипшихся на лбу, было дико. Он шел, несколько опустив голову, и озирался исподлобья: шея его была заключена в тяжелый кусок дерева, в виде длинной балки, и раскинутые руки пригвождены к нему. Сзади шли рабы, его товарищи, которые, по закону, должны были ответить за то, что не помешали покушению на жизнь господина: их ожидало строгое наказание — плети, пытка огнем. Но сын пострадавшего обещал смягчить им наказание, если они будут бить преступника, ведя его по улице от дома до места казни! Однако большинство рабов отказалось от постыдного предложения, и только несколько человек, самых низких и малодушных, согласились.

Раб медленно шел, и сзади сыпались на него жгучие удары тонких ивовых прутьев. Смуглая спина превращалась в ошметки мяса, и кровь стекала длинными нитями на запыленные ноги.

Это был образованный грек, попавший в плен вместе с Полибием в числе тысячи знатных ахейцев; гордый, он нигде не мог ужиться, и его наказывали за непокорность, переводили из одного места в другое, пока, наконец, он не попал к нобиллю, поселившемуся в Тиндариде.

Легионеры шли бесстрашно, с копьями наперевес: они спокойно следили за порядком и не препятствовали выбегавшим на середину улицы римским гражданам и гражданкам наносить удары преступнику. Один старичок, одетый в белую тогу с пурпурной каймой, может быть, курульный эдил, подскочил к осужденному и ударил его в зубы. Раб отшатнулся, чуть не упал от неожиданного удара, но не растерялся (из рассеченной губы текла кровь, темно-красная, густая, обагряя подбородок и мускулистую волосатую грудь): густой плевок залепил старичку лицо.

Визжа и ругаясь, римлянин бросился к центуриону, сопровождавшему раба: он требовал подвергнуть преступника самому жестокому наказанию тут же, на улице, но центурион объяснил, что ему приказано идти к месту казни, не останавливаясь, что он не имеет права истязать злодея своей властью. Тогда толпой овладело бешенство; она бросилась к преступнику, чтобы растерзать его, но легионеры остановили разъяренных мужчин и женщин копьями.

— Назад! — крикнул центурион, взмахнув мечом, сверкнувшим огненной полосой на солнце. — Еще шаг...

Толпа отхлынула. Она осыпала раба бранью, кидала в него камни, глиняные черепки, наносила удары бронзовыми кочергами, била его по щекам прутьями и бичами.

Раб шел. Это был сильный, выносливый человек. Деревянный ошейник давил шею, пригвожденные руки оцепенели, он их не чувствовал, кровь бросалась в лицо обжигающим жаром, туман застилал глаза. Сердце колотилось так сильно, что он задыхался.

— Воды...

Легионер, шедший рядом, поспешно поднес баклагу с уксусом к его губам. Раб глотнул, замотал головою. Рот и окровавленные губы побелели, но мысли прояснились, — стало легче.

— Не давай ему пить! — заревела толпа.

— Пусть издохнет, подлая собака!

— Смерть ему! Смерть!

В глазах раба просветлело. Он с благодарностью взглянул на воина, но тот, не замечая его умоляющих глаз, шел, зорко смотря по сторонам.

— Друг... Легионер чуть повернул голову. В шепоте раба ему почудилось не то приказание, не то призыв... Но воин, не моргнув глазом, продолжал шагать, прислушиваясь.

— Мое имя — Ахей... если ты меня спасешь... Легионер шел молча; лицо его пылало.

— Если ты ночью...

Раб пошатнулся: опять потемнело в глазах.

— Пей, — как сквозь сон, донесся до него ободряющий голос воина. — Идти уже недалеко.

Раб шел. А удары сыпались; вскоре к ним прибавилась острая разъедающая боль: он застонал.

Легионер обернулся: молодые матроны бросали рабу в спину щепотки соли. Воин подумал, дозволено ли это законом, и спросил подошедшего центуриона. Но тот сам не знал... Взглянув же на матрон, на окровавленную спину раба, на его бледность, он крикнул:

— Запрещено законом. Женщины отстали.

Впереди темнели городские ворота. Рабам и чужеземцам было запрещено выходить в военное время за город, и только римские граждане и вольноотпущенники пользовались этим правом.

От ворот до места казни было недалеко: предстояло пройти два стадия по дороге и свернуть в сторону, где чернело несколько крестов.

Солнце медленно склонялось к западу, но лучи его сильно пригревали землю. Слева дымилась Этна. Центурион, поглядывая на солнце, торопился. Он боялся, что не успеет. Он приказал идти быстрее. Люди ускорили шаг. Геспер и Аврелий шли почти рядом с легионером. За спиной они слышали голоса рабов, свист прутьев. Оба молчали.

— Кого бьете, жалкие ехидны? — послышался сзади шепот, и Геспер, оглянувшись, увидел Аврелия, который, ругаясь, шел уже рядом с рабами.

Шествие внезапно остановилось. Протяжный крик метнулся и замер. Раб упал.

Он лежал посреди пыльной дороги, с тяжелой колодкой на шее; окровавленная спина стала черной, как земля, — пыль, попавшая в раны, превратилась в густую липкую грязь, и она, эта грязь, жгла тело, вызывая зуд, доводящий до бешенства.

— Пить...

Третий раз легионер снял с себя баклагу. Приподняв голову осужденного, он влил ему в рот уксусу, помог встать.

— Дойдешь?

Раб не ответил. Он собрал последние силы, сделал несколько шагов, зашатался.

— Кто хочет помочь преступнику? — крикнул центурион. Геспер и Аврелий молча подошли, в нерешительности остановились.

— Как помочь? — растерянно спросил Геспер. — Под руки не возьмешь, пригвождены...

— Может быть, донесем его? — прервал Аврелий. — Мы сильные, а идти осталось недалеко.

Они подняли раба, приготовились нести, но сын нобиля воспротивился:

— Он ударил моего отца, едва не задушил, — и его нести? — закричал он, бросившись к Гесперу и Аврелию. — Пусть идет! Пусть ползет! Пусть, как хочет, добирается до смерти!.. Вставай, Ахей, вставай!

Но раб не шевелился.

— Встанешь ты, скотина? — ударил его молодой нобиль ногою в бок, но видя, что раб обессилел, сказал: — Пусть несет его, кто хочет.

Геспер и Аврелий подняли Ахея и понесли, один — обхватив ноги, а другой — спину; легионер шел сзади, поддерживая окровавленную колодку с раскинутыми руками.

С полей дул ветер, принося запах разлагающихся на крестах трупов; орлы и еще какие-то хищные птицы кружились над крестами с клекотом; голодные собаки, привлеченные мертвечиной, бродили неподалеку, но, услышав голос людей, скрылись.

Геспер, идя впереди, видел кресты — они возвышались, раскинув свои руки, черными призраками, мрачными, как тени Эреба.

Геспер насчитал пятнадцать крестов. Вид одного из них поразил его, вызвав ненависть к палачам. Висел мальчик; его остекленевшие глаза смотрели прямо, нагое тело было бело, и ступни малы, как у девочки.

Не спуская глаз с этого мальчика, Геспер подходил к крестам, позабыв о своей ноше.

— Налево! — крикнул центурион, и Геспер увидел рядом с крестом, на котором был распят мальчик, большой кол, вбитый в землю.

Раб вздохнул, встал с трудом на ноги. Глаза его встретились с глазами легионера, но он не увидел ни тени надежды на суровом лице воина. Только в глазах добровольных носильщиков вспыхивало не то обещание, не то тихая радость людей, долго искавших и нашедших, наконец, средство к спасению.

— Не бойся, мы тебя спасем, — шепнул Аврелий, но так тихо, что сам едва уловил свой шепот.

Раб задрожал, но овладел собою.

Между тем центурион позвал нескольких воинов и кузнеца. Легионеры принесли лестницу, приставили к колу и, взобравшись на нее, подтянули раба на веревке, а кузнец сильными ударами молота прибил ноги к колу.

— Удержится? — спросил центурион, раскачивая тело и не замечая, что гвозди разрывают ладони и ступни.

Легионер, поивший раба уксусом, сказал:

— Тело прибито крепко, спроси кузнеца.

— Хорошо. Ты останешься сторожить до II стражи. Можешь развести костер, а огонь возьмешь в караульне у городских ворот.

Ночь надвигалась, сопутствуемая прохладой. Тишина окутывала сицилийские поля. Люди пропадали в темноте, и легионер, опершись на копьё, долго смотрел им вслед.

Потом он подошел к кресту, позвал:

— Ахей...

— Пить...

Воин оторвал лоскут от своей туники, смочил его в баклаге и, надев на копьё, поднес к губам раба:

— Пососи.

Слышно было, как раб чмокал губами.

— Друг, сними меня... спаси... и ты получишь такую награду...

— Ты не дойдешь, Ахей, до деревни. И стража обнаружит бегство...

Две тени выросли рядом с легионером.

— Кто вы? — испуганно вскрикнул он.

— Не бойся, мы носильщики осужденного, — сказал Аврелий.

— И вы...

— Мы пробираемся в лагерь Эвна.

Легионер задумался: с некоторого времени в римском войске участились случаи перебежек легионеров на сторону неприятеля; привлекала раздача Эвном земель, свободная жизнь без притеснений и непосильных налогов. И воин решительно тряхнул головою:

— И я с вами.

Они отогнули с трудом гвозди, вбитые в ноги раба, вынули их и, опустив тело на землю, освободили ему руки, сняли с шеи колодку.

Раб был в беспамятстве. Он лежал неподвижно, как труп. Геспер влил ему в рот родосского вина. Раб пошевелился, вздохнул.

— Мы тебя понесем до деревни. Не знаешь, далеко ли идти?

— Пять стадиев, — прерывистым шепотом выговорил раб.

— Ты очень страдаешь, Ахей?

— Руки отнялись. Чем я буду мстить?

— Руки отойдут: ты истек кровью, ослабел. В лагере Эвна ты выздоровеешь.

Они подняли Ахея, завернули в плащ легионера и понесли. Раб стонал, метался: все его тело было в ранах, они кровоточили, голову охватывал шум, видения мглою проносились перед глазами, и он забывался тяжелым сном, нет — не сном, а каким-то отупением, от которого не хотелось освободиться. Он был мокр, точно искупался в реке, и, стиснув зубы, молчал. Только недалеко от деревни попросил:

— Друзья... дайте мне нож... на случай, если...

— Не бойся. Мы знаем, что делать.

В деревне они пробыли недолго: наняли земледельца и тотчас же выехали, стараясь добраться поскорее до военной дороги, которая соединяла Мессану с Тавромением.

— Мы поедем напрямик, — успокоил друзей Аврелий, — нужно узнать место, где еще нет римских легионов; там и проскочим в лагерь Эвна.

Дорогой они нагнали нескольких рабов, которые поспешно скрылись в ущелье гор. Аврелий громким голосом позвал их, успокоил и, расспросив, узнал, что Эвн стоит к северу от Тавромения, ожидая битвы с римлянами.

Они ехали весь день и всю ночь. Впереди полыхали величественные пожары — казалось, горит вся Сицилия, открылись все вулканы, и никому нет спасения. Навстречу попадались разрозненные стада овец, коров, табуны лошадей, — восставшие рабы отпустили на волю даже животных, и гордый клич: «Всем свободу» — носился по виллам, деревням и городам, сбросившим ярмо угнетения.

К утру они выехали на проселочную дорогу, смятую проходившими стадами и копытами римской конницы, и увидели вдали обугленные развалины вилл, кресты с распятыми на них нобилями и публиканами, и, подъехав ближе, — нагие семьи людей, которые недавно еще владычествовали и издевались над рабами: женщины, мальчики и девочки бродили среди разрушенных жилищ, стыдясь своей наготы, искали пропитания, но все было сожрано огнем, опустошено.

Увидев путников, они бросились к ним, со слезами на глазах умоляя о помощи, но Ахей хрипло рассмеялся:

— Взгляни, благородная матрона, на мое тело! Взгляни на мои руки и ноги и

подумай: справедливо ли покарал вас Юпитер?

В глазах его горела такая ненависть, что люди испуганно отшатнулись.

— Вот отлежусь, соберу войска, пойду по всему острову. Никому не будет пощады!

Он не мог больше говорить и, задыхаясь, опрокинулся навзничь.

Телега уезжала. Женщина с воплем упала на колени, и крики ее долго неслись им вслед. Люди угрюмо молчали. Только Ахей сказал с полубезумным смехом:

— Будет еще не то: трупами насильников станем удобрять поля!

Вечером они наткнулись на конный дозор пастуха Крития и были задержаны.

Говорил один Ахей. Он рассказал обо всем, ничего не утаивая и, указав на друзей, спасших его, крикнул:

— Едем к Эвну! А этот человек из Рима... Мы и там имеем друзей...

Критий вызвался проводить их к царю Антиоху, как он называл Эвна, и телега быстро покатила, окруженная всадниками.

VI

Геспер и Аврелий ожидали увидеть лагерь, погруженный в сон, незаметные караулы, возникающие внезапно рядом, услышать их тревожный оклик и грубые голоса военачальников. Но не то открылось перед их глазами: множество костров, издали похожих на пылающие угольки, было разбросано по полю, а ближе к дороге, огибая лагерь, возвышался укрепленный вал со рвом.

Тысячи людей работали дни и ночи без отдыха: одни, по римскому обычаю, воздвигали на валу прикрытие из толстых бревен, другие устраивали плетни, чтобы уменьшить давление насыпи на откосы, третьи вырубали с внутренней стороны ступени, иные рыли ямы, вбивая в них копья, острием вверх, и покрывая сверху прутьями — ловушки для неосторожного в бою пехотинца.

Кожаные шатры, разбитые не в строгом римском порядке, а как попало, чернели, вырисовываясь неуклюжими тенями на темном небе.

Остановив телегу у ворот лагеря, Критий предложил путникам пройти пешком до шатра царя Антиоха. Не возражая, они подняли Ахея и понесли вслед за Критием.

У шатра, самого высокого и просторного, где стоял караул, они остановились. Критий назвал себя страже и прошел внутрь. Через несколько минут он вернулся и крикнул Аврелию:

— Войдите. Царь желает вас видеть.

Они проникли в шатер, освещенный огромными светильнями, и остановились, опустив свою ношу на землю. Ахей застонал.

Низенький приземистый человечек, толстый, с желтым лицом и быстрыми подозрительными глазками, в царской диадеме, сидел на возвышении. Это был Эвн — вождь рабов. Услышав стоны, он несколько привстал, крикнул высоким голосом евнуха:

— Зачем принесли раненого?

Аврелий выступил вперед и стал рассказывать: по мере того, как он говорил, лицо Эвна багровело (толстая жила вздулась поперек лба), челюсть подергивалась.

— Не врешь?

И, вскочив, подбежал к Ахею:

— Подвиньте светильни, я хочу сам посмотреть.

Он взглянул на руки и ноги Ахея, ощупал ему спину.

— Будешь бороться за наше дело? Будешь мстить за себя, за наших братьев?

Ахей смотрел на толстого человека, на сверкающую диадему и думал, что теперь, быть может, рабы добьются освобождения, начнут жить человеческой жизнью. И ему больно было сознавать, что он лежит без пользы: когда еще заживут раны и кто будет о нем заботиться?

— Царь, ты добр и милостив, но я болен... я не могу сейчас бороться. Когда выздоровею, я соберу тысячи рабов и пойду на римлян. Я храбр, жизнь для меня — плевок: смерть душила уже меня...

— Ты останешься в моем шатре. Я сам буду тебя лечить... Вчера я беседовал с богами; они сказали мне: «Принесут к тебе человека, больного, избитого, приюти его, излечи». Это — ты. Я ждал тебя...

— На тебе, царь, милость богов, — сказал Критий.

Эвн усмехнулся, самодовольно оглядев приближенных, которые толпились у входа в шатер.

— Пусть подойдет гонец из Рима, — сказал он. Геспер вышел на середину шатра.

— Вождь, — молвил он, избегая называть Эвна царем, — потерпи немного. Я должен говорить с тобой наедине.

— Подойдите вы оба. Как тебя звать? Аврелий? А тебя, воин? Сервий? Вы желаете бороться за дело рабов? А почему вы бежали из римских войск?

— Царь, — сказал Аврелий. — Рим стал не тот, чем был. Жить невозможно... доблесть иссякла... народ голодает... богачи грабят... Я пришел помогать тебе...

— Говори.

— Я помогу тебе уничтожить публиканов и нобилей... Эвн расхохотался: смех его был похож на кудахтанье испуганной курицы.

— Хорошо сказал! Ох, как хорошо! Ха-ха-ха... Что скажешь, Критий? Такие люди нам нужны. Ну, а ты, Сервий?

— Я не мог терпеть зло и жестокость римлян: моего отца посадили в тюрьму за долги, землю взяли, скот угнали, жизнь испортили...

Эвн задумался:

— Куда мне вас назначить? В пехоту или конницу? Ахей, лежавший посреди шатра, приподнялся на локте:

— Царь! Я беру их себе. Это будут первые люди в моей коннице.

Эвн засмеялся:

— Больной и бессильный, ты уже принялся за дело. Это хорошо. Боги знали, кого мне прислать.

И, повернувшись к Критию, воскликнул:

— Позови писца и вождей... Посланец из Рима скажет, что хотят от нас враги.

— Вождь, я хотел говорить с тобой наедине, — возразил Геспер.

Но Эвн замахал руками:

— У меня нет тайн от моих людей. Пусть все знают, о чем мы будем говорить.

Вскоре шатер наполнился вооруженными военачальниками: входили бородастые рабы с копьями и мечами, старики с луками и дротиками, безусые юноши с дубинами и пращами. Большинство были сирийцы.

— Все собрались? — крикнул Эвн, усаживаясь на возвышении. — Где же писец?

Геспер удивился: рядом с Эвном стоял не раб, а человек свободный, в тоге, с виду римлянин.

— Вождь, — заговорил вольноотпущенник Фульвия Флакка, оглядывая рабов быстрым взглядом, — я выехал из Рима с поручением от моего господина. Называть его я не буду, да и незачем: ты его не знаешь. Мой господин приказал передать тебе этот меч и вазу со свитком папируса. Он сказал так: «Отдай Эвну и уезжай обратно. Привези что-нибудь от него в доказательство того, что ты выполнил поручение».

И он протянул меч и вазу вождю рабов.

— Меч хорош, — улыбнулся Эвн, пробуя лезвие на ногте, — и ваза не плоха, но важнее всего для нас — письмо твоего господина.

Он вынул из вазы папирус, подал писцу:

— Читай.

Писец развязал льняную нитку, развернул свиток:

— «Друг рабов и плебса, вождю Эвну.

Наступило время, дарованное богами несчастным рабам: вы восстали. Да поможет вам Юпитер и Минерва в вашей борьбе. Помните, что в Риме, Минтурнах и Синуэссе есть у вас друзья: мы подготовим там восстания. А ты, вождь, возмути рабов в Аттике и на Делосе: пошли туда верных людей. Постарайся завоевать поскорее всю Сицилию, изгнать оттуда римлян и греков, а с жестокими господами расправься так же, как они расправлялись с рабами. Попытайся захватить римские корабли в Сиракузах, чтобы охранять берега острова. Держись, не сдавайся, борись до конца. Я постараюсь, чтобы римский сенат послал меня для усмирения вас, восставших: помни, я буду бездействовать; это даст вам возможность укрепиться. Когда ты станешь владыкой Сицилии, когда у тебя будут корабли, захвати Липарские острова, иди на Италию: высади войска в гаванях, которые я подготовлю для борьбы, а в каких — уведомяю тебя. Следи, чтобы в войсках твоих не было пьянства, разврата, непослушания: пьяных строго наказывай, блудниц изгони из лагеря, дерзких, своевольных и непослушных рабов выдавай римлянам. Помни, что следствием всех этих зол бывает в войсках измена. Страшись ее. Не доверяй людям, которых не знаешь. Прощай».

Молчание залегло в шатре.

— Что скажете, братья? — спросил Эвн, окидывая собрание подозрительным взглядом. — Всем ли по сердцу советы друга? Что молчите? Выступил Критий:

— Царь, советы римлянина умны; видно, писал друг, а не враг.

У шатра послышался топот, прерывистый говор: пола распахнулась, и в шатер ворвался раб в оборванной тунике:

— Царь? Римляне...

Лицо Эвна преобразилось: он порывисто вскочил, легко пробежал, несмотря на свою полноту, через шатер, схватил меч и щит, крикнул высоким пронзительным голосом:

— Братья, вперед! Давайте бить врага, как били уже не раз!

И как был, в диадеме, выскочил из шатра, взобрался без посторонней помощи на низенькую, выносливую лошадку и помчался к воротам лагеря.

VII

Римляне наступали вдоль проселочной дороги, по которой несколько часов назад проехала телега с беглецами.

Уже светало, и в предутренних сумерках звуки казались обновленными, приобретая звонкую свежесть. Солнца еще не было, но уже на востоке заалела

полоска, похожая на край юношеской тоги.

Два легиона, построенных в три ряда, шли ровным шагом: впереди двигались гастаты, позади, на расстоянии фронта одного легиона, за промежутками между манипулами первой линии, велиты, и, наконец, задний ряд составляли триарии, воины, испытанные в боях. Тяжеловооруженные всадники находились на флангах.

Военные трибуны и центурионы шли, наблюдая за передвижениями рабов. Они видели огромные толпы, которые строились в широкий четырехугольник, внутри которого находился обоз, шатры и скудное имущество рабов, видели готовые к бою тесно сомкнутые колонны, очевидно, для того, чтобы прорвать римский строй, но когда появилась многочисленная конница — поняли, что благоразумнее было бы отойти за высокий вал и ждать подкреплений. То же подумал и претор Люций Гипсей, ехавший верхом между первым и вторым рядом воинов, но отступить было уже поздно.

По знаку претора войско остановилось. Знамена манипулов, с изображением рук и животных, заколебались. Не успела римская труба заиграть призыв к наступлению, как из гущи рабов выскочили пращники и осыпали римлян дождем камней. В ту же минуту заиграла труба, послышался рев рабов, претор взмахнул знаменем, римляне ответили боевым кликом и побежали на неприятеля. Вдруг в рядах произошло замешательство: на флангах, против которых Эвн с умыслом выставил слабые силы, чтобы отвлечь внимание римлян, рабы сомкнулись в тесную колонну, прорвали строй, и претор немедленно бросил в бой манипулы второго ряда. Засвистели копья, зазвенели мечи.

Критий, начальник конницы, разделил ее на две части: одну послал против правого фланга, а сам, во главе другой, бросился на левый фланг.

Началась жестокая сеча.

Охватываемые с обеих сторон, едва успевая выбивать то и дело прорывавшиеся колонны рабов, римляне держались недолго: после дружного натиска Крития началось постыдное бегство. Рабы, обезумев от радости, расстроили свои ряды и бросились неудержимой лавиной; истребляя людей, добивая раненых, не щадя сдававшихся в плен, они мстили за долгие годы мучений, издевательств, пыток и побоев. Кое-где римляне переходили в наступление, но, не имея сил удержаться, отходили или обращались в бегство. А битва мощно шумела топотом ног пехотинцев и всадников, звенела ударами мечей о панцири, свистела камнями и дротиками, гремела боевыми кликами, возгласами трибунов и центурионов, воплями, стонами, проклятьями, ржанием лошадей. И все эти звуки то сливались в один нарастающий гул, то, замирая, выделялись разрозненно, проникновенно и страшно.

Эвн бился в передних рядах, стараясь прорваться к Гипсею; дважды, во главе храбрецов, бросался он в гущу неприятеля (он хотел убить претора и захватить знамя) и дважды отступал. Но когда началось бегство римлян и Гипсей приказал играть отступление, Эвн закричал. Голос его, высокий, пронзительный, метнулся над легионами, над конницей Крития:

— Знамя, знамя!

Критий понял. Стегая горячего вороного жеребца плетью и призывая всадников в бой, он помчался за бегущими легионерами; он видел перед собой ускользящее знамя — то знамя, которое требовал царь Антиох, и не в силах протянуть руку, чтобы взять его, закричал:

— Братья, за это знамя — мешок золота!

Но знамя было уже далеко — римляне добрались до своего лагеря, где, укрывшись за валом, могли выдержать длительную осаду. Подъехав к Эвну, Критий спрыгнул с коня.

— Царь, — молвил он твердым голосом, в котором звучало недовольство, — почему ты не приказал этого раньше?

Эвн усмехнулся, похлопал его по плечу.

— Я видел твою храбрость, ты уцелел, урон у нас невелик — чего же больше? А знамя (он махнул рукой) не убежит. У нас будет много римских знамен, и я прикажу поставить их под ярмом у каждого шатра.

— Золотые слова, — сказал подошедший Аврелий.

Он находился в обозе, видел бой и удивился той храбрости, с которой рабы бросились на неприятеля, и той быстроте, с которой они разбили его.

— А много легло римлян?

— Они потеряли около половины бойцов, — ответил Критий. — Прикажи броситься на приступ. Мы победим. Знамя и голова претора будут у твоих ног.

Эвн усмехнулся.

— Ты горяч и безрассуден. Нужно сохранить войска для больших битв. Завтра мы пойдем вперед и прогоним неприятеля: он уйдет, как побитая собака. А сейчас нельзя. Будем хоронить павших, дадим отдых живым.

Увидев Геспера, он поманил его движением руки:

— Возвращайся в Рим и скажи своему господину: «Царь Антиох благодарит за дружбу и за советы; он хотел послать тебе знамя разбитого легиона, — это не удалось: претор поспешно бежал. Но к прибытию твоему на остров Антиох захватит много знамен и пошлет тебе». А пока передай ему это.

Эвн снял с шеи золотую тяжелую цепь и протянул Гесперу.

— Царь награждает своих друзей по-царски. Принимая цепь из рук Эвна, Геспер подумал: «Хотел бы я знать, у кого из убитых публиканов взял он это золото. И если он так легко расстаётся с этим богатством, то у него золота, наверно, груды».

Но Геспер ошибался: кроме этой цепи, отнятой в Генне у публикана Дамофила, истязателя рабов, подавшего своими жестокостями повод к великому восстанию. Эвн больше ничего не имел.

VIII

Проезжая через Этрурию, Тиберий еще больше убедился в необходимости начать борьбу.

Плодородные поля, богатые урожаями, звенящие песнями земледельцев, собирающих золотую жатву, которые он видел, возвращаясь из Карфагена несколько лет назад, обезлюдели, были в полном запустении: кое-где виднелись рабы на отдельных клочках земли, а дальше простирались огромные пустоши, и до них никому не было дела. Грубые окрики надсмотрщиков и пьяных виликов, стоны истязуемых невольников, — все это доводило Гракха до отчаяния.

Лошадь под ним была горячая, и он сдерживал ее, стараясь ехать рядом с консулом.

Гостилий Манцин, бородатый человек, с темно-красными, как пурпур, губами и орлиным носом, болтал без умолку, рассказывая о своих любовных удачах: правду ли он говорил или врал, но создавалось впечатление, что он неотразим. Он рассказывал

второй уже раз, только с иными подробностями, как жена всадника Манилия надоедала ему своей любовью, а он, не зная, как отвязаться от нее, послал на ночное свидание своего друга, вместо того чтобы пойти самому: матрона узнала об обмане и поклялась жестоко отомстить Манцину. Он говорил, что на него готовилось несколько покушений, но он каждый раз умело расстраивал их; наконец, это ему надоело, и он решил помириться с мстительной любовницей. Матрона приняла его приглашение на прогулку по берегу Тибра и, когда они проходили над кручей (внизу шумел опасный водоворот), толкнула его. Он упал, но успел каким-то чудом ухватиться за деревцо. Взобравшись на узкую тропинку, он не нашел уже матроны: убежденная, что Гостилий погиб, испуганная, не зная, что говорить мужу (Манилий знал, что она отправилась на прогулку с Манцином), который ожидал их, желая сыграть с Гостилием в кости, она убежала.

— Что же было дальше?

— Прибежала она домой, бледная, испуганная. Кричит: «Гостилий Манцин оступился в омут», — а я уже стою за дверью, слушаю. Только кончила она — отворяю дверь, вхожу. Как увидела она меня, вся затряслась, забилась: плачет и смеется. Насилу успокоили.

— Что же Манилий?

— А ему что? Видит, что жена успокоилась, спросил, как я выбрался из беды, и говорит: «Сыграем, а?»

Консул расхохотался. Но Гракх не очень верил хвастливым рассказам Манцина и, желая прервать скучную беседу, указал на поля Этрурии:

— Посмотри, благородный Гостилий, что делается: наших земледельцев не видно, точно вымерли. Скажи, что будет дальше?

Манцин сделал удивленное лицо:

— Как что? Обрабатывают понемногу землю... Торопиться некуда. А наши земледельцы — лентяи: плохо работали, влезли в долги, а потом осталось одно — продавать пожитки, отправляться в город.

— Но ты знаешь, что такое город для земледельца?

— Знаю: гибель. А что делать?

Тиберий не ответил: или Гостилий был туп, или глуп, или просто притворялся, что ничего не понимает.

В стороне от дороги показалась вилла, скрытая наполовину деревьями разросшейся рощи. Квестор предложил консулу заехать в виллу:

— Позавтракаем, отдохнем, а в это время рабы с кладью нас догонят...

— Их ослы, наверно, заупрямились, и мы сможем, в ожидании их, соснуть на сочном сене...

Гракх усмехнулся; беззаботность Манцина удивляла его. Подъезжая к ограде виллы, они слышали блеяние овец, рев быков, голоса людей.

— О-гэ! Кто там? — крикнул Гостилий, стуча рукояткой плети в ворота.

Несколько рабов появились из-за деревянного здания и тотчас же скрылись.

Рыжебородый вилик, увидев военачальников, низко поклонился, бросился отворять ворота.

— Чья вилла? — спрашивал между тем Тиберий. — И где господин?

— Вилла принадлежит Фульвию Флакку, а господин живет в Риме.

— Мы его друзья. Принимай гостей да пошли раба на дорогу, чтобы остановил наших людей с осликами...

Гракх осмотрел виллу и нашел ее в крайнем запустении: господин, видно, бывал очень редко, предоставив распоряжаться всем хозяйством вилику, и хитрый раб мнил себя единственным хозяином и требовал от подчиненных, чтобы они величали его господином.

Тиберий обошел запущенный виноградник и оливковые посадки. В винограднике работали три человека: двое срезывали виноградные кисти и укладывали в корзины, а третий относил их к дому вилика и передавал вилике. Рабы были старые, но еще крепкие: одетые в туники и деревянные башмаки, они неуклюже двигались, переговариваясь на неизвестном Тиберию наречии.

На участке оливковых посадок работа шла веселее. Молодые рабы бросали спелые оливки в корзины и несли помощнику вилика, который сам следил за работой трапета — тисков для выжимания масла. Это был широкий медный сосуд, с толстыми кругами, в большие отверстия которых продевалась железная палка; по ней двигались круги, раздавливая оливки.

Помощник вилика, юркий александриец, сказал, поклонившись Тиберию:

— Посмотри, господин, на этот трапет: я купил его в Суэссе за четыреста сестерциев, да круги оказались неровными: пришлось везти в Рим, чтобы приладили. И это обошлось еще в 30 сестерциев.

— А теперь трапет исправен?

— Работает хорошо. У нас таких трапетов два, но они не успевают выжимать всех оливок: я приспособил для этого медные сосуды, вместимостью в тридцать квадранталов каждый.

— Ну, а потом?

— Разливаем в бочки, в амфоры и отправляем в Рим.

— А выжимки?

— Мы отдаем их рабам, а если им не хватает, то добавляем по секстарию в месяц чистого масла...

На дворе работали невольницы: одна молола полбу на ручной мельнице, другая толкла бобы, третья — зерно, четвертая выбивала толстые плащи, тюфяки, одеяла, подушки. Неподалеку упрямый осел, подгоняемый бичом, лениво вращал мельницу; мучная пыль белым туманом висела в безветренном воздухе. Единственный свободный человек на вилле работал батраком, мало завися от прихоти вилика.

Это был крепкий человек, с беспокойными глазами, вспыхивавшими бешенством по ничтожному поводу, и с таким же угрюмым бронзовым лицом.

Отец его, старый легионер, отправился на Сицилию воевать с восставшими рабами, а сына своего Мария потерял из виду.

Марий пробовал обрабатывать землю, но быстро разорился; оставалось одно — идти в батраки, и он, покинув без сожаления родную деревушку Цереаты, находившуюся вблизи Арпина, отправился в Этрурию. Он много претерпел лишений, голодал, пока не поступил на виллу Фульвия Флакка.

С первых же дней он имел столкновение с виликом: он потребовал освободить рабыню, присужденную к ударам плетью. Вилик воспротивился; в пылу ссоры Марий схватил вилика за рыжую бороду и ударил его по щеке. «Раб, знай свое место! — крикнул он. — Повинуйся свободнорожденному». С этого времени вилик боялся Мария, и избегал его.

Увидя военачальников, Марий задумался: мысль поступить в легион, отправиться на войну, выслужиться овладела им. Остановив осла, он подошел к Тиберию:

— Господин, выслушай меня. Отцу моему свыше шестидесяти лет, и он сражался на Сицилии; я, его сын, был земледельцем, разорился и пошел в батраки. Возьми меня с со бой на войну, я молод, крепок, люблю народ, потому что я — плебей. И мне дорога слава и могущество Рима.

Гракх взглянул на юное лицо батрака, на его мускулистое тело:

— Тебе придется пройти суровую выучку, испытать много лишений... Я с консулом еду под Нуманцию.

Марий презрительно усмехнулся: он уже успел посмотреть на главного начальника и решил про себя, что этот человек ничего не стоит.

— Я поеду, куда прикажешь.

— Хорошо. Я переговорю с консулом.

И Тиберий принялся осматривать железные орудия (вилы, четырехзубые мотыги, заступы, косы, ножи для срезывания ветвей, топоры, щипцы для угольев, кочерги, жаровни), но не все нашел в исправности:

— Почему не радуете об имуществе господина?

Он собирался пройти с услужливым помощником в дом, где молодые невольницы ткали на станках тоги, но в это время послышался шум, — Манцин, ругаясь, бегал по двору: он часто озирался, обращаясь к рабам, но те его не понимали. Увидев Гракха, он закричал:

— Куда ты девался? Вот уже целый час, как я тебя ищу! Завтрак давно готов... Мы не успеем отдохнуть до прибытия рабов с кладью...

Тиберий, сдерживая улыбку, вошел в атриум.

Вилика, полнотелая рабыня, с высокой грудью, улыбаясь, поставила перед ними сковородку с жареной свининой, амфору с вином и нарезала толстые ломти теплого пахучего хлеба. Затем, налив каждому вина в широкие оловянные кружки, она низко поклонилась.

— Послушай, благородный Гостилий, на войну просится молодой батрак из римских земледельцев. Я обещал взять его под Нуманцию...

— И хорошо сделал.

Гракх отпил из своей кружки (вино показалось ему крепким) и принялся за свинину, но консул, не знавший ни в чем воздержания, выпил три кружки кряду и лишь тогда стал закусывать. Скоро он покраснелся, начал громко хвастаться победами над женщинами и опять потянулся к вину. Но Тиберий воспротивился: мигнув вилике на амфору, он подложил Манцину кусок свинины и стал его уверять, что отдыхать едва ли придется.

Консул вскочил, пытаясь идти, но, пошатнувшись, упал на руки квестора.

Гракх поспешил увести пьяного начальника на сено, раскиданное за домом. Душистое, оно опьяняло так же, как вино, и Манцин, повалившись, сразу же захрапел; да и Тиберий забылся было легким сном, но тотчас же вскочил. Он вспомнил, что они находятся среди рабов, которые могут сделать с ними, что угодно, и, ощутив меч у пояса, пожалел, что не сумел удержать консула от пьянства.

Появился вилик.

— Рабы приехали с кладью, — сказал он, поклонившись. — Что прикажет господин?

— Накорми их, но только не давай вина. Вилик опять поклонился, но не уходил.

— Пусть простит господин раба своего за дерзость: я хотел спросить, как здоровье нашего господина Фульвия Флакка, не собирается ли он на эту виллу?

Гракх вздумал испугать зазнавшегося раба:

— Господин твой здоров, а придет, должно быть, скоро; он говорил, что у тебя неполадки...

Вилик изменился в лице.

— О, господин мой! — вскричал он с испугом, и рыжая борода его затряслась. — Ты видел мое старание, но что я могу сделать? Господин мой не был здесь более трех лет; он только присылает эпистолы: «Люцифер, пришли денег».

— Скажи, почему рабы величают тебя господином? Вилик попятился от Тиберия:

— Меня?.. Да разве я приказывал им?... Они сами... Гракх положил ему руку на плечо.

— Послушай, друг, — тихо сказал он, — ты возвысился случайно; помни, что ты такой же раб, как и они. Не издевайся над своими братьями, Люцифер!

Вилик оторопело смотрел на Тиберия: он не верил своим ушам. Господин говорил с ним, как со свободным человеком.

IX

Лизимах поселился у стены Сервия Туллия. Нанятый дом принадлежал Сципиону Назике, и вольноотпущенник, заведывавший им, хотел было содрать с горбуна огромные деньги за год вперед, но хитрый грек, показав ему перстень Сципиона Старшего, объявил, что он, Лизимах из Пергама, — клиент Сципиона Эмилиана и занесен в книгу «Договоров с чужеземцами». Делать было нечего: пришлось назначить умеренную цену.

Лизимах не лгал, хвастаясь своим богатством: он скорее недооценил его, чем переоценил: атриум, таблинум, спальни — все блестело, сверкало, искрилось. Разноцветные вавилонские ковры устилали полы, десятки рабов уставляли комнаты затейливыми безделушками, изящными статуями греческих скульпторов, диковинными вещицами, привезенными, по словам хозяина, со «счастливых островов». В табличке было развешано дорогое оружие с рукоятками из слоновой кости, с золотыми инкрустациями, а посередине, на стене, горел на солнце, проникавшем сверху, щит Александра Македонского с изображенной на нем войной амазонок. На столе лежали редкостные папирусы, пергаменты и на видном месте большой брусок золота; но это был не брусок, а книга в золотом переплете — «Анабазис» Ксенофонта, о которой грек говорил своему патрону.

Десятки статуй, расставленных в атриуме, поражали своей белизной, мягкой строгостью форм: здесь были лучшие мраморы Эллады и Архипелага, прекраснейшие вазы Александрии, Коринфа, Экбатаны, Персеполя, труды сотен жизней, затраченных на то, чтобы воспроизвести красоту, создать удивительнейшее творение ума и рук человеческих.

Множество ваз толпилось вдоль стен. Большие были наполнены драгоценностями: в одних лежали благородные камни, в других — слитки золота, в третьих — золотые монеты, в четвертых — серебряные денарии, в пятых — еврейские сикли. Затем следовали, как чудачество хозяина, маленькие вазы с мелкой разменной монетой, пятью видами асса: семис¹¹ с изображением Юпитера, триент¹² — Минервы,

¹¹ Пол асса — 6 унций.

¹² Треть асса — 4 унции.

квадрант ¹³ — Геркулеса, секстант ¹⁴ — Меркурия и унция ¹⁵ с Минервой, олицетворяющей Рим. Иные вазы были наполнены дупондиями, составлявшими два асса, другие — сестерциями, стоившими четверть динария. Было много греческих, персидских, сирийских, лидийских, македонских, пергамских монет. Старательно разложенные по вазам, они составляли гордость алчного хозяина.

Но ценнее этих богатств были дочь и жена горбуна: юная Лаодика и молодая Кассандра.

Лизимах размышлял, следует ли приглашать патрона. «Сципион имеет право взять их в свой дом, поручить им заботу о своих книгах, а то и привлечь в свой кружок, где ценят и уважают умных людей».

Но позвать Сципиона нужно: могущественная защита и покровительство великого человека, который известен не только в римской республике, но и за пределами ее, были необходимы, если он предполагал жить и торговать в Риме; кроме того, он обещал жене и дочери показать этого римлянина, сурового, честного, строгого ко всем, а особенно к самому себе.

И все же он колебался: страх перед Сципионом, страх за жену и дочь терзал его. Он подарит ему «Анабазис» Ксенофонта, дорогую книгу в золотом переплете, предложит любую вазу с ее содержимым, любую статую, даже самую лучшую, доспехи Александра Македонского, лишь бы римлянин не искушал Кассандру и Лаодику своим кружком, умными речами Полибия.

Он вскочил, побежал в таблин, бросился к столу, раскрыл «Анабазис». На тяжелом литом переплете книги была сделана искусной рукой выпуклая надпись: Ксенофонт.

Ему вспомнилось, что эта книга — награда за услугу, оказанную Атталу III: царь получил в подарок редкостный папирус от Птолемея VII, но не мог в нем разобраться; созванные мудрецы объявили, что это неизвестные письма, и только он, Лизимах, прочитал папирус и удостоился благодарности. Аттал сказал: «Проси, чего хочешь», — и он выбрал эту книгу не потому, что любил Ксенофонта, а оттого, что золотой переплет весил много. Это была алчность, но тогда он думал так: «Царь богаче меня, и для него ничего не стоит потерять крупинку золота». А теперь? «Я богаче Сципиона, но мне жаль потерять этот слиток золота». Он схватил «Анабазис», прижал к груди.

— Не отдам, не отдам, — шептал он запекшимися губами, — что мое — не твое...

И вдруг вспомнил: он говорил Сципиону иные слова, лгал, изворачивался, чтобы стать клиентом. В таблин заглянула Кассандра:

— Что с тобой?

Он с усилием проглотил слюну, глухо вымолвил:

— Как думаешь, сегодня или завтра позвать патрона? Он надеялся, что жена скажет «завтра», но Кассандра выговорила с удивлением в голосе:

— Конечно, сегодня. Я пойду распорядиться по дому, нарядить Лаодику. А ты не медли — иди поскорее.

¹³ Четверть асса — 3 унции.

¹⁴ 1/6 асса — 2 унции.

¹⁵ 1/12 асса.

Но в этот день у Сципиона собирался кружок, и он не мог прийти. Напрасно Лизимах умолял его, соблазняя редкостными свитками и книгами, напрасно обращался к Семпронии за поддержкой, Сципион остался непреклонным. И когда грек, наконец, ушел, он сказал, хмурясь:

— Этот горбун противен. В нем есть что-то отталкивающее.

На другой день, когда его менее всего ожидали, Сципион отправился к Лизимаху, не как гость, а как патрон к своему клиенту.

Входя в атриум, он увидел сперва Кассандру, затем Лаодику, но ничем не выказал своего восхищения. Женщины вскрикнули при виде чужого человека.

— Я пришел навестить своего клиента, — холодно сказал он, — здесь живет Лизимах из Пергама?

Кассандра поняла, что это Сципион, и поклонилась:

— Привет великому римлянину, нашему патрону! Пусть добрые боги сохранят его на долгое время.

И, повернувшись к дочери, заговорила по-гречески:

— Поклонись, Лаодика, гостю, займи его, пока я вернусь. Девушка приветствовала Сципиона ласковыми словами, «солнечной», как подумал он, улыбкою: ему показалось, что все осветила эта улыбка — и атриум, и его, Сципиона, согрела душу. Ему захотелось излить свое сердце в искреннем восторге, крикнуть ей, что она божественна, но он подавил в себе порыв:

— Скажи, отец не дома?

— Он вышел, но вскоре должен вернуться.

Сципион прошелся по атриуму: под ногами лежали вавилонские ковры с изображением висячих садов Семирамиды, охоты на дикого кабана, кулачной борьбы юношей.

Лаодика не спускала глаз с патрона: он понравился ей гордой осанкой, спокойной беседой, холодными глазами, которыми равнодушно смотрел на азиатскую роскошь, и только удивило ее, что не любит ее, хотя бы исподтишка, не восхищается ее нарядом, не говорит приятных слов, которые она привыкла слушать от многочисленных юношей Пергама; едва владея собой, она подошла к нему, заглянула в глаза:

— Ты очень строг. Разве тебе у нас не нравится?

— Почему ты так думаешь? Мне все нравится: и эти ковры, и вазы, и статуи, и столики...

— А я? — перебила она его, и опять все преобразилось, стало иным, как будто мир увидел он впервые, и не таким, как его знал, а полным красоты и гармонии.

— И ты нравишься, — зазвучали спокойные слова, — и пожалуй больше всего этого (он обвел рукой нагроможденные богатства), потому что ты — живой человек, а это — бездушные предметы.

Лаодика вздохнула. Она ожидала иных похвал, восторженных, пылких, когда мужчина теряет голову, дрожит от восхищения и страсти.

Вошла Кассандра. Она взглянула на дочь, на Сципиона и ничего не поняла.

— Может быть, ты мне покажешь книги и свитки твоего мужа? Я зашел на короткое время.

— О, прошу тебя, не уходи! — с мольбой воскликнула Кассандра. — Твое посещение — праздник для нас... Я покажу тебе все, что захочешь, только не уходи...

И она бросилась в таблин, крикнув с порога:

— Войди, прошу тебя. Ты можешь сесть и, не торопясь, просмотреть свитки...

Среди груды книг и свитков лежал Ксенофонт: переплет сиял червонным багрецом золота; четко выделялась надпись. Он отстегнул застежки и стал перелистывать: тонкий пожелтый пергамент хранил отпечатки грязных пальцев, пятна раздавленных насекомых, седую пыль, живую ползающую моль.

Он внимательно осмотрел книгу и, застегнув, положил на место. Потом развертывал свитки папирусов, пахнущих тысячелетней древностью, египетских, греческих, персидских, пергамских, лидийских, и глаза его разбежались. На полу он нашел карманную книжечку в серебряном переплете, с изображением тела павшего в бою Гектора, и, раскрыв ее, прочитал первые строки любимой поэмы.

Кассандра не спускала с него глаз. Лаодика стояла рядом с матерью, впервые объятая скорбной думою: она удерживалась от слез и опустила глаза, боясь, чтобы римлянин не увидел ее горя.

Но Сципион ничего не замечал. Развертывая и свертывая свитки, он говорил:

— Счастливый человек твой муж, Кассандра! Он богат, имеет много папирусов, может спокойно разбираться в них, не помышляя о завтрашнем дне.

Он встал, расправил на груди складки тоги, улыбнулся:

— Благодарю тебя за удовольствие, которое ты мне доставила. А Лизимаха ждать я не могу.

Он поклонился и вышел в атриум. Кассандра выбежала вслед за ним.

— О, господин мой, — воскликнула она, смущенно протягивая ему Ксенофонта. — Прошу тебя, возьми эту книгу. Мой муж приготовил ее для тебя, как скромный подарок... в знак благодарности за твое сердечное отношение...

Она запуталась и, покраснев, беспомощно взглянула на дочь. Но Лаодика была грустна: стоя позади матери, она думала, что сила не в красоте, а в чем-то другом, и слушала звучный голос Сципиона, не понимая слов.

А он говорил:

— Благодарю тебя и твоего мужа, но я не могу принять этой прекрасной книги...

— Но почему же нет, почему? — в отчаянии вскрикнула Кассандра.

— Потому, что я не привык получать, а привык сам дарить.

Х

Почти одновременно вспыхнули восстания рабов в окрестностях Рима и на виллах крупных нобилей. Рим расправлялся беспощадно.

Сперва было подавлено восстание в столице, где вооруженные рабы пытались захватить склады оружия, чтобы раздать его недовольным.

Следствие велось с невероятной жестокостью: рабов били палками, секли плетью, бичами-скорпионами с грубыми веревками, в узлы которых были вшиты куски острого железа и иглы, накладывали на руки и ноги колодки, бросали в раскаленные печи, выгоняли на растерзание диким зверям, жгли на медленном огне, требуя выдать зачинщика, но рабы молчали. Умирая, они проклинали Рим, взывали к богам о мести, и народ содрогался от ужаса, ходил как безумный: ремесленники не могли спокойно работать, дети нобилей и плебеев просыпались по ночам с плачем, а по утрам вставали с жалкими, тревожными лицами; даже судьи чувствовали себя нехорошо и, отправляясь на очередную пытку, спрашивали друг друга шепотом: «Скоро это кончится?»

Но сенат был неумолим: он требовал найти зачинщика, боясь, что если враг останется на свободе — беспорядки повторятся.

Восстания в провинциях были крупнее, но по ходу своему похожи на италийские бунты, и это устало нобилей; притом Сицилия, житница Рима, была в огне жестокой борьбы: рабы разбивали римские легионы; Эвн соединился с разбойником Клеоном, который взял смелым приступом Агригент; наступление рабов угрожало существованию богатой римской провинции, славившейся хлебом, вином, оливковым маслом; новый полководец Ахей казался непобедимым: он захватил Тавромений и Мессану, увеличил число восставших до двухсот тысяч. Сенат был в ужасе.

Сицилия, взятая на откуп публиканами, не давала доходов, а по договору с государством они обязаны были платить ежегодно огромные суммы. Но это было не все. Тридцать тысяч югеров пахотной земли, которой владели восемьдесят четыре публикана, находились в запустении: на них паслись стада сирийцев-рабов, ставших теперь свободными.

Когда публиканы обратились к Муцию Сцеволе за советом, старый римлянин сказал, не скрывая к ним своего презрения;

— Кто, как не вы, повергли остров в смуты? Вы поощряли ночные нападения рабов на мелких собственников, стараясь вынудить их продать земли богатым соседям. Вы подкупали шайки пастухов, чтобы они угоняли скот земледельцев, поджигали виллы. Вы общались с Дамофилом, богачом Энны, который своими издевательствами над рабами вызвал восстание. Вы, все вы!.. Уйдите прочь!

Он был возмущен наглостью этих людей, осмелившихся придти за советом после того, как они довели Рим до таких потрясений, поставили под угрозу существования житницу Италии. За Сицилию Рим боролся долгие годы с Карфагеном, за нее умирали тысячи и десятки тысяч доблестных сынов Рима, а теперь...

Муций Сцевола закрыл полою тоги свою седую голову и с презрением удалился.

А в это время виновник всех этих восстаний, непримиримый заговорщик, враг правящей олигархии, сидел в своей этрусской вилле, пил вино и, полузакрыв глаза, думал о своей жизни.

Детские годы его протекли вдали от Рима, в сицилийском поместье, близ Катаны. Отец его, нобиль из рода Фульвиев, разбогател, служа пропретором в Испании, и умер, когда сыну не было еще десяти лет. Матери своей мальчик не помнил — она умерла на шесть лет раньше отца, и воспитанием его занялась тетка, женщина образованная; она научила его не только родному, но и греческому языку, а позже пригласила и риторов. Любопытный мальчик учился хорошо, а свободные часы проводил в эргастуле, на мельнице, на винограднике, среди рабов. Завидев его, они прекращали работу и дожидались, когда он подбежит, скажет ласковое слово. Он держал себя как равный с равными, шутил, смеялся, и так, быть может, продолжалось бы долго, если б не один случай, перевернувший всю жизнь мальчика.

Ему шел пятнадцатый год, когда умер старый вилик и на его место был принят черноротый человек, с неприятными колючими глазами. С первых же дней мальчик почувствовал, что жизнь рабов изменилась. Однажды он услышал крики в эргастуле. Проникнув в полуподземное помещение, он задрожал от ужаса: любимый им старик-раб был обнажен и привязан к столбу; два эфиопа били его плетью; истекая кровью, он, обессиленный, стонал, захлебываясь и взвизгивая, а вилик кричал: «Скажешь или нет?!» Мальчик бросился к старику, оттолкнул эфиопов. Они

повалились ему в ноги. Он повернулся к вилику с бешенством в глазах: «За что?» Вилик презрительно усмехнулся: «Так надо», — дерзко ответил он и вдруг отшатнулся: мальчик, схватив плеть, стегнул его по лицу. (Вспоминая теперь об этом, Фульвий Флакк не понимал, как это случилось.) Вилик упал на колени, умоляя о прощении, а он, мальчик, приказывал рабам освободить старика, поручить заботам невольниц.

Это был обыкновенный случай: вилик воровал господский мед, а старик подстерег его и поймал на месте преступления. Боясь, что дед донесет на него госпоже, вилик стал мстить. У мальчика открылись глаза: он понял, что рабы бесправны, как скот, их положение безвыходно.

Однажды он увидел, как засекли насмерть двух невольниц, заподозренных в краже перстня (перстень вскоре нашелся в спальне матроны). Окруженный рабами, он стоял над нагими невольницами, смотрел на бездыханные тела, с отчаянием сжимая кулаки, и поклялся бороться за угнетенных людей.

«И я не отступил от клятвы, — подумал он, — после смерти тетки я приказал обращаться с рабами по-человечески, завел на своих виллах новые порядки... А теперь — слава богам — рабы восстали, и я буду помогать им...»

Подошел рыжебородый вилик, и Фульвий Флакк сказал:

— Ты, Люцифер, ничего не смыслишь. Вчерашние твои речи — пустая болтовня. Выбирай, что лучше: бороться, не жалея жизни, или работать, как вол, и оставаться животным?

— Господин мой, ты мудр и знаешь, что для нас лучше. Но в Риме жгут рабов, распинают на крестах... А если мы ничего не добьемся?

Фульвий дернул багровую бородавку на левой щеке, негодуя выпятил тонкие губы.

— «Если» говорит только трус, — быстро вымолвил он, протянув кружку молодой невольнице с высокой грудью, — ты должен быть уверен, что мы победим.

Он провел рукой по редющим волосам на макушке, задумался: «Никакая сила в мирене может подавить воли народа: плебс в единении с рабами, только в союзе с ними, способен победить и зажечь новой свободной жизнью».

Он улыбнулся, хлопнул вилика по спине:

— Что же ты стоишь? Садись.

— Я раб, господин...

— Я отпускаю тебя на свободу...

Люцифер побагровел, оглянулся на вилику и умоляюще сказал:

— Господин мой, я знаю, что ты добр, но ты любишь пошутить...

Флакк пристально посмотрел на него:

— Не веришь?

— Верю, господин, верю!

— И ты, Нимфа, тоже свободна, — обернулся он к вилике, — только не скупись, прошу тебя, на вино...

Вилика испуганно подбежала к столу.

— Господин мой, осталась только запечатанная амфора хорошего вина... Помнишь, ты сам оставил ее, когда приезжал три года назад с нашей госпожей...

Фульвий расхохотался:

— А я и позабыл о нем. Тащи сюда! Когда вилика вышла, он сказал:

— Я пробуду здесь несколько дней. Приготовь для меня комнату да прикажи

рабыням принести мне на ночь винограда, меда, сыра, оливок и вина. Да холодной жареной свинины...

— Господин ждет кого-нибудь? — робко спросил вилик.

— Жду.

Вилика вдвоем с рабыней принесла запыленную амфору. Сняв толстый слой смолы и оторвав тессеру, табличку, на которой было написано название вина и емкость сосуда, она налила в чашу густого пахучего вина.

— Садись и ты, Нимфа! Попробуй родосского вина.

Он пьянел, но говорил не путаясь. Одолевала дремота. В голове шумело.

— Амфору отнеси в мою комнату. Да послушай, Нимфа, проводи меня... Я плохо держусь на ногах...

Рабыня обхватила господина обеими руками, крикнула вилику:

— Неси вино за мной. Что сидишь, как курица?

Ночью примчался всадник на взмыленной лошади и громким голосом разбудил спавшую виллу.

— Господин здесь? — кричал он и, не дождавшись ответа, спешился, постучал в дверь дома.

Вилика, спавшая рядом с Флакком, вскочила, приоткрыла дверь:

— Кто там? Да, господин приехал. Он спит.

— Разбуди.

Фульвий вскочил, озираясь в темноте. Вилика вошла с горящей лучиной. Увидев Геспера, он задрожал от радости:

— Говори.

Вольноотпущенник рассказал подробно, как ехал, где был, о чем говорил с Эвном, какие силы у рабов и римлян, и радостно воскликнул:

— Эвн на моих глазах разбил претора Гипсея!

— А что слышал о Клеоне?

— О Клеоне говорят, что на Сицилии он был пастухом лошадей и разбойником, — рассказывал Геспер, — а родом он из Команы каппадокийской и верит в пророческое призвание Эвна; он считает его посланником богов...

— Сенат надеялся, — усмехнулся Флакк, — что рабы Эвна перегрызут глотки рабам Клеона, но случилось иначе. Вера Клеона объединила пастухов, и он отдал себя под начальство Эвна; он понял, что только единство способно принести победу. Клянусь Церерой, они не дураки! И пусть помогает им Матаврийская Артемида, если она в силах!

— У Клеона есть брат Коман. Он воюет под начальством своего брата. Его конница славится стремительными налетами.

— Расскажи лучше об Эвне...

— Господин, ты, конечно, слышал о Дамофиле, жестоком публикане, и его жене Мегаллиде, которые истязали своих невольников. Рабы задумали восстать и спросили совета у Эвна, сирийца из Апамеи, который слыл чудотворцем. Говорят, ему явилась сама Атаргатис и предсказала, что он будет царем...

— Глупости!

— Не знаю, господин, но это все говорят. И вот Эвн возвестил рабам Дамофила, что милость богов будет с ними. Тогда рабы восстали, захватили Энну, а Гермий и Зевкис, лучшие вожди в войске Эвна, убили Дамофила, а Мегаллиду отдали рабыням. После избиения она была сброшена со скалы. А дочь Дамофила пощадили. Это была

ласковая, милосердная к рабам девушка, и Гермий отвез ее к родственникам в Катану...

— Говори об Эвне, — повторил Фульвий.

— Став царем, он учредил народное собрание из рабов и свободных, изменивших Риму; там решаются государственные дела, выносятся смертные приговоры, проводятся законы. Одновременно Эвн создал военный совет...

— Говорят, Эвн жесток: он сам убивает людей...

— Господин мой, он заколол Антигена и Пифона, своих прежних господ, которые издевались над ним, но он пощадил оружейных мастеров и тех богачей, кто дарил ему кушанья на пирах Антигена и слушал его предсказания. Он справедлив, а не жесток. Флакк задумался.

— Докажи, что все, сказанное тобой, правда.

Вместо ответа Геспер протянул господину золотую цепь.

— От Эвна?

Он кивнул, повторив слова вождя рабов.

— Хорошо, — сказал Фульвий, — ты голоден и устал. Ешь, пей и ложись.

На другой день он собрал рабов и объявил им, что вилла переходит в собственность Геспера, а они свободны.

— Желающие, — прибавил он, — могут остаться здесь не как рабы, а как свободные люди.

— Прими нас в свою клиентелу, — попросил вилик, низко поклонившись, — лучшего патрона, чем ты, не найти во всей Италии... Разреши нам поселиться в Риме, быть при тебе, охранять твою особу...

— Вы свободны, — ответил Флакк, — и можете жить, где хотите. Я буду рад, если число моих клиентов увеличится.

Он отозвал Геспера в сторону, сказал:

— Не благодари, ты честно выполнил мое поручение. Когда будешь в Риме, зайди ко мне: я подарю тебе лавку на Эсквилине, и ты сможешь туда отправлять свое вино, оливки и сыр.

XI

Время, проведенное в Испании Тарраконской под Нуманцией, Тиберий Гракх считал самым позорным пятном римской жизни, пятном на честном имени рода Семпрониев.

С одной стороны, его удручало разложение легионов, с другой — подлость алчных сенаторов, которые заискивали перед богатыми публиканами. Рим, гордившийся честью и доблестью Регула, больше не умел держать слова.

...С первых же дней прибытия под Нуманцию Гостилий Манцин стал терпеть поражения, и это вызвало упадок духа в подавленном неудачами войске.

По ночам нумантийцы делали отчаянные вылазки. Они нападали на рабочие отряды, возводившие укрепления, убивали людей, уводили в плен, разрушали трудную работу, сделанную за день. В короткое время были сожжены две осадные башни, испорчены тяжелые метательные орудия и разрушен мост через Дурий.

Лагерь под Нуманцией был позором для римлян. Праздная толпа, состоявшая из жрецов, гадателей, римских и восточных торговцев вином, разносчиков, рабов, блудниц, возмущала Тиберия: в палатке одного военного трибуна жила гетера.

Он обратился к консулу, советуя ему разогнать эту толпу, но Манцин пожал плечами.

— Зачем лишать легионера удовольствия? Он жертвует своей жизнью и потому имеет право выпить кружку вина, провести ночь с женщиной. Ведь и ты, — засмеялся он, заглянув в грустные глаза Гракха, — непременно будешь иметь девчонку.

— Прошу тебя, перестань! — с раздражением ответил Тиберий. — Человек, у которого есть жена, не должен помышлять...

— Жена, жена! — перебил его консул. — Жена хороша дома, а в дороге, на войне, в путешествии...

Гракх не дослушал его. Он понял, что Манцин не тот полководец, который может взять Нуманцию.

В своей палатке Тиберий нашел Мариа, который вернулся с строевых занятий. Недавно еще полунагой батрак, он теперь был одет, как все легионеры: на нем была шерстяная туника, плащ до колен, короткие кожаные шаровары и тяжелые подбитые крепкими гвоздями калуги с ремнями, обвивавшимися вокруг ноги. Большой меч висел на правом боку. А на голове красовался меднокожаный шлем с черной кристой из конских волос.

Марий бросил свой панцирь и деревянный щит, обтянутый бычьей кожей и покрытый листовым железом, на землю, а метательное копье прислонил к раскладной кровати Тиберия.

— Прости, что я вошел без твоего позволения, — сказал он громким, звучным голосом, подымаясь навстречу, — но я хотел поговорить с тобою.

Гракх, подружившийся с Марием во время совместного путешествия из Этрурии в Испанию, пожал его руку: — Ты знаешь, я всегда рад твоему посещению.

— Я хотел сказать тебе, что наши легионы ничего не стоят. В первой же битве они будут смяты, побеждены. Сегодня на учении центурионы были пьяны, а трибунов не было вовсе.

— Я говорил консулу, что нужно разогнать эту праздную развратную толпу.

— Что наш консул? — презрительно засмеялся Марий, и мрачные глаза его засверкали. — Нуманцию нужно брать, а не проводить под ней весело время.

— Хорошо сказано, но что бы ты предложил? Марий нахмурился.

— Не мне, легионеру, давать вождям советы. Но если хочешь, скажи консулу, что следовало бы произвести разведку со стороны Дурия. Мне кажется, что осажденным подвозят провиант рекою...

— А ты бы пошел на разведку?

— Почему бы нет? — оживился Марий. — Если пойду, то приведу пленного.

В эту ночь Тиберий долго, не ложился; читал письмо от Аппия Клавдия, своего тестя, в котором старик, упрекая Сципионовский кружок в бездеятельности, излагал свои мысли о проведении земельного закона.

Вдруг в лагере послышался шум, звон мечей, крики: «К оружию».

Гракх выскочил из палатки, но в темноте не мог ничего разглядеть. Небо и земля казались одним безграничным черным покрывалом. Крики со стороны осажденного города усиливались.

Тиберий побежал к палатке Манцина. Консул уже встал. Увидев квестора, он сказал:

— Проклятые нумантийцы! Даже ночью не дают покоя.

Шум усиливался. Мимо палатки пробегали воины; Тиберий различил громкий

голос Мария, его грубую ругань. Он вышел наружу, крикнул:

— Нападение, что ли?

— А кто его знает? — равнодушно ответил молодой легионер (свет из палатки упал на его красное лицо).

— Как ты смеешь так говорить? — вскричал Гракх. Но легионер, нахально подбоченясь, возразил:

— А ты не кричи!

Он не договорил: выскочил Манцин, ударил его по щеке, сбил с ног и стал топтать.

— Так-то ты, подлец, службу несешь, — кричал он, с бешенством нанося ему удары, — так-то ты...

Прибежал легат:

— Враг проник в лагерь, манипулы выбивают его... Где трибуны? Ни одного на месте! Легионеры ропщут...

Манцин беспомощно опустил руки.

— Труби тревогу, — крикнул Тиберий. — Поднять трибунов, пьяных сечь прутьями, спящих — к ответу!

Он задыхался. Голос его звучал громко, твердо.

Заиграла труба. Послышались крики торговцев, прорицателей, разносчиков, плач полуодетых женщин. Центурионы и трибуны помчались к палатке консула, одеваясь на ходу.

— Вперед! — крикнул Манцин. За ним повалили гурьбой сонные начальники.

Когда они скрылись в темноте, Гракх стал обходить палатки трибунов: он заглядывал внутрь каждой, но в темноте не мог ничего различить.

Проходя мимо палатки трибуна, у которого, по слухам, жила гетера, он услышал сдержанный смех.

Он поднял полу, вошел внутрь.

Полураздетая женщина вскрикнула, набросила на себя пурпуровую хламиду; юноша вскочил, крикнув:

— Как смеешь входить без позволения? Но, узнав Тиберия, побледнел:

— Прости, я не узнал тебя, квестор!

— Трибун, ты слышал тревогу?

— Слышал.

— Почему не пошел в преторий?

— Я болен.

— Чем?

— Боли в ногах.

Гракх удивился нахальной изворотливости трибуна и сказал:

— Покажешься завтра; врачу. Но скажи, трибун, что бы ты делал с больными ногами, если бы шел бой у твоего шатра? Неужели ты лежал бы с женщиной? Смеялся? Целовал ее? Или ноги — только отговорка?

— Клянусь Юпитером Капитолийским, я нездоров! Гетера смотрела на Тиберия, не спуская с него глаз, но он не замечал ее.

— Как тебя звать, трибун?

— Марк... Катон...

Гракх опешил от изумления:

— Ты — сын Катона Старшего? О, какой позор! Что бы сказал твой покойный отец, если бы увидел, как сражается за республику его сын?.. Неужели ты забыл его

слова: «А я все-таки думаю, что Карфаген должен быть разрушен». Эти слова были для него молитвой, утренней, дневной и вечерней, до самой смерти, молитвой за Рим, боязнию, чтобы Карфаген не разрушил Рима! А ты... О, какие ничтожные дети рождаются у великих отцов!..

Он ушел, не простившись с ним, не взглянув на гетеру.

Манцин возвратился в сопровождении легионера. Трибуны и центурионы остались на местах; они получили приказание развести костры, подобрать раненых, похоронить убитых, укрепить лагерь со стороны неприятеля и выставить перед воротами караулы большей силы.

— Вот легионер, увлекший в бой своей храбростью целый манипул, — сказал консул. — Такие воины — доблестные сыны Рима. Я похлопочу, чтобы тебе выдали награду...

Фигура легионера показалась Тиберию знакомой: он подошел к нему, присмотрелся:

— Марий! Ты? Воин ответил:

— Я, благородный квестор! Эти нумантийцы дрались лучше нас, и если бы не...

— Если бы не ты, — прервал его Манцин, — мы бы, наверно, прогнали их не так скоро... Какое счастье, что ты променял жизнь батрака на почетную жизнь защитника отечества, покорителя земель! Марий промолчал.

Перебежчики, проникавшие в римский лагерь, приносили тревожные вести. Они утверждали, что на помощь осажденному городу движутся огромные войска ареваков и ваккеев, что в Нуманции известны численность римских легионов и имя консула, которые — и войско и полководец — ничего не стоят, а как только подойдут главные силы, нумантийцы бросятся на приступ лагеря и уничтожат неприятеля, а Гостилия Манцина публично казнят на городской площади.

Слухи росли, легионы волновались. Воины говорили: «Зачем нас послали в чужую страну, где враг многочисленен, силен и упрям? Разве мы не могли умереть на родине, сложить свои кости в землях отцов? Довольно воевать! Пусть идут в бой трибуны, центурионы и полководец!» К ропоту присоединились самовольные отлучки, странные исчезновения легионеров; на проверках центурионы обнаруживали, что беглецы уносили с собой снаряжение, оружие и продовольствие в муке и зерне, выданное на полмесяца.

Однажды ночью нумантийцы напали вновь с большими силами. Римский лагерь, подожженный неизвестно кем, несмотря на усиленные караулы, охранявшие вал и ворота, ярко пылал, увеличивая страх и растерянность войска. Но когда по лагерю пронеслись крики: «Враг с тыла!»; когда воины бросились бежать врассыпную, толкаясь, сбивая друг друга с ног, опрокидывая женщин, торговцев; когда посыпались в лагерь стрелы, метательные копья и камни, — консул выбежал из своей палатки.

— Стойте! — закричал он, пытаясь остановить растерянных людей.

«Неприятель нас уничтожит, — думал он, поглядывая на легата, которого оставил при себе, — и если я не приму мер... Но каких? О, Минерва, помоги римскому войску одержать победу, и я построю тебе храм, не пожалею всего своего состояния. О, боги, соедините все свои силы...»

Подошел Тиберий.

— Мне кажется, — сказал он, — что слухи о помощи ареваков и ваккеев осажденному городу — военная хитрость со стороны неприятеля...

— Нет, нет! — вскричал Манцин, боясь, что Тиберий начнет отговаривать его от

отступления, которое представлялось ему теперь единственным спасением.

— Если нас окружают, мы умрем, по крайней мере, со славою...

Лицо полководца сморщилось, как от боли:

— Имеем ли мы право жертвовать жизнью граждан?

— Для блага отечества, славы римского оружия — да!

Но консул был иного мнения: благо родины? Разве Испания, отечество варваров, может считаться родиной римлянина? И если бы она даже была его отечеством, то неужели он должен гибнуть, точно его добровольная смерть может изменить бег событий? Слава оружия? Но для чего она нужна? Чтобы тешить низкое тщеславие богачей, стоящих у власти, которые возвеличивают себя за счет жизней тысячи граждан? Ну, а он, Гостилий Манцин? Неужели он похож на легионеров, такой же батрак, работающий на нобилей, подставляющий грудь под стрелы врагов? Нет, он будет действовать, как подсказывает ему чувство самосохранения.

Когда собрались легаты, квесторы и военные трибуны, консул обрисовал в мрачных красках положение легионов. Он не ошибся в своем предположении: все начальники, как один, потребовали отступления. Они говорили, что в войсках начинается ропот, брожение, и слагали с себя ответственность за окончательный разгром римских легионов.

К полуночи пошел проливной дождь. Римляне тронулись в путь. Отходили тихо, боясь привлечь внимание нумантийцев. А вдруг враг заметит отступление и начнет преследовать?

Нумантийцы обнаружили отход римлян совершенно случайно: разведчики, подползшие к воротам лагеря, не нашли караулов. Это удивило их. Они проникли внутрь лагеря и известили нумантийцев об отступлении римлян.

Тогда началось страшное: ворота города растворились, высыпала пехота, вылетела, как на крыльях, конница; менее чем через десять минут лагерь был занят, задние ряды римлян смяты, опрокинуты, а передние охвачены конницей. Напрасно консул приказывал трубить приступ, напрасно Гракх угрожал, умолял, уговаривал — воины теснились, стараясь укрыться в ложбинах, полных вод, в канавах, за холмами, но в бой не вступали.

Потом все эти огромные толпы отходили, грубо ругаясь, угрожая оружием центурионам и трибунам: на лицах людей была злоба — они громко вспоминали о походах своих в Македонию, победоносных войнах с Персеем, завоеваниях в Испании, долгой осаде Нуманции, пеняли на власть, проклинали сенат, отбивавший в казну военную добычу, и громко кричали об алчности оптиматов, которые обогащались в завоеванных чужими руками провинциях:

— Мы проливали пот и кровь за Рим, мы оторвались от семейств и земли, мы тридцать лет кормили своими телами вшей — и за что? Для того, чтобы вернуться к своим ларам нищими, получать подачки от богачей за голоса в комициях?!

Они не хотели больше сражаться, они согласны были идти в плен, даже стать рабами, потому что, кричали они, нет нигде на земле худшего рабства, нежели то, в котором они находятся.

Когда нумантийцы оттеснили их в ущелье, из которого не было выхода, — Манцин попытался уговорить легионеров, — они выслушали его угрюмо, не прерывая, из уважения к его высокой должности, но лишь только он кончил, чей-то голос прокричал из задних рядов:

— Заключай, консул, мир! Разве не видишь, что мы окружены?

Манцин изменился в лице: это была дерзость и вместе с тем напоминание о безвыходном положении. Он повернулся к Тиберию, жалко усмехнувшись:

— Слышишь?

— Думай, что делать.

Манцин отправил послов в осажденный город, но они вернулись ни с чем: нумантийцы заявили, что переговоры будут вести только с Гракхом, отец которого, после войны с иберийцами, заключил мир с Нуманцией и ходатайствовал перед римским народом о вечном мире и справедливом отношении к ним.

— А не желаете — дело решит железо, — дерзко сказал послам вождь нумантийцев Ретоген, с оскорбительным смехом ударив по мечу.

Пришлось послать Гракха.

Тиберий увиделся с Ретогеном, беседовал с ним, как с равным; сделав взаимно некоторые уступки, они заключили договор на следующих условиях: римляне обязаны отвести войско от города, снять осаду, а лагерь, разграбленный нумантийцами, срыть и сравнять с землей; кроме того, они не должны нарушать мирного договора, заключенного Тиберием Семпронием Гракхом и возобновленного теперь его сыном.

Узнав об условиях, консул опечалился. Он целый день просидел над свитком пергамента, и даже когда в палатку вошел Марк Катон, к которому он благоволил, настроение его не изменилось.

— Договор должен быть утвержден сенатом, — сказал Гостилий Манцин, которого пугали уступки, сделанные Гракхом. — Я боюсь, что Рим...

— Не бойся, благородный Гостилий, — успокоил его Марк Катон, садясь с задумчивым видом на раскладной стул. — Пошли своего квестора, и он добьется успеха...

— Ты говоришь о Гракхе?

— Разве сестра его не замужем за Сципионом Эмилианом? — вопросом на вопрос ответил трибун. — А Сципион — влиятельный человек в Риме: его слово — закон...

Манцин недоверчиво улыбнулся:

— Сципион каждый свой шаг сообразует с честностью, с благом республики, и если он усмотрит в нашем договоре малейшее отступление от блага государства, малейшее омрачение славы и силы римского оружия, он пойдет, не задумываясь, против родного брата, не говоря уже о родственниках жены...

Вошел Тиберий: он только что осмотрел место нового лагеря, к устройству которого консул приказал приступить немедленно, и был озабочен недостатком орудий для земляных работ.

— Знаешь, благородный Гостилий, нумантийцы подрезали нам крылья, — и он рассказал о тяжелом положении рабочих отрядов, которые бездействовали, испытывая недостаток в самом необходимом.

— Разве у тебя, квестора, нет средств, чтобы купить нужные орудия?

— Средства есть, но нет твоего разрешения. Манцин нерешительно покосился на Катона:

— Как думаешь, Марк, сенат признает этот расход?

— Только в том случае, если утвердит мирный договор. Гракх взглянул на трибуна и вспомнил тревожную ночь, гетеру в его палатке.

— Придется подождать, Тиберий, — со вздохом сказал Манцин. — Поезжай в Рим, отвези договор и поскорее возвращайся. А мы до твоего приезда выроем рвы, сделаем, что будет возможно...

— Послушай, трибун, где твоя гетера? — обратился Тиберий к Катону.
— Захвачена нумантийцами. Они, злодеи, увели в свой город всех купцов, прорицателей, блудниц...
— Хвала богам! А ты сожалеешь?
— Скучно стало, — нагло захохотал Катон и подмигнул консулу.
Гракх отвернулся от него и сказал Манцину:
— Кому прикажешь сдать казну? Я выеду завтра утром.
— Казну сдашь мне или квестору II легиона. Не забудь взять с собой воинов до Тарракона: сам знаешь — дороги опасны, — разбойничают пастухи...
Возвращаясь от консула, Тиберий встретил Мария:
— Я еду в Рим, не желаешь ли сопровождать меня? Мы очень долго пробыли под Нуманцией...
— Нет, — отказался Марий, — я хочу воевать. А Рим от меня не уйдет.
И молодой, сильный, высокий, он пошел, блестя шлемом и размахивая руками, туда, где производились земляные работы.

ХИ

Семпрония первая заметила его тревожное состояние и спросила, не болен ли, но ответа не получила. Она видела, что мужа грызет забота, что он отдаляется от нее, — стал уже не такой ласковый, не такой заботливый о доме, о ней, о рабах, и она подумала, что он мысленно блуждает «по неизвестным тропам жизненного существования». А зачем? Что случилось? Ее поразила перемена в образе его жизни. Правда, он так же, как и всегда, вставал чуть свет, принимал клиентов, но перестал ходить на форум, перестал отдыхать после обеда, работать и в определенные дни, когда у него собирались члены кружка, не был таким оживленным, как привыкли все его видеть. Но все это не так было страшно, и если бы не заметное охлаждение со стороны мужа, Семпрония не придавала бы большого значения его состоянию. Правда, Эмилиан так же, как всегда, целовал ее по утрам в лоб, так же говорил ласковые речи, но в них не было уже того проникновенного жара, той любви, которую она умела заметить сердцем, угадать по глазам, по пожатию руки, по голосу. Страшнее всего было то, что он стал спать отдельно. Теперь она, одинокая, долго лежала в темноте с открытыми глазами, ожидая, что Публий, быть может, одумается, придет к ней, но он не шел: он лежал тут же в комнате, тоже не спал, и не зная, что Семпрония страдает, думал: «Я должен поступить честно — все сказать Семпронии. Но ведь ничего еще нет. Впечатление? Красота? Платон прав, что красота порождает Эрос. Этот подлый горбун опять предлагает Ксенофонта за небольшую плату, хочет сделать подарок, который не казался бы подарком, — хитер! И опять приглашает к себе. Пойти или нет?»

Он заворочался на ложе, вздохнул.

Семпрония задрожала от горя и жалости.

«Что с ним? Почему он молчит? Государственные дела не дают покоя? Неудачи под Нуманцией? Сицилийские поражения? Жадность публиканов? Разврат юношей? Пьянство в комициях?»

Она слушала, прижимая руку к сердцу, как Сципион одевается в темноте, шуршит туникою. Вот он идет тихо, тихо на цыпочках. Вышел в атриум.

Она встала и босиком пошла за ним. От мозаичного пола ногам было холодно,

голое тело зябло под короткой одеждой.

Атриум был залит серебристо-лимонным светом луны, проникавшим сверху.

Притаившись, Семпрония смотрела: муж остановился у почетного кресла хозяйки, медленно обозревая статуи и развешанные мечи, копья, щиты — трофеи победоносных войн.

Затем подошел к ларарию; в нише, облитой светом, белели статуи: по обеим сторонам Венеры стояли лары в коротких туниках, почти без рукавов, в повязках, обвитых вокруг бедер; в высоко поднятой правой руке они держали рог изобилия, а в левой — жертвенную чашу.

Она последовала за Эмилианом в перистиль: колонны, похожие на остолбеневших людей, отбрасывали от себя длинные тени, статуи и вазы смутно блестели, объятые дремотою. Сзади, в водоеме, казалось, сверкало расплавленное олово, а здесь было темно.

Сципион сел, облокотившись на столик. И опять возникла Лаодика: легкая, воздушная, она шла, приближалась к нему, и солнечная улыбка Афродиты, небесные глаза, обнаженные руки — все это сияло ярче солнца, ярче жизни, ярче безмятежного счастья. Она остановилась перед ним, заглядывала ему в глаза, а он испытывал невыразимое томление, грусть и муку. Кто-то стоял за спиною, как предостережение, и он, честный, знал, что переступить нельзя: удерживает долг, а этим долгом была его жена, внучка Сципиона Африканского Старшего.

Очнулся, встал.

Семпрония притаилась за колонною; сердце колотилось в груди с такой силой, что она задыхалась.

Что делать? Подойти к нему? А если он рассердится?

Она тихонько возвратилась в спальню. Легла и, уткнувшись лицом в подушку, долго плакала, пока не забылась тяжелым, тревожным сном.

Встала чуть свет с головной болью, с глазами, опухшими от слез. Украдкою взглянула на мужа: он спал, разметавшись; голова его свесилась, и лицо белело в полумраке, как у покойника.

«Не приснилось ли мне, что он вставал, а я выходила в атриум?»

Второпях одеваясь, она поглядывала на него: «Нет, не приснилось. А если и приснилось, то разве от этого легче? Он стал иным: я для него посторонний человек, как рабыня, клиент или вольноотпущенник».

— Публий, ты спишь?

Эмилиан встрепенулся, сел на постели.

Бронзовая кровать, служившая днем диваном, была покрыта жестким тюфяком в отличие от мягкой пуховой постели жены; смятое пурпурное одеяло свешивалось к полу.

— Разве уже пора? А я проспал..

Он засмеялся, покачал головою. Но и смех уже был не тот, что прежде: надломленный, он болью отзывался в ее сердце, и она сдерживалась, чтобы не выдать своего горя.

Время до обеда тянулось томительно долго. Проходя мимо таблица, она видела Сципиона за столом, над свитками папируса; глаза его смотрели вдаль с таким восторгом, точно он любовался чем-то невообразимо прекрасным. Может быть, этрусскими орнаментами? Они изображали черные и красные прямоугольники, пересеченные большими алыми прямоугольниками на черном фоне.

Семпрония остановилась, кашлянула.

Эмилиан очнулся:

— А, это ты!

Столько равнодушия было в его голосе, что она опустила голову: перед глазами заpestрела мозаика, — по решетчатому рисунку пола бежали вертикальные пунктиры; между ними, казалось, извивались розовые и зеленые веревки, а посередине ширилось сплетение, такого же цвета, с промежутками внутри и посередине.

Сципион вспомнил, что утром, во время приема клиентов, Лизимах звал его посмотреть на свитки папируса и пергамента, полученные от друзей из Египта и Пергама: «Они очень хороши, и ты будешь писать на них свободно. Этот пергамент выделывался из самых нежных кож; он бел и настолько тонок, что сквозь него на свет видны предметы. Есть также фиолетовые и пурпурные цвета, но ты их не любишь. Кроме того, я получил хорошую свиную кожу для переплетов».

Эмилиан подумал, что папирус и пергамент у него на исходе, и решил пойти к греку.

Но он себя обманывал: не за этим шел он к Лизимаху и не Ксенофонт прельщал его, — перед ним мелькало прозрачным, едва уловимым видением ее лицо, оно приближалось, входило в него, прикасалось к его сердцу горячими губами.

Никогда он не думал, что красота способна так очаровать человека. Он помнил слова Платона, но принимал их на веру, как неоспоримую истину, и теперь, когда красота породила Эрос, он, суровый воин, имеющий преданную молодую жену, ослеплен, покорен юной гречанкой, дочерью хитрого человека, к которому питает отвращение.

«Как же это случилось, что я не удержался, не поборол себя? — подумал он, но тотчас же успокоился. — Никто об этом не знает, я тверд и переломлю себя. Я не буду любоваться ею, замкнусь в суровое равнодушие сильного человека, чтобы себя не выдать».

Выходя на улицу в сопровождении раба, он сказал жене, что идет к клиенту Лизимаху за пергаментом и папирусом. Семпрония, невеселая, удрученная и непривычным отношением к себе мужа, и тяжелым, как бы предгрозовым настроением во всем доме (рабы, чувствуя что-то неладное между хозяевами, говорили шепотом, избегая возвышать голос), кивнула и отвернулась, готовая заплакать. Она хотела спросить, скоро ли он вернется, но удержалась: не все ли равно?

Сципион шел, властно охваченный мыслями о юной гречанке. Он не заметил, когда очутился у дома Лизимаха, и только голос раба вывел его из тяжелой задумчивости:

— Господин, мы пришли.

Раб с низким поклоном распахнул дверь, и Эмилиан, входя в вестибюль, загляделся на художественное изображение собаки на мозаичном пороге с полушутливой надписью: — «Остерегайся собаки».

Он видел этот рисунок в тот раз, когда был у Лизимаха, но не обратил внимания, торопясь пройти поскорее, а теперь все казалось ему иным, более действительным, принимало отчетливые, как бы облитые ярким светом, формы.

В атриуме не было никого, и он смутился, не решаясь громким зовом нарушить молчание. Но в доме, очевидно, уже знали, что пришел патрон: шорохи, шепоты, мягкое топание ног доносились отовсюду, и Сципион ожидал клиента, стоя посреди атриума.

Он осматривался, точно попал в этот дом впервые: в комплювий, украшенный

львиными головами, виднелся голубой клочок неба, а из широкого окна просторного таблина выступали колонны перистилия. Он успел увидеть промелькнувшую тень женщины, но лица ее не рассмотрел — занавес задернулся, — таблин и перистиль с колоннами исчезли, как сладкое сновидение.

Взгляд его упал на имплювий, возле которого стоял на изогнутых ножках широкий стол, уставленный вазами и статуэтками. На краю его лежало круглое ручное этрусское зеркало с изображением резвящихся нимф. На вазах были искусно нарисованы: бой Кадма с драконами, свадьба Кадма с Гармонией, Геракл, уводящий Кербера из подземного царства Аида при помощи Гермеса. Статуя молодого гермафродита поражала тонкостью, изяществом линий, благородством лица.

Мягкое кресло, в виде трона, с тремя ступеньками и высокой спинкой, обитой ковриком, было придвинуто к имплювию, и Эмилиан несколько минут любовался искусно вышитым рисунком: крылатый ассирийский бык с человеческой головой, украшенной длинной бородой и тиарой, смотрел добрыми глазами, в которых светились спокойное могущество и расположение к человеку.

«Кресло для хозяина», — подумал Сципион о троноподобном кресле и тут же обратил внимание на биселлы, кресла с двойными сидениями, на стулья без спинок и на субселлии, или скамьи, покрытые тирским пурпуром с голубым, фиалковым и аметистовым оттенками. Небольшие круглые столы, об одной ножке из слоновой кости, были разбросаны по атриуму, как безделушки. Но все это затмевали вазы и статуи... Он смотрел, и богатство клиента вызывало в нем удивление.

На небольших столах стояли греческие кубки — скифосы и канфары — деревянные, глиняные, бронзовые, серебряные, золотые, с затейливым рисунком, с орнаментами, с драгоценными камнями, и среди них римский серебряный, на котором танцующая вакханка, казалось, возносилась на небо. Статуэтки, вазы и чаши из обожженной глины поражали своим разнообразием: рядом с гречанкой в одежде, расцвеченной розовой, желтой и голубой краской, стояла ваза в виде утки с изображением нагой девушки, раскинувшей на спине; крылатый дионисийский Эрос — толстенькое дитя с протянутой рукой — занимал большую часть афинского кубка.

Шорох шагов вывел его из задумчивости: кланяясь и приседая, бежал к нему пестро одетый горбун, и Эмилиану показалось, что по коврам катится большой разноцветный мяч.

— Прости, господин, что я задержал тебя! Какая радость и какое счастье для низкого человека, твоего верного клиента, видеть тебя, великого и могущественного патрона, в своем доме! Прошу тебя, садись здесь, прошу тебя...

Он подвинул троноподобное кресло, не переставая кланяться и суетиться; на хмуром лице его и в мрачных глазах вспыхивала не то радость, не то сдерживаемый смех.

— Благодарю тебя, но я пришел по делу, — сам знаешь...

— Господин мой, ты уже был у меня, но не застал дома. Кассандра и Лаодика...

Он не договорил: в атриум входили жена и дочь в белых хитонах, отделанных тонкими вышивками, — занавес раздвинулся, и таблин, а за ним перистиль открылись не такими, как он увидел их, входя в дом, а более яркими и более нарядными, потому что свет заливал их широкими полосами солнца из глубины молодого садика.

— Привет, привет!

Женщины поклонились, и Сципион, чувствуя, что багровеет, а сердце замирает, точно у юноши, молча наклонил голову; подняв ее, он взглянул на Лаодику.

Пурпурная диадема, усыпанная разноцветными огоньками мелких смарагдов, ониксов, топазов и хризолитов, засверкала, как ему показалось, золотисто-оранжевым пламенем. Двойная золотая цепь с подвесками в виде хризопрасовых, опаловых и ясписовых шариков, оправленных в серебряные квадратики, зазвенела металлически-звонко. Черные миндалины глаз девушки смотрели на него не то с грустью, не то с укором, и в них он прочитал боязливую нежность и непонятный страх.

Сципион спокойным голосом начал беседу: он говорил, что ему нужен пергамент лучшего качества для переведенной им комедии Менандра, и среднего — для черновых работ. Холодное лицо его, когда он встречался глазами с Лаодикой, смягчалось, и бледное подобие улыбки залегало у губ — тусклое отражение той грустной безысходности, которая мучила его дни и ночи и которую он пытался побороть.

Он замолчал, слушая обещания Лизимаха достать лучший пергамент, и уже собирался встать, чтобы уйти, но в это время глаза его остановились на кифаре, которая лежала на столике. И ему захотелось послушать пение юной гречанки, чтобы продлить очарование этого часа.

— Я был бы тебе благодарен, Лаодика, — обратился он к ней, — если бы ты спела что-нибудь из «Илиады»...

Девушка взглянула на него потемневшими глазами. Он, этот могущественный человек, произнес ее имя, смотрел на нее! Она испытывала к нему нежность, желание, чтобы он называл ее еще и еще по имени.

Лаодика задумалась, взяла семиструнную кифару и плектрон и запела речитативом, сопровождая строфы звонкими звуками:

Вскоре затем подошел он к прекрасному дому Приама,
К зданию, с гладкими вдоль переходами; в нем заключалось
Вокруг пятьдесят почивален, из гладко отесанных камней,
Близко одна от другой устроенных, в коих Приама
Все почивали сыны у цветущих супруг их законных;
Дщерей его на другой стороне, на дворе, почивальни
Были двенадцать, под кровлей одною, из тесаных камней,
Близко одна от другой устроенных, в коих Приама
Все почивали зятя у цветущих супруг их стыдливых...¹⁶

Лизимах сидел на биселле, не спуская глаз с гостя; Кассандра стояла у стены с полузакрытыми глазами, с рассеянной улыбкой в уголках губ, а Лаодика, уронив на ковер кифару, облокотилась на троноподобное кресло, на котором грезил Сципион.

Он заглянул ей в глаза:

— Благодарю тебя за удовольствие, которое ты мне доставила. Где и у кого училась ты петь и играть?

— Я училась в Пергаме у грека-раба из разрушенного Коринфа, он научил меня песням Гомера, Анакреона и Сапфо...

Она вскочила и, неслышно ступая красными сафьяновыми туфлями, побежала в таблин. Вскоре появилась с Ксенофонтом в руке, а за нею вошли рабыни и принялись

¹⁶ Гомер. Илиада, VI. 243–250. (Перевод Н. Гнедича.)

зажигать в тарелках бронзовых канделябров льняные волокна, смоченные смолою.

— Господин мой, — молвила она, поклонившись Эмилиану, — ты не хотел взять этой безделицы от отца и матери, но сегодня, когда ты опять у нас, я умоляю тебя принять этот скромный подарок... книгу философа, которого ты уважаешь...

Сципион отрицательно покачал головою.

— Ради меня, — шепнула она и, бросившись к его ногам, обняла их, прижала к своей груди.

Лицо Эмилиана покрылось алыми пятнами. Он пытался встать, но девушка крепко обнимала его ноги. Он слушал ее слова, в мыслях прижимал ее к своей груди, искал ее ласковые губы, нежно округленный подбородок, погружал лицо в ее черные волосы, как в мягкое руно, гладил ее маленькие детские руки.

— О, господин мой, умоляю тебя. Сделай это для нас... для меня... Будь милостив, не презирай нас своим отказом...

Громкий голос донесся из вестибула:

— Здесь живет клиент Лизимах? Не у него ли находится господин Сципион Эмилиан?

— Патрон здесь, — ответил голос раба, и в ту же минуту в атриум вошел Тиберий Гракх. Сципион хотел привстать, отнять руки девушки, но Лаодика уже увидела Тиберия и встала с колен с легким смущением на лице. Эмилиан вскочил.

— Ты? — вскричал он, сжимая зятя в объятиях. — Как попал в Рим? Разве Нуманция взята?

— Не место говорить здесь об этом, — шепнул Гракх, жестом приветствуя хозяев. — Я приехал по важному делу...

Сципион извинился, что не может остаться дольше, и поспешил, с Тиберием к двери.

— Обещай, что не забудешь пути к нашему дому, — донесся голос Лаодики, и Эмилиан, обернувшись, встретился глазами с девушкой: на мгновение он остановился, хотел что-то ответить, но не сказал ничего, кивнул и вышел.

Дорогою Гракх рассказал ему о событиях под Нуманцией. Сципион слушал, хмурясь.

— А ведь это — измена, — сурово вымолвил он римские знамена запятнаны этим позорным миром. Вина на тебе и Манцине!

— Но, позволь, что же нам было делать?

— Сражаться. Тиберий рассмеялся:

— Ты бы послушал легионеров. Они отказались идти в бой, угрожали власти, требовали мира. И если бы мы не заключили его...

— Что? И это говорит квестор?

— Я говорю правду...

— Посмотрим, как оправдаешься перед властью! Гракх вспыхнул.

— Мы — воины и смерти не боимся, — гордо сказал он, — но позволь тебе заметить, что не мы разложили войска, а — власть. Разве сенат не видел, в каком состоянии легионы? И все же они посылались на войну!

— А куда их было девать? Консул должен был своей властью — правом жизни и смерти — восстановить порядок, подвергнуть легионы децимации...

Тиберий подумал, что сенат отнесется не менее строго к заключенному миру, и сказал:

— Народ за меня. На набережной я говорил с женами воинов, с их сыновьями,

дочерьми, рассказал о событиях и не скрыл, что если бы я не заключил мира, более двадцати тысяч легионеров погибли бы бесславной смертью.

— И это нехорошо. Ты возбуждаешь народ!

— Разве граждане не должны знать, что делается на войне, где сражаются отцы их и дети?

Эмилиан помолчал.

— Всё это дело может плохо кончиться для консула, трибунов и квесторов... Пусть решает сенат.

— Сенат должен утвердить заключение мира... Сципион засмеялся.

— Ты рассуждаешь, как ребенок, — пожал он плечами. — Если бы решение зависело от меня, я бы поступил очень сурово...

Они дошли до форума, остановились.

— Как? — беззвучно прошептал Гракх.

— Как с изменниками.

— Что ты говоришь, Публий? Заключая мир, я руководствовался единственным желанием — спасти двадцать тысяч воинов, которые, как сила, нужны государству...

— Нет, — сурово вымолвил Эмилиан, нахмурившись, — это не воины, а ненужный сброд, и лучше было бы, чтоб они погибли, нежели запятнали честь и славу римского оружия.

— Публий...

— Да, да, казнить — всех поголовно. И не только воинов, но и консула, трибунов, квесторов...

Тиберий опустил голову:

— Я не ожидал от тебя таких слов, Публий! Ты жесток... Но хвала Юпитеру и Минерве! Народ защитит воинов: ведь они — отцы и дети римских граждан...

— Тиберий, ты становишься на опасный путь...

— На этом пути и ты был. Публий, и твои друзья...

— Я вовремя понял, что ошибался...

— А не струсил ли ты, Публий? Сципион вспыхнул, но сдержался:

— Я бы мог ответить тебе не словами, а иным способом, но я не желаю пользоваться своим правом. Скажу тебе только одно: благо и спокойствие родины для меня превыше всего. Вот причина, почему я отступил. Что же касается воинов, то я полагаю, что они избегнут наказания, но военачальники будут притянуты к ответу...

— Консул и военачальники невиновны, мир заключил я, и я готов подвергнуться каре...

Эмилиан усмехнулся:

— Зачем защищаешь Манцина? Разве он не знал, что ты виделся с нумантийцами и вел переговоры? Разве квесторы, трибуны и центурионы оставались в неведении? Все знали, и ни один из них не воспрепятствовал тебе. Поэтому я считаю, что они виноваты не менее, чем ты...

Гракх задумчиво взглянул на зятя:

— Послушай, Публий, ты пользуешься большой силою в сенате и можешь спасти неповинных людей. Прошу тебя, будь честен и великодушен, как всегда...

— Честность и великодушие не могут ужиться вместе. То, что ты называешь честностью, для меня бесчестно, а великодушие во время войны и судебных решений молчит: за него говорит закон. Пусть это дело решает сенат...

— Обещай, что не будешь говорить против Манцина!

Сципион вспыхнул:

— Ты рассуждаешь, как ребенок. Я поступлю, как найду нужным.

Он резко отвернулся от Тиберия и ушел, не простившись.

Не мешкая, Гракх пошел быстрым шагом к Палатину, миновал свой дом (как хотелось зайти, повидаться с женой, детьми и матерью) и, пройдя Мугонские ворота, остановился перед скромным домом, который смутно выглядывал из-за черных кустов и деревьев. Пряный запах цветов и каких-то трав бросился ему в лицо: он остановился, вдохнул с удовольствием.

Входя в атриум, он был встречен радостными восклицаниями матрон и удивился, увидев здесь свою мать. Корнелия первая бросилась к нему, обняла и сказала:

— Ты... вернулся? Что случилось?

Не отвечая, он поцеловался с тещей, старой сгорбленной востроносой матроной, обнял высокого красивого старика. Это был тесть Аппий Клавдий Пульхр, влиятельное лицо в сенате.

— Я не успел побывать у ларов, — молвил Тиберий, обращаясь к Корнелии, — скажи, мать, все ли здоровы, все ли благополучно у нас?

— Не беспокойся, — торопливо ответила Корнелия, — но где ты был?

— Я беседовал с Эмилианом...

Гракх рассказал о положении под Нуманцией, о цели своего приезда. Аппий Клавдий слушал в глубокой задумчивости.

— Не скрою от тебя, что ты подвергнешься жестоким нападкам в сенате, но не волнуйся — завтра я увижусь с друзьями, и мы постараемся поддержать тебя. Послезавтра у нас заседание сената, если боги не пошлют нам дурных знамений. Приходи пораньше. Попытайся заручиться поддержкой народных трибунов.

— Народ за меня...

— Это хорошо. Если бы на нашей стороне был Эмилиан — никто не посмел бы возражать...

Корнелия покачала головой.

— Сципион упрям, — проворчала она сердито, — это человек, которого не уговоришь, но все же завтра утром я увижусь с Семпронией: возможно, она повлияет на него...

Корнелия не знала, что дочь страдает (Семпрония была горда, чтобы пожаловаться матери на мужа), что Эмилиан охладил к ней, и тешила себя надеждою на благополучный исход дела. И Тиберий не знал этого, но красавица-гречанка не выходила у него из головы, и он подумал, что если Семпрония узнает о свиданиях Сципиона с дочерью клиента, семейная жизнь треснет, как дорогая амфора, и счастье выльется красным потоком вина, чтобы иссякнуть, исчезнуть навсегда.

— Послушай, Антистия, — сказал Аппий Клавдий, ласково хлопнул зятя по плечу, точно хотел этим сказать: «Не беспокойся, все уладим», — нужно накормить гостя. Ведь он с дороги и дома еще не был... Да и мы заодно поужинаем... Благородная Корнелия не откажется выпить изюмного или медового вина.

За ужином Аппий и Тиберий пили крепкое вино, разбавляя его горячей водой, и беседовали о положении под Нуманцией: старик, раскрасневшись, громко бранил Манцину и Марка, сына Катона Старшего.

— Разве это консул? — кричал он, стуча кулаком по столу. — Разве это военный трибун? Один растерялся, не знает, что делать, боится обидеть свое войско крутыми мерами, а другой устроил себе лупанар, время проводит с гетерою, когда тут же в

лагере кипит битва. И я, думаю, не ошибусь, если скажу, что ныне все военачальники очень похожи на этих честных, доблестных, великих мужей.

Едкая ирония звучала в его словах. Он был раздражен и сдерживался, чтобы не оскорбить своего любимца. Но когда он выпил еще, гнев его прорвался:

— Ты сам предложил хлопотать о мире! Кто тебя просил? Этот трус Манцин? Нет? Так зачем же ты полез в петлю? Где была твоя голова? Римляне не привыкли унижаться, просить мира! Римляне до сих пор отвечали только железом!

Напрасно Гракх убеждал его, что иного выхода не было, напрасно приводил доказательства, что продолжать борьбу — это значило погубить все войско или вынудить его сдаться на милость победителя (разве легионеры не отказывались сражаться?) — старик был непреклонен: он продолжал утверждать (Тиберий вспомнил слова Эмилиана), что можно было бы пробиться сквозь кольцо неприятеля и даже разбить его.

— А если нет, — резко закричал он, — то лучше было бы погибнуть, нежели присылать в Рим посла с позорным миром!

ХІІІ

На другой день утром Гракх, в сопровождении клиентов, отправился на форум, желая заручиться поддержкою плебса в борьбе с сенатом и обезопасить от гнева нобилей испанские легионы и военачальников. Он знал, что Сципион Эмилиан не одобряет его дружбы с народом, но чувствовал, что сила вся на стороне плебса, и с ним, этим плебсом, сенат побоится ссориться.

Он еще издали увидел в прилегавших к форуму улицах толпы женщин, с детьми на руках, отроков, юношей и девушек, отцы которых давно уже отправились в далекую Испанию, под стены Нуманции, а на форуме — бородатых стариков, чьих сыновей обвиняли в измене, и когда услышал шум и в реве голосов различил свое имя, — остановился.

Улицы, переулки и форум кричали:

— Да здравствует Тиберий Гракх! Да здравствует спаситель воинов!

Тиберий, приветливо кивая, шел среди толпы народа: кто бросал ему под ноги цветы, кто — ветви, а кто просто обрывал зелень у молодого лука и чеснока, невзирая на ее запах.

Форум бушевал. На Священной улице толпились женщины и дети. В Курии Гостилия заседал сенат; из раскрытых дверей по временам выглядывали с беспокойством сенаторы в тогах с пурпурной каймой, из-под которых выделялись большие красные знаки, нашитые на туниках.

Гракх смотрел на Капитолий, сердце Рима, и лицо его пылало: он видел готовность народа поддержать его, чувствовал в руках своих силу.

Взойдя на ростры, он окинул быстрым взглядом толпы плебса и город, разлегшийся хищной волчицей на берегу Тибра: плоские крыши домов, покрытые каменными плитами или толстым земляным пластом (забота горожан о прохладе в жаркие дни), сводчатые и нависшие над узкими полутемными улицами, были усеяны народом, издали похожим на черных муравьев.

Выпрямившись, как в строю, Тиберий говорил, не возвышая голоса:

— Квириты! После долгого отсутствия я опять вижу Рим, нашу родину, опять обнимаю друзей, оставленных на земле дорогой отчизны, и приветствую вас,

достойных Рима граждан, приветствую не только от себя, но и от ваших отцов, мужей, сыновей и братьев, которые остались в далеких землях варваров...

Речь его была прервана восторженными криками толпы: грубые голоса мужчин и нежные возгласы женщин, веселые восклицания — все это слилось в единый мощный гул.

— Квириты, ваши родственники, римские воины, были однажды ночью вынуждены вступить в бой. Нумантийцы, более сильные, чем мы, заставили нас отступить. Они загнали нас в скалистую местность, откуда не было выхода, мы были обречены на плен или смерть. Консул поручил мне вступить с неприятелем в переговоры, чтобы спасти войско, и мне удалось заключить мир...

— Да здравствует спаситель легионов!..

— И вот, квириты, — продолжал Гракх, — я привез в Рим на утверждение сената мирный договор. Но я боюсь, что сенат не утвердит его — уже распространяются слухи об измене войск и вождей, о нашей измене... Есть люди, которые обвиняют консула Гостилия Манцина в человеколюбивом отношении к войскам, а вождей — в бездействии... И эти люди требуют суровых мер, требуют...

— Не позволим! Поддержим тебя!

— Пойдем в сенат!

— Потребуем мира!

— Мир!.. Мир!.. Мир!..

Тиберий не успел кончить: его подхватили, подняли, и он поплыл над толпой, несомый людьми, которых видел впервые. Но потом, когда его опустили перед бронзовыми досками с выгравированными на них законами XII таблиц; когда перед его глазами открылся, как на ладони, весь форум, в солнечном сиянии, залитый народом, и рядом с собой он увидел брата Гая, клиентов и тут же кузнеца Тита, молотобойцев и портного Мания с огромными ножницами у пояса, — ему стало весело.

И вдруг радость улетела, все потускнело, точно черная туча прикрыла солнце, — из толпы, как камни из пращи, вырвались голоса:

— Горе побежденным! Позорный мир!

Но грубые голоса кузнецов, горшечников, сукновалов и скорняков заглушили враждебные выкрики. Гракх понял, что подосланные сенатом люди стараются очернить его в глазах плебса, и произнес краткую речь, объяснив народу происки его врагов:

— Слышите? Они кричат: «Позорный мир», не помышляя о жизни ваших родных, которые погибли бы ни за что, как стадо баранов! Они хотят возбудить вас против меня, они потребуют завтра суровых мер, и если вы, квириты, будете молчать, то погубите своих отцов, сыновей и братьев!

— Да здравствует Тиберий Гракх! — заревела толпа, и отдельные вскрики заматались в установившейся тишине: — За тебя не пожалеем голов!..

Возвращаясь с форума в сопровождении плебеев, Тиберий встречался с друзьями и знакомыми, но большинство или отворачивались от него, или делали вид, что его не замечают: Тит Анний Луск быстро свернул в боковую улицу, так же поступил Люций Кальпурний Пизон; Квинт Элий Туберон потупился, покраснел и, опустив голову, прошел мимо, стараясь остаться незамеченным.

Гракх с горечью подумал: «О, как низки и подлы люди! Даже друзья отвернулись! Где же ты, старая римская честность-добродетель?»

Подошел Гай Семпроний Тудитан и непринужденно обнял его:

— Какие счастливые ветры занесли тебя от берегов Испании в нашу солнечную Италию? — воскликнул он. — Сопутствовал ли тебе Меркурий, охраняя от гнева Нептуна? Хвала богам! Опять ты с нами, и я доволен.

Он дружески взял Тиберия под руку, шепнул:

— О твоём приезде знает весь Рим. Сенат в ярости: особенно бушует Сципион Назика... Ты встретил Луска, Пизона, Туберона? Они идут от Назики, который вопил на всю улицу: «Позорный мир!». Но ты не бойся...

— За меня плебс...

— Кроме того, Аппий Клавдий Пульхр и Сципион Эмилиан благожелательны к тебе: твой тесть — принцепс сената!¹⁷

— А Назика — двоюродный брат. Как видишь — родство не имеет значения...

Тудитан проводил Гракха до Палатина. Они дружески распрощались и разошлись.

XIV

На форуме с утра собирались сенаторы, созванные Сципионом Эмилианом, магистратом, облеченным властью. Здесь были консулы, преторы, цензоры, курульные эдилы и начальник всадников — все в одеждах, украшенных знаками курульного достоинства, с красными полосами на тогах. Стоя возле ростр, между местами для сенаторов и чужеземных послов, они тихо беседовали, с беспокойством поглядывая на плебс, толпы которого, выливаясь из боковых улиц, прибывали по Священной улице.

Пришел Аппий Клавдий Пульхр, бодрый старик, с румяными щеками, Тит Анний Луск, с хитрыми беспокойными глазами лисицы, Квинт Цецилий Метелл Македонский, белобородый, благообразный, и Сципион Назика, огромный, неуклюжий, как медведь, с громким голосом и порывистыми движениями.

— Как вы смотрите, коллеги, на дело Манцина? — осторожно спросил Аппий Клавдий, обращаясь больше к Метеллу, нежели к другим сенаторам. — Если бы не...

— Если бы не этот Гракх, который испортил все дело, — закричал Назика, — мы бы не дожили до такого позора!..

— Ты забываешь о консуле, — усмехнулся Луск, — да, да, о Манцине!.. Или ты в дружбе с ним...

— Вовсе нет...

— Виновные всегда отрицают свои поступки, а соумышленники играют на руку негодяям...

— Замолчи! — крикнул Назика, и лицо его побагровело. — У тебя язык, как у рыбной торговли!..

— Тише, — прервал его Метелл, — по-моему, в этом нумантйском деле виновны одинаково Манцин и Гракх, а консул, конечно, больше всех, и он должен понести суровую кару...

— О какой каре ты говоришь? — послышался твердый голос, и сенаторы обернулись: перед ними стоял Муций Сцевола, знаменитый юрист, о справедливости которого ходили в Риме занимательные слухи; народ утверждал, что человек, ни в чем неповинный, может быть спокоен за свою жизнь, пока жив Сцевола.

— Разве ты не знаешь, зачем мы собираемся? — удивился Метелл.

¹⁷ Глава сената.

— Знаю, но это дело... Впрочем, послушаем сперва Тиберия Гракха и прочитаем мирный договор с неприятелем...

В это время вдали появился Сципион Эмилиан, предшествуемый ликторами: они несли пучки прутьев, стянутых красными ремнями. Позади Сципиона шел Тиберий с друзьями.

Аппий Клавдий, с удовлетворением на лице, вглядывался в них, когда они подходили.

— Вот Марк Октавий, Папирий Карбон, Гай Фанний, — шептал он. — Это хорошо, но только им не разрешат войти в курию.

Когда Сципион Эмилиан подошел к сенаторам и обменялся с ними приветствиями, глашатай затрубил и громко закричал на весь форум:

— Заседание римского сената по делу о позорном мире консула Гостилия Манцина, квестора Тиберия Гракха, квесторов и военных трибунов всех легионов, осаждавших Нуманцию...

Рев толпы прервал его слова. Глашатай опять затрубил и продолжал:

— И по другим делам: о жалобах провинциалов на публиканов, всадников на преторов, о торговле внешней и внутренней.

Глашатай затрубил третий раз, и сенаторы, предшествуемые Аппием Клавдием, вошли в Курию Гостилия. Сципион обернулся к Тиберию.

— Проходи, — молвил он и, остановив властным движением руки его друзей, вошел в курию вслед за Гракхом. Дверь тяжело захлопнулась.

Тиберий осмотрелся.

В полутемном помещении с надписями на стенах о величии Рима, с памятными досками в честь консулов, цензоров и героев, стояли небольшие ростры, вытесанные из камня и дерева, с прислоненными к ним знаменами, отнятыми в боях у неприятеля. Гракх прочитал имена на мемориальных досках: Тит Манлий Торкват, Деций Мус, Аттилий Регул, Марк Дуилий, Фабий Максим Кунктатор, Марк Порций Катон, Корнелий Сципион Африканский, победитель Ганнибала... Во всю длину курии стояли скамьи, разделенные проходом, а перед ними на возвышении — троноподобное кресло для председателя.

Сципион Эмилиан взошел на возвышение и сел, как магистрат, созвавший сенат; кругом расположились другие магистраты.

Наступила тишина.

Вошли четыре человека в высоких пилеях, в древне-римских пурпурных тогах времен Нумы Помпилия, расшитых золотыми пальмовыми ветвями и жреческими таинственными знаками. Они торжественно несли клетку с молодыми священными курами. Это были авгуры; из девяти человек, живших в палатке авгуров, пятеро происходили из плебейских родов и только четверо, сыновья именитых патрициев, старались каждый раз попасть на заседание сената, чтобы производить ауспиции перед нобилиями. Но на этот раз среди них оказался авгур из рода плебеев.

Поставив на каменный пол клетку, они высыпали корм, выпустили кур. Сенаторы привстали (лысые головы склонились), наблюдая, как куры, набросившись на зерно, клюют его с такой жадностью, что корм разлетается во все стороны.

— Добрые предзнаменования шлют боги римскому сенату и народу, — сказал авгур-плебей. — Да будет милость отцов государства к ищущим у них защиты, да разрешат сенаторы споры двух сторон с обоюдному удовольствию.

Сципион Эмилиан незаметно усмехнулся (понял, что авгур на стороне Гракха): не

доверяя ауспициям, он подумал: «Так заведено издревле, — государство верит, и мы должны верить».

Он встал и произнес речь, обрисовав положение под Нуманцией, распущенность войск, пьянство, неповиновение начальникам, разврат, неумение консула создать такие легионы, чтобы варвары опять ощутили страх перед римским оружием, такие легионы, которые знали бы одно — побеждать или умирать. Говоря о Манцине, квесторах и военных трибунах, он порицал их за общую растерянность, обвинял в трусости и закончил свою речь громким негодующим возгласом:

— Кто виновен в заключении мира, в попрании дедовских и отцовских устоев, в позоре, в запятнании доблести? Все воины. Кто главный виновник? Консул Гостилий Манцин, вождь легионов. И я требую сурового наказания...

— А Гракх? — слышались голоса. — А квесторы, военные трибуны?..

— Я сказал, — садясь, молвил Сципион Эмилиан, — пусть теперь обсудит сенат...

Мнения разделились: сенаторы говорили по порядку старшинства. Первый произнес речь принцепс сената Аппий Клавдий (он высказался за наказание одного только консула), другие сенаторы требовали выдачи неприятелю всех военачальников, третьи — Манцина и Гракха.

— Ну, а воинов? — вскрикнул Сципион Назика. — Похвалить? Наградить? Ха-ха-ха!

Смех его прозвучал громкими раскатами под древними сводами курии: в нем чувствовалось оскорбление.

— Я требую, — кричал он, — обезоружить легионы, сечь воинов прутьями, а затем подвергнуть децимации... Кто будет возражать? Кто посмеет сказать хоть одно слово в защиту сброда, который находится еще в живых под Нуманцией, тот не римлянин!

Тяжелое молчание.

— Я посмею, — сказал Тиберий и, выступив вперед, остановился перед Сципионом Эмилианом.

Сенаторы растерянно вскочили с мест, затопали, закричали:

— Изменник!

— Горе Риму!

— Он заодно с чернью!

— Долой, долой!..

Тщетно Сципион Эмилиан звонил, потрясая медным колокольчиком, тщетно призывал сенаторов к спокойствию, — звонок и голос его поглощались нараставшим шумом.

Гракх стоял спокойно; он видел руки, подымавшиеся с угрозой, видел красные разъяренные лица, злые глаза, и вдруг искаженное бешенством лицо Сципиона Назики надвинулось на него.

— Предатель! — гаркнул великан громовым голосом. — Где Нуманция? Где победа? Где добыча? Где, где?..

Тиберий вспыхнул.

— Там, — махнул он рукою, — иди туда и бери... Назика отшатнулся, и сразу сенат умолк.

— Дайте мне слово, — слышался спокойный голос Муция Сцеволы, — Шумом и криками мы не разрешим споров. Нужно обсуждать спокойно, как подобает мужам. Что сказал Гракх? Отчего вы, благородные мужи, пришли в такое бешенство? Разве не прав он, что желает защищаться? Разве он изменник, предатель, как несправедливо

величал его благородный Сципион Назика? Нет, не изменник он и не предатель! Пусть он расскажет, что вынудило консула заключить мир, и мы, быть может, даже утвердим договор.

— Никогда, никогда! — загремели голоса.

— Дайте же ему слово.

Тиберий обрисовал тяжелое положение римских войск, рассказал о трудностях войны и, оправдывая Гостилия Манцина, обратился к Сципиону Эмилиану:

— Ты не прав был, обвиняя консула, и вы, благородные мужи, не подумали, что семьи воинов находятся в Риме и не потерпят наказания прутьями и децимации своих отцов, сыновей и братьев...

— Ты науськивал их, как свору псов, на сенат! — крикнул Сципион Назика.

— Ты связался с чернью! — захлебнулся от злобы Тит Анний Луск. — И это позор тебе, нобиллю, тебе, квестору, тебе, сыну Корнелии, дочери Сципиона Африканского Старшего!..

— Неправда! Все ложь! — вспыхнул Гракх. — Никогда я не шел против сената, не вооружал плебс своими речами, а только рассказал народу о положении под Нуманцией...

— А зачем возбуждал чернь?

— Не возбуждал.

— Плебс кричал: «Да здравствует Тиберий Гракх, спаситель воинов!»

— А разве это неправда? — усмехнулся Тиберий. — Плебс должен был упомянуть и про Манцина...

— А, Манцина! — загремел Назика, взмахнув рукою. — Я бы этого злодея задушил собственными руками. Или повесил бы... уничтожил...

Он не договорил: колокольчик Сципиона Эмилиана установил тишину.

— Теперь проголосуем, — предложил председатель.

Все сенаторы, кроме магистратов, разошлись в разные стороны прохода, разделяющего курию на две части. Отошедших вправо было большинство.

Сенаторы поднимали руки, нерешительно оглядываясь друг на друга.

Когда голосование кончилось, Сципион Эмилиан встал и объявил сенатус консультус¹⁸ легионеры освобождаются от телесного наказания и децимации, военачальники — от выдачи их нумантийцам, кроме консула Гостилия Манцина, единственного виновника позорного мира.

— А для этого, — продолжал Сципион Эмилиан, — снарядить и послать в Испанию сенатское посольство из десяти человек, поручив ему заковать злодея Манцина в кандалы и при выстроенных легионах, голого, босого, гнать прутьями к воротам неприятельского города, дабы знали военачальники, что подобная кара ожидает каждого из них, в случае измены.

Передав постановление сената квесторам для хранения в государственном архиве, Сципион Эмилиан сказал:

— А теперь приступим, благородные мужи к разбору жалобы провинциалов на публиканов, которые разоряют население Ахайи и Архипелага, Корсики и Сардинии, выколачивая из народа подати, взятые на откуп, с такой жадностью, с такой наглостью, с таким бесстыдством, что я не нахожу слов, как выразить свое возмущение. Вторая жалоба похожа на первую: если там жалуются на публиканов, то

¹⁸ Постановление сената.

здесь публиканы-всадники обвиняют в тех же преступлениях преторов. Дальше, благородные мужи, терпеть мы не можем: это подрыв государственной власти, позор для сената, который не принимает мер пресечения, стыд для честного римлянина! Третий вопрос — о торговле: у нас ввоз значительно превышает вывоз. Что ввозят в Рим италийские купцы? Рабов, зерно, пряности, одежду, домашнюю утварь, украшения, предметы роскоши. А что вывозят? Масло, вино и отчасти железо. А между тем, Рим мог бы вывозить еще шерсть, сыр, вазы, глиняные изделия. В Путолах, откуда направляется внешняя торговля через Делос, Александрию и сирийские гавани в самые отдаленные части мира, в Остии, центре внутренней торговли, заметно большое оживление; оно увеличится со взятием Нуманции, когда будут вывезены оттуда сокровища, а жители проданы в рабство.

Тиберий больше не слушал. Он вышел из курии Гостилия со стесненным сердцем: судьба Манцина была решена — консула выдадут неприятелю на поругание, а может быть и на смерть.

Возвратившись домой, он поспешил в атриум, где его дожидались Диофан и Блоссий.

Рассказав им о заседании сената, Гракх задумался. Но друзья его были люди твердые, упрямые и умели поддержать падавшего духом Тиберия.

— Не тужи, господин наш, — ободрял его Диофан, — будь великим мужем! Вспомни, как греческий демос добивался человеческих прав в борьбе с эвпатридами, и пусть примером для тебя послужит деятельность Писистрата и Перикла! Борись с врагом — и победишь. Враг твой — сенат, попытайся найти людей, на которых мог бы ты опереться.

— Тем более, — подхватил Блоссий, — что земледельцы задыхаются, их становится все меньше и меньше, — кем будет государство пополнять свои легионы? Начни борьбу, захвати власть... А как, при помощи кого — положишься на меня. Знаешь Фламиния? Это — начальник всадников, он враждует с сенатом и поможет тебе... Позволь мне договориться с ним и помочь тебе сблизиться с публиканами. И ты, я уверен, станешь у власти.

— Мысль твоя хороша, Блоссий, — воскликнул Диофан, — но ты чересчур поспешен в решениях. Нужно сделать так, чтоб не наш господин просил поддержки у всадников, а они — у него...

— Золотые слова, — улыбнулся Блоссий и повернулся к Тиберию, — будь спокоен: публиканы будут искать тебя, а не ты их...

XV

Сословие всадников, занимавшее середину между нобилиями и плебеями, старалось подчинить себе сенат, даже стать, если удастся, во главе его.

— Наши заслуги перед республикой велики, — кричали они на своих совещаниях, — мы вынесли на своих плечах Пунические войны, спасли государство от нашествия Ганнибала! Мы снабжали деньгами опустевшую казну, закупали для войск провиант и оружие, а что получили? Сенаторы грабят нас, их ставленники опустошают провинции и делят добычу с лицемерами, которые тайком занимаются торговлей и спекуляциями. Нет, так продолжаться не может! Боги будут за нас!

Время шло.

Недовольство всадников увеличивалось; они готовились к борьбе, стараясь найти

достойного соратника, быть может, даже вождя из среды сенаторов, и Блоссий указал всадникам на человека, стремившегося к власти:

— Мой господин Тиберий Гракх готов бороться. Время благоприятное: Сципион Эмилиан вскоре отправится под Нуманцию, а Рим без него — все равно, что без головы.

Речи Блоссия были заманчивы. Всадники собирались, обсуждали свои силы, дела, средства и торопили Блоссия, чтобы он привел к ним Тиберия.

— Скажи ему, — говорили они, — что мы — могущественны, и он получит власть над всей Италией, если будет бороться на нашей стороне. Больше ждать мы не можем: проконсулы разоряют нас, мы терпим убытки. Сбор налогов, которые мы взяли на откуп, не дает ничего. Пусть господин твой наметит законы...

— Пока Тиберий Гракх не трибун, он ничего не в силах сделать.

— Мы предложим его в трибуны... Народ нас поддержит!

— Он мечтает наделить разоренных пахарей землею...

— Пойдем и на это. Его закон больно ударит по нобилям. Блоссий подумал и сказал:

— Хорошо, я поговорю с господином. Пусть выборные от вашего общества приходят завтра днем в дом Гракха. Там и побеседуем.

На другой день они посетили Тиберия. Шесть человек дожидались его в атриуме, беседуя шепотом, рассеянно поглядывая на дорогие вазы и картины, приобретенные в свое время родителями Гракха.

Тиберий вошел в сопровождении Блоссия и Диофана.

Лицо его, всегда ясное, спокойное, было сумрачно: он только что получил известие, что Гостилия Манцина, полунагого, босого, закованного в цепи, выдали нумантийцам, и что неприятель оказался благороднее сената, — отпустил консула на волю. Манцин, не желая возвращаться в «неблагодарное отечество, в страну грабителей и злодеев» (так он прокричал со стен Нуманции), отправился на север Испании.

— Я знаю, зачем посылает вас ко мне Беллона, — сказал Гракх, кивнув всадникам, — но помните, что борьба требует жертв. Я все обдумал. Сначала я наделю землей хлебопашцев, а потом ударю по сенату, чтобы помочь вам...

— Мой господин, — вмешался Блоссий, — хочет ограничить владения землевладельцев пятьюстами югеров общественной земли, а излишки отобрать в казну и нарезать из них наделы пахарям, по тридцати югеров на человека.

— Это означает борьбу с сенатом, — усмехнулся толстый, огромный белобородый всадник, с румяными щеками и красным носом, — что ж, мы тебе поможем стать трибуном, если и ты нас поддержишь...

— Чего хочешь?

— Проведи закон о суде над наместниками. Гракх молчал, обдумывая предложение.

— Это не все, — продолжал старик, — в сенатскую комиссию, которая разбирает жалобы провинциалов на наместников, должны войти всадники в равном числе с сенаторами...

«Опять сенат, — подумал Тиберий, — столкновение с ним неминуемо, но если мне удастся восстановить древнюю общественную землю и показать народу его силу, я возьму в руки всадников, я создам такое государство, о котором ни Сципион Эмилиан, ни Лелий и не помышляли».

— Что же ты задумался? — спросил старик, волнуясь: он боялся, что Гракх откажется в самую последнюю минуту.

— Я согласен, — сказал Тиберий и протянул всадникам руки.

Кланяясь, толкая друг друга, они торопливо бросились к сенатору и как-то осторожно и подобострастно пожимали ему руки.

— Велик род Семпрониев! — восклицали они. — Хвала Юпитеру Капитолийскому, давшему нам жизнь в такое время, когда не иссякла еще в Риме доблесть! Хвала Минерве-воительнице, которая поддерживает в тебе древнеримскую добродетель!

А старик-всадник прибавил:

— О тебе напишут в анналах, ты станешь знаменитым на многие тысячелетия!

XVI

Слухи об отъезде Сципиона Эмилиана под Нуманцию оказались правдивыми. Желая сразу покончить с упрямым неприятелем, сенат решил послать в Испанию разрушителя Карфагена, великого полководца, который, посвятив себя наукам и творчеству, жил в Риме, насаждая в обществе греко-римскую культуру.

Центуриатные комиции, о созыве которых народ был извещен за три дня, собрались на Марсовом поле. Они должны были решить, продолжать ли войну с нумантийцами или заключить позорный мир. Красное знамя трепетало над городом, а в крепость, высившуюся рядом с Капитолийским храмом, были введены по обычаю войска.

Сципион пришел на Марсово поле до открытия собрания. Он смотрел, как испрашивались у богов ауспиции, как наблюдалось обозначенное посохом авгура на небесах место, которому соответствовало такое же место на земле, слушал речи представителей сената, их уговоры продолжать войну и думал о том, что народ не желает воевать, но если центуриатные комиции постановят осаждать Нуманцию, римские легионы не посмеют послушаться.

Из совещательного собрания народ отправился к месту голосования. На помосте стояла урна, в которую опускались таблички. Когда должностные лица произвели подсчет, оказалось, что большинство голосов было за продолжение войны. Выборы консула прошли быстро: народ голосовал за Эмилиана. Это было второе консульство полководца, и Семпрония, узнав об избрании мужа, воскликнула: «Милость богов на тебе, Публий!» И тихо прибавила: «Только не на мне...»

Сципион хотел произвести набор рекрутов, чтобы создать сильные легионы, влить их в Испании в недисциплинированные войска, но сенат, опасаясь, как бы полководец не захватил власть в Риме, решительно воспротивился. Эмилиан понял, что сенат не доверяет ему, и возмутился: в нем, в его честности, в его любви к отечеству сомневаются — и кто? Люди, которых он презирал за коварство, нечестность, двуличность, жадность, темные дела! Удрученный, он настоял в трибутных комициях, чтобы предоставили в его распоряжение нескольких лиц, по его желанию, и, воспользовавшись правом выбора, предложил молодым людям Семпронию Азеллиону и ровеснику его Публию Рутилию Руфу ехать с ним в Испанию в качестве военных трибунов; он решил также взять с собой Гая Гракха, которому наскучила праздная жизнь римского общества и который мечтал завоевать себе положение государственного человека.

Уходя с Марсова поля в сопровождении друзей, Сципион смотрел на жилистые затылки двенадцати ликторов, которые шли впереди него, и думал, что сейчас увидит весталку, дочь Аппия Клавдия, которая помогла своему отцу отпраздновать триумф после победы над салассами, несмотря на противодействие сената. А между тем Аппий Клавдий захватом золотоносных рудников обогатил Рим. Какая несправедливость! И его, должно быть, заподозрили в стремлении к власти: ходили слухи, что он вывез много золота, знает лучшие места россыпей, «а при помощи золота чего не сделаешь?» Но обвинить его открыто никто не осмелился. И как обвинить? Аппий Клавдий был честен, дружил с Муцием Сцеволой, Крассом Муцианом, со многими сенаторами, но именно друзья его распространяли эти слухи. Эмилиан был убежден, что старик честен и что главной причиной тайного недоброжелательства были его успехи в государственных делах и уважение, которым он пользовался в обществе.

«Так же и я, — с горечью думал Сципион, — мне льстят, передо мной заискивают, а меня боятся... Может быть, слухи и обо мне ходят, да я их не знаю...»

У подножия Палатинского холма, в серединном месте города, находился круглый храм Весты с темными колоннами.

Эмилиан вошел в храм в сопровождении друзей и магистратов. Старшая весталка, в белой длинной одежде и с белой повязкой на лбу, отошла от очага, на котором горел неугасимый огонь, и повернулась к Сципиону. Юная весталка, следившая за огнем, не повернула к ним головы: глаза ее были устремлены на священное пламя, и Эмилиан различил в полумраке светлое пятно шеи и строгий овал сосредоточенного лица.

Он подошел к базальтовой нише, в которой хранились пенаты, оберегающие государство, и, взяв из рук Гая Гракха простой глиняный сосуд с соленой кашей из полбы и пучки латука, принес на очаге жертву.

Белыми призраками проходили между колонн юные весталки с кувшинами на головах: они носили проточную воду из источника Эгерии для очищения храма. Мягкий шелест одежд доносился от Палладиума, находившегося возле святынь.

Старшая весталка молилась с опущенными глазами; пламя в очаге мигало, и быстрые тени пробегали по ее смуглому лицу.

«Вот она, смелая дочь Аппия Клавдия, — думал Сципион, — девочкой вступила она в этот храм, тридцать лет вычеркнула из своей жизни, посвятив себя служению богине, и вскоре покинет его, чтобы начать личную жизнь. Конечно, она выйдет замуж, и старый Аппий Клавдий дождется от нее внуков... Но тридцать лет!.. Правда, время это протекло спокойно, она была образцовой весталкою, при ней вечный огонь не потухал на очаге, и бич верховного жреца не кромсал ее молодого тела...»

Он вышел из храма, думая об Испании: он служил там военным трибуном, первый взошел на стены Интеркации и был награжден венком. Это было давно. А теперь... О количестве легионов были у него сведения от сената, но он не доверял им, считая их преувеличенными, и только личный осмотр войск на месте мог выявить точное число легионеров.

Накануне отъезда под Нуманцию Эмилиан созвал клиентов. По обычаю, они должны были сопровождать патрона на войну, делить с ним тягости походов, исполнять поручения и даже участвовать в боях, сообразно своим способностям.

Лизимах, с суковатой палкой в руке, слушал речь Сципиона, опустив голову; он думал, что пребывание в Испании не даст ему никаких выгод: «С кем вести крупную торговлю? Там живут варвары, которым, кроме дешевых женских украшений, ничего

не нужно. Ну, а геммы, золото, серебро, драгоценные камни? Кому предлагать? Вождям покоренных племен? Да они бедны, и только дурак может думать о таких сделках...» И он обратился к Сципиону с просьбой оставить его в Риме.

— Назначь меня управляющим твоим именем, — говорил он избегая смотреть в глаза патрону, — и я досмотрю за всем, а твои лавки будут давать такую прибыль, о какой ты никогда и думать не мог.

— Перестань, — поморщился Эмилиан, — Я не купец, а патриций. Пусть вольноотпущенники заботятся о прибылях и ведут торговлю.

— Берегись, господин, всадники разорят твоих вольноотпущенников. Не забывай, что они скупают и продают съестные припасы, предметы потребления, железо, шерсть, олово, драгоценности не в розницу, а оптом, и не твоим клиентам тягаться с ними...

— Чего же ты хочешь?

— Я хочу остаться в Риме, чтобы продолжать с ними борьбу. За прошлый год я так хорошо повел свои дела, что чистая прибыль превысила сто талантов...

— Молчи! — вспыхнул Сципион. — Если бы ты только скупал и продавал рабов, то я, может быть, не стал бы тебя порицать, ибо работорговля узаконена государством, но ты (он задохнулся, взглянул на Лизимаха налитыми кровью глазами)... ты занялся постыдным делом, жажда наживы низвела тебя на самую низкую степень падения... Ты стал отбросом общества... Ты запятнал мое доброе имя... ты...

Лизимах побледнел, лицо его стало пепельно-серым.

— Ты скупаешь лупанары, открываешь новые на Авентине и Палатине, вербуешь блудниц из среды разоренных земледельцев — римских граждан, ввозишь бесстыдных девок из Египта, Пергама, Понтийского царства, Нумидии, Галлии, Испании, Македонии... Ты обнаглел, Лизимах! Не ты ль открыл роскошный лупанар у Целийского моста? Не ты ль празднуешь в нем вступление девушек на путь порока, украшая этот дом миртами? Довольно! Я узнал это на днях случайно, Марк Эмилий Скавр рассказывал эти гадости в сенате и упоминал твое имя...

Лизимах повалился патрону в ноги:

— Пощади, господин! Каюсь, виноват я...

— Нет, — грозно сказал Эмилиан. — Я поступлю с тобою...

— Сжался, господин, пощади... Сжался ради... Лаодики... Она не вынесет...

Это было последнее средство, которое хитрый горбун пустил в ход: он наблюдал с диким злорадством, как лицо Сципиона окрасилось розовой краской, смягчилось, глаза стали не такими бешеными, как несколько минут назад.

— Завтра ты продашь все эти лупанары обществу публиканов, — услышал он суровые слова патрона, — и поедешь со мной под Нуманцию. За тобой нужен надзор. Такого человека, как ты, я не могу оставить в Риме: ты опозоришь меня совсем.

— Как же я поеду? — вскрикнул Лизимах, подымая голову. — А жена, дочь? Они...

— Они останутся в Риме.

— Но я прошу тебя, прибегаю к твоей милости...

— Замолчи!

Клиенты давно уже разошлись, и только два человека находились в атриуме: один ходил, часто останавливаясь, думая, другой стоял на коленях.

Взглянув на него, Эмилиан спохватился:

— Встань. Зачем ты унижаешь меня, становясь на колени? Ведь я запретил этот

варварский обычай...

— Господин мой!

— Встань, говорю...

Лизимах искоса взглянул на Сципиона.

— Продажа этих домов, — тихо вымолвил он, — отнимет несколько дней — в один день не управиться. Разреши мне побыть здесь до ид этого месяца, и я догоню тебя в Испании...

— Хорошо.

Эмилиан вплотную подошел к горбуну:

— Ты — хитрый, а может быть, и злой человек. Я тебя вижу насквозь. Ты не остановился даже перед грязью ради наживы. А скажи, знают жена и дочь о твоих лупанарах?

Лизимах побледнел, губы его задрожали, он не мог выговорить ни слова.

— Они, вероятно, не знают. Ну, а если узнают? Какими глазами будешь ты смотреть на них, что говорить?

Горбун затрясся всем телом.

— Помни: попадешься еще раз — пощады не будет. Я тверд и суров... Иди.

И властным движением руки он указал клиенту на дверь и прошел в таблин.

Навстречу ему поднялась Семпрония: лицо ее была жалко, опухшие глаза красны от слез.

— Публий, — шепнула она, — я не могу так больше... Прошу тебя...

Брови его сдвинулись. Он молчал, ожидая ее слов, обдумывая, что ответить. И вдруг услышал ее всхлипывания; это был плач несчастной женщины, которая истрадалась, живя с суровым мужем, помнила еще счастливые годы и надеялась на его любовь.

— Что случилось? Почему ты плачешь?

— Публий, ты меня больше не любишь... Сципион молчал.

— Я не знаю причины, — говорила Семпрония, покачивая головою, — но я много думала... И мне кажется, что ты увлекся, Публий, другой женщиной и оттого изменился ко мне... Скажи, правда ли это?

Он не хотел огорчать жену: он жалел ее, но не любил — другая овладела его сердцем, быть может, даже любила, но и с ней не было счастья; сойтись с гречанкой — значило оскорбить Семпронию, поправить древне-римские обычаи, освященные богами, и ради кого? Ради чужеземки, дочери клиента. Нет, он останется честным до конца.

— Какие мысли приходят тебе в голову? — улыбнулся он. — Завтра я уезжаю на войну, со мной едет твой младший брат Гай, Полибий и Луцилий; может быть, к нам присоединится еще кто-нибудь из членов кружка.

— У тебя дела, дела и дела! — вздохнула Семпрония. — Обещай писать почаще, не забывать...

Она не договорила и, бросившись к нему, обхватила его шею смуглыми руками.

— Да, да, я буду писать.

XVII

Сципион Эмилиан прибыл под Нуманцию летом.

Стояла удушливая жара. Легионеры ходили, как сонные мухи; работы по укреплению лагеря, перенесенного со старого места консулом Гостилием Манцином,

почти прекратились, лишь только Тиберий уехал в Рим, и воины проводили время, забавляясь с любовницами, приходившими из окрестных деревень, пьянствовали, играли в кости на деньги. Это была не военная служба, а жизнь распущенных бездельников, и они думали, что так будет продолжаться долго. Однако они ошиблись.

Первым делом Сципион осмотрел воинов и лагерь. Торговцы, гадалщики, блудницы — все были изгнаны из лагеря. Легионы стали роптать. Эмилиан созвал военных трибунов и центурионов, повелев за неисполнение легионерами приказаний делать вычеты из жалованья, сечь виновных прутьями, а особенно дерзких и неисправимых отсылать к нему на преторий.

— Объявить войскам, — сказал он, — что с завтрашнего дня приступим к укреплению лагеря на старом месте; кроме того, вводится военное обучение, всякий проступок будет строго караться по законам, — от пени до смертной казни. У кого в палатке будет обнаружена блудница, того вместе с нею ждет наказание прутьями при выстроенных легионах. За пьянство — вычет из жалованья, за повторное — телесное наказание, за дальнейшее — смертная казнь.

Он собрал квесторов, потребовал позаботиться о необходимом количестве материала для лагеря и намекнул, что понадобятся осадные лестницы, доски для постройки башен, перекидных мостов, прикрытий для таранов.

— Немедленно принять меры.

Гай Гракх и Луцилий удивлялись Сципиону: в Риме они привыкли встречаться с ласковым, любезным хозяином, приветливым и вежливым, образованным, веселым, а здесь под Нуманцией перед ними был суровый воин, требовательный, крайне строгий. Он отдавал приказания тонким металлическим голосом, каждое слово его подхватывалось трибунами, передавалось центурионам, доходило до легионеров, но они ворчали на распоряжения нового начальника, хотя и знали, что он — великий полководец, разрушитель Карфагена.

Вечером он позвал к себе в палатку Полибия и Луцилия:

— Дорогие друзья, не прогневайтесь на меня за выбор; вы должны немедленно выехать с посольством к нумидийскому царю Мастанабалу. Вы отвезете ему подарки, скажете. «Так говорит Сципион Эмилиан, полководец, осаждающий Нуманцию: мне нужна конница и слоны. Пришли поскорее, и Рим если понадобится, поддержит тебя тоже».

— А если царь откажется? — спросил осторожный Луцилий.

— Скажи, что Рим требует Мастанабал не захочет иметь такого сильного врага.

На другой день, когда посольство, окруженное всадниками, выехало из лагеря, Сципион отправился осматривать, в сопровождении Гая Гракха, Семпрония Азеллиона и Публия Рутилия Руфа, неприятельские укрепления и римские осадные орудия.

Впереди возвышались темнокаменные стены Нуманции, и по ним прохаживались часовые: копья их горели ослепительными огоньками на солнце. Широкий ров, полный воды, проведенной от Дурия, казалось, был непроходим. Железные ворота охранялись стражей со стороны города.

Зазвенела стрела и вонзилась в землю у ног Эмилиана кивая седоперым черенком. За ней последовала вторая, третья Сципион взглянул на стены: они были усеяны воинами, которые натягивали длинные луки, крича оскорбительные слова, грубо коверкая латынь.

— Отойдем, — сказал Азеллион — Стрелы отравлены, и глупо было бы умереть так бесславно...

— Верно. — поддержал его Гай Гракх. — Спрячемся за этот бугорок.

Эмилиан возвратился в лагерь, пошел осматривать осадные орудия Их было немного: две-три баллисты, три-четыре катапульты.

У одной катапульты находился легионер: заряжая ее попеременно легкими ядрами, стрелами и копьями, он метал их на расстоянии трех стадиев в деревянный щит, сбитый из нескольких досок, наблюдая за попаданиями, ядра оставляли на досках следы, стрелы застревали, а копья пробивали доски.

Увлечшись стрельбой, он не заметил подошедших начальников.

— Хорошо, — сказал Сципион, залюбовавшись мужественным лицом легионера, а еще больше его упражнениями. — Кто ты? Как тебя звать?

— Я — Марий.

Он узнал полководца, встал смиренно.

— Давно служишь?

— Я прибыл сюда с консулом Манцином. Эмилиан осмотрел катапульты, затем баллисты.

— Катапультую ты владеешь хорошо, ну, а баллистою? На хмуром лице Мария весело ощерились зубы:

— Прикажешь ударить по нумантийским стенам?

Он подозвал нескольких легионеров, и они выдвинули баллисту вперед.

На земле лежали глыбы гранита, деревянные балки, свинцовые слитки.

Марий зарядил орудие каменной глыбой, спустил собачку: тетива с двумя коромыслами, вставленными в полувертикальные канаты из звериных жил, ударила в глыбу, покатила ее вверх и выбросила с огромной силой в дугообразном направлении; баллиста пошатнулась, и в ту же минуту послышался гул и рев толпы, — глыба задела вершины стены, отвалила от нее кусок и с грохотом упала в город.

— Молодец! — восторженно воскликнул Сципион, хлопнув Мария по спине. — Побольше бы нам таких воинов, и Нуманция — наша!

— Крепость трудно взять, — возразил Марий, — окрестные жители помогают ей продовольствием, и я предлагал квестору Тиберию Гракху, моему другу...

— Тиберий — твой друг? — удивился Эмилиан.

Когда же Марий рассказал о совместном путешествии с квестором и консулом, о разведке, которую он хотел предпринять, Гай тепло улыбнулся:

— Мой брат Тиберий говорил о тебе перед моим отъездом; ты храбр и очень способен... Разведке твоей помешало перемирие...

— Зато теперь это возможно, — сказал Сципион, — узнай, откуда нумантийцы получают помощь, с кем поддерживают сношения.

— Я отправлюсь сегодня же ночью...

— Перед уходом зайди ко мне.

Между тем неприятельские воины, обнаружив местонахождение военачальников, принялись их обстреливать. Марий, прикрываясь щитом, побежал к баллисте, зарядил ее опять: грохот и столб пыли. Стена опустела.

— Отодвинуть баллисту, — распорядился полководец, — возле орудий поставить часовых, зорко смотреть за действиями противника. Усилить караулы.

— Будет исполнено, — сказал Азеллион.

— С наступлением ночи приступить к рытью окопов вокруг города: это — ночная работа; днем — укреплять лагерь на старом месте. Легионы распределить по сменам, не забывать военных занятий, обучать воинов и укреплять дисциплину...

— Я распоряжусь, приму меры, — откликнулся Рутилий Руф.

Ночью на преторий проник оборванный бородатый ваккей, с грубой секирою в руке. Стража, охранявшая палатку Сципиона, задержала его, но варвар на ломаном латинском языке требовал пропустить его к полководцу. Ваккей ругался, кричал, легионеры и трибуны смеялись.

— Что за шум?

Эмилиан вышел из палатки, оглядел варвара, при свете факелов, с ног до головы.

— Что тебе нужно?

— Говорить с вождем, — скрипучим голосом ответил пришелец, направляясь к палатке полководца.

— Оставь секиру у входа, — приказал Гай Гракх и последовал за ними.

Сципион сел. На походном столике стояла светильня, в которой потрескивал огонь. Ваккей поглядывал на полководца, на квесторов и трибунов.

— Ты приказал мне явиться, — тихо вымолвил он.

— Да кто же ты? Кто приказал? — вскочил Эмилиан. — Ты перебежчик, соглядатай?

— Нет, великий вождь, — слышались твердые слова, произнесенные знакомым голосом, — я — Марий, иду на разведку... по твоему приказанию...

— Ты?! — вскричал Сципион. — В этом виде тебя никто не узнает... Но... умеешь ли ты говорить на варварском наречии?

— Я притворюсь немым.

— Выведай о положении в городе, а если возможно — захвати в плен нумантийца...

— Попытаюсь.

Когда Марий ушел, Эмилиан улыбнулся:

— Этот легионер незаменим. Посмотрим, с чем он вернется. И если оправдает ожидания, я награжу его достойным образом. Прошло два дня. Марий не появлялся. Сципион беспокоился, но молчал. Наконец Марий пришел ночью, потребовал разбудить полководца.

— А, это ты! — воскликнул Эмилиан, плохо скрывая радость, зазвучавшую в голосе. — Ну что скажешь?

— Ваккей тайком продают неприятелю хлеб... Лодочники и водолазы снабжают город съестными припасами... Вождь нумантийцев Ретоген готовит вылазку... В городе восемь тысяч воинов... В случае нашего приступа будут биться старики, женщины и дети... («Как в Карфагене», — подумал Сципион). Я проник в город, просил на улицах милостыню, но захватить нумантийца не удалось: враг зорек, хитер, подозрителен.

— И хорошо сделал! Может быть, тебе понадобится еще побывать в Нуманции...

— Как прикажешь...

Эмилиан остановился перед Марием:

— Я доволен тобой; благодарю за службу отечеству и поздравляю тебя с повышением: ты — центурион.

И Сципион сердечно пожал ему руку.

Спустя три месяца двойная линия глубоких окопов опоясывала город, ночами производились поспешные работы по сооружению стен, башен и вала. Люди работали под охраной вооруженных легионеров, один вид которых вызывал у полководца презрительную улыбку. «Кто храбрее — рабочие или стража? — думал он. — Те и

другие трусы: стоит появиться противнику, как все разбегутся».

И он не ошибся.

Нумантийцы тревожили рабочие отряды смелыми налетами, обращая не только их, но и вооруженные части в бегство. Нередко рабочие отряды, растерянные, подавленные храбростью противника, сражались мотыгой и заступом. Тогда нумантийцы справлялись с ними без труда: они уводили их в плен, а на другой день казнили на городской стене, но чаще всего заставляли стрелять по своим, а кто не повиновался, того немедленно обезглавливали.

Случалось, что осажденные вызывали римлян на бой, но Сципион уклонялся от битвы, потому что не надеялся на свои войска; легионеры, даже при вылазке самого малочисленного отряда, обращались в бегство. Эмилиан применял решительные меры: сек прутьями целые манипулы, сек центурионов, а однажды пригрозил Марку Катону, военному трибуну, постыдным наказанием за пьянство при выстроенных легионах.

Суровость Сципиона не нравилась трибунам, центурионам и молодым легионерам: полководца не любили, один вид его возбуждал страх, но старые воины, триарии, гордились своим вождем. Вечерами, у костров, они говорили о нем с похвалою, вспоминали о взятии Карфагена, о честности и справедливости великого римлянина.

Посольство, посланное в Нумидию (Полибий тяжело заболел в пути и его отправили в Рим), возвратилось в сопровождении конницы и двенадцати слонов под начальством молодого царевича Югурты. Это был смуглый, черноглазый юноша в барашковой шапке, увитой белой широкой повязкой, порывистый, беспокойный, жестокий, подозрительный. Сам Эмилиан был свидетелем его безграничной вспыльчивости: спешившись перед палаткою полководца, Югурта заговорил высоким женским голосом на непонятном для римлян языке, с бешенством закричал — всадники раздвинулись, к нему подъехал бородатый человек, спрыгнул с коня. Не успел Сципион удержать царевича, как в воздухе сверкнул огненной полосой изогнутый нумидийский меч, и бородатая голова, мигая глазами, подкатилась к ногам полководца.

Оттолкнув ее, Югурта приветствовал Эмилиана движением руки, обернулся к приближенным, что-то крикнул. Лысый старичок слез с лошади, поклонился, прижав руку к сердцу. Югурта говорил, а старичок переводил:

— Великому римскому полководцу честь и слава! Нумидийский царь Мастанабал внял твоей просьбе и присылает меня, своего царевича, в помощь тебе. Наша конница — первая в мире, а боевые слоны могут заменить большие отряды пехоты. Прикажи, что делать, и ты увидишь нашу доблесть. Царь Мастанабал слышал о тебе, глубоко тебя уважает и шлет тебе в подарок лучшего жеребца из своей царской конюшни, золотой перстень с яшмой, меч, усыпанный драгоценными камнями, и желает тебе военных успехов, славы и могущества!

Он вручил Сципиону перстень и меч, приказал подвести жеребца. Это был низкорослый вороной конь, полудикий, с красными белками беспокойных глаз: он не стоял на месте, а прыгал, то приседая на задние ноги, то взвиваясь на дыбы.

— Благодарю тебя, царевич, — просто ответил Эмилиан. — Я рад, что ум твой превосходит молодость, а храбрость сверкает в твоих смелых глазах. Когда будешь царем, вспомни мои слова: «Честность, справедливость, любовь к наукам и трудолюбие составляют жизнь человека». А ты, кажется, вспылал, уклонился от этого пути?

И он указал на голову, лежавшую в пыли. Югурта вспыхнул, но сдержался:

— Ты ошибаешься, я поступил справедливо: этот воин роптал дорогою, что мы идем помогать римлянам; он говорил так: «Сципион разгромит сначала Нуманцию, а потом завоюет Нумидию, поработит нас всех». И я наказал бунтовщика: больше никто не посмеет оскорблять тебя, усомниться в твоей честности!

— Благодарю тебя.

— Скажи, что нужно делать? — Отдохни сперва..

— Хорошо. Но потом?

— Ты уничтожишь в окрестностях неприятельские запасы продовольствия, сожжешь хлеб на корню, накажешь ваккеев, как найдешь нужным, за помощь, которую они оказывают нумантийцам, заставишь их признать верховенство Рима...

— Все?

— Пока все.

Царевич кивнул и приказал своим людям разбить шатер рядом с палаткой полководца.

Белые покрывала многочисленных всадников колебались на ветру, лошади ржали, слоны трубили, подымая хоботы. Гортанный говор всадников, их вскрики, заунывные песни долго мешали заснуть Сципиону, а когда он проснулся чуть свет и вышел на преторий, чтобы умыться, — конницы, слонов и шатра Югурты не было уже на месте. Караульный трибун доложил, что царевич глубокой ночью снялся с лагеря со своими войсками и отправился в северо-западном направлении.

Днем ветер принес удушливый запах гари: окрестность дымилась, точно серовато-белый туман застилал поля и деревни, надвигаясь от реки на римский лагерь. Марий, посланный на разведку, донес, что слоны топчут хлеба, а нумидийская конница грабит деревни.

Ночью огромное зарево раскинулось на северном горизонте вдоль Дурня: горели деревни, вздымая к звездному небу широкие полосы искр, огненные языки жадно лизали темноту, пылали на полях колосья, скирды необмолоченного хлеба, тусклые крики слабо доносились до римского лагеря.

На стенах Нуманции были удвоены караулы, заметное оживление неприятеля обеспокоило полководца. Он приказал трубить сбор; загудели трубы, и римская конница, состоявшая из союзников, ответила пронзительным голосом своей трубы.

Но прежде чем римляне успели построиться, железные нумантийские ворота распахнулись, и оттуда вылетела конница, за нею высыпали воины; они бежали на приступ лагеря с дикими воинственными криками, они хотели сразиться с врагом, отомстить за потерю продовольствия, пожираемого огнем, за разграбленные горящие деревни, за ваккеев, уводимых нумидийцами в рабство, за изнасилованных жен, детей и дочерей.

В одно мгновение нумантийская конница смяла римскую, опрокинула пехоту. Легионеры побежали.

— Стойте, негодяи! — закричал Сципион и, вскочив на Эфиопа, нумидийского жеребца, помчался с обнаженным мечом наперерез бегущим. Но его не слушали. Обезумевшие воины бросали щиты, оружие, и напрасно меч Эмилиана обагрался римской кровью, напрасно конь его топтал легионеров — поток людей остановить было невозможно.

Взгляд Сципиона упал на баллисту, и в ту же минуту полководец увидел Мария, который заряжал орудие. Эмилиан понял.

— Прикажешь? — крикнул Марий.

— Бей! — исступленно прохрипел полководец. — В гущу, в гущу!

Тяжелая глыба обрушилась на воинов, вырвав из бегущей толпы несколько десятков; беглецы остановились. Громкий голос Сципиона разнесся по лагерю, заглушая шум битвы:

— Стройся!

В это время полководец увидел Луцилия, который, во главе триариев, обходил нумантийцев:

— Луцилий, бей в тыл! Марий, веди гастатов!

Молодой центурион бросился в бой с тяжеловооруженными воинами; в одно мгновение он прорвал ряды нумантийцев и обратил их в бегство. Но тут поджидали неприятеля триарии: Луцилий приказал никого не брать в плен, и отступающий враг был перебит.

Отразив вылазку, Эмилиан дал отдых утомленному войску, а на другой день приказал перед лагерем построить легионы.

В первых рядах стояли рослые гастаты, в кожаных панцирях с металлическими кольцами, и держали у ноги тяжелые копья, за ними — велиты, с большими греческими луками из двух соединенных рогов антилопы, с колчанами, наполненными длинными ясеневыми отравленными стрелами, а дальше — триарии в полном вооружении, с плоскими этрусскими баклагами на шнурках, перекинутых через плечо. Знамена с изображением руки, лошади, волчицы, Минотавра и борова колыхались над войском.

Сципион произнес речь, требуя от воинов безусловной храбрости, называя их трусами, негодяями, угрожая, при повторном бегстве перед врагом, децимацией.

— Никогда я не предводительствовал таким сбродом, как вы! — кричал он. — Никогда я не прибегал к крайним мерам, ибо воины понимали, что они сражаются за отечество! Никогда я не видел таких трусов, как пришлось мне видеть вчера! Впредь я не потерплю этого; пощады не будет никому, — ни легионеру, ни центуриону, ни трибуну, ни квестору, ни легату!

Войска отвечали хором, что они рады служить под его начальством, но Эмилиан был разгневан; отвернувшись от воинов, он пошел к своей палатке, прикрыв полою тоги, в знак горя, свою голову.

Это подействовало на воинов больше слов полководца. Удрученные, они молча расходились, избегая смотреть друг другу в глаза. Только одни триарии шли с гордо закинутыми головами: они не знали, что значит бегство, и скорее умерли бы на месте, чем отступили без приказа.

И Марий был доволен: Луцилий объявил ему, что, по приказанию полководца, центурион Марий производится в примипилы — высшие центурионы. Марий с удовлетворением улыбнулся; он знал, что примипил имел право участвовать в высшем военном совете и наказывать провинившихся воинов, даже заслуженных, прутом виноградной лозы.

Подходя к своей палатке, Сципион увидел навьюченных мулов и трех человек в дорожных одеждах и, взглядевшись, узнал в одном из них Лизимаха.

— Привет великому римлянину! — закричал грек, взмахнув широкополым петазом. — Добрые пожелания от твоих ларов! Я привез эпистола от благородной твоей супруги Семпронии, а еще...

Голос его осекся. Он вынул из сумки навощенные дощечки и протянул Эмилиану. Полководец мельком взглянул на них, и радость на мгновение залила его лицо: имя

Лаодики запрыгало перед глазами.

Он прошел в палатку, прочитал:

«Недостойная рабыня твоя Лаодика, дочь клиента Лизимаха — нашему патрону и господину П. К. Сципиону Эмилиану Африканскому, консулу и полководцу.

Глубоко опечалил нас твой отъезд в Испанию, а еще больше, что мать и я не успели высказать тебе наши лучшие пожелания, которые сопутствовали бы тебе в походах, воодушевляли тебя в боях, жили светлыми воспоминаниями о наших встречах и зарождавшейся дружбе. Что тебе помешало увидеться с двумя твоими рабынями, которые, кроме уважения и преклонения перед твоими доблестями, испытывают к тебе нежное чувство дружбы? Нежелание проститься? Неприязнь к нам? Или общество ниже тебя стоящих людей? Но мы так же образованы, как члены твоего кружка, так же любим науки, как ты, так же стремимся к обществу мудрых, как мужи.

жаждущие истины и самоусовершенствования, и помним слова Аристотеля, которые завершают круг наших надежд и желаний: «Человек по природе животное общественное».

Как я завидую отцу моему, что он увидится с тобою, поговорит! Какая радость была бы для нас сопутствовать тебе в твоих трудах, быть с тобою, слышать твой голос, видеть тебя! Прощай».

Сципион был взволнован. Он перечитал письмо и отложил в сторону; потом взял дощечку, неровные буквы которой вызвали воспоминание о жене. Семпрония писала в ином духе; она утверждала, что тоскует по нем, своем супруге, спрашивала о здоровье, призывала благословение богов на него, намекала на прежние отношения: «Только одно может объяснить твою холодность ко мне: это — любовь к другой. Если ты находишься с кем-либо в связи, сознайся, и мы разведемся. Если же нет, то скажи хоть издали причину, раз ты не захотел объясниться со мной, будучи в Риме, живя под одной кровлею».

Он задумался и не читал больше.

«Если ты находишься в связи», но я не нахожусь в связи, и нам незачем разводиться. Выбор между Семпронией и Лаодикой! Какая противоположность в этих женщинах! Одна — обыкновенная матрона, а другая — афродитоподобная дева; но та — внучка победителя Ганнибала, а эта — дочь клиента, ростовщика, сводника».

Взял опять письмо Семпронии. Взгляд его упал на постскрипту: «А у нас событие: эфиопка Кемар родила маленького смешного черного человечка; он кричит целый день, а мы поим его медовой водою».

Встал, позвал Лизимаха:

— Продал постыдные дома?

— Продал.

— Что нового в Риме?

— Тиберий Гракх перешел на сторону всадников и начинает борьбу с сенатом.

Сципион вспыхнул:

— Откуда знаешь?

— Говорили публиканы, с которыми я веду торговые дела...

— Может, это ложные слухи?

— Нет, господин, Тиберий добивается трибуната. Они замолчали: в палатку вошел Гай Гракх.

— Как будут жить без тебя Кассандра и Лаодика? Ты позаботился о них?

— Будь спокоен, — сухо ответил горбун, злобно усмехнувшись, и подумал: «Как жаль, что я не уничтожил эпистолы Лаодики! Впрочем, он узнал бы о письме и потребовал бы у меня. О, как надоело мне переносить власть этого римлянина!»

Вбежал Луцилий:

— Взгляни, Публий, царевич гонит сотни пленных женщин!

Эмилиан вскочил, выбежал из палатки.

Мчалась, вздымая клубы пыли, нумидийская конница: связанные женщины лежали поперек лошадей, и всадники придерживали их левой рукою. Слоны, навьюченные живым товаром, трусили за ними грузной рысцою. Впереди всех ехал Югурта; перед ним лежала пленная девочка.

Сципион вспыхнул, остановил войско.

— Для вас доступ в лагерь закрыт! — крикнул он. — Разве не знаешь, царевич, что женщинам запрещено находиться в лагере?

Югурта вспыхнул:

— Войско — мое.

— Войско — твое, царевич, но господин не ты, а я! Твердый, спокойный голос полководца звучал убедительно, и Югурта смутился:

— Чего требуешь?

— Отпусти женщин, если желаешь воевать под моим начальством...

Глаза Югурты странно засверкали, и его гортанный говор всполошил всадников: послышался ропот, угрозы, брань, злобный смех. Югурта прокричал какие-то слова пронзительно-дико и, приподняв на вытянутой руке девочку, уронил ее на землю. И в ту же минуту всадники и вожаки слонов, не обращая внимания на женские визгливые вскрики, принялись бросать пленниц, не заботясь о том, что падение на сухую каменистую землю грозило сильными ушибами.

— Теперь проезд свободен? — криво улыбнулся Югурта, едва владея собою.

— Благодарю тебя за службу, царевич! Ты честно выполнил мое приказание: твоя конница заслужила законный отдых.

XVIII

Куда бы ни пошел Тиберий, куда бы ни взглянул в общественных местах — всюду перед его глазами вырисовывались полуграмотные надписи плебеев: «Гракх, защити нас», «Дай нам землю», «Защити от притеснений богачей», «Мы разорены», «У меня за долги отняли последний клочок земли», «Я голодаю», «Я — нищий».

В первый раз он увидел надписи на Табулярии, здании государственного архива, расположенного на склоне Капитолия, над форумом. Двенадцать стройных, как римские девочки, дорических полуколонн с простенькими капителями высились по бокам каждой из одиннадцати арок и составляли одно целое — затейливую рамку вокруг них. И все это было испещрено надписями, нацарапанными острым инструментом; попадалась неразборчивая скоропись. Даже на верхнем ярусе аркад ионического стиля красовалась черная надпись углем: «Гракх, борись! Будешь нашим трибуном».

Тиберий понимал всю важность шага, который он собирался предпринять; закон был надеждою плебеев, пришедших из деревень: разоренные земледельцы мечтали о получении новых участков, ремесленники из хлебопашцев хотели вернуться в деревню, чтобы заняться земледелием: город с его шумом и деловой толчеей подавлял бедняков; голодные, необеспеченные заказами, неуверенные в завтрашнем дне, они ожидали от Гракха облегчения своей участи. Тиберий знал об этом, и честолюбие толкало его посвятить свою жизнь благу народа.

Однако он ошибался, что весь плебс на его стороне: большинство ремесленников никогда не было пахарями, земля им была не нужна, и они говорили «Что нам, горожанам, дадут эти наделы? Как были бедняками, так и останемся. Ну, а товарищам поможем. Народный трибун позаботится и о нас». Но в чем должна была выразиться забота Гракха, они затруднились бы сказать. У них были смутные мысли о повышенном заработке, о хлебе, но эти мысли так далеки были от осуществления, что плебеи могли только думать да мечтать. Меньшинство же говорило о земле, с восторгом, с огнем в глазах. Слово «земля» звучало гордо и крепко: хлебопашество, скотоводство, виноградники, оливковые посадки, огороды, плодовые сады — все это шло от земли, все это обещало сытую жизнь, благосостояние, быть может, даже богатство.

Надписи на зданиях не давали Тиберию покоя; он бредил ими, они снились, возникая причудливыми видениями: весь Рим казался городом надписей, улицы были вымощены призывами, стены домов, зданий, колонны испещрены мольбами, увещеваниями, гневными возгласами, даже от статуй богов тянулись, застыв в воздухе, грозные приказания: «Гракх, борись!»

С другой стороны на него влияли мать, Диофан и Блоссий.

Корнелия говорила:

— Я не узнаю тебя, Тиберий! Ты соревновался в судебных защитах со своим другом Спурием Постумием, а потом отправился в поход, который не дал тебе ничего, кроме неприятностей. А Спурий Постумий опередил тебя значением и влиянием в Риме. Неужели ты потерпишь, чтобы он был выше Гракха? Ты должен выдвинуться, стать великим мужем, полезным государству и народу, чтоб я не слыхала больше презрительных разговоров о нашей семье, чтобы не называли меня с насмешкою «тещей Сципиона» Я хочу быть матерью Гракхов!

— И ты будешь ею! — вскричал изгнанник из Митилены, — Разве ты не видела, благородная Корнелия, надписей на стенах дома? Народ призывает Тиберию, обещает ему поддержку, и господин наш пойдет, чтобы выполнить свой долг перед государством, поднять на небывалую высоту его благосостояние.

— Тем более, — подхватил Блоссий, — что всадники обещали крепкую поддержку...

Корнелия знала об этом: сделка сына с всадниками казалась ей естественным путем к власти. Победить олигархию и, опираясь на всадничество, получить корону, стать единодержавным правителем Рима! Повернуть колесо истории вспять, даровать всадникам, опоре трона, величайшие блага, провести земельные законы в Италии, отдать провинции на откуп публиканам! Голова у нее кружилась. Могущество, царский венец, слава. Недаром она отказалась от руки египетского царя Птолемея. Она будет матерью царя Тиберия, который станет владыкою мира, она...

Услышала голос сына:

— Я советовался о своем законе с Крассом Муцианом, Муцием Сцеволой и

Аппием Клавдием...

— Это хорошо, — перебил Блоссий, — поддержка верховного жреца, консула и главного лица сената обещает успех...

Гракх вспыхнул:

— Дайте же мне сказать! Перестаньте перебивать!.. Завтра выборы. Я пойду туда, и что решено Фортуною — выполню с честью.

На другой день Марсово поле, усеянное народом, гудело, как улей. Когда появился Тиберий в сопровождении друзей и клиентов, толпа приветствовала его восторженными криками. Как и тогда, на форуме, Гракх увидел в передних рядах кузнеца Тита, молотобойцев, портного Мания и их соседей. Они оглушительно приветствовали Тиберия, пытаясь схватить его на руки и нести к месту, занятому магистратами. Тиберий видел возбужденные лица плебеев, счастливые глаза матери (она провожала сына, не в силах противостоять непобедимому желанию лично увидеть отношение к нему народа), веселую улыбку Диофана, Блоссия и друзей. Он хотел освободиться из рук плебеев, говорил им, что он еще не заслужил такой чести, но его подхватили, подняли над толпою, и Тит крикнул на все поле:

— Ты — наш, все знают!

Голос кузнеца прозвучал отчетливо в тишине, установившейся перед ауспициями. Толпа ремесленников, бедняков и небогатых патрициев, подкупленных всадниками, ответила громким возгласом:

— Да здравствует Тиберий Гракх!

Кричало, волнуясь, размахивая руками, вес поле. Он видел сотни раскрытых ртов, белых зубов, сотни поднятых рук и растерялся: «Неужели нет противников? Неужели всюду друзья?..»

Он стоял в переднем ряду, смотрел на ауспиции и видел (недаром юношею сам был авгуром), что боги шлют благоприятные предзнаменования.

«О, какая радость послужить плебсу и отечеству!»

Опираясь на плечо Блоссия, он слушал, как голосовали трибы: не колеблясь, они подавали за него голоса, и он, как сквозь сон, заволакивавший сознание огромным наплывом отрывочных мыслей: слышал шепот друга:

— Еще две трибы, и мы победим: шестнадцать триб высказались за тебя...

Тиберий чувствовал, что друзья волнуются — плечо Блоссия подергивалось, а рука Диофана дрожала в его ладони. А он, Гракх, был спокоен, только странная дремота туманила глаза. И сквозь нее Марсово поле, толпы людей, магистраты на возвышении казались совсем иными, как это бывает с предметами, залитыми лунным светом.

Вздрогнул от возгласа Блоссия:

— Победа! Восемнадцать триб...

Его поздравляли, жали ему руки. Дремота улетела — он понял ясно, что это начало борьбы.

Марк Октавий, Папирий Карбон и Гай Фанний дружески улыбались избранному трибуну. Это были люди, которых Тиберий любил, считая честными, неподкупными, с которыми сжился, часто встречаясь и проводя время в беседах о философии и науках.

А толпа осыпала его приветствиями, и когда он удалялся с Марсова поля, чей-то голос донесся отчетливо, заставив его обернуться:

— Помни, Гракх, мы с тобою!

Тиберий оглядывался, искал глазами человека, крикнувшего эти слова, но Блоссий со смехом взял его под руку:

— Все на тебя надеются; и друзья твои, и плебеи, и...

— Молчи! — прервал его Гракх. — Я не люблю надежды, она сомнительна. Я признаю только уверенность... Нет, не уверенность, а твердую, как камень, веру...

— Она у нас есть! — вскричал Диофан. — Боги за нас, и сам Юпитер Капитолийский поможет нам своими перунами!

XIX

Законопроект Тиберия о наделении землей разорившихся хлебопашцев не был еще объявлен, еще сами плебеи не знали точно, как приступит народный трибун к его проведению и сколько земли придется на долю пахаря, как Рим уже наполнился слухами, сплетнями, пересудами: закон обсуждался в домах нобилей, публиканов и вольноотпущенников. Всюду о нем говорили с жаром, похвалы и проклятья сыпались на голову Гракха.

Нобили волновались. Они видели в шаге Тиберия посягательство на собственность, которой владели издавна, и приходили в бешенство при мысли, что земли придется уступить безвозмездно лентяям и бездельникам (так они величали земледельцев), которые ютились на улицах, ночевали на ступенях храмов, у базилик, колонн и портиков. Они понимали, что нелегко будет определить размеры всей прежней государственной земли, разграничить ее от частных владений, и боялись, что при дележе пострадают родовые поместья, они насмеялись над идеей превращения земледельческих наделов в государственные имения с неотчуждаемыми полями, которые предполагалось сдавать в наследственную аренду хлебопашцам. Незаконно владея землей, они возмущались, что Гракх посягает на их «собственность», и кричали: «Мы не желаем в угоду наглому трибуну дарить свои поля сброду, лишая детей и родных наследства».

Публиканы злорадствовали: зная о недовольстве оптиматов, они ожидали в Риме волнений и надеялись, что во время общей растерянности получат по второму закону Тиберия право надзора над проконсулами в провинциях; они мечтали о прибылях, об ослаблении сената, о денежной власти.

И вольноотпущенники — мелкие собственники и торговцы — тоже надеялись на закон Гракха; они думали о расширении торговли с земледельцами, о закупке у них по низким ценам плодов садоводства и огородничества, о сбыте земледельческих орудий и предметов, необходимых для хлебопашца, по высоким ценам, и заранее прикидывали в уме, что везти в деревню и что брать у нее.

По городу ходили слухи, распускаемые крупными землевладельцами: «Тиберий Гракх — притворщик; под видом наделов землей он стремится захватить государственную власть в свои руки... Ему нужна поддержка земледельцев, а потом участки будут скуплены публиканами, и хлебопашцы не только останутся нищими, но очутятся в еще худшем положении. Он даже думает возобновить закон о продаже должников в рабство за границу».

Эти слухи волновали плебс. Народ валил на форум, где Тиберий проводил большую часть дня в беседах с плебеями, в горячих спорах со своими противниками. Он опровергал распускаемые сплетни и, обращаясь к толпе, теснившейся у ораторских подмостков, говорил:

— Не верьте, квиниты, что я хочу закабалить деревенский плебс — это подлая ложь, распускаемая врагами!

— Верим тебе! — кричали плебеи.

— И еще ложь распространяют они, будто я хочу провести закон о продаже должников в рабство. Разве можно продавать римского гражданина? Это жестокое время прошло.

И, обратившись к оптиматам, прибавил:

— Уступите кое-что из ваших богатств, если не желаете, чтоб они когда-нибудь были отняты у вас целиком. Дикие звери, пожирающие плоды Италии, имеют норы — у них есть логово и место, куда укрыться, а люди, проливающие свою кровь за Рим, лишены всего, кроме воздуха, которым они дышат. Не имея кровли, под которой они могли бы укрыться, они блуждают повсюду со своими женами и детьми, как изгнанники...

Гракх видел, как у людей разгораются глаза, сжимаются кулаки, и голос его звенел страстным призывом к борьбе.

— Военачальники обманывают вас, побуждая биться за храмы богов, за могилы своих отцов. Есть ли из столь большого числа плебеев хоть один, который имел бы могилу, имел бы домашний жертвенник? За чужое мотовство, за чужое богатство сражаются и умирают они, эти люди, о которых говорят: «Они — владыки мира» — и которые не владеют ни одним клочком земли!

Рев толпы прервал его речь.

— Земли! — грохотал весь форум. — Отдай нам участки богачей!

Этот день укрепил еще больше решимость народного трибуна: друзья, окружавшие Тиберия, были на его стороне, только странным показалось ему поведение Марка Октавия — он не принимал участия в беседе и покинул форум незаметно для всех.

Трибун Октавий, молодой человек, твердый, решительный, узнав, что Гракх задумал провести закон, — опечалился; он владел большим участком общественной земли, и ему жаль было расстаться с владением, отведенным под виноградники и оливковые посадки. К тому же, накануне этого дня, у него побывали видные сенаторы, со Сципионом Назикой во главе, и просили, заклиная всеми богами, наложить вето на аграрный закон Тиберия.

— Этим ты избавишь республику от потрясений, а нас от наглого грабежа злодеев! — загрохотал густым басом Назика. — Разве тебе не жаль своей плодородной земли, не жаль отнимать ее у детей, единственных наследников? Что скажут дети о таком отце, когда вырастут? Что скажет республика и глава ее, сенат? Подумал ли ты об этом? Будь же римлянином, а не врагом отечества!

Октавий сперва отговаривался, ссылаясь на дружбу с Гракхом, но слова Назики смутили его: он растерялся, не зная, на что решиться, и после долгих колебаний согласился.

А на форуме он избегал находиться рядом с Тиберием и держался от него подальше. Тиберий недоумевал.

Разгадка странного поведения Октавия обнаружилась в то время, когда Гракх внес на обсуждение трибутных комиций свой земельный закон: «Пусть никто не посылает на общественные пастбища более ста голов крупного и пятисот голов мелкого скота. Пусть каждый имеет на своих землях известное число рабочих из свободного сословия».

Не справедливо ли разделить общую собственность? — говорил Тиберий. — Что значат опасения государства? Силою оружия мы захватили обширные владения и, надеясь завоевать остальную часть населенной земли, должны либо доблестью

приобрести ее, либо лишиться, благодаря слабости и жадности, даже того, что уже имеем. — И, обратившись к нобилям, прибавил: — Помните это, и, если нужно будет, сами отдайте землю беднякам ради таких надежд. Не забывайте при споре о мелочах существенного и вспомните, что за деньги, потраченные на обработку отчуждаемых полей, вас должны вознаградить пятьсот югеров, поступающих даром в вашу собственность, да еще по двести пятьдесят югеров на двух старших сыновей, не вышедших из отцовского подчинения.

Он повернулся к писцу и приказал огласить закон, но Октавий тотчас же наложил вето...

Поднялся шум.

Бледный раздраженный Гракх крикнул:

— Я не понимаю тебя, Марк! Отчего ты испугался и наложил вето?

— Я нахожу, что для республики закон чреват большими потрясениями, — сказал Октавий, избегая смотреть в глаза Тиберию. — Ты повторяешь предложение Лициния Столона и Лелия Мудрого...

Гракх вспыхнул:

— И это говоришь ты, народный трибун?! Разве так защищают права плебеев, ратуют за славу и могущество Рима?

— Я ратую так же, как Сципион Эмилиан, за спокойствие республики, — нахмурился Октавий. — Я не хочу, чтоб возникла вражда между сословиями, я не хочу...

— Замолчи! Я беру, квириды, это предложение обратно и вношу другое: «Пусть оптиматы немедленно откажутся от владений, которые они присвоили вопреки прежним законам».

— Да здравствует Гракх!

— Никто не может занимать больше пятисот югеров общественного поля, — говорил Тиберий, — поэтому все землевладельцы обязаны отдать излишки и нарезать из них наделы, по тридцати югеров в каждом. Квириды, этот закон, как наиболее важный, касается вас: вам нужна земля, и вы должны получить лучшие участки!

— Да здравствует Гракх!

— Я предлагаю для пользы отечества еще один закон: комиссии по разбору жалоб, поданных по просьбе провинциалов на проконсулов, должны состоять из равного числа всадников и сенаторов.

Бешеные крики, проклятия, угрозы заглушили его слова Шумели оптиматы и их приспешники:

— Народный трибун подкуплен всадниками!

— Он хочет захватить власть!

— Квириды, голосуйте против!

— Гракх продан публиканам!

Но плебс не верил нобилям: он ненавидел их — эта ненависть передавалась из века в век, из поколения в поколение, ее впитывали в себя младенцы с материнским молоком, ею жили деды, отцы и юноши, — все эти мелкие ремесленники, разоренные земледельцы...

Городской плебс, состоявший частью из «наследственных» ремесленников-римлян, частью из военнопленных, захваченных во время второй Пунической войны, никогда не владел землей, и потому закон Тиберия был для него чужд. Ремесленники мечтали о лучшей жизни, а военнопленные — о возвращении на разоренную родину. Давно

уже они, в числе двух тысяч человек, были объявлены собственностью Рима, им было сказано, что те из них, кто докажет, занимаясь своим ремеслом, любовь к римлянам и усердие, получают свободу, и они, поверив, записались у квестора, который назначил над ними надсмотрщиков, по одному на тридцать человек; впоследствии они получили свободу, но на родину их не отпустили; они смешались с римлянами и как будто перестали помышлять об этом, но ненавидели Рим дикой ненавистью подневольных людей, ожидая благоприятного случая, чтобы отомстить. Этим ремесленникам-иноземцам не нужна была земля, и они требовали ее только для того, чтобы усилить смуту в республике и поддержать деревенский плебс. У них была надежда, что во время общей борьбы им, быть может, удастся добиться возвращения на родину.

Плебсу жилось трудно, он нуждался в самом необходимом, даже дешевый хлеб был ему мало доступен, а низкий заработок вызывал озлобление, тем более резкое, что рядом шумела сытая, веселая жизнь нобилей и публиканов, расточавших свои богатства.

— Почему боги дали одним все, а другим ничего? — говорили плебеи, собираясь нередко у кузнеца Тита, который пользовался почетом, как старый воин и непримиримый враг правящей олигархии. — Отчего военную добычу захватывают богачи?

— Потому, — ответил Тит, и рубцы на его лице наливались кровью — что они — сила и власть.

— Но боги, боги? Зачем они терпят несправедливость? Тит посмеивался, пожимая плечами:

— И среди богов есть нобили и плебеи: великолепный Юпитер и оборванный Пан; Юнона и Нимфа..

Аграрный закон Гракха разбудил в его сердце любовь к земле. Надежда на возвращение в родные места, в деревушку Цереаты, расположенную близ Арпина, не давала спокойно спать. Он мечтал увидиться с семьей старика Мария, не зная, что она распалась: отец и сын воевали (один в Сицилии, другой в Испании), а мать, добрая старушка Фульцния, поступила вилкой в поместье Сципиона Назикн.

Тит ходил каждый день на форум с Манием, молотобойцами и сукновалами. Слушал споры Тиберия с Октавием, поддерживал криками одного, нападал на другого. Это были настоящие словесные битвы. Гракх говорил спокойным голосом, а в груди его бушевало возмущение:

— Ты жаден. Марк! Мой закон касается и тебя! Разве ты не владеешь большим участком общественной земли? Вот причина, почему ты наложил вето!

— Вовсе нет.

— Тогда скажи, что именно заставляет тебя вредить плебсу?

Октавий молчал.

— А, нечего сказать? Я так и знал. Будь же честен и более сговорчив. Я оплачу стоимость твоего участка из своих собственных средств, лишь бы только не пострадал плебс. Правда, средства мои скудны, но все же их хватит...

Октавий отвернулся от Тиберия и стал медленно сходить с ораторских подмостков.

— Остановись. Марк! — вскричал Гракх — Ты заставляешь меня прибегнуть к крайним мерам. Ну, так слушай же, народный трибун Марк Октавий! Вина на тебе — народ свидетелем! С сегодняшнего дня я отказываюсь от исполнения своих обязанностей (беру увольнение у магистратов), пока не будет проведено голосование

моего предложения...

Октавий остановился. Бледность согнала румянец с его лица. Он колебался, не зная, на что решиться.

— Марк! Мы были друзьями, я любил и уважал тебя, но теперь, когда ты идешь против народа... Марк! Заклинаю тебя всеми богами: будь справедлив, не поднимай руки на государство!

Октавий молчал, опустив голову.

— Говори! — крикнул Тит.

А портной Маний сказал с презрительным смехом:

— Сознайся, за сколько продался сенату?

Толпа заревела; руки угрожающе потянулись к Октавию:

— Злодей! Изменник!

— Что скажешь в трибутных комициях?

Октавий поднял голову. На побагровевшем лице странно дрожали губы, сияясь вымолвить что-то, на лбу вздулась жила, выступил крупными каплями пот.

— Квириды, — вымолвил он, заикаясь. — Это — ложь... Вой толпы прервал его речь, и, когда все затихло, Тиберий крикнул, и голос его резко прозвучал над форумом:

— Вина на тебе, Марк Октавий! Посмотрим, кто победит.

Гракх действительно отказался от исполнения обязанностей народного трибуна до предстоящего голосования. Он опечатал государственную сокровищницу в храме Сатурна, прекратив доступ в нее квесторам (теперь они не могли производить уплат, вносить в казну деньги), приказал объявить непокорным магистратам, что они будут наказаны, если не прекратят отправлять свои служебные обязанности, и пригрозил тюрьмой слишком строптивому консулу, когда тот вздумал призывать сенаторов к открытому выступлению против Тиберия.

Жизнь в городе замерла. Консулы не могли созывать сената, чтобы совещаться я государственных делах, преторы не могли разбирать и решать судебные дела, базилики опустели, лавки торговали вяло, эдилы не наблюдали за порядком, и по ночам толпы блудниц, пользуясь неуплатой налога, заполняли улицы, силою захватывали сопротивлявшихся мужчин, тащили их в свои дома; рабы потихоньку выходили из господских домов, нападали на девушек и женщин, насиловали на ступенях храмов, в базиликах, где попало.

Оптиматы, надев траурные одежды в знак того, что большое несчастье постигло республику, печально бродили днем по форуму и по улицам; упав духом, они искали сочувствия у граждан, громко жалуясь на тиранию Гракха, а сами, подослав к Тиберию соглядатаев, наблюдали за его жизнью, науськивали на него наемных убийц. Трибун был опасен: он держал в руках все государство. Один доброжелатель, очевидно из оптиматов, прислал Гракху краткое письмо на греческом языке, извещая об опасности быть убитым из-за угла, и Тиберий, остерегаясь нападения, стал носить под одеждою кинжал покойного своего отца.

Гракха можно было видеть в разных частях города: у Капитолия, на форуме, на Квиринале, у древнего святилища Ромула-Квирина, на Целийском холме близ Эсквилина, у Палатина или Авентина. Плебеи встречали его с восторгом. Он говорил о начавшейся борьбе, просил поддержки, призывал твердо стоять за землю, ни в чем не уступать сенату.

Между тем восстание охватило всю Сицилию, кроме нескольких приморских городов, где римские войска держались при помощи кораблей, которые снабжали их оружием и провиантом. Отряды, а затем и легионы, посланные для усмирения рабов, были всюду отражены, разбиты, а кое-где и уничтожены. Конница Ахея, состоявшая, кроме сирийцев, из сиканов и сикулов, ревностных почитателей храма Цереры в Энне, опустошала богатые виллы, вырезывала богачей, не щадя ни пола, ни возраста, уничтожала прекраснейшие создания рук человеческих — эллинские статуи, картины, вазы, персидские и вавилонские ковры.

Не останавливаясь надолго на одном месте, она металась по всей Сицилии, появляясь в местах, наиболее отдаленных от главных сил Эвна и Клеона. Она угрожала Сиракузам, родине Архимеда, бешеным налетом ворвалась в Гиблу, зажгла ее и, награбив ценностей, навьючила их на мулов, отправила в ставку Клеона; она появлялась на юге Сицилии, у Камарины, где еще держались римляне, бросалась на восток, к Геле, затем на север, минуя Энну, к Гимере, проникала в Панормус и Сегесту. И всюду, где она проходила, оставались развалины, пепелища, трупы и кровь.

Имя Ахея наводило на всех ужас. Римские всадники, впервые столкнувшись с конницей рабов, которая устремлялась в бой с дикими криками, с копьями наперевес и с обнаженными мечами, были уничтожены, а декурионы и префекты нещадно избиты и распяты на крестах.

Слухи о жестоких расправах рабов с господами, надсмотрщиками, виликами и вольноотпущенниками, верными слугами патрициев, ужасом сжимали сердца сенаторов.

Римская республика содрогалась под ударами войн, восстаний, заговоров, глухого недовольства земледельцев и союзников. Испанская война, пограничные стычки с галлами, выступление Тиберия Гракха, волнения рабов в Апулии и Бруттии, отпадение Сицилии, — все это угрожало целостности государства. И римляне, суеверные даже в мелочах обыденной жизни, шептали со страхом: «Неужели боги помогают рабам? Невольники держатся несколько лет, и наши легионы не могут их сломить... Что делать? Не послать ли на Сицилию доблестного полководца, который не раз побеждал врагов Рима?..»

Выбор сената остановился на Фульвии Флакке не потому, что он был любим и уважаем, а оттого, что его подозревали в тайных сношениях с союзниками. Осторожные олигархи хотели освободиться хотя бы на время от этого опасного человека.

Посылая Фульвия на Сицилию, сенат, льстил ему, величая его греческим словом «стратег» и надеясь, что этот честолюбивый человек победит рабов, освободит остров от их власти.

— Ты — великий полководец, — грохотал тяжелым басом Сципион Назика, — ты сразу уничтожишь толпы подлого сброда, вернешь спокойствие стране, раздавишь, как Геркулес, эту гидру, растопчешь ее, вырвешь с корнем ростки мятежа... На тебя надежда республики!

Флакк слушал Назику, кивая, чуть-чуть посмеиваясь: он давно уже добивался назначения в Сицилию и достиг этого с большим трудом — лестью, хитростью и подкупом. Он знал заранее, что будет делать; все было обдуманно, взвешено, как на весах, — удача должна сопутствовать умному полководцу; неуспех был невозможен.

Получив назначение, Фульвий послал за Геспером.

— Ты отправишься со мною, — сказал он, — будешь моей правой рукою. Я надеюсь на тебя гораздо больше, — засмеялся он, — чем сенат на меня. Восстания рабов, которые должны были вспыхнуть в нескольких городах, я отложил; сейчас не время. Людская жизнь — священна, и я не желаю подвергать опасности, пыткам, смерти на костре и кресте сотни рабов. Не лучше ли повести легионы против рабов?..

Геспер растерялся, искоса взглянул на Флакка:

— Господин мой! Я не понимаю тебя: ты за рабов, а хочешь воевать с ними...

— Так нужно. Впрочем, не время рассуждать, собирайся в путь — завтра мы должны быть в Остии.

Оставшись один, Фульвий надел на шею, поверх туники, золотую цепь, подарок Эвна, снял со стены тяжелый обоюдоострый меч и задумался: он оставлял дом на жену и вольноотпущенников; дети были еще малы (сыновья Люций и Квинт находились под присмотром воспитателя-грека: старшему было шесть лет, а младшему — четыре), и в случае неудачи («Нужно все предвидеть», — подумал он) имущество будет отобрано в казну, а семья останется нищей.

В таблин заглянула жена и прервала его размышления. Это была молодая матрона, привлекательная смуглым лицом с черными бровями и глазами, пышным, упитанным телом, выпиравшим из ярких одежд.

— Ты уезжаешь, Марк? — воскликнула она, всплеснув руками. — Как же мы... как же я...

— Республика призывает меня на войну, и долг воина повиноваться, — знаешь сама. Но на всякий случай (голос его перешел в шепот) спрячь подальше драгоценности, которые находятся в доме...

— Но куда прятать?.. У тебя, Марк, всегда какие-то таинственные (она хотела сказать — «подозрительные», но удержалась) дела, а я, жена твоя, ничего не знаю...

— Помолчи! — строго оборвал ее Флакк, — если некуда прятать, то передай на хранение Корнелии, матери Гракхов...

— Но почему, почему? Я ничего не понимаю.

— Позаботься о детях, посиди дома, не принимай гостей и сама никуда не ходи..

— Твоя воля, — вздохнула жена, проводившая все дни вне дома.

— Впрочем, можешь бывать у Гракхов. Это — лучшие люди республики.

Вечером Фульвий увиделся с Тиберием.

— Помнишь, я говорил тебе, что у нас будут большие силы? Это время, кажется, наступает, и если мне удастся, то я...

— Тише... я понимаю... — понизил голос Гракх: Флакк шепнул ему на ухо:

— Когда рабы высадутся в Италии, подыми плебс... Они расстались, крепко обнявшись.

На другой день Фульвий и Геспер отправились в Остию, где сели на трирему, отплывавшую на Сицилию. Это было гребное судно, длиною в сто пятьдесят и шириною в восемнадцать футов, с тремя рядами весел; в верхнем ряду сидели шестьдесят сильных рабов-гребцов и каждый держал в руках весло длиною в четырнадцать футов, в среднем ряду помещалось около шестидесяти с десятифутовыми веслами, а в нижнем ряду — столько же гребцов с веслами длиною в семь футов.

Флакк уселся на носу, возле башни с бойницами, и весело смотрел на моряков; они убирали веревки, которые удерживали трирему у берега.

Теплый попутный ветер подгонял судно, и пенистые волны, ласково воркуя, ударились белой грудью о корму.

— Лучезарный Феб не в меру горячит своих скакунов, — сказал Фульвий, отирая ладонью пот со лба, — садись, Геспер, поговорим.

Вольноотпущенник сел на скамью против патрона, взглянул на удалявшийся берег Италии.

— С того дня, как я посылая тебя на Сицилию, я поддерживал связь с рабами и должен сознаться, что я ими недоволен. Я советовал Эвну создать очаги восстаний в разных местах, я думал, что он вырвет почин из моих рук и поднимет рабов хотя бы Лукании и Бруттии, чтобы укрепиться не только на Сицилии, но и в южной Италии, и что же получилось? Эвн бездействует, преступно бездействует... Он надеется на помощь богов, приносит жертвы... А ведь у него было шесть лет — подумай, Геспер! За это время можно было бы поднять десятки тысяч рабов...

— Но ведь конница Ахея...

— Ах, конница! — усмехнулся Флакк. — Какая от нее польза? Она разрушает виллы, мстит нобилям, вырезывает их сыновей... А я бы поступил разумнее: не разрушал бы вилл, не уничтожал оливковых насаждений, не топтал бы виноградников; я бы привлек патрициев и их сыновей к военной службе, заставил бы их сражаться за рабов, а жен и дочерей — воспитывать детей...

— Ты, господин, мудр...

— Конница Ахея носится по стране, Клеон занимает окрестности Агригента от Гераклеи до Селинунта на запад, до Гелы и Гиблы на юго-восток и до Энны на север, а Эвн расположил свои силы между Энной, Тавромением, Катаной и Леонтиной. Остальная Сицилия в руках мелких вождей сиканов и сикулов, только Тиндарида, Милы и Сиракузы в руках римлян. Но надолго ли? В Тиндариде мы высадимся, я приму начальство над легионами...

— Господин, ты будешь воевать? — робко спросил Геспер, преклоняясь перед умом патрона. Он удивлялся его осведомленности, здравому рассудку, умению разобраться в обстановке.

— Не торопись, Геспер! Поспешность — мать всех пороков. И только на войне она иногда способствует победе. Но вернемся к нашей беседе. Рабы располагают силами в двести тысяч человек; будь я Эвном, я бы немедленно двинулся на Рим, подымая по пути рабов...

— Господин мой... — задрожав, шепнул Геспер, — ты... ты...

— Нет, я даю только советы, а не могу стать во главе восстания, потому что считаю себя не менее честным, чем Сципион Эмилиан. В Риме у меня семья. Что сделают, как поступят с нею?.. Но Эвн, Клеон и Ахей! Под их начальством несметные войска... Что они медлят? Ждут помощи от богов, которых нет? И кто такой Эвн? Дурак, обманщик или сумасшедший? Ты говорил с ним, Геспер, и скажи мне откровенно...

— Он — чудотворец. Его избрали царем потому, что он глотает огонь, колет себя мечом и не видно крови, предсказывает будущее. Он сразу узнал Ахея, сказал, что ждал его... что боги послали его...

Фульвий расхохотался:

— Ну, если и ты веришь таким басням, то чего же нам ждать от темных, суеверных рабов? Ежели Эвн будет бездействовать и надеяться на богов и жрецов, а воины — на него, дело рабов погибнет.

После нескольких дней путешествия они высадились в Тиндариде. Флакк принял

начальство над помятыми в боях легионами и приступил к пополнению их молодыми людьми из местного римского населения, к обучению военному делу, укреплению дисциплины. Он сознательно оттягивал время наступления и вскоре же лично отправился на разведку с Геспером.

Глухой ночью, в одежде рабов, с оружием под плащами, они, направляясь на юг, выехали из римского лагеря.

Ночь дышала запахом цветов и зреющих плодов, смешанным с вонью разлагающихся трупов и гарью пожарищ. Крупные звезды, казалось, роились на черном небе, а вокруг стояла, притаившись, темнота, тяжелая, как душный покров, прильнувший к лицу.

Фульвий остановил свою лошадь: она храпела, взвываясь на дыбы.

— Кто там? — крикнул он в темноту, но не получил ответа.

Геспер повторил вопрос господина по-сирийски. Черная фигура поднялась с земли, схватила под уздцы лошадь вольноотпущенника.

— Кто вы?

— Друзья. Едем к царю...

— Откуда?

— Из Тиндариды.

— Бежали?

— Да.

— Что нового?

— Везем важные вести.

Беседа Геспера с рабом на непонятном для Флакка наречии затягивалась.

Кончай, Геспер, время дорого! Да он не пропускает.

— Ах, негодяй! — вскричал Фульвий, ударив лошадь плетью. — Вперед!

Они проскочили мимо оторопевшего раба и помчались, не обращая внимания на окрики дозоров, на свист стрел, жужжание камней. В конце концов пришлось однако остановиться: они наткнулись на сторожевой заслон и были в одно мгновение окружены толпой вооруженных рабов.

— Кто такие? — кричали воины, освещая их лица факелами.

— Кто пропустил?

После долгих переговоров Флакк и Геспер, окруженные толпой рабов, отправились в лагерь Эвна.

Приближаясь к Тавромению, они были остановлены турмой¹⁹ всадников: голос начальника показался Гесперу знакомым, и вольноотпущенник крикнул:

— Или я ошибаюсь, или это Ахей!

— Кто меня назвал? Ты? — подъехал Ахей к Гесперу и, взглядевшись в него, воскликнул: — Друг! Как попал сюда? Кто с тобою?

Геспер объяснил.

Ахей повернулся к Фульвию, приложив руку к сердцу.

— Друзья царя — наши друзья, — сказал он. — Ты принял начальство над легионами?

— Ты говоришь...

— И ты...

— Я не буду воевать с вами.

¹⁹ Конный отряд, состоявший во времена республики из 30 всадников (примеч. А. И. Немировского).

Геспер вскрикнул: он ожидал всего, но не этого. Решение патрона поразило его своей смелостью и неожиданностью, но Ахей недоверчиво усмехнулся:

— Тебе прикажут.

— Уже приказано, а я поехал к вам...

Ахей в глубоком раздумье ехал рядом с римским полководцем. Все молчали. Только у палатки Эвна Ахей очнулся, искоса взглянул на Флакка:

— Поговори с царем. Послушаем, что ты привез. Надеюсь, не мир?

— Будь спокоен.

Ахей спешил, приоткрыл полу палатки.

— Войдем. Царь вещает волю богов.

Фульвий, а за ним Геспер проникли в освещенный факелами шатер. Посредине стоял маленький человечек, толстый, обрюзгший, с желтоватыми небритыми щеками, и что-то говорил, кудахтая, как курица; кругом на дорогих коврах сидели военачальники. Флакк не понимал слов — сирийская речь производила на него впечатление бессвязного бормотания, и он, не слушая, всматривался в Эвна, вождя рабов. «И эти люди думают устоять против Рима, — думал он, удивляясь. — Они больше надеются на богов, чем на свои силы, и на жрецов, чем на мечи. А этот царь мне не нравится. Он или дурачит рабов, пользуясь их суеверием, или это — набожный прорицатель».

Когда вещание воли богов кончилось, Эвн, прищурившись, взглянул на Фульвия.

— Ты не раб, а римлянин! — крикнул он, подбегая к гостю. — К чему этот наряд? Кто ты?

— Я — римский полководец, назначенный сенатом подавить восстание рабов...

Не успел он кончить этих слов, как военачальники вскочили с ковров, и острые тяжелые мечи засверкали перед глазами Флакка. Полководец спокойно смотрел на искаженные злобою лица, слышал яростные возгласы: «Смерть ему! Распять на кресте!» — и ждал, когда уляжется шум. Потом он сбросил с себя дорожный плащ, и военачальники, вскрикнув, опустили оружие: на шее римлянина горела червонным пламенем золотая цепь царя рабов.

— Привет другу, — сказал Эвн, протянув ему руки. — Это ты писал мне? Да, да, я узнал твоего слугу...

Он вглядывался помолодевшими глазами в Геспера, улыбался, о чем-то думая.

— Что скажешь, Критий? И ты, Ахей?

Эвн не дождался ответа: военачальники окружили гостей, жали им руки, забыв совсем, что Фульвий приехал неспроста, и когда он обратился к Эвну, требуя созвать военный совет, все замолчали.

— Вождь! Я приехал напомнить тебе, что не время молиться богам, когда война с Римом не кончена. Что ты сделал за эти шесть лет? Завоевал Сицилию? И то не всю! Изгони отовсюду римлян, пошли Ахея и Крития в Бругтий: пусть они высадутся в Регии и Медме, пусть призывают рабов под твои победоносные знамена! Я писал тебе, а ты послушался моих советов? Нет, вождь, так нельзя! Я назначен воевать с вами, но я буду бездействовать, чтобы дать вам возможность укрепиться на острове, перекинуть восстание в Италию. Не медлите, друзья, пока не поздно. Помните, что римский сенат, узнав о моем бездействии, отзовет меня, а на мое место назначит такого полководца, который беспощадно расправится с вами...

— Что ты там болтаешь? — вскрикнул Критий. — Ты хитришь... ты соглядатай... И живым не уйдешь отсюда...

— Замолчи! — прервал его Ахей. — Это — друзья. Вот Геспер, он снял меня с креста. Они — не злодеи. — И, повернувшись к Флакку: — Друг, — сказал он, — не гневайся за глупые слова Крития, он тебя не знает. Я слушал твою речь. Вижу, мы потеряли много времени...

Но Эвн, недовольный поддержкой, оказанной Ахеем римлянину, воскликнул:

— Будем слушаться богов! Они возвестили: «Через час рабы и плебеи будут владыками мира. Этот час — не ваш час земной, а небесный. Для людей он долог, как тысячелетия, но быстр для вечных небожителей. В эти шестьдесят минут рабы будут разбиваемы в боях много раз; потом они победят...»

«А он не глуп», — подумал Фульвий, с любопытством поглядывая на Эвна, и сказал, как отрубил:

— Вождь, слова твои красивы, но для меня непонятны. Спроси богов, зачем они откладывают ваше владычество на час, а не дают вам власти теперь? Сколько людских жизней было бы сохранено, сколько городов, деревень и вилл не было бы разрушено!

Эвн растерялся, глаза его замигали; он не нашелся, что ответить. А Флакк долго говорил, призывая рабов к борьбе, и когда вышел из шатра, небо уже светлело.

— Подумайте над моими словами, — сказал он окружавшим его рабам, — бейтесь храбро и побеждайте. А теперь дайте нам надежных проводников...

Он вскочил на коня, обернулся к Гесперу:

— Поторапливайся, друг! Колесница Феба сейчас появится на небе...

Ахей вызвался их проводить. Когда они уезжали, Эвн прокричал вслед:

— Я спрошу богов, что делать, и...

Фульвий не расслышал последних слов, заглушённых топотом лошадей.

Ахей нагнулся к нему.

— Мы победим или умрем, — сказал он, — мы будем бороться до конца...

Флакк задумался. Решив не предпринимать наступления, он видел, что рабы едва ли воспользуются данной им отсрочкою, и его возмущала слепая вера Эвна и военачальников, которые все надежды на победу возлагали на милость богов.

«Вот Ахея бы на место Эвна, — сверкнула мысль, — дело пошло бы лучше. Да как это сделать? Борьба за власть в войске только ослабит рабов, и римляне легко справятся с ними. Нет, пусть все идет, как предопределено Фортуною, а я сдержу свое слово: ни одного боя, ни одной стычки я не приму от них».

Справа вздымалась к голубым небесам, ярко алая на солнце, снежная вершина Этны, похожая на остроконечный пилей авгура, ниже одевала гору белая тога снеговых пустынь, еще ниже зеленым поясом дубов и пиний лежали леса, а у подножия и по склонам горы шумели хлеба, виноградники и оливковые посадки. Фульвий смотрел на Этну, не сводя глаз: жилище бога Вулкана представилось ему таинственным огнедышащим царством, в котором пылают сотни и тысячи горнов, и у каждого из них работают тяжелыми молотами кузнецы.

«Пустяки, — усмехнулся он, сдерживая лошадь, рвавшуюся вперед, — Демокрит давно уже осмеял эти басни, и я думаю, что ни один философ теперь этому не верит».

XXI

«П. Корнелий Сципион Эмилиан Африканский — Лаодике, дочери Лизимаха.

Письмо твое обрадовало меня напоминанием о Риме, о людях, которые желают меня видеть. Боги свидетели, что перед отъездом я не простился с тобой и с твоей матерью вовсе не потому, что считаю вас, клиентов, ниже себя, патрона: спешные государственные дела заставили меня пренебречь вежливостью. Прошу тебя, не вини меня в этом. Я с удовольствием вспоминаю время, проведенное в вашем доме, твою игру на кифаре и пение. Ты знаешь, что я отправился воевать, поэтому, будучи занят, пишу мало и второпях. Прощай».

Сципион прочитал эпистола при свете смоляного факела, отложил к донесениям, которые горкою лежали на походном столике. Затем, вспомнив, что нужно еще ответить Семпронии, задумался: он не знал, о чем писать ей. О домашних делах? Это показалось мелочно и ненужно. Ответить на вопрос жены, находится ли он в связи с другой женщиной? Он улыбнулся и написал Семпронии теплое письмо, в котором уверял ее, что любовниц у него нет, что он целые дни проводит у осажденной крепости, и советовал ей предупредить Тиберия, что за незаконные действия против республики, за возбуждение плебса против власти, его ждет изгнание или смерть: «Поэтому не лучше ли одуматься вовремя, нежели пытаться насильственным путем провести законы, от которых никому не будет пользы? Надел деревенского плебса излишками земель, отнятыми у нобилей, породит борьбу, а борьба — ослабит государство, вызовет нападение иноземных врагов Рима, и если даже хлебопашец получит землю, то недолго будет владеть ею: ход исторических событий остановить невозможно».

Он развернул свиток папируса, присланный Полибием из Рима, и углубился в чтение. Это была книга знаменитого астронома Гиппарха Никейского, его современника, «Рассуждение о географии Эратосфена». Перелистав несколько страниц, он стал читать о блуждающих звездах, о солнце и луне: Гиппарх определил места этих звезд на небесном своде, пространно говорил о величине солнца и луны, вычислил расстояние от земли до солнца и луны.

Вошли Луцилий и Максим Эмилиан. Пламя факела лизнуло кожу палатки, покрыв ее темным налетом копоти.

Максим, брат Сципиона, человек крепкого телосложения, консуляр, отличившийся на войне с Вириатом, был опытный военачальник. Он вызвался сопровождать Сципиона в Испанию, надеясь помочь ему своими советами в ведении войны.

— Зверь обнаружен между лесом и рекою, в двадцати стадиях отсюда, — сказал Луцилий. — Я приказал стеречь его до рассвета. Поедешь?

Сципион Эмилиан был страстный неустрашимый охотник. После разрушения Карфагена он охотился на африканских львов и даже вступил в единоборство с разъяренной самкой, детеныши которой были умерщвлены его друзьями... Львица прыгнула на него с бугра, он бросился в сторону (это спасло его), повернулся и ударил ее копьём в глаз. Заревев от боли, животное опять прыгнуло на Сципиона, но он так же ловко, как прежде, поразил ее во второй глаз. Полагая, что с ослепленным зверем он теперь легко справится, Сципион пренебрег осторожностью и чуть было не погиб: львица нюхом чуюла охотника и, лишь только он приблизился к ней, бросилась на него, ударила лапою по голове. Шлем, звякнув, зарылся в песок, и Сципион упал, почувствовав на себе тяжесть зверя. Но он не растерялся и, выхватив длинный охотничий нож, глубоко вонзил его львице в сердце.

Воспоминание о единоборстве промелькнуло смутным далеким видением. Тогда он был моложе, сильнее. А теперь? Справится ли он с хищником, не станет ли его жертвою?

— О каком звере ты говоришь? — воскликнул он. — В этой стране, кроме медведей, диких зверей не водится...

— Ты ошибся, Публий, — сказал Максим Эмилиан, — нами обнаружен огромный вепрь...

Лицо Сципиона, как огнем, осветилось радостью.

— Вепрь! — вскричал он, выскочив на середину палатки. — Едем, едем!

— Что ты? Отдохни, поспи, а на рассвете выедем, — уговаривал его осторожный Луцилий. — И какая охота ночью? В темноте легко сбиться с дороги или наткнуться на зверя...

— Нет, нет, — нетерпеливо перебил Сципион. — Проводник у нас есть, а пока отберем собак и приготовим оружие — пройдет больше часа...

Однако они выехали раньше, чем предполагал полководец.

Черная ночь окутывала поля Испании. Впереди шумел Дурий, и речная прохлада заползала под плащи всадников, заставляя их ежиться от сырости. Из темноты доносился густой шорох леса, скрип деревьев, вздохи ветра, проникавшего в дупло. Со стороны реки долетело одинокое ржание лошади и затихло.

— Приехали? — шепотом спросил Сципион.

— Нет, — ответил проводник, рослый, светловолосый ваккей из деревни, изъязвившей покорность римлянам со времени прибытия в Испанию консула Гостилия Манцина. — Это, должно быть, неприятельский дозор.

Сципион нащупал меч на левом боку.

— Ошибся, ваккей, — прервал его Луцилий. — Местность осмотрена, следов противника не обнаружено...

Дорога тянулась берегом Дурия. С реки слышались голоса, хлюпанье весел. Охотничьи собаки повизгивали, удерживаемые ваккеем.

— Нумантийцы? — спросил Сципион.

— Нет, местные купцы, — хмуро ответил ваккей.

— А может, нумантийцы, переодетые купцами?

Ваккей не ответил. Он не хотел говорить и хотя считался «мирным варваром», но не мог привыкнуть к потере свободы и искренно ненавидел римлян, опустошивших родину.

Вдруг лошади шарахнулись, захрапели. В темноте зазвенело оружие.

— Кто идет?

— Это ты, Муций? — спросил Луцилий.

— Я, господин!

— Сколько вас?

— Трое.

— Зверь?

— Стережем. Спит, наверно. А может, и ушел...

— Как ушел?

— Темно, ничего не видно... Тс... шевелится, голоса услышал.

В наступившей тишине слышно было, как все громче и громче шуршал и ломался камыш: чувствовалось, как большое неуклюжее тело пробирается, не взирая на препятствия, торопится, лишь бы поскорее выбраться на свободное место.

— Факелы есть? — спросил Сципион, не слезая с лошади.

— Что ты хочешь делать? — беспокоился Луцилий.

— Охотиться.

— Зверь испугается огня, уйдет, — сказал ваккей, прислушиваясь к шорохам, доносившимся от реки. — Нужно молчать, не шевелиться.

Решено было ждать. Всадники спешили, отвели лошадей в ложбинку.

Рассвет медленно крался, как осторожный соглядатай. Звезды меркли и пропадали; небо постепенно светлело.

«Скоро появится розоперстая Эос, — подумал Сципион, — и в нас начнется веселая забава. И если Артемида будет милостива к нам, мы одолеем злого вепря».

Когда совсем рассвело, Сципион вскочил на Эфиопа, вороного нумидийского коня, затрубил в рог. Лаконские полудикие собаки, подарок Люция Муммия, приобретшего их в Греции, были спущены с цепей; они заметались на месте, обнюхивая землю, и стремительно бросились к реке, часто останавливаясь и повизгивая.

Всадники рассыпались вдоль берега, охватывая камыш. Неподалеку взметнулся лай собак, приблизился, и крупный мохнатый вепрь, с маленькими блестящими глазками и большими клыками, неуклюже выскочил из камыша. Он был испуган присутствием людей, раздражен собаками, которые наседавая, кусали его за ноги, и пытался прорваться в лес, сквозь цепь людей. Но охотники держали наготове луки: сразу шесть стрел вонзились в спину зверя.

Вепрь остановился, оглядел людей налитыми кровью глазами, точно обдумывая, что делать, и вдруг побежал, отбиваясь от преследующих собак, прямо на Луцилия. Луцилий пустил стрелу (она застряла в груди животного), выхватил второпях меч вместо ножа. Собаки беспокоили вепря, не давая ему бежать. Из его искусанных ног капала кровь, он тяжело дышал, со свистящим хрипом, и оглядывал всадников злыми сторожкими глазами. Мимоходом он распорол брюхо одной собаке, растоптал другую, и не успел Луцилий повернуть лошадь, чтобы избежать встречи с разъяренным зверем, как вепрь напал на него. Он полоснул клыком по ноге его с такой силой, что Луцилий свалился с лошади: нога от колена до щиколотки была распорота, и кровь мгновенно залила одежду всадника.

Однако вепрь не бросился на Луцилия, как ожидал этого Сципион. Он оглядел людей и собак, и осыпавший стрелами, застревавшими в спине и крупе, испытывая при движениях боль, побежал мелкой рысцей к лесу. Он казался огромным ежом с невероятно большими колючками торчащих стрел, и темно-алая кровь падала густыми каплями на землю.

— О-гэ, о-гэ! — закричал Сципион и затрубил в рог. Он позабыл на мгновение о раненом друге, о людях, которые перевязывали Луцилия, о войсках под Нуманцией, о Лаодике, — он видел перед собой вепря — ослепленное яростью животное, которое истекало кровью, и помчался за ним, нанося Эфиопу такие удары, что кожаный бич окрасился кровью. Конь взвизгивал на дыбы, неожиданно шарахался, пытаясь сбросить всадника, но Сципион был искусный наездник и казался одним целым с горячим животным.

— О-гэ, о-гэ!..

Вепрь бежал впереди, выбирая непроходимые места. Он исчезал между кустов, появлялся на мгновение, бросался в каменистые ущелья, скрывался в густой тени нависших ветвей, но собаки находили его всюду и выгоняли с оглушительным лаем. Эфиоп перепрыгнул через звенящий ручей, остановился. Зверь находился на песчаной

отмели, в том месте, где река делает излучину, принимая в себя быстрый бурлящий приток. Сципион пустил еще одну стрелу, целясь животному в глаз, но промахнулся и попал в ноздрю.

Вепрь заревел, яростно потряс головою. Он прыгал на одном месте, точно танцуя, не то от невыносимой боли, не то стараясь освободиться от стрелы. Ослепленный яростью, он уже не думал о спасении, он жаждал мести. Увидев Сципиона, который, спешившись, науськивал на него собак, зверь заревел, жалобно-дико: предсмертное бешенство послышалось охотнику в этом вопле.

Сципион любил опасность: она закаляла дух, как он утверждал, придавала руке твердость, глазу — меткость, сердцу — холодную решимость. И теперь, ожидая нападения, он спокойно следил за каждым движением окровавленной морды и поспешных ног, а в голове назойливо сверлило: «Не таков ли был Эриманфский вепрь, которого победил Геркулес?»

Сципион сделал шаг, другой — навстречу зверю. Держа наготове охотничий нож, он нащупывал метким глазом под левой ногой сердце и думал: «Лишь бы рука не сорвалась!»

Человек и зверь сошлись одновременно. Человек науськивал собак, а зверь отбивался от них; собаки, почуя горячую кровь, вцепились вепрю зубами в бока, повисли на нем, терзая израненное тело. Вепрь ревел, отбиваясь. Сципион бросился в сторону, ударил его ножом в сердце. Зверь рванулся, захлебнувшись ревом, бешеным прыжком кинулся охотнику на грудь, повалил его. Что-то теплое, густое залило лицо, глаза, шею, руки Сципиона и тяжелое, как бревно, придавило его к земле. Ничего не видя, смутно чувствуя опасность, он с трудом освободил руку, выхватил кинжал (охотничий нож так и остался в ране) и принялся наносить удары один за другим, быстрее и быстрее. Вепрь не шевелился.

Освободившись от тяжелого тела, Сципион протер глаза и медленно пошел к реке.

Дурий шумел, как отдаленная битва, точно приветствуя победоносного вождя. Иногда слышался всплеск, похожий на вскрик, за ним — рев, словно военный клич, гул, как плач Множества мужей, грохот, напоминающий падение тяжелых глыб или удары тарана о каменную стену.

Сципион разделся, бросился в реку, поплыл; холодная вода придала бодрость телу. Смыв с себя кровь, он вернулся к убитому зверю.

Собаки слизывали с вепря кровь, огрызаясь друг на дружку. Увидев хозяина, они ворча отошли и сели, поглядывая на вкусное мясо и часто облизываясь. Сципион отсек вепрю передние ноги и бросил собакам.

Между тем в отдалении загремел рог. Сципион ответил и стал дожидаться охотников. Сидя на песке, он думал о Лаодике, и легкая улыбка блуждала по его губам.

Вскоре приехали охотники. Приказав отправить убитого вепря в лагерь, Сципион вскочил на коня.

Подъезжая к лагерю, полководец увидел у своей палатки Мария, который стоял, мрачно поглядывая на приближавшихся охотников.

— Что скажешь? — крикнул Сципион, обеспокоенный суровым взглядом Мария.

— Должен говорить с тобой.

— Важное дело?

Марий кивнул и, пропустив вождя вперед, вошел вслед за ним в палатку.

— Ну, говори.

Марий молча смотрел на Эмилиана, и брови его шевелились. Потом он близко подошел к нему, шепнул:

— Вождь, твой клиент — изменник!

— Кто? Лизимах? — побагровел Сципион.

— Я выследил его, — продолжал Марий. — Он подбивает Гостилия Манцина начать борьбу с Римом и послал ему эпистолу: «Объедини покоренные племена Иберии, — писал он, — уговори Югурту ударить в тыл Сципиону, освободи Нуманцию. А для покупки оружия я не пожалею золота. Мы условились с Ретогеном, что в награду за это я получу серебряные рудники Ганнибала».

Лицо полководца подергивалось.

— Эпистола? — прохрипел он, едва сдерживаясь.

— Вот она, — протянул Марий навощенную дощечку, — я отнял ее у раба, которого потом убил... Но это, вождь, не все... Посылая раба, Лизимах принес жертву Эринниям и клялся в ненависти к Риму...

— Довольно! — прервал Эмилиан, пробегая глазами письмо. — Слушай, никому — ни слова! Я сам расправлюсь с изменником.

Когда Марий вышел. Сципион в отчаянии сжал свои руки с такой силой, что пальцы хрустнули.

— Что делать? — прошептал он. — Всюду враги, всюду измена... А он, Лизимах... так низко пасть! О, боги! Как подл человек! — И тихо прибавил: — Простишь ли меня за то, что я задумал? Но таков наш суровый закон...

Лицо его было бледно, в глазах светилась твердая решимость.

XXII

Дни и ночи народ шел в Рим. По всем дорогам тянулись сотни земледельцев с нищенским скарбом за спиною; старики, с посохами в руках, тащились, часто отдыхая; отцы семейств, бородатые хлебопашцы толкали перед собой тележки, на которых, кроме домашней утвари, сидели дети в прикрепленных корзинках; старухи, женщины, пожилые и молодые, девушки и девочки, понутив головы, шли молча, громко постукивая по каменным плитам деревянными башмаками. Ругань, проклятья, плач сливались в нестойкие звуки, возбуждая жалость. Но стоило только проехать магистрату, как шум утихал, и народ приветствовал должностное лицо, точно от него зависело дать этим людям пристанище, работу и пищу.

Тиберий стоял у Капенских ворот, поглядывая на широкую Аппиеву дорогу, вымощенную ровными широкими плитами. Загруженная толпами народа, множеством повозок, оживленная разговором, плачем детей, криками матерей, бранью мужчин, она являла печальное зрелище.

Толпа теснилась, проникала через Капенские ворота за стену Сервия Туллия, растекалась во все стороны. Она нащупывала места у Авентинского и Целийского холмов, подбиралась к лагерю чужестранцев, к портикам и публичным купальням, перекидывалась через форум на Эсквилин, Виминал, Квиринал...

Рим наводнялся голодной толпой...

«Они схлынут так же быстро, как нахлынули, лишь только получат земли, — подумал Гракх, рассеянно поглядывая по сторонам, — но кто виноват, что земледельцы бегут из деревень?»

Движением руки он остановил толпы людей, крикнул:

— Слушайте, слушайте! Я — народный трибун! Я отниму землю у нобилей и отдам их вам! Я восстановлю ваше хозяйство! Сегодня я проведу аграрный закон. Пусть все свободнорожденные поддержат меня в трибутных комициях!..

Толпа молчала. И вдруг от задних рядов стал нарастать шум, похожий на разбушевавшееся море — все ближе и ближе — охватывая Аппиеву дорогу нестройными голосами, громкими восклицаниями, и, прорвавшись, бросился на Капенские ворота, ударил в их стены:

— Земли, земли!

— Слава народному трибуну!

— Да помогут тебе боги!

Тиберий, не слушая криков, пошел к Марсову полю. За ним повалили толпы народа; улицы были запружены — ни пройти, ни проехать.

Гракх шел, думая об Октавии — друге, который внезапно стал врагом. А давно ли они собирались вместе, проводя время в беседах о тяжелом положении обездоленных земледельцев? Давно ли Октавий порицал Лелия и Сципиона, резко осуждая обоих за бездействие? А ныне сам выступил против закона! Если бы не он, все прошло бы глаже. Вчерашнее голосование было сорвано: нобили похитили урны. Узнав об этом, сторонники Тиберия хотели прибегнуть к насилию... сенат, большинство членов которого состояло из богачей, не хотел уступить плебеем... Октавий продолжал стоять на своем: он был против закона. Напрасно Гракх просил его в присутствии граждан не идти против народа, Октавий был непреклонен. Тогда Тиберий решил сместить Октавия с его должности, чтобы проголосовать свое предложение: «Ты вынуждаешь меня, Октавий, на этот шаг, — сказал он, — ты сознательно губишь государство, губишь плебеев... Ты — не друг, а враг народа! Невозможно, чтобы два человека, с равной властью, поставленные в высокое положение и несогласные по важным вопросам, оставались все время без борьбы. Один из нас должен отказаться от должности; пусть граждане проголосуют, и если я буду им негоден, то немедленно сложу с себя трибунат, возвращусь к частной жизни». «Мы за тебя, Гракх! — закричали плебеи. — Оставайся, борись с нами за землю!» «Хорошо, — согласился Тиберий, — тогда, Октавий, я подвергну тебя голосованию, и если ты не одумаешься и не изменишь своего мнения — пеняй на себя». Он распустил собрание до сегодняшнего дня, и этот день должен решить, на чьей стороне будет победа.

Издали он увидел Октавия, окруженного крупными землевладельцами, и задрожал от гнева. Он предчувствовал, что Октавий не образумится, и не ошибся: на горячие убеждения Гракха он отвечал презрительным молчанием. Бледнея, Тиберий обратился к толпе.

— Квириты, — сказал он, — как бы вы поступили с народным трибуном, который насущные нужды плебса приносит в жертву богачам; который, будучи подговорен или подкуплен нобилиями, мешает мне провести закон, облегчающий положение земледельцев? Этот вредный трибун — Марк Октавий, и я требую отнять у него трибунат. Вчера, квириты, я предлагал вам выбирать между мной и им: вы упростили меня остаться... Пусть же трибы приступают к голосованию!

Поглядывая на растерявшегося Октавия, Гракх следил за раздраженным плебсом. Когда семнадцать триб подали свои голоса, и решение зависело только от одной трибы, Тиберий велел приостановить голосование. Обнимая Октавия, он еще раз просил и умолял его:

— Что ты делаешь? Неужели правдивы все те слухи, которые носят по городу? А

если нет, то зачем ты жертвуешь с таким равнодушием своей честью и принуждаешь меня взять на себя вину в проведении насильственной и суровой политической меры?

Октавий побледнел: глаза его наполнились слезами, а губы дрожали так сильно, что он не мог вымолвить ни слова. Он колебался, не зная, на что решиться, но, взглянув на окружавших его богатых и влиятельных землевладельцев, устыдился своей слабости.

— Пусть он делает, что хочет! — воскликнул он и отвернулся от Гракха.

Тотчас же трибы приступили опять к голосованию, и, когда большинство высказалось против Октавия, Тиберий приказал силою стащить низложенного трибуна с ораторских подмостков.

Народ забушевал. Бешеные крики оглушили Октавия. Растерянный, уничтоженный, он стоял на подмостках, упираясь, вырываясь из рук вольноотпущенников, видел хмурое лицо Гракха, его друзей, слышал неистовые крики.

— Бей его, бей! — редела толпа, надвигаясь.

Впереди были кузнецы, с Титом во главе; они старались окружить Октавия, чтобы расправиться с ним за все зло, которое он хотел причинить плебсу, выступая в союзе с нобилиями против него. Уже их руки готовы были схватить Октавия, бросить, быть может, на землю, но в это время между кузнецами и свергнутым трибуном появились магистраты.

— Прочь! — крикнули они, отталкивая кузнецов, но те, не взирая на туники с пурпурной каймой, продолжали напирать, а старый Тит размахнулся и ударил кулаком по лицу раба, который загораживал Октавия, своего господина.

Раб завопил, схватился за голову: глаз у него был выбит.

— Так тебе и нужно! — с внезапной злобою сказал добродушный Тит. — Не защищай побитого пса.

И он бросился к Октавию.

Однако нобили решили спасти своего сообщника, и Тит, несмотря на помощь друзей, принужден был отступить. В это время возглас Тиберия донесся до него, этот возглас поразил Тита, и он подумал: «Трибун крикнул: «Не проливайте крови!» А чьей крови? Нобилей? Да их кровь — наша собственность, — чем они ее обновляли, утучняли? Нашим потом, нашей кровью. «Не проливайте крови!» Ха-ха-ха! А если мы желаем ее пролить? Кто нам помешает?»

Мысль оборвалась. Говорил Гракх, стоя на ораторских подмостках:

— Квириты, вашей волею земельный закон принят, и мы должны избрать трех мужей для расследования и распределения участков... Называйте, кого хотите!

— Тиберия Гракха! — крикнул Блоссий.

— Гая Гракха! — подхватил Диофан.

— Аппия Клавдия! — предложил Папирий Карбон и слушал с удовольствием, как многочисленные сторонники Гракха громко повторяли эти имена, заглушая протестующие возгласы нобилей.

Однако эти возгласы прорывались; сам Тиберий слышал их — они назойливо заползали в уши, вызывая в нем беспокойство:

— Гая Гракха нет в Риме!

— Он под Нуманцией!

— Три избранных мужа — родня: братья и тесть!

— Переизбрать! Переизбрать!

— Это тирания!..

Тиберий вздрогнул, растерянно оглядел толпы плебса и кучку оптиматов; на мгновение ему пришлось в голову отказаться от трибуната, удалиться к частной жизни, но друзья и сторонники закричали почти хором:

— Хотим этих мужей! Да здравствуют триумвиры! Плебс расходился, с жаром обсуждая события этого дня.

Одни порицали Гракха за превышение власти (смещение народного трибуна представлялось неслыханной дерзостью, страшным преступлением, нарушением древних законов и, как утверждали иные, «оскорблением богов, охраняющих государство и его законы»), другие восхваляли его за проявленную твердость и говорили:

— Если бы он уступил Октавию — хлебопашцы не увидели б земли.

А третьи громогласно заявляли, что Октавия следовало растерзать и труп бросить в Тибр. В числе этих людей были кузнецы, портной Маний и еще несколько человек.

— Кто такой Октавий? — кричал Тит. — Это — раб, сторожевая собака нобилей. Будь у меня с собой молот, я бы разбил, как горшок, эту пустую голову!

— А я бы заплатил за разбитый горшок его семье! — подхватил Маний.

Тиберий больше не слушал. Давнишняя мечта о создании государственных имений, во главе которых стояли бы магистраты, сдающие их деревенскому плебсу в аренду за низкую плату, казалась осуществимой; но куда девать излишки хлеба, вина, оливкового масла, мяса, сыра, шерсти, плодов и овощей? Сможет ли государство расширить свою торговлю, сумеет ли распределять на греческих, африканских, испанских и малоазиатских рынках предметы вывоза, обменивать их на необходимые предметы ввоза?

Он вспомнил о римских купцах-публиканах и покачал головою. Создание государственных имений грозило смертельной борьбой с всадничеством, и он отказался от этой мысли, как неосуществимой.

Ежедневно он совещался с Аппием Клавдием, Блоссием, Диофаном и несколькими друзьями, как отобрать в казну земельные участки и наделить ими обнищавших пахарей. Мать его принимала живое участие в этих беседах: она гордилась сыном, он заседал уже в сенате и хотя не пользовался тем весом, на который она рассчитывала («далеко еще до царского венца!»), потому что нобили забрасывали его грязью, а Сципион Назика вел против него борьбу, она все же надеялась, что Тиберий со временем добьется первенства.

На совещаниях намечались отчуждения полей по областям: оптиматы должны были дать сведения о количестве имеющейся у них общественной земли с указанием местности, чтобы легче приступить к распределению земель, но богачи медлили, и Гракх пригрозил, что составит опись путем опроса, ее засвидетельствуют местные магистраты, и она будет считаться действительной. Патриции испугались лишиться большего количества земли, чем было узаконено, и дали требуемые сведения. Тогда триумвиры (Гая временно заменяла Корнелия) объявили народу, что приступают к распределению, и предложили земледельцам отправиться по своим трибам.

Народ стал волноваться. Оптиматы распустили слухи, что лучшие земли распределяются среди клиентов и вольноотпущенников триумвиров, и в большем количестве, чем обусловлено законом, а плебсу достанутся неплодородные участки. Тиберий принужден был выступать несколько раз и на форуме и на Марсовом поле, чтобы успокоить плебеев.

Волнения усилились, когда умер лучший друг Гракха Муций Фульвий, племянник Флакка. Это был молодой здоровый, жизнерадостный человек. Узнав о его смерти, Тиберий растерялся: накануне еще Муций был у него в гостях, пел, читал стихи, а сегодня лежит бездыханный, с искаженным лицом. Когда Гракх, прибежав в дом друга, увидел, что труп посинел, покрылся темными, зловещими пятнами и быстро разлагается, он первый заговорил об отравлении. Собрались друзья, стал стекаться народ. Улицы гремели криками:

— Злодеи, отравители!

— В Тибр их! На костер, вместе с покойником!..

На костре труп не горел: истекая кровью и вонючими соками, он тушил огонь, и стоило величайших усилий, чтобы пламя охватило его.

В этот день Тиберий появился на форуме в траурной одежде, ведя за собой своего сына и детей рабов.

— Квириты, — обратился он к гражданам, — вы видели, что делается? Наиболее злобные из нобилей, называющие себя оптиматами, хотят уничтожить друзей народа. Одного уже отравили... теперь очередь за другими... Может быть, за мной, за женой, за детьми, которых вы видите и которые не могут еще защититься! Злодеи посягают на мою жизнь, чтобы земледельцы не получили участков... Слышите, квириты?

Толпа ответила ревом:

— Не бойся, защитим!

— Разгромим сенат! Перебьем патрициев!

— Растерзаем отравителей!

— Будем тебя охранять!

Наступила тишина. На рострах появился Папирий Карбон. Он собирался произнести речь против оптиматов, но в это время послышался громкий, зловещий крик:

— Горе Риму, горе Риму, горе Риму!

На ступенях Капитолия стоял человек в черном. Схватившись за голову, он вопил и дико хохотал, глядя на толпу, которая бросилась бежать в суеверном ужасе.

— Кто это? — спросил Гракх, щуя глаза.

— Это юродивый, — спокойно ответил Карбон. — Он помешал мне произнести речь.

XXIII

Марция, жена Сципиона Назики и старшая сестра Корнелии, матери Гракхов, в этот день очень устала: муж принимал вечером друзей и единомышленников — всю ту родовитую знать, которая стояла во главе государства и была резко враждебна Тиберию. И Марция знала, что главной целью Назики было не желание повидать сенаторов, с которыми он и так часто встречался, а обсуждение с ними, крупными землевладельцами, тревожного положения в Риме.

Марция, уже увядшая женщина, чересчур маленькая, в противоположность мужу-великану, была подвижна, весела и деятельна. Она умела досмотреть за всем в доме, и хозяйство у нее стояло на образцовой высоте: рабыни получали урок с вечера, и матрона принимала выполненную работу после обеда. Но в этот день все перевернулось вверх дном. Уроки были отложены, а невольницы, даже ткачихи и комнатные девушки, отправлены на кухню: считая себя лучшей хозяйкой в Риме,

Марция хотела принять гостей хорошо.

К вечеру были вымыты комнаты, ларарий украшен зелеными ветвями, а статуи — полевыми цветами. На столах появилась глиняная посуда, ковриги хлеба. Сципион Назика считал себя римлянином старого времени, любил древность и простоту, был врагом роскоши.

Он обошел атриум, таблин, перистиль и остался доволен. Везде был порядок, все блестело, как в праздничные дни. На треножнике стояла огромная статуя дискобола. Согнувшись, он занес правую руку с диском, а левой как бы прикрывает правое колено — мышцы напряжены, правая нога твердо стоит на земле, а левая почти оторвалась от нее, едва прикасается пальцами: вот-вот метнет дискобол свой диск. Но чудеснее всего была приобретенная в Афинах группа нагих харит, богинь прелести и красоты: три стройные девственницы обнимали друг дружку; лица их лучились ласковым смехом. Имена их: Аглая — блеск, Талия — цветущее счастье и Эвфросина — веселье олицетворяли радость. Аглая держала в руке лилию, символ лета. Талия — миртовую ветвь, символ любви, а Эвфросина — розу, символ красоты. Сципион Назика любил этих харит и, когда бывал в мрачном настроении, приходил посидеть возле них. Глядя на их веселые лица и божественные формы, он чувствовал, как грусть, тоска, злоба, бешенство рассеивались. Марция тоже любила харит; она, по греческому обычаю, приносила им ежедневно цветы и пела гимны Гесиода.

Хотя убранство дома было простое, но хозяин слыл богачом (во всем чувствовался утонченный вкус); его вилла близ Брундизия славилась неслыханной роскошью, только доступ в нее был запрещен всем, кроме двух-трех близких друзей, и Назика называл ее «музеем», «уголком отдохновения от жизненных тревог». Однако в Риме утверждали, что суровый римлянин отдавал в этом «уголке» дань своему времени: восточные оргии продолжались по несколько дней кряду, и нагие выхоленные рабыни прислуживали могущественному оптимату и его друзьям.

Впрочем, и Марция бывала в этой вилле. Она наезжала внезапно, точно хотела захватить мужа на месте преступления, но никогда не заставляла в вилле рабынь, не слышала, украдкой пробираясь к дому, пьяных криков и песен. Вилла оставалась «музеем», «уголком отдохновения от жизненных тревог».

Оптиматы собирались не торопясь. Сначала пришел Тит Анний Луск, маленький, лысый, желчный человек, едкий спорщик, за ним Квинт Элий Туберон, племянник Сципиона Эми-лиана, Квинт Метелл Македонский, крепкий старик, Марк Эмилий Скавр, потом Люций Кальпурний Пизон, Марк Октавий, Квинт Помпей, Публий Попилий Ленат, Публий Рутилий и еще несколько человек. Это были смертельные враги Тиберия, посягнувшего на их земли, люди твердые, упрямые, готовые на самую отчаянную борьбу, а, может быть, и на преступление, чтобы только вернуть себе прежнее неограниченное положение олигархов; они знали, зачем пригласил их Назика.

Рабыни поставили на стол дымящуюся поленту — соленую кашу из жженого и молотого ячменя, капусту, латук, чеснок и грибы; затем была подана жареная баранина, свинина, гуси и отдельно гусиная печень — самое лакомое блюдо.

— Когда гости насытились, Сципион Назика принес жертву ларам и возвратился на свое место.

Пироги, начиненные яблоками, грушами, финиками и фигами, залитые медом, убранные виноградом, были встречены восклицаниями.

— Прежде чем начнем пировать, — загрохотал басом Назика, — побеседуем о государственных делах. Я собрал вас, дорогие гости, главным образом для этого. Благо

государства — превыше всего, превыше жизни и личного благосостояния граждан.

— Ты прав, — слышались разрозненные голоса.

Рабы между тем вносили амфоры, и симпозиарх определял состав смеси вина. Он должен был руководить пирушкой, песнями, здравницами и ожидал, когда кончится беседа. Это был старый клиент, проживший в доме Назики более пятидесяти лет; он верно служил Сципиону Назике Коркулу и вынянчил его сына Публия.

— Положение в городе тревожное, — начал Назика, откашлявшись, — Гракх занимает странное положение: он опирается на полчища земледельцев, на плебс и вмешивается, чувствуя на своей стороне силу, в дела сената. Так, отцы, продолжаться не может!

— Что же ты предлагаешь? — ехидно усмехнулся Тит Анний Луск.

— Я хочу послушать твоего совета. Тит Анний Луск хрипло засмеялся:

— Войско у нас есть? Есть. Конница? Тоже есть. Что же тут обдумывать?

Все молчали.

— Подожди, — нахмурился Назика, вспомнив о своем родстве с Тиберием. — О войсках мы не забыли, но и ты не забудь, что умирять народ войсками (а плебс непременно станет на сторону Гракха) — значит начать гражданскую войну...

— Ты трусишь!

— Нет, я учитываю общее положение Рима. Мы воюем в Испании и на Сицилии, союзники и рабы Италии и провинций ожидают лишь случая, чтобы восстать, а ты предлагаешь... гражданскую войну...

— Что же делать? — прошептал Марк Октавий; смещение с должности народного трибуна сильно подействовало на него. Он пал духом и целые дни проводил дома, одинокий, всеми забытый, и только один Сципион Назика вспомнил о нем и позвал на пирушку.

Используя Октавия для своих целей, оптиматы забыли о нем, как о ненужной вещи, и Октавий понял всю глупость своего положения. Он потерял дружбу такого человека, как Тиберий, потерял землю, вопреки лживым уверениям богачей что сенат заставит Гракха подчиниться их воле, и потерял, наконец, трибунат. Теперь он не может показаться на улице. Плебеи показывают на него пальцами: «Враг народа, цепной пес сената!» А нобили избегают его, опасаясь, что он будет просить у них милостей.

Он прислушался к оживленной беседе. Квинт Метелл Македонский говорил:

— Этот человек опасен. Он честолюбив, опирается на плебс, обещает ему всякие блага. Он хочет облегчить положение народа и ослабить могущество сената, он мечтает расширить обжалование решений обыкновенных судов в народные, обещает плебеям сократить срок военной службы. Он заискивает перед сбродом, По ночам можно видеть, как он, в сопровождении самых бедных, оборванных и нахальных граждан, направляется в трущобы города; у него на попойках бывают только дерзкие грубые плебеи. И это сын любимого и уважаемого Семпрония Гракха, человека строгого и честного, которого многие из нас хорошо помнят!

— Да, да, — хрипло закричал, как петух, Тит Анний Луск, — но это не так важно.

— Как не важно? — зашумели гости. Луск, не слушая их, продолжал:

— Важнее всего то, что Тиберий оскорбил священную и неприкосновенную личность народного трибуна, попрадал дедовские устои, подпав под влияние своей матери и стойков...

— Позволь, — прервал его Назика, — ты повторяешь только слухи...

— Нет, не слухи! Корнелия и стойки сопровождали его на форум.

— Ну и что ж?

— Как что ж? Если сопровождали, значит, поддерживают. И я повторяю: бунт нужно подавить железом, разогнать плебс, а Гракха с единомышленниками...

— Ты прав, — согласился Назика, — но это нужно обдумать, чтоб избежать гражданской войны...

— Да ее и не будет! — продолжал спорить Тит Анний Луск. — Кто будет воевать? Ремесленники, земледельцы, булочники, блудницы? Ха-ха-ха!.. Заметь при этом, что работа триумвиров не подвинулась ни на один шаг: Тиберий, как трибун, не имеет права выехать из города, его брат Гай находится под Нуманцией, а Корнелия с Аппием Клавдием не знают, что делать. Триумвиры не подумали, как трудно установить, принадлежит ли участок к государственной собственности, взятой в аренду, или куплен, каковы его границы; поэтому размежевать сомнительные земли невозможно. Этот закон Гракха волнует и союзников — они не хотят отдавать земли римлянам без вознаграждения, хотя эти земли и считаются общественными, и они правы, но мы, государственная власть, должны помнить, что это грозит республике волнениями.

— Мы подумаем, что делать, — сказал Сципион Назика. Когда выступил Квинт Помпей, наступило молчание; все знали, что он скажет главное.

— Спать, благородные мужи, сейчас преступно, — заговорил он, — а еще преступнее вести пустые разговоры, после которых люди расходятся по домам, а наутро забывают, о чем шла речь. Всем известно, что на днях приехал в Рим посол пергамского царя Аттала — Эвдем.

— Бедный царек! — засмеялся Публий Попилий Ленат. — Мы его чересчур прижимали, и он умер.

— Человечество мало потеряло, лишившись такого сумасброда, — поддержал его Марк Эмилий Скавр. — Одним садовником, скульптором и литейщиком стало на свете меньше — и только...

— Но вы забываете, благородные мужи, — продолжал Квинт Помпей, — что Аттал завещал свое царство римскому народу. Не умея сам управлять государством и не заботясь о своих подданных, он, очевидно, решил, что только один Рим сумеет властвовать на этих землях, и потому отправил к нам Эвдема... Тиберий хитер: он увиделся с послом, узнал о завещании и, воспользовавшись царским подарком, внес предложение. Оно вам известно: употребить все царские сокровища на пользу граждан, получающих наделы, чтобы земледельцы обзавелись сельскими орудиями, улучшили свое хозяйство, а из денежных излишков образовать запасные суммы на случай бедствий. Далее Гракх объявил, что вопрос о городах Пергамского царства подлежит обсуждению народа, а не сената...

— Зачем ты это все говоришь? — прервал его Квинт Метелл Македонский. — Напоминать об оскорблении — значит оскорблять вдвойне...

— Да, Тиберий оскорбил сенат... Но на нем тяготеет большая вина, благородные мужи! Он принял от Эвдема, как будущий царь Рима, пурпурную мантию и диадему царя Аттала III Филометора...

Вскрикнув, оптиматы вскочили: они растерянно переглядывались, точно лишились языка.

— Не может быть! Откуда ты это знаешь, благородный Квинт Помпей?

— Слушайте. Эвдем показался мне подозрительным с того времени, как стал видеться с Гракхом. И я велел следить за ним...

— Хорошо сделал! — крикнул Тит Анний Луск.

— Пришлось подкупить вольноотпущенника Корнелии, и ему удалось узнать, что Эвдем предлагал Тиберию золото Аттала. Царский посол говорил так: «Когда ты будешь царем Рима и Пергама, я покажу тебе записи Аттала о своей стране, в которой Рим присосался, как паук к мухе». Это — слова Эвдема. О домогательствах Гракха все известно. Разве он не господин Рима? И Лелий Мудрый сказал мне вчера, что он уже записал в своей истории: «Тиберий Гракх стремился к царской власти и даже царствовал в течение нескольких месяцев». Историк уверен, что это долго не может продолжаться.

— Эвдема в темницу! Заковать в цепи! — не слушая его, кричал Сципион Назика.

— Невозможно. Эвдем — гость Тиберия, а Гракхов стережет народ. Но если бы плебс и не охранял его — знаешь сам: личность гражданина у ларов неприкосновенна...

— Хороши мы... Сенаторы... без власти.

— Не тревожься, благородный Публий! — вскричал Люций Кальпурний Пизон. — Боги за нас! Они нас поставили у власти, они нам и помогут...

«Дурак, — подумал Назика, — он еще верит в богов после Демокрита, Диагора Мелийского, Карнеада», — и громко сказал:

— Я не сомневаюсь в этом. Однако, надеясь на богов, мы также должны рассчитывать на свои силы... Благородные мужи, скажите, римляне вы или варвары?! Думаю, что римляне, иначе бы вы не заседали в сенате. Обдумайте, что делать, и приготовьтесь к решительным действиям. А теперь, — повернулся он к симпосиарху, — будем пировать...

Симпосиарх налил гостям горячего родосского вина, и только один Октавий попросил холодного: его мучила жажда, и кружилась голова. Он пожалел, что пришел к Назике.

В это время симпосиарх обратился к гостям:

— Благороднейшие мужи! Ваши деды и отцы завоевывали чужие земли, копили богатства, расширяли торговлю, улучшали земледелие, скотоводство, пчеловодство, ремесла, науки, искусства... Разве не следовало бы их воспеть?

— Верно, отец! — воскликнул Квинт Элий Туберон и запел неуверенным голосом, а молодая флейтистка вышла из перистиля и принялась ему вторить:

Ромула город окреп и страшатся квиритов народы:
Шаг легионов гремит — весь содрогается мир!
Слава отцам и дедам!
Род Сципионов велик!
Пунов владыка разбитый
К морю от римлян бежит!

Квирина храбрые дети сражаются в Африке знойной:
Заму избрала судьба кругом могучей борьбы...
Слава отцам и детям!
Род Сципионов велик!
Стены дрожат, но храбро
Рубятся пуны в бою...

Падают стены, но город, объятый, как некогда Троя,
Пламенным вихрем, стоит: страшная сеча кипит...
Слава вождям, сенату!
Род Сципионов велик!
Гракх угрожает Риму...
Кто нас от смерти спасет?..

Юноши, старцы и девы взирают с мольбою, Назика
Доблестный вождь, на тебя! Ты ль не любимец богов?
Слава тебе, Назика)
Род Сципионов велик!
Гракх и плебеи скоро
Пред великаном падут!..

Гости восторженно хлопали в ладоши, пили за здоровье хозяина. А он задумчиво сидел, облокотившись на стол, уносясь мыслями в прошлое: вспоминал Семпрония и Корнелию Гракхов, к которым бегал, будучи мальчиком, вспоминал их ласку и теплоту, видел мальчика Тиберия и сестру его Семпронию, некрасивую застенчивую девочку, слышал чудесную греческую речь... Как это было давно! Он вырос, возмужал, а лишь только вспомнит о детстве, что-то щемит в груди, сожмется сердце, и хочется плакать... Жизнь... Неужели ему, Сципиону Назике, идти против этих людей, против этого голубоглазого мальчика? Убить его?...

Он отер шершавой ладонью пот, смочивший лоб, очнулся.

«Они хотят, чтобы я пошел на Гракха, а сами трусят... Они посылают брата на брата во имя родины... Они ненавидят нас, Сципионов, а поют хвалебные гимны. Они...»

— Покажи нам, благородный Публиций, твоих юных танцовщиц, — блестя пьяными слезящимися глазами, говорил Тит Анний Луск и хватал Назику за тогу. — Говорят, ты купил их дешево на невольничьем рынке в Делосе... Хе-хе-хе...

Сципион Назика вспыхнул, но сдержался:

— К сожалению, дорогие гости, я не могу показать вам танцовщиц: их у меня нет, и я никогда не тратил денег на такую роскошь. Благородный Тит Анний Луск, очевидно, что-то перепутал... Да, да, перепутал! — крикнул он в ярости. — Но если ты, благородный Тит, так любишь пляски, то почему бы не пойти тебе завтра в танцевальную школу? Там ты увидишь удивительное зрелище: неприличные пляски пятисот римских мальчиков и девочек; они пляшут с кроталлами под пение и игру на греческих инструментах...

Все засмеялись, а Тит Анний Луск обиделся. Он встал изза стола, чтобы уйти, но, сделав шаг, пошатнулся и упал на Квинта Метелла Македонского, чуть не свалив его с лавки.

XXIV

Сципион Назика старался быть мужем древней доблести, таким же честным, великодушным, прямым, таким же патриотом и любителем наук и искусств, как его родственник Сципион Эмилиан, но это подражание великому соотечественнику таило в себе непомерное честолюбие человека, который стремился к тому, чтобы имя его

попало в анналы Рима, было увековечено историей, статуями на форуме и в общественных местах, чтобы о нем, Назике, говорили во всех уголках мира, как о выдающемся римляnine. Однако ни честностью, ни великодушием, ни прямоотой он не мог сравниться со Сципионом Младшим. Он был хитер, несправедлив, груб, высокомерен, лишен той ясности ума, жизненной мудрости и олимпийского спокойствия, которые выгодно отличали от него и выдвигали Эмилиана в первые ряды лучших современников; даже враги были принуждены признать, что Сципион Африканский Младший является воплощением гордого римского духа, отмиравшей доблести-добродетели, неподкупной честности, любви к отечеству: разве он не содействовал проведению закона Люция Кассия о тайном голосовании в народных судах? Разве он не привлек к судебной ответственности нескольких оптиматов, злоупотреблявших своим положением? Разве он не принимал мер против распутной и разгульной молодежи? Десять лет назад он начал борьбу с порчей нравов и вел ее с присущей ему суровостью. Но все его труды разбивались, как глиняная посуда, роняемая на землю. Нобили изошрялись в роскоши стола, в приобретении дорогих греческих вин, персидских и вавилонских ковров, красивых рабынь и мальчиков. Восточные оргии стали повседневным явлением; молодежь открыто издевалась над священной властью отцов; жены покушались на мужей, отравляли их; в народном собрании появлялись пьяные магистраты. Плебеи требовали на похоронах кровавых гладиаторских боев, в дни празднеств — травли зверей, диких увеселений; распущенность и изнеженность проникали даже в римский лагерь: воины имели собственных рабов и любовниц, занимались грабежом, были низкими и жестокими трусами, пьянствовали, принимали теплые ванны. Сципион Эмилиан сурово боролся за чистоту древних нравов, но он один не в силах был ничего сделать: на его глазах нобили погрязали в оргиастическом культе Великой Матери, и он настоял изгнать из республики прорицателей-халдеев, а виновных граждан привлечь к ответственности.

Ну, а он, Сципион Назика? Он тоже любил Рим и богов его, старые римские нравы, свои родовые наследственные земли, и все то, что возносило республику на недостижимую высоту над подчиненными провинциями, и только перед одной Грецией, перед эллинским искусством и наукой, он склонял гордую упрямую голову, с завистью созерцая ее мраморы, углубляясь умом в удивительные создания философов, астрономов, поэтов, трагиков; и потому он покровительствовал наукам и искусствам, пытаясь «выращивать, — как он говорил, — на грубой почве римской земли ученых мужей, ваятелей и поэтов».

Будучи один противоположностью другого, оба Сципиона сходились взглядами в том, что Риму нужен мир, и не потому ли во время своего цензорства Эмилиан молился богам, прося их не о расширении пределов республики, а о сохранении ее в спокойствии для трудовой жизни? Назика был согласен с ним, хотя и не возражал против назначения его полководцем под Нуманцию. Он рассуждал так: «Провинция Испания — не Италия, сердце Рима; республика имеет от нее выгоду, следовательно полное завоевание Испании необходимо для блага отечества». Но когда выступил Тиберий, Назика понял, что государство повернуло, как корабль, повинующийся воле рулевого, на путь гражданской борьбы, и много бед ожидает Рим в ближайшие годы. И он возненавидел Гракха не только как врага родины, но и как личного недруга, который покушался на его родовую собственность в угоду деревенскому плебсу.

Кроме Тиберия, беспокоил его и Фульвий Флакк. Слухи о тайных сношениях его с союзниками, о подстрекательстве их к отпадению от Рима не давали покоя Назике.

Имя Фульвия упоминалось глухо, с опасением. Назика боялся смелого, безрассудного мужа и поторопился отправить его на войну с рабами. Однако дни бежали, а Флакк бездействовал; он доносил сенату, что легионы, которые он принял, отвыкли от дисциплины, что это не воины, а толпа трусливых торговков, которые в первом же бою запятнают бегством римские знамена, и просил на несколько месяцев отсрочки, чтобы укрепить войско.

Но сенат, по настоянию Назики, отказал:

— Какой это полководец, который не умеет справиться с разнузданными легионами? Сместить его, сместить!

— Но ты сам величал его великим стратегом, — ехидно заметил Тит Анний Луск. — Пусть же великий стратег разобьет рабов или...

Он помолчал, хрипло рассмеялся:

— ...или пусть рабы разобьют великого стратега! Сципион Назика вспыхнул, но сдержался. Он наговорил бы ехидному старичку много дерзостей, если бы не боязнь потерять его голос при решении такого важного вопроса. И Назика не ошибся в своем расчете: он получил голос Луска (старичок голосовал за смещение Фульвия Флакка) и одобрение сената.

«Фульвий хитер, — думал Назика, прислушиваясь к спорам сенаторов, — он почему-то виляет, как собака, а чего хочет — ведомо одному Юпитеру. Союзники от него далеко, он находится под постоянной угрозой нападения рабов и — спокоен. Клянусь Марсом! Станный он муж. Храбрый, умный, он что-то замышляет... И если здесь таится измена...»

Сципион Назика крикнул, ударил кулаком по спинке кресла; золотое кольцо в виде пружины, согнувшись, впилось в мизинец.

— Что с тобой, благородный муж? — шепнул Люций Кальпурний Пизон. — Ты волнуешься...

— Нет.

— Прости меня за назойливость. Твое раздражение вызывает недоумение и растерянность...

— Молчи, — быстро взглянул на него Назика. — Хочешь получить Сицилию, славу, триумф?

Пизон молчал.

— Фульвий Флакк передаст тебе, консулу и своему преемнику, остров и власть над легионами, а сам выедет немедленно в Рим. Ты же... ты знаешь, что делать... и — справишься...

— Я подумаю...

— Не ты подумаешь, а сенат. Я ставлю вопрос.

И Сципион Назика тотчас же предложил послать в Сицилию Люция Кальпурния Пизона, мужа твердого, храброго, упорного в достижении намеченной цели.

Пизон был человек с безупречным прошлым; он боролся с низкой алчностью правителей провинций и с порчей нравов в римском обществе и хотя посещал тайком лупанары, но это не считалось пороком. Поклонник Катона Старшего, учеником которого он себя считал, Пизон, точно так же, как и его учитель, занимался литературой и писал отечественную хронику, сухую и рассудительную. Он прославился своей честностью и был прозван «Фруги»: служа претором в Сицилии, он закупил однажды хлеб по очень низким ценам и остаток денег внес в казну, что вызвало всеобщее изумление; одни называли его дураком, не сумевшим

воспользоваться счастливым случаем, другие полусумасшедшим, а третьи — честолюбцем, добивающимся почета.

Предложение Назики было принято сенатом.

Вновь посылаемому консулу были даны самые суровые, самые жестокие права жизни и смерти над жителями всего острова.

Выходя с Пизоном из сената, Назика сказал:

— Тит Анний Луск упрекал меня, что я, расхваливая Фульвия Флакка, величал его великим стратегом. Это так, но я не льстил, я действительно убежден в его военных способностях. Но кто виноват, что он бездействовал? Ни одной битвы, ни одной стычки за все время! Что это? Трусость или измена?

— Ни то, ни другое, — ответил Пизон.

— Что же?

— Осторожность полководца. Разве можно сражаться с воинами, которые обращаются в бегство, увидев неприятеля?

— Что же ты сделаешь?

— Я восстановлю Драконовыми мерами дисциплину и тогда лишь поведу легионы к победам.

— Да услышит тебя Марс и да поможет тебе Минерва! — радостно воскликнул Назика. — Восстание рабов нужно подавить, иначе оно может перекинуться на юг Италии...

Он почти угадал; Фульвий Флакк, после встречи с Эвном, решил поднять рабов в Риме, Минтурнах и Синуэссе, а Эвн послал, наконец, нескольких военачальников с этой же целью в Аттику и на Делос. Отливщик бронзы Аэций получил приказание отправить своих людей из Капуи в Минтурны, а живописец Флавий — из Веллии в Синуэссу, где образовались значительные отряды. Гесперу поручено было подготовить восстание в Риме.

Назначив днем выступления канун календ следующего месяца, Фульвий стал дожидаться событий, проводя время в лагере крайне разнообразно: гетеры, сицилийские девушки, канатные плясуньи и танцовщицы находились дни и ночи в гостеприимном шатре полководца. Он любил вечеринки, на которых прислуживали нагие девочки и мальчики, любил смотреть, как возбуждаются они, и спаивал их сладким ароматным вином, приносящим телам изнеможение и утонченную жажду наслаждения. Он любил смотреть на любовь двух полов, на страстные объятия лесбиянок и, обнимая зараз нескольких девушек, привлекал их к себе, как эпикуреец, берущий от жизни все — даже малейший намек на удовольствие. Утро заставало его на львиных и леопардовых шкурах, между груд нагих тел.

Люций Кальпурний Пизон прибыл в лагерь днем.

Фульвий узнал заблаговременно, что консул высадился в Тиндариде. Пленные рабы, захваченные в боях его предшественником и отпущенные Флакком на свободу, донесли о прибытии римской триремы. Фульвий приказал привести лагерь в порядок, удалить женщин, а сам, ожидая римского военачальника, принялся за свои излюбленные комментарии, «О жизни эпикурейца». Он писал сам — не любил диктовать рабу — и в этот день вывел неровные письма поспешной рукою:

СХХХII. Ты ль, не анадиоменоподобна, о дева нагая? Спелые груди твои сочными грушами льнут К алчным губам, и горячие руки к излучинам бедер Рвутся, взметая полет ног гибкостройных твоих.

Тяжкодремотную амброй упитан живот твой пахучий: Круглый, как смуглый кратер, тихо вздымаясь, дрожит... Будь ты гетера, плебейка, рабыня из стран киммерийских — Равно молюсь я тебе. Тело — Душа — Красота!

СXXXIII. Смежил мне сон легкокрылый за ночи усталые вежды: Поступью тихой вошла в сердце ты, дева, мое!

СXXXIV. Римлянок груди — не яблоки ль в свежих садах Геспериды? Груши я больше люблю — груди гречанок они.

Гексаметры чередовались с лаконической прозой. Флакк записал:

СXXXV. Псы терзали прекрасное тело Актеона: может быть, влюбленные в него, они хотели вобрать в себя эту Красоту? Так и я, терзаемый наслаждениями, хочу раствориться в них.

СXXXVI. Лучезарный Феб захлопнул свои ворота: пора на покой. Ложась, я слышу еще смутное ржание золотых коней, но его уже заглушает шорох: это богоподобная гетера снимает с себя хитон.

Топот копыт ворвался в палатку. Фульвий убрал свои записки и вышел. Подъезжали всадники — человек десять. Впереди ехал Пизон. Флакк догадывался, что сенат им недоволен, а теперь в этом уверился. Радость вспыхнула в его глазах и погасла. Он подумал, что вскоре будет в Риме, увидится с друзьями, заживет прежней эпикурейской жизнью.

Он весело приветствовал Пизона, но консул был мрачен — на его лбу лежала забота.

— Не заболел ли ты? — заботливо спросил Фульвий. — Или боги послали тебе худые предзнаменования?

— Не то, — нахмурился Пизон, — но клянусь Громовержцем, если я не усмирю этих рабов!

— Что случилось? — спросил Флакк, стараясь скрыть беспокойство.

— А то, что восстания вспыхнули по всей Италии. Когда я уезжал из Рима, там подавляли бунт рабов: сенат приказал выведать имя зачинщика...

— И что ж, узнали?

— Дорогою, — не слушая его, продолжал Пизон, — я получил известие, что в Минтурнах казнено около пятисот восставших рабов, а в Синуэссе распято на крестах более четырех тысяч... Прав был Муций Сцевола, когда утверждал, что эти восстания — дело одного лица...

Фульвий покачал головою.

— То же говорил Красс Муциан, — вздохнул он, — но ни тот, ни другой не могли доказать...

— Они доказали, что работает один человек...

— Кто же?

— ...а имени так и не узнали.

Флакк спокойно прочитал врученную дощечку с приказанием сената передать легионы в ведение Пизона, позвал квесторов, военных трибунов и сообщил им о назначении нового полководца.

Однако легионы, узнав о смещении Фульвия, стали роптать. Они полюбили веселого невзыскательного начальника, который разрешил им пьянствовать и развратничать и относился равнодушно к военным упражнениям. Прощаясь с

Флакком, легионеры бежали за ним, целовали ему руки, кричали:

— Да хранят тебя боги! Да сопутствуют тебе добрые ветры!

— Да хранит тебя Нептун!

XXV

Возвращаясь в Италию, Фульвий Флакк беспокоился: он опасался, что рабы не выдержат пыток и выдадут его: смерти он не боялся, но пугало, что пострадает семья — жена и дети. Он знал оптиматов — они были суровы и мстительны — и его ненависть к ним казалась ему такой огромной, что он удивлялся, как вмещает ее сердце.

Он спешил попасть поскорее в Велию и Капую, чтобы узнать от Аэция и Флавия подробности усмирения рабов.

«Как быстро Рим справился с ними! — думал он, рассеянно следя за Липарскими островами, оставшимися позади, и не обращая внимания на толпы женщин и девушек, которые провожали корабль задумчивыми глазами. — Почему везде постигла нас неудача? Кто виноват? Может быть, были мы не подготовлены или плохо вооружены? Или не было у нас опытных вождей? Или они изменили, продали своих братьев?»

Это была страшная мысль: он заскрежетал зубами, на лице его выступил пот.

В Велии его ожидало огорчение: живописец Флавий, тяжело раненный копьем в грудь во время восстания рабов, умирал в своей мастерской. Он был в сознании, и когда Фульвий Флакк подходил к его ложу, Флавий сразу узнал «вождя», как величал его со времени подготовки восстания, и улыбнулся.

— Привет господину, — прошептал он запекшимися губами, пытаюсь приподняться.

Фульвий движением руки остановил его:

— Лежи. Мне уже сказали о несчастье, обрушенном на нас Фортуною! Как жаль, что копья римлян не обратились против них самих! Что ты думаешь о неудаче?

— А ведь все было сделано... как ты приказал... — медленно говорил Флавий, с усилием двигая губами. — мы подошли к складам оружия... внезапно нас окружил легион...

— Причина неудачи? — задыхаясь, вскрикнул Флакк.

— Я думаю...

— Говори!

— Измена...

Фульвий побледнел: то, чего он опасался, подтвердилось. Но, может быть, Флавий ошибается? Не может быть, чтобы рабы предали своих братьев. Он высказал свою мысль живописцу.

— Увы, господин! Среди рабов было несколько свободнорожденных.

— Пусть поглотит их Тартар!

— Пусть растерзают их Эриннии! — прошептал Флавий и закрыл глаза.

Флакк тихо отошел от ложа. Он осведомился у одного из учеников о состоянии здоровья мастера, и тот тихо заговорил, пытаясь скрыть слезы:

— Врач уверен, что копьем задето сердце. Одна надежда на богов. Сегодня утром мы принесли жертву богине Валетуде.

— Флавий знает о своем положении?

— Знает. Он целый день смотрит на статуи. А вазу из Гнатии положил рядом с

собой; он прижимает ее к груди, как...

Ученик запнулся, смущенно прибавил:

— Он велел положить ее с ним в могилу. Взгляни. Фульвий смотрел на черную вазу с изображением нагой женщины и вспомнил рассказ Геспера о любви живописца; это тело ласкали дрожащие руки Флавия, он звал ее к себе, умолял...

«Счастливым человеком, — подумал Флакк, — он поклоняется Красоте, а мне сейчас не до этого... Наступит время, когда и я уделю несколько дней безмятежному любованию, восхищенному поклонению Венере».

Остерегаясь разбудить раненого, Фульвий вышел на цыпочках из мастерской и, садясь на коня, сказал:

— Пожелай ему выздоровления и долгой жизни. Передай, что дом мой всегда открыт для него.

В Капуе новости были тоже невеселые. Старик Аэций равнодушно сидел перед потухшим горном, и седая голова его дергалась, точно он молился.

— Камилл убит, — прошептал отливщик бронзы, — о сыновьях нет известий: пропали! Вот сижу и жду... Зачем разводить огонь, для кого работать?..

— Не грусти, Аэций, — спокойно сказал Флакк, — борьба требует жертв. Твои невестки и внуки дождутся лучших дней...

— Невестки... внуки...

— ...или правнуки... Работай для них. А сыновья, если живы, вернуться.

Аэций покачал головою:

— Как ты говоришь, господин! Работай... вернуться... А если возвратятся... Камилл мой... Камилл...

Старик тяжело зарыдал, стал рвать на себе волосы.

— Горе мне, горе! Это ты всему виною, ты, господин! Ты смутил нас... лучшей жизнью... ты...

Фульвий полуобнял Аэция, сел с ним рядом.

— Погибли тысячи, — молвил он со вздохом, — но я думаю так: не все ли равно, когда умереть — днем раньше или днем позже? Но если умираешь за идею, за благо тысяч, то не жаль отправиться в подземное царство на несколько лет раньше срока. Что жизнь плебея, раба? Что в ней хорошего? Лучше положить ее на кровавый жертвенник Беллоны... Успокойся же, не горюй, будь тверд, умей переносить горе...

Флакк с грустной улыбкой отирал ему слезы, гладил морщинистые руки:

— Но мы победим, — я убежден в этом! Сицилия свободна, рабы бьют легионы... я оттуда...

— Господин мой, страшно...

— Чего ты боишься?

— Жестокостей римлян...

— Рабы не сдадутся... Не должны сдаться... Нет, нет!.. Аэций хрипло рассмеялся:

— А измена?

Фульвий вскочил. Он дрожал, как в лихорадке, не мог вымолвить ни слова:

— Что... что?..

— Разве нас не предали?

Об измене он нарочно не спрашивал Аэция, стараясь отдалить этот вопрос, подойти к нему постепенно, а старик, как обухом, ударил его в темя: «Предательство!»

«Оно там и здесь, — подумал Флакк, — мы обречены, если не сплотимся в такой кулак, пальцы которого будут близки один к другому, составят одно целое. Тогда —

будущее наше. И мы создадим братскую республику с единой общиной, без семьи, без собственности, как учил Платон, но управлять ею будут не философы, а сенат, состоящий из рабов и плебеев».

Подъезжая к Риму, он увидел ряд крестов с распятыми рабами и спросил встретившегося земледельца, за что казнены люди. Тот подозрительно огляделся, шепнул:

— Разве не знаешь. Они восстали. Их били — кожа лопалась на телах. А потом распяли.

— Много погибло? — спросил Фульвий со стесненным сердцем.

— Все.

— А семьи их?

— Угнаны в виллы на работу.

«Этого нужно было ожидать, — подумал Флакк, — мы еще не умеем бороться, слишком доверчивы к людям, необдуманно бросаемся в бои, не умеем обеспечить себя на случай поражения. Три таких разгрома в короткий срок — это для нас много».

Он был остановлен у Эсквилинских ворот стражей. Предъявив пропуск, подписанный Люцием Кальпурнием Пизоном, он объяснил караульному начальнику, что едет из Сицилии, по приказанию сената, и слушал, сдерживаясь от ярости и нетерпения, пустые рассуждения воина о жестокостях и грабежах, совершаемых рабами. В городе он чувствовал напряженность положения в торопливой походке граждан, во взглядах исподлобья, в опущенных головах, а когда увидел рабов, поспешно перебежавших через улицы, оскорбляемых грубыми криками нобилей: «Бунтовщики! Падаль! На кресты вас!»; когда услышал возгласы матрон, требовавших для них смертной казни, и ругань детей, возвращавшихся из школы; когда крупные и мелкие камни полетели в рабов и невольниц, обагрив их тела, — он понял, что римляне озлоблены, напуганы.

В этот день он увиделся с Тиберием Гракхом на углу улицы Сыромятников и Сукновалов, решив, не без основания, что Тиберия нужно искать среди ремесленников.

Гракх кончал речь, когда подходил Флакк:

— Квиристы, я слышу жалобы оптиматов, вижу ваше недовольство смещением трибуна Октавия. Вы говорите: трибун — лицо неприкосновенное, и я согласен с вами. Но если этот трибун действует против народа, то разве он — народный трибун? Народный трибун имеет право посадить в тюрьму консула, но ведь одного и другого избирает народ, а если они пользуются дарованной им властью во вред народа, то их должно лишить власти. Так же поступил и я...

— Ты позаботился о земледельцах, — крикнул кто-то, — а городской плебс не получил ничего!

— Городскому плебсу, квиристы, земля не нужна. У вас иные требования. Я думал об этом. Я сокращу срок обязательной военной службы, допущу вас к участию в судах (вы будете обращаться для разрешения ваших споров к народу), чтобы правда и справедливость твердо установились в республике. А для этого, квиристы, я должен быть уверен в вашей помощи.

— Поддержим! — послышались из толпы жидкие голоса, но уже без той восторженности, присущей южанам, которую вызывали первые выступления Гракха.

Фульвий подошел к Тиберию, тронул его за тогу:

— Пойдем, народ расходится, да и ты устал...

— Когда ты приехал? — обрадовался Гракх.

— Сегодня. И тотчас же решил повидаться с тобою. Тиберий понизил голос:

— Я не мог ничего сделать. Сенаторы требовали сместить тебя... Особенно этот Назика...

— Я не жалею, что вернулся в Рим, — говорил Флакк, идя рядом с Гракхом, — там, на Сицилии, делать нечего. Я послан был воевать, а я не мог — сам знаешь... Неудача в Риме, Минтурнах и Синуэссе поразила меня, как палица Геркулеса. Кто посмотрит на меня, скажет: вот человек, страдающий головокружением!

Тиберий искоса взглянул на него. На усталом лице Фульвия, блуждая, тускло блестели глаза, голова была опущена.

— И твои дела, Тиберий, плохи. Я понял это по возгласам толпы. Что для нее земельный закон? Она ожидала немедленных благ... И все же постарайся опереться на городской плебс, потому что деревенский уходит из Рима. Боюсь, как бы земельный закон не погубил тебя!

— Земледельцы должны придти на выборы...

— Не забывай, что оптиматы озлоблены! Гракх недоумевавшая взглянул на Флакка...

— Но всадники ненавидят их; они меня поддержат...

— Торгаши, спекулянты, — не люблю я их! Вспомни Платона — он говорил: «Грязные души этих людей направляют все свое честолюбие на приобретение денег». Он называет их жалкими рабами алчности. И ты надеешься на них?

В его возгласе послышалось презрение оптимата к купеческому сословию, все то пренебрежение, с которым нобиль говорил о публикане, как человеке, занимающем среднее положение между клиентом и вольноотпущенником.

Помолчав, он продолжал:

— Нужно выждать, пока все успокоится. Откажись от трибуната, поезжай делить земли, находишься среди деревенского плебса, — и тебя не тронут. Но не оставайся в городе. Зачем подвергать свою жизнь опасности?

Тиберий отрицательно покачал головой:

— Ты не понимаешь, Марк, что вождь не должен бежать перед опасностью. Его место в рядах плебса.

— Это не бегство, а отступление...

— Народ истолкует, как бегство. Если плебс верит мне, я буду избран...

Нахмурившись, Фульвий молчал. Он видел, что друга трудно уговорить. «Впрочем, — подумал он, — от Фортуны никуда не убежишь: куда предначертано ему идти, туда он и пойдет».

Солнце клонилось к закату — багровые лучи золотили Капитолий, курию Гостилия, храм Весты, лежали пурпурными заплатами на каменных плитах форума, как только что пролитая кровь, и оба подумали, что это — дурное предзнаменование.

Остановились возле ростр. Молчали.

Гракх думал о хлебопашцах, которые получают земельные участки, о предстоящей борьбе с оптиматами, и тревога наполняла его сердце: «Поддержит ли меня плебс? Изберет ли народным трибуном? Кто победит?»

Мысли Флакка были иные: он думал о Риме — об этом огромном государстве, которое начало завоевывать мир и (он убежден был) покорит его; о судьбах республики, скрытых в мраке будущего, о поработанных народах, о рабах, и горечь, накопившаяся в сердце, прорвалась внезапно возгласом:

— О, если б я знал, что Риму суждено погибнуть! Тогда бы мы разрушили его и

основали новый Рим!

XXVI

В палатке Сципиона Эмилиана было тихо. Полководец сидел за столом и торопливо писал письмо: подергивание мускула на правой щеке изобличало сильное волнение.

«Сципион Эмилиан Африканский — Кассандре, супруге Лизимаха.

Эпистола моя повергнет тебя в большое горе, но что постановлено небожителями, то непреложно. Муж твой Лизимах пал жертвой сурового закона войны. Сегодня мы его похоронили. Напиши, думаешь ли остаться в благословенном богами Риме или возвратиться в Пергам? Как проводите время — ты и Лаодика? Не горюй о смерти мужа: человек не знает, где его ожидает смерть. Прощай».

Запечатав письмо, он приложил железный перстень к воску, скреплявшему нити, продетые в дощечки, и, оттиснув свое имя, кликнул воина, который отправлялся в Рим с донесениями, и передал ему эпистолу, а помощнику-легату приказал созвать на совещание Максима Эмилиана, Мария, Семпрония Азеллиона, Публия Рутилия Руфа, квесторов, легатов и военных трибунов.

Когда они собрались, Сципион Эмилиан рассказал об измене своего клиента.

— Позови Лизимаха, — сказал он рабу, стоявшему у входа в палатку.

Грек, ничего не подозревая, вошел с хитрым выражением на лице, но, увидев собравшихся военачальников, растерялся, побледнел; дрогнуло сердце — почувствовал страшное, неотвратимое, надвинувшееся на него. Ноги подкосились, он покачнулся.

Сципион встал:

— Лизимах, ты — изменник!

Лицо горбуна позеленело, исказилось — стало отвратительным.

— Господин мой, — пролепетал он (голос застрял в глотке), с усилием проглотив слюну, — я... я...

Язык не повиновался.

— Говори! — крикнул Сципион. — Что вынудило тебя пойти на преступление?

Лизимах собрался с силами.

— Я не виноват! — воскликнул он. — Меня оклеветали.

— Лжешь! Ты советовал Манцину сговориться с Югуртой, чтобы тот ударил мне в тыл... А плату от Ретогена — Ганнибаловы серебряные рудники — забыл?

Лизимах упал на колени.

— Пощади, — прохрипел он, стукнувшись лбом о землю. — Ради могущества Рима, ради твоих громких побед. Ради благородной супруги твоей Семпронии. Ради...

— Замолчи! Ты заслужил смерть: таков закон.

— Пощади! Возьми все мое богатство, все золото, все пергаменты, папирусы... Все — твое, только сохрани мне жизнь!

— Презренный!..

Сципион отвернулся от него, сел.

— Слово за вами, военачальники!

— Смерть! — хором закричали легаты, трибуны и квесторы, а Марий прибавил с жестоким выражением на лице:

— Отдай его мне: я заряджу им баллисту и брошу его в Нуманцию, вместо каменной глыбы.

Сципион нахмурился, мускул дрогнул на щеке:

— Зачем подвергать человека мучениям? Достаточно будет казни.

— Разве он — человек? — возразил Марий. — Распни его между Нуманцией и нашим лагерем для устрашения изменников, лазутчиков и злодеев.

Сципион молчал.

Лизимах подполз к нему на коленях и, воздевая к нему руки, шептал:

— Пощади... ради... Лаодики...

Сципион задрожал: афродитоподобным видением возникла перед ним юная гречанка, приблизилась вплотную, взглянула на него, отвела грустные глаза, опять посмотрела, и ему показалось, что она хочет просить за отца.

Страхнув мечту, встал.

— Возьми обеих в собственность. Я дарю тебе их, дарю! — в отчаянии завопил грек, ухватившись за полу его тоги. — Будь великодушен, покажи, что ты выше всех, могущественнее и сильнее закона! О, умоляю тебя, великий римлянин, второй Александр Македонский!

— Встань.

— Пощады... великодушия!..

Продолжая стоять на коленях, горбун не отпускал тоги, точно в ней было спасение.

— Я знаю, — шептал он, привстав, — что Лаодика любит тебя... она не спит ночей... она мечтает быть твоей невольницей... она будет...

Сципион оттолкнул его, повернулся к Марию:

— Заковать изменника в цепи, зорко стеречь, — отвечаешь за него своей головой! Завтра утром доставить в преторий. А вам, военачальники, — обратился он к легатам, квесторам и трибунам, — построить легионы, объявить о казни преступника.

— А его рабов? — спросил Семпроний Азеллион.

— Бить нещадно плетями, распять, приставить к крестам стражу.

Лизимах молчал. Он не мог говорить. Он весь дрожал — слышно было, как колотились зубы — и вдруг дикий вой вырвался у него из груди.

Марий грубо схватил его за хитон, дернул — дорогая ткань треснула, грек упал на землю, вскочил, упал, бросился к выходу, но раб преградил ему дорогу.

— Я не хочу... не хочу... — визжал он, и в визге его слышался животный ужас — Это я ради дочери... Лаодики... серебряные рудники... чтоб она была богаче Креза... чтобы вышла замуж за царя... чтоб была первой царицей мира, самой богатой...

Он тяжело зарыдал, опустился на землю. Марий взглянул на Сципиона. Полководец нахмурился и, вспыхнув, крикнул:

— Я приказал!

Марий обхватил Лизимаха поперек туловища и вынес из палатки. Грек отбивался от него, царапался, кусался, и его прерывистые вопли долго разносились по лагерю.

А на другой день чуть свет протяжный звук трубы возвестил о сборе легионов.

Сципион вышел из палатки на преторий. Он был бледен — всю ночь не спал, думая о страшной участи грека. И всю ночь стояла перед глазами Лаодика, всю ночь ее солнечная улыбка тревожила его сердце сомнениями: что она скажет ему, узнав о казни? Что он ответит ей — он, не умеющий лгать? И как перенесет она, любящая...

любимая... Ведь она любит его, любит (Лизимах сознался в этом), а он... он присудил отца ее к смерти!.. Потом он стал думать об осажденном городе. Когда же он возьмет Нуманцию и возвратится в Рим? Город нужно брать измором: со стороны Дурия он сумел отрезать подвоз припасов осажденным отважными лодочниками и водолазами, приказав погрузить в реку бревна, снабженные пилами; он принудил аревакский город Луцию, который, по просьбе Ретогена, помогал продовольствием осажденным соплеменникам, выдать зачинщиков и повелел четыремстам юношам отрубить в наказание руки: он действовал с римской беспощадностью; перебежчики доносили, что в Нуманции голод, жители питаются собаками, мышами, крысами. Он думал, что теперь близко время сдачи, и решал в уме своем который уже раз, как поступить с городом и с жителями. А затем возвращение к ларам, встреча с Лаодикою... Ну, а Лизимах? Изменник должен быть казнен.

Сципион взошел на трибунал, или суггестию возвышение из плотно убитой земли, окинул быстрым взглядом укрепленный лагерь. Окопанный глубоким рвом и обнесенный внутренним валом, с высокими палисадами, он имел форму квадрата; на передней площади его находились палатки войска, по сторонам — союзников, а в центре, по обеим сторонам дороги, палатки гастатов, принцепсов и триариев, а также конницы. Обширный форум, окаймленный спереди шатрами трибунов, по сторонам палатками избранных отрядов, а позади — палатками добровольцев и вспомогательных войск, был занят легионами: выстроенные в несколько рядов, они окружали преторий с шатром полководца, трибуналом, жертвенником, местом для ауспий и местом казни. За преторием стояли войска союзников, позади них — конница Югурты, а у главных ворот, с правой и левой стороны — римские всадники в полном вооружении.

Наступила тишина.

Сципион принес жертву богам и обратился к воинам с краткой речью: он говорил об измене своего клиента, которому доверял, который изменил не только ему, патрону («За это я мог бы еще простить»), но и римскому государству («Это тяжкое преступление карается законом»), упомянул о своем решении и о постановлении военачальников казнить изменника.

Воины молчали. Возле суггестии шевелились знамена с изображением рук.

— Мой клиент — чужеземец, — заключил свою речь полководец, — и я мог бы его распять, но, принимая во внимание его образованность и высокое положение, которое он занимал при дворе пергамского царя Аттала, я своей властью приговариваю его к отсечению головы.

Войска молчали.

— Привести преступника.

Грек, закованный в цепи, шел медленно, с невидящим, затуманенным взглядом; рядом с ним был Марий — обнаженный меч сверкал в его руке.

— Где прикажешь? — спросил громким голосом Марий. — Он чужестранец.

Сципион понял: Марий заботился о том, чтобы место казни римлянина не было осквернено кровью варвара. И полководец решил, не задумываясь:

— Здесь, на трибунале, на виду войск.

Сципион сошел вниз и, остановившись у жертвенника, смотрел, как воины тащили Лизимаха. Грек упирался, вырываясь от них, вопил, ругался; изредка он обращался к Сципиону, крича по-гречески, что боги тяжко покарают его за убийство неповинного человека (он считал себя невиновным потому только, что преступил закон для блага

семьи, не зная, как чужеземец, последствий этого шага), что Лаодика возненавидит патрона, который, как волк, губит своих клиентов, и еще что-то, но Сципион уже не слушал его.

— Именем римского закона! — прокричал громовым голосом Максим Эмилиан, когда грек очутился на суггестии.

В рядах нумидийской конницы произошло движение. Она расступилась, и горячий, как огонь, жеребец вынес на своей спине молодого всадника. Через мгновение всадник поравнялся с трибуналом, с невероятной быстротой взмахнул кривым мечом, молнией сверкнувшим в воздухе, и голова горбуна, прыгая по неровностям возвышения, покатила вниз к ногам построенного легиона.

— Царевич! — с удивлением вскричал Сципион, узнав в этом всаднике Югурту, но тот уже исчез в рядах своей конницы, взметнув позади себя клуб пыли.

Марий подошел к полководцу:

— Помнишь, вождь, слухи о царевиче? У себя в Нумидии он упражнялся в рубке голов преступникам, приговоренным к смерти. А здесь, под Нуманцией, это второй раз... — И, помолчав, прибавил: — Вождь, приказание твое исполнено: рабы изменника распяты перед крепостью.

Сципион взглянул: десять крестов с раскинутыми руками возвышались за лагерем, а на стенах толпились бледные нумантийцы, слушая предсмертные крики распятых.

— Теперь, — повернулся Сципион к Марию, — голова Лизимаха принадлежит тебе. Заряди ею баллисту, закинь на устрашение врага в город!

— А тело?

— Бросить в Дурий.

И, подзвав к себе легатов, полководец приказал распустить легионы.

XXVII

Тиберий, боясь нападения, ходил по улицам, окруженный толпами народа. По ночам плебс охранял дом своего трибуна. Сотни ремесленников спали под открытым небом.

Гракс чувствовал в воздухе грозу. Как большинство римлян, даже самых образованных, он верил приметам, снам, предсказаниям; выходя в этот день из дому, он споткнулся о порог, содрал ноготь с большого пальца.

Это его взволновало, опечалило. Он смотрел, как текла сквозь сандалию темно-красная кровь, испытывал боль и стоял в нерешительности, окруженный друзьями. Они растерянно переглядывались, не зная, что делать. Подошел Блоссий:

— Глупо и смешно верить предзнаменованиям, — сказал он, покачав головою. — На сегодня назначено голосование. Если ты, Тиберий, не пойдешь — потеряешь трибунат. Не забывай, что не откликнуться на зов своих сограждан — преступно.

Гракс улыбнулся, сжал руку Блоссия:

— В тот раз, когда происходило голосование, земледельцы не явились поддержать своего трибуна. Я узнал, что помехою были полевые работы. Сельский плебс неблагодарен: он получает земли, не заботясь о судьбе человека, который борется за его благо. И если сегодня будет мало земледельцев...

— ...то тебя поддержит городской плебс.

Но говоря так, Блоссий не был уверен в своих словах. Он только что узнал от всадников, что Сципион Назика успел заблаговременно оповестить трибы, якобы от

имени Тиберия, что выборы откладываются на неопределенное время. Ясно было, что деревенский плебс в Рим не придет, и народный трибун не получит нужного числа голосов. Однако Блоссий не сказал об этом Гракху. На него нажимали всадники, требуя, чтобы он, друг народного трибуна, убедил его в важности подрыва власти и ослабления сената. Они обещали стоику лучшие папирусы из библиотеки Аттала, скупленные на месте доверенными лицами, царские вазы, статуи из литого золота, дорогие картины. И Блоссий, считавший искусство выше человеческой жизни, уговаривал Тиберия исполнить долг гражданина по отношению к государству.

Они шли молча. Из домов доносились разнообразные звуки: заунывное пение рабынь на неизвестном наречии, грубые голоса варваров, недавно купленных на Делосе, вопли избиваемого невольника, детские голоса, коверкающие греческие и латинские слова.

Римская девушка напевала звенящим голосом:

Ласковы, теплы, как солнца дыханье, твои поцелуи,
Ласков и сладостен плен крепких объятий твоих...

Подходя к Капитолию, они услышали мощный гул, доносившийся с форума, и вскоре увидели толпы народа. Говор плебеев, возгласы, смех — все это сливалось в шум, похожий на рокот разыгравшегося моря.

— Плебс за тебя, — сказал Блоссий, но голос его потонул в гуле, и он принужден был прокричать свои слова почти на ухо Гракху.

Толпа приветствовала Тиберия громким криком, окружила его, но Гракх видел, что народа меньше, чем он ожидал, — нет Тита, Мания и кузнецов, которые всегда поддерживали его, не видно знакомых лиц, а самое главное — нет земледельцев.

Когда установилась тишина, трибун Муций приступил к голосованию, прерванному в прошлый раз, и стал выкликать трибы, но в отдаленных рядах, находившихся неподалеку от курии Гостилия, поднялся неистовый шум: противная сторона срывала голосование.

Напрасно Муций требовал прекратить крики — шум только усиливался.

Тиберий взглянул на Блоссия:

— Слышишь? Сегодняшний день принесет победу или поражение. Земледельцы опять не пришли. Кто будет голосовать за меня?

— Не беспокойся, — поспешно шепнул Блоссий, — я вижу всадников, они, несомненно, помогут тебе...

Однако Гракх, как ни присматривался к толпам народа, всадников не мог различить. Но больше всего смутили его слова Фульвия Флакка: консуляр пробрался к Тиберию, получив пропуск от народа, и сказал:

— Сенат заседает. В городе вооружено много рабов, клиентов и патрициев. Берегись.

— Мы будем защищаться, — побледнев, вымолвил Тиберий и, овладев собою, крикнул: — Друзья, нам угрожает опасность! Будьте готовы!

Произошло смятение. Толпа бросилась к служителям, стала отнимать у них и ломать копья, которыми они сдерживали народ, а затем, вооружившись обломками, приготовилась к борьбе.

— Держись, — говорил между тем Фульвий. — На нашей стороне сила — рабы и союзники. Если сицилийские невольники разобьют консулов, я опять подыму рабов в

Италии, и наше дело не умрет. А союзники нам помогут...

Гракх горько усмехнулся. Он смотрел на городской плебс и видел, что он незаметно убывает. Шум утихал, но стоило Тиберию взойти на ростры, как поднялись такие крики, что он сам не мог разобрать своих слов.

— Квириты, благо государства заставляет меня выступить перед вами с речью...

Он не договорил: толпа людей, с покрытыми тогой головами, выбежала на форум — народ расступался, бежал в смятении, иные плебеи падали, спотыкались. Шум и крики заметались разрозненно — обрываясь, нарастая. Издали донесся голос Флакка: «Держитесь, квириты!»

Гракх быстро сбежал с ростр к своим сторонникам.

Заседание сената под председательством консула Муция Сцеволы, юриста и тайного сторонника аграрного закона, происходило в храме богини Верности, недалеко от храма Юпитера Капитолийского, и приближалось к концу.

Храм был переполнен. Здесь находились эдилы, трибуны, преторы, консулы и цензоры, представители древних родов Валериев, Горациев, Сципионов и Фабиев. Крупные собственники, они, лишившись многих земель, стали непримиримыми противниками Тиберия. Особенно много кричал жестокосердый Сципион Назика, а Публий Сатурей и Люций Руф громко утверждали, что Гракх, злоумышляя против республики, добивается царского венца.

Назика, сдерживаясь от ярости, потребовал громовым голосом, чтобы консул поспешил на помощь городу и уничтожил тирана, но Муций Сцевола твердо сказал, возвысив голос:

— Не допущу насилия без судебного приговора ни над одним гражданином! Также не допущу умерщвления. Рим имеет законы и должен им подчиняться!

— Ты поддерживаешь тирана! — вскричал Назика.

— Я исполняю закон.

Назика выбежал на середину храма, поднял руку:

— Если так действует консул, нарушая римские законы, то я объявляю себя вашим вождем!

И, покрыв голову краем жреческой тоги, он выбежал из храма, остановился на ступенях; грубый голос его ворвался в храм:

— Кто желает поддержать закон, пусть следует за мной! Нобили высыпали из храма поспешной толпой. Обернув тоги вокруг рук, они мчались вслед за Назикой к Капитолию. Народ, разбегаясь, расступался перед ними. Это была власть, пусть ненавистная, а все же власть. Можно было порицать, оскорблять, даже угрожать ей, но выступить против нее с оружием в руках казалось преступлением, равным оскорблению богов. И малодушная толпа разбежалась. Только несколько мужественных человек решили защищаться и, окружив Тиберию, заняли храм Юпитера Капитолийского и середину двора, где должны были происходить избирательные комиции.

Во дворе храма было тихо; рощи, пруды, жилища жрецов пребывали в ненарушимом покое. Там, за каменными стенами, бушевал народ, а здесь, в священном месте, шуршал шепот вбежавших людей, выделялись тихие голоса.

Между тем к сенаторам присоединялись по пути люди с дубинами и кольями, с обломками и ножками скамеек. И то, что увидел Гракх, поразило его: сенаторы избивали всех без разбора, кто попадался им навстречу. Впереди мчался Назика с дубиной в руке. Облепленная мозгом и обогреть кровью, она равномерно

подымалась и опускалась на головы граждан.

Толпа убийц увеличивалась, и приверженцы Тиберия поняли, что единственное спасение — бегство. Они бросились врассыпную, куда попало, лишь бы поскорее скрыться. Но их настигали, сбрасывали в пропасти, окружавшие Капитолий. Видя это, побежал и Гракх.

На мгновение он увидел Блоссия и Диофана: философ и оратор бежали, прыгая через трупы, отбиваясь обломками копий. Блоссий мчался с быстротой, удивительной для его возраста, а Диофан, задыхаясь, часто останавливался. Это погубило его: вскоре он был сбит с ног и связан.

Нанося удары направо и налево, Тиберий пробивался к храму Кастора, за которым начинались кварталы плебеев, но в это время кто-то схватил его за тогу. Сбросить ее было делом одной минуты. Он очутился в тунике, побежал. И тут же увидел Назику: потный, свирепый, с дикими глазами и взъерошенными волосами, великан выбежал из-за храма Кастора и мчался на него, размахивая дубиной.

Гракх повернул к статуям семи царей. Они гордо стояли возле храма Верности и смотрели равнодушными глазами на побоище; их лица были так же спокойны, как статуи богов, украшающие Капитолий.

Трупы мешали бежать. Кое-где на каменных плитах темнели струйки крови. Тиберий поскользнулся, упал на трупы. В голове мелькнуло: «Конец...» Он попытался подняться, но что-то тяжелое ударило его — в глазах запрыгало небо, и все поплыло — трупы, ноги бегущих людей, ступени храма. И в то же время новый удар обрушился, как глыба, — на мгновение сверкнул форум, Капитолий, солнечное небо, и беспросветная темнота надвинулась на него: он полетел в черную пропасть.

— Первый удар — мой! — крикнул Публий Сатурей, потрясая окровавленную ножкою стула.

— А мой — второй! — ликующим голосом воскликнул Люций Руф и бросился добивать раненых.

Гракх лежал с окровавленным лицом, раскинувши руки, перед статуями семи царей, и Публий Сатурей с сожалением смотрел на бледное лицо народного трибуна. Он махнул рукой, подумав: «Благо республики выше жизни отдельных граждан», — и побежал навстречу Назике, который подходил к нему с дубиной в руке.

— Тиберий Гракх?

— Убит.

— Слава богам! — воскликнул Назика, и глаза его обратились к Капитолию. — Теперь государство может быть спокойным.

Он с едким презрительным смехом ударил Тиберия ногою, плюнул ему в лицо и, отвернувшись, принялся осматривать убитых, которые лежали на форуме.

Позже, при подсчете, оказалось, что погибло более трехсот человек; все они были убиты не железным оружием, а камнем и деревом.

А что же Фульвий Флакк?

Наскоро вооружая, чем попало, рабов, клиентов и вольноотпущенников в перистиле своего дома, чтобы вести их на форум, Фульвий получил страшное известие, что там все уже кончено: Тиберий умерщвлен, его сторонники перебиты.

У Флакка опустились руки, сжалось сердце. Но это был человек, который никогда не унывал; он любил борьбу, а препятствия только возбуждали его, заставляя еще упорнее добиваться своей цели. Овладев собою, он распустил людей и прошел в атриум. Голова его усиленно работала: «Всюду неудачи, всюду измена. Гракх убит...

Что же делать?»

Он позвал раба, подробно расспросил о событиях на форуме. Узнав, что зачинщиком избиения был Сципион Назика, он подумал: «Злодей должен быть убит».

Войдя в таблин, он отомкнул большим ключом кованый сундук, вынул свиток папируса и развернул его. Это была эпистола, написанная им накануне, — обращение к союзникам с призывом объединиться, избрать из своей среды вождей, которые руководили бы подготовкой к борьбе с Римом. Прочитав письмо, он задумался: «Послать эпистолу или поехать самому? Не нужно возбуждать подозрений. Зачем играть головою? Может быть, я принесу еще пользу республике. Да и жизнь с ее радостями слишком хороша, чтобы положить ее безрассудно на алтарь Беллоны. Подумаю, что делать, а Геспера пошлю к Эвну...»

Однако вольноотпущеннику не пришлось ехать к царю рабов, — с Сицилии приходили тревожные вести: Люций Кальпурний Пизон бьет рабов...

— Неужели все рухнуло? — прошептал Фульвий и, решив послать Геспера в земли союзников, приказал ему собираться в путь. — Еще поборемся, повоюем. Жизнь требует жертв...

Вскоре вошел Геспер в пилее, дорожном плаще и полусапогах-калигах.

— Господин, я готов.

Флакк подал ему свиток. Вольноотпущенник, спрятав его на груди, нагнулся, чтобы поцеловать руку патрона, но Флакк, отдернув ее, обнял Геспера:

— Поезжай. Да пребудут с тобою все силы Олимпа!

XXVIII

— Тиран убит! — возвестил на другой день в курии Сципион Назика и обвел сенаторов торжествующим взглядом. — Если б я не принял мер, государство было бы уничтожено, и сегодня управляли бы Римом не мы, а единодержавный правитель Тиберий Гракх.

Все молчали.

— Брат его, который прибыл недавно из-под Нуманции, потребовал выдачи тела Тиберия, но я отказал: трупы тирана и его приверженцев брошены в Тибр.

Тяжелое молчание было ответом. Кровавая расправа с человеком, за которого стоял народ, пугала сенаторов. Они опасались мести и не знали, одобрить ли убийство (а не одобрить было нельзя: в избиении сторонников Гракха участвовало большинство сенаторов) или искать лазейку, которая привела бы к соглашению с плебсом. Об этом думали все, но высказаться медлили.

А Назика продолжал:

— Я требую произвести самое суровое следствие над приверженцами Тиберия, чтобы выкорчевать смуту, которая чуть было не привела республику к гибели. Я предлагаю поручить ведение следствия нашим высокочтимым коллегам Публию Попилию Ленату, Гаю Лелию Мудрому, Публию Рутилию и сенаторам, которых назначит сенат.

— А разве сам ты отказываешься? — спросил Лелий.

— Как прикажет сенат, так я и сделаю, — грубо ответил Назика и повернулся к собранию. — Я требую запретить вдовам преступников носить траур по мужьям, требую казнить Диофана, учителя красноречия, и его ученика Люция Виллия, которые избili несколько сенаторов...

— Они защищались, — прервал его Муций Сцевола. — Замолчи! Тебя не видели в наших рядах...

— Я — не убийца! У нас есть законы, а ты уподобил сенат скопищу варваров...

Назика вспыхнул.

— Прошу тебя, замолчи! — свирепо крикнул он и, резко отвернувшись от Сцеволы, продолжал: — Я требую изгнать Гая Блоссия из римской республики и допросить семьи, которые я укажу.

— Хорошо, — усмехнулся Сцевола, — но ты забываешь самое главное — плебс! Аграрный закон Гракха нельзя отменить, раздача земель производится по всей Италии, и нужно угождать народу, чтобы избавить себя от неприятностей...

— Ты трусишь! — вскричал Назика.

— И перед кем? Перед черню! — поддержал его Публий Попилий.

— Ты жестокосерд и неосмотрителен, Сципион! — рассердился Сцевола. — Римский народ — столп государства; попробуй-ка пошатнуть его, и вся республика рухнет.

Назика побледнел, остановился.

— Мы не намерены мешать распределению земель, — смягчившись, сказал он, — это дело времени. Закон Тиберия ничего не стоит!

— Ты ошибаешься. Мелкие хлебопашцы утвердят мощь Рима, дадут ему непобедимые легионы.

Сенат заседал недолго. Все торопились разойтись скорее по домам. Оптиматы быстро выходили из курии Гостилия, нащупывая под тогами мечи; вооруженные рабы дожидались их у входа. На форуме толпился народ.

Увидев Сципиона Назику, толпа закричала:

— Убийца! Убийца! Смерть ему! Назика побледнел, остановился.

— Квириты! — крикнул он громовым голосом. — Ради блага республики и вашего блага я подавил тиранию Гракха! Он хотел захватить власть, чтобы царствовать...

— Лжешь! Мы знаем его!

— ...попрать римские законы, поработить граждан...

— Лжешь! Он отнял у вас землю, и вы убили его!

— Квириты, землю мы отдали бы и так, без его закона...

— Лжешь! Убийца! Злодей!

— ...а что это так — мы не препятствуем ассигнациям.

— Безбожный убийца!

— Гракх оскорбил священную и неприкосновенную личность народного трибуна! Попрал дедовские устои!

— Так было нужно! А ты — вон из Рима!..

Возгласы плебса переходили в рев. Назика, сдерживаясь, чтобы не броситься на толпу, отвернулся и ушел в сопровождении нескольких рабов. Он смотрел, как впереди него уходили сенаторы ускоренным шагом, похожим на бегство, и губы его кривились в презрительную улыбку: «Труссы! Подлецы! И это — римляне? Сенаторы? О, боги! До чего мы дожили, если нобиль бежит перед плебеем?»

Он закусил до крови нижнюю губу, сдержал бешеный крик. Толпа оскорбляла его, называя убийцею, злодеем, выгоняла из Рима, — его, спасшего республику от потрясений! На одно мгновение ему пришлось в голову вернуться на форум, выхватить меч, броситься в толпу и рубить ее, пока разъяренный народ не собьет его с ног и не растерзает.

«О рабы самых подлых, самых последних рабов! — со злобою подумал он о нобилиях. — Так ли нужно было поступать, живя рядом с бунтовщиками? Разве нет у нас легионов? Разве нет конницы? Прав Тит Анний Луск. Нужно было перебить этот сброд, растоптать лошадьми!.. О стыд! О горе!»

XXIX

Тарсия беззвучно плакала у ниши ларов. Корнелия и Клавдия молча сидели у имплювия. О чем говорить?

Тиберий убит, тело его отказались выдать; Диофан и Блоссий посажены в темницу. И убиты палками, как собаки, сотни, и сотни томятся в подземельях.

Вошел Гай, склонившись, поцеловал мать и свояченицу.

— Что слышно? — шепнула Корнелия.

Убийство сына придавило ее. Она не спала ночей, думая о нем, перебирая малейшие события его жизни, уцелевшие в памяти, и сердце ее сжималось. Она не плакала, только изредка почти беззвучное судорожное рыдание сотрясало ее тело, искажало лицо. И теперь, сидя рядом с Клавдией, она думала о том, как Тиберий девятилетним мальчишкой учился плавать и едва не утонул.

Гай сел рядом с матерью.

— Пятый день продолжается следствие, — глухо вымолвил он, сдерживаясь, чтобы не выругаться (научился грубой ругани под Нуманцией), — и пятый день пытаются и убивают римских граждан. Клянусь Немезидой! — вскочил он, выбросив вперед руку. — Назика должен умереть или...

— Откуда у тебя эти сведения? — перебила Корнелия.

— Рассказывал Фульвий Флакк. Я виделся с ним у Аппия Клавдия. Мы не знали, что старик расхворался, узнав о смерти Тиберия. Он хотел бы, Клавдия, увидеться с тобою.

Молодая матрона сидела, опустив голову; губы ее шевелились, точно она молилась богам или шептала дорогое имя.

— Аппий Клавдий, — продолжал Гай, — советовался со мной, кого избрать на место Тиберия (ты знаешь, мать, речь идет о распределении земель), и я посоветовал Публия Красса. Это муж твердый в решениях, честный, непреклонный. Я должен с ним увидеться...

— Хорошо, — равнодушно выговорила Корнелия и тронула Клавдию за руку, — скажи, дочь, ты не думаешь сходить к отцу за Авлом?

— Пусть сын побудет у него еще, — всхлипнула Клавдия. — Что я ему скажу?

И, зарыдав, схватилась в отчаянии за голову. Корнелия обняла ее.

— Не плачь. Обеим нам тяжело. Обе мы несчастны. Но разве боги не видят несправедливостей? Разве они пощадят Назику?

— Назику! — вскричал Гай. — Не только Назику, но и других злодеев! Я буду мстить, я...

— Тише, — сурово прервала Корнелия. — Кому ты хочешь мстить? Сенату? Власти? Глупый! Подумал ли ты...

— Да, подумал. Я добьюсь трибуната и начну с ними борьбу...

Корнелия не успела ответить: в атриум вбежал Блоссий в грязной изорванной тоге, с полубезумными глазами.

— О, госпожи мои! — закричал он, бросившись к ногам матрон. — Что они

сделали с Диофаном! С нашим Диофаном...

И замолчал, уткнувшись белобородым лицом в столу Клавдии.

— Встань, благородный Блоссий, — шепнула Корнелия, — говорят, Диофан умер...

— Госпожа моя, — с ужасом на лице заговорил философ, — ты не знаешь всего. Они издевались... они заставляли его, оратора, произнести над собой надгробное слово, и когда он отказывался, они кололи его раскаленными иглами... Госпожа моя! Это слово...

— Говори.

— ...это слово заставило меня забыть об опасности. Я рванулся, чтобы броситься на Назику и убить его, но я был связан. Диофан говорил: «Квириты! Мы стоим над могилой митиленского оратора Диофана, друга Тиберия Гракха. Этот народный трибун был человек честный, благородный, он отнял незаконно захваченные общественные земли у нобилей и распределил их между разоренными земледельцами. И за это его убили. А митиленский оратор Диофан был схвачен на форуме, посажен в тюрьму; его пытали и приговорили к смерти без суда и следствия. Потому только, что он был друг Тиберия...»

— Так и сказал? — воскликнула Клавдия с загоревшимся взглядом.

— Это были его последние слова. А потом его задушили.

— Как же ты уцелел, благородный Блоссий?

— За меня заступился сам Назика, как за философа и римского гражданина.

Гай думал, опустив голову.

— Пощадив мою жизнь, они решили изгнать меня из пределов Италии. И я должен уехать как можно скорее. А куда — пусть боги направят мой путь. Я — старик, кому я нужен? Отплыть в Грецию? Но там и своих философов много. В Африку, Испанию, Галлию? Но жить философу среди варваров то же, что мудрому среди глупцов. Отправиться в Азию? Но Пергамское царство отошло к Риму, а в других царствах я не бывал.

— Что же ты думаешь делать?

— Положусь на милость богов, отплыву в Азию.

XXX

Отлив земледельцев из Рима и провинциальных городов продолжался. По всей Италии нарезывались участки, отнимаемые у крупных землевладельцев, и передавались хлебопашцам. Нобили жаловались на неправильные действия триумвиров, которые отбирали частную собственность, но сенат не хотел вмешиваться в это дело, опасаясь недовольства деревенского плебса.

Кузнец Тит с молотобойцами и портной Маний Тукций получили целиком свои участки у деревушки Цереаты, близ Арпина. Они поселились в своих хижинах, заново отстроенных прежними владельцами, а однажды утром отправились в городок получать земледельческие орудия, которые, по приказанию триумвиров, раздавались пахарям безвозмездно.

Небольшая площадь, окруженная лавками, городскими зданиями и амбарами, была усеяна людьми всех возрастов, в пиляях и без них, в старых разноцветных туниках, в деревянных башмаках, громко стучавших по мостовой. Шум голосов, споры людей из-за каждой мотыги, лопаты, заступа сливались со звоном земледельческих орудий, с

криками писцов, выкликавших плебеев по именам.

Тит и Маний, стоя в стороне, смотрели, как одни хлебопашцы получали из амбаров вилы, косы, топоры, другие — лопаты, заступы, мотыги, третьи — бочки для масла, зерна, винограда, четвертые — ручные мельницы, трапеты, пятые — повозки, шестые — плуги с сошниками, ярма со сбруей для волов, седьмые — бороны, восьмые — вьючные седла. Глаз разбежался от этого количества орудий, купленных триумвирами на средства, завещанные Риму пергамским царем.

Получив сельскохозяйственные орудия, хлебопашцы отправлялись на противоположную сторону площади, где распределялись ослы и волы, в зависимости от нарезанных участков. Многодетные семьи, земельный надел которых был значительно больше бездетных или малодетных, получали в свое распоряжение волов, нередко по две пары, и остальные — ослы. Земледельцы знали, что арендная плата, которую они должны будут вносить в казну за пользование землей, очень мала, и все же находились недовольные, обвинявшие триумвиров (и в первую очередь Тиберия Гракха) в сделке с сенаторами. Взимание платы пугало хлебопашца: ему казалось, что вся его работа будет направлена не на свое, а на чужое благосостояние, и ненавистный образ оптимата, в тоге с пурпурной каймой, заставлял его относиться осторожно к обещаниям Тиберия. «Трибун стоит за нас, а сам — нобиль. Кто его знает? Может сговориться с богачами, перестанет давать землю». Иные утверждали, что Гракх, назначив маленькую плату, увеличит ее по приказанию сената.

Эти разговоры вызывали ропот, земледельцы волновались:

— Разве мы не имеем права на землю? Разве она — не наша? Разве мы не завоевали ее своей кровью? — говорили они, выбирая себе животных. — Стоило трудов бросать Рим!

— Ты всегда недоволен. Землю получил? Получил. Орудия? Также получил. Волов? Тоже. Чего тебе еще нужно?

— А слышали, квириты, — вмешался Тит, — что наш трибун убит?

— Как убит? — закричали несколько человек, окружив кузнеца.

— А так. Богачи недовольны были, что он отнял у них поля, и убили его.

Толпа заволновалась. Весть об убийстве Тиберия в одно мгновение облетела всю площадь.

— Отнимут у нас земли, — говорили одни.

— Выгонят с наших участков, — шептали другие.

— Разорят, как прежде...

Тит и Маний громкими голосами привлекли общее внимание.

— Теперь — не отдадим! — кричал Тит. — А будут отнимать — бери вилы, топоры, мотыги!

— Убили трибуна, — поддержал его Маний, — и мы их перебьем.

— Не отдавайте, квириты, полей!

— Будьте готовы отразить нападение!

Толпа бушевала. Напрасно магистраты успокаивали народ, что никто не посягает на землю, что триумвиры стоят на страже закона Гракха — никто не верил.

— Если нобили умертвили столько плебеев, — разжигал ненависть Тит, — то как им верить? Злодеи! Безбожники!

— Они запятнали кровью трибуна священное место!

— Трибун — неприкосновенен, а они...

— Да поразит их Юпитер своими стрелами!

В то время, как Тит и Маний возбуждали народ против оптиматов, коренастый старик с дощечкою в руке пробирался к писцу. Вглядевшись в него, Тит вскрикнул:

— Марий! Ты?..

Старик обернулся: на его потном, загорелом лице (солнце жгло невыносимо) сверкнула веселая улыбка:

— Тит!

Это был отец батрака Мария; он воевал в Сицилии и недавно уволился совсем со службы. Он объяснил друзьям, что прибыл два дня назад из Мессаны, которую взял консул Люций Кальпурний Пизон, и имеет право на получение земли сверх установленного триумвирами надела.

— Постарайся получить прежний участок, — сказал Маний, — и мы опять будем соседями.

— Соседями мы и так будем, — возразил старик. — Мне приглянулась вилла Сципиона Назики: я хочу получить участок оттуда.

— Хитер ты! — с завистью в голосе сказал Тит. — Почему ты должен получить лучшую землю, нежели мы?

— Я заслужил.

Тит замолчал, чувствуя справедливость в словах старика.

— А где твой сын? — спросил Маний.

— Марий воюет в Испании под начальством Сципиона Младшего, — гордо сказал старик, — он уже военный трибун и награжден полководцем за большие подвиги. В последний раз он вызвал на поединок нумантийского воина и убил после долгого и упорного боя. Сам Сципион пожал ему руку и поздравил с победою...

— Клянусь Юпитером, всеильный Марс помогает твоему сыну! — воскликнул Тит, всплеснув руками. — Ну, а жена твоя Фульциния?

— Старуха жива, работает в вилле Сципиона Назики. Я еще не виделся с нею. Она обрадуется, что боги милостивы к сыну.

Марий подошел к писцу, поговорил с ним, потом возвратился к друзьям.

— Завтра я получу землю, — молвил он, видимо торопясь, — я хочу попасть засветло к жене. Отсюда до этой виллы девяносто шесть стадиев.

— Далеко. Отдохни у нас.

— Нет, — отказался Марий, — нужно обрадовать старуху и не прозевать землю.

Он простился с ними и легким шагом воина, привыкшего к походам, пересек площадь и выбрался по узенькой улочке в поле.

Было уже за полдень, но солнце жгло по-прежнему сильно. Мягкая пыль, взметаемая быстрым шагом, лениво подымалась в теплом воздухе. Поля лежали желтым ковром, пересеченным кое-где зелеными островками виноградников и оливковых насаждений. Впереди, точно букет зелени, виднелась деревушка Церраты, а за нею извивалась сверкающая речка.

Старик остановился. Он давно не бывал в этих местах, давно расстался с женой и сыном и теперь испытывал чувство человека, неожиданно осчастливленного высокой наградой. И эта награда состояла в возвращении навсегда в родные места, в получении земли и особенно в том, что сын выслужился в военные трибуны.

Думая о Марии, старик размышлял: сын придет домой, все увидят его, будут удивляться, поздравлять, а отец и мать радоваться, что боги не оставили их, стариков, своими милостями.

Он шел долго, дважды отдыхал и лишь к солнечному закату добрался до виллы

Сципиона Назики на берегу быстрой горной речки. Справа и слева стояли зелеными стенами леса, а вдоль речки открывалась с одной стороны широкая просека, за которой лежали в немом покое солнечные поля, а с другой — виноградники, оливковые деревья, пчельник.

«Ну и вилла, — подумал старик, осматриваясь с удовольствием. — Фульциния живет, как госпожа».

Он подошел к воротам, постучал. Послышались голоса, залаяли собаки, вышел высокий, как жердь, раб.

Ворота приоткрылись. Он вошел в усадьбу.

Фульциния выскочила на порог в одной тунике и, прикрыв рукой слезящиеся глаза, вглядывалась в пришельца. Это была еще бодрая старуха, с лицом, сморщенным, как печеное яблоко. Она всплеснула руками:

— Марий! Каких богов благодарить за радость? Она подбежала к старику, обняла его за шею:

— Вернулся? Совсем? И хорошо. Я рада. А наш сын? Где он?

Она засыпала его вопросами и, не дожидаясь ответа, рассказала, что живет кое-как, много работает, очень устает, но зато сыта; что вилик — человек неплохой, рабы — славные, послушные, и если иногда секут их, то так и нужно — иначе распустятся; что господ не бывает вовсе, а живет изредка племянник Назики, молодой человек, который больше бегаёт за молодыми невольницами, нежели смотрит за хозяйством.

Зная болтливый нрав жены, Марий ответил сдержанно: сын воюет в Испании, а он, старик, должен получить землю.

На другой день он проснулся чуть свет и приступил к осмотру виллы. Нужно было увидеть земли, чтобы выбрать при распределении наилучшие, — плодородные, с выгоном для скота, с хижинкой.

В полях работали рабы с цепями на ногах и временные наемные работники. Они жали хлеба, снимали бобы. Тучная почва давала несколько урожаев в год. Здесь было распространено многопольное хозяйство со сменой зерновых хлебов и бобовых растений; поэтому поле оставалось через каждый год под паром.

В огородах работали невольницы, молча, угрюмо, без песен. В виноградниках и оливковых рощах надсмотрщики покрикивали на рабов, называя их собаками, угрожая плетью. Где-то неподалеку шумела мельница, ревел осел. Мучная пыль залетала на ступени дома, покрывая их белым налетом, похожим на известь; следы босых ног переплетались на ступенях, сбиваясь в большие бесформенные пятна.

Мулы и ослы непрерывно подвозили повозки с бочками, наполненными виноградом и оливками. Виноград свалился в чаны, оливки — в трапеты. Надсмотрщики строго следили за работою: в руках у них были бичи из воловьей кожи.

Старик не успел осмотреть всей виллы. Приехали магистрат, землемер и писец. Они заявили вилику, что часть полей подлежит распределению, и предъявили ему эпистола с согласием Назики.

Вилик, толстый багровый раб, отъевшийся на господских хлебах, повел их в поле. Выстроившись в ряд, рабы косили хлеба и бобы. Но цепи на ногах мешали работе: невольники ступали мелкими шажками, осторожно, точно боясь упасть. Надсмотрщик с плетью в руке прохаживался между ними.

— Тебе, хлебопашцу, по закону полагается определенное количество земли, — сказал магистрат старому воину, — ты можешь получить ее из земель, отведенных под виноградники и оливки.

— Хорошо. Отрежь по одному югеру на виноградник и оливковые посадки.

Фульциния, узнав о земельном наделе, повеселела:

— Теперь у нас будет свое хозяйство, — сказала она, — а приедет сын — и ему нарежут земли...

— Нет, — возразил старик, — место Мария не здесь, а в легионах. Увидишь, что он будет полководцем. Сам Сципион Назика будет у него гостем!

XXXI

Лазутчики ежедневно доносили: в городе невероятный голод, — жители обессилели, падают на улицах, умирают в страшных мучениях, и трупы лежат, разлагаясь, по нескольку дней кряду; иные люди кончают самоубийством; нередко можно встретить на улицах женщин и мужчин, бредущих, опираясь на палки: они передвигают с трудом распухшие ноги, похожие на бревна, а на их отекавших лицах и в потухающих глазах залегла жуткая безнадежность.

Посольство нумантийцев, прибывшее неделю назад для переговоров о сдаче города, вернулось в осажденную крепость, не добившись ничего. Оно умоляло полководца пощадить храбрецов, сжалиться над стариками, женщинами и детьми, но Сципион потребовал полной покорности.

— Что же послы? — спросил он лысого рябого лазутчика, который хорошо знал, что делается в городе. — Как относятся к ним жители?

— Господин мой, требования твои показались чрезмерными. Разъяренная толпа растерзала послов в клочья.

— Ну, а Ретоген?

— Вождь против сдачи. Он храбр, вынослив. Он получает пищу наравне с воинами: ломтик хлеба — укусить два раза, горсточку ягод. Скоро и этого не будет. Голод усиливается; вчера мать зарезала ребенка, — ела сама, накормила мужа и детей. Начинается заразная болезнь...

— Много больных? — перебил Сципион.

— Зараза охватила несколько домов.

Сципион нахмурился, он боялся, как бы болезнь не перекинулась в его лагерь, и, вызвав трибунов, приказал развести костры вокруг лагеря.

— Поддерживать огонь непрерывно, — говорил он, — следить за больными людьми, а в случае появления на теле пятен и опухолей докладывать мне...

Вскоре прибыли нумантийские послы. Они объявили, что город готов сдаться на милость победителя, и умоляли об отсрочке.

Сципион был уверен, что Ретоген и храбрецы покончат самоубийством, чтобы не попасть в руки римлян; а между тем эти люди могли бы принести пользу Риму, воздействовать на непокорные племена, управлять ими под покровительством Рима.

В назначенный день, чуть свет, были выстроены перед стенами крепости легионы, рабочие отряды и конница. Моросил дождь, дул холодный ветер. По звуку трубы распахнулись ворота. Бледные, изможденные жители медленно выходили из города; здесь были старики, матери с детьми, юноши, девушки; на лицах их было горе, ужас.

Сципион, сидя на Эфиопе, смотрел на пленников, на обувь их, облепленную грязью, и хмурился.

— А где же воины?

Сотни две светловолосых оборванных бородатых мужей выступили вперед.

— А еще?

— Умерли, — слышался чей-то голос.

— Ретоген?

Из толпы военнопленных вышел бледный юноша: глаза его сверкали ненавистью, губы подергивались. Он остановился перед полководцем и бесстрашно смотрел ему в глаза:

— Храбрый вождь Ретоген умер, он приказал мне, брату, сказать тебе, римлянин: «Будь ты проклят со своей семьей, с любимыми людьми! Пусть злые боги растерзают твое сердце!» А теперь скажу и я: кого ты победил, кровожадный зверь, кого...

Он не договорил: Сципион выхватил меч, ударил юношу по голове с такой силой, что клинок, рассекши череп и шею, проник в грудь.

Крик возмущения вырвался из толпы нумантийцев. Но Сципион, не обращая внимания на пленных, приказал:

— Отобрать для меня пятьдесят человек самых знатных. Жителей продать в рабство. Квесторам изъять все ценности. Предметы искусства сохранить. Завтра утром отдать город легионерам, а к вечеру зажечь.

Максим Эмилиан подъехал к нему на быстрой низкорослой лошади:

— Брат, ты забыл самое главное: накормить голодных!

— Распорядись. Прикажи разместить их в палатах II легиона.

— А куда прикажешь легионеров? — спросил Марий.

— В палатки I легиона: пусть воины потеснятся. Присмотри за порядком, Максим!

Он повернул коня и в сопровождении выздоровевшего недавно Луцилия, Мария, квесторов и нескольких воинов въехал в город.

Узкие пустынные улицы с рядами низеньких домиков. Копыта лошадей мягко погружались в липкую грязь. Выгорелая за лето зелень деревьев и кустов, желто-серая, мокрая, лепилась у домов и изгородей. На улицах лежали трупы, и лошади, фыркая и храпя, осторожно переступали через них, точно боясь задеть ногами.

На площади у водоема Сципион остановил коня. Лысый лазутчик, с рябым лицом, подбежал к нему:

— Желаете взглянуть на Ретогена?

Сципион молча повернул Эфиопа, и всадники медленно тронулись за ним.

На деревянных ступенях храма лежали и сидели, полуразвалившись, люди: казалось, они спали. А посередине в красном плаще сидел, облокотившись, молодой воин. Рукоятка меча торчала у него из груди, лезвие выступало из спины. На мужественном лице, тронутым спокойствием смерти, тускнели полуоткрытые безжизненные глаза.

Сципион спешил и, шлепая по жидкой грязи, сдерживаясь, чтобы не выдать ничем своего волнения, поднялся по ступеням, взял бледную безжизненную руку храброго вождя: пожал ее:

— Слава великому воину, — просто сказал он, обернувшись к друзьям и легионерам. — На твою ответственность, Марий! Похоронить их с почестями.

— Но он оскорбил тебя, — удивился Луцилий, — ты убил его брата...

— Оскорбил меня не он, а его брат. Если бы я был на месте Ретогена, я поступил бы так же...

Он вскочил на коня и помчался к городским воротам.

Сципион послал донесение сенату, когда разграбленный город горел, освещая окрестные поля. Полководец приказал разрушить Нумантию до основания, а ее земли

разделить между соседними городами.

Кликнул раба:

— Позови Мария.

Молодой трибун остановился у входа, кашлянул. Сципион поднял голову:

— Военнопленные проданы? А жители? Тоже, говоришь? Хорошо. А кто покупал?

— Публиканы.

В это время стали собираться военачальники. Легионеры внесли амфоры и бочонки с вином, найденные в Нуманции, поставили на стол кратеры.

После обеда началась пирушка. Гости пили, поздравляя Сципиона с победой, желая ему многих военных успехов в будущем, а Луцилий, желая ему польстить, сказал:

— Один великий вождь остался в Риме, — это ты. Скажи, кто будет защищать отечество, когда боги призовут тебя к себе?

Сципион обвел затуманившимся взглядом военачальников и, повернувшись к Марию, лежавшему сзади, тихо хлопнул его по спине:

— Быть может, он! Все переглянулись.

— Не удивляйтесь, друзья, моим словам. Все вы служите давно, а особенных отличий у вас нет. Этот же трибун — человек исключительный: он выдвигается все время. Разве он не был батраком, легионером, центурионом? И я не удивлюсь, если он будет первым в Риме!.. А теперь, друзья, выпьемте за благо республики, за ее мир и целостность!

В палатку ворвался ветер, — вошел раб, громко возвестил:

— Гонец из Рима!

Через минуту перед Сципионом стоял человек в мокром плаще, облепленном грязью, и вынимал из кожаной сумки донесения и письма.

— Читай, — повернулся полководец к писцу. — Начни с большой эпистолы.

Это было письмо от Назики: он описывал восстание в Риме и смерть Тиберия Гракха.

— Слышите? — вскричал Сципион. — Пойти на такое преступление! Пренебречь спокойствием республики. Покуситься на сенат. Я не ожидал этого от Тиберия. И Назика прав, что подавил бунт!.. Я не знаю, друзья, вашего мнения, но скажу вместе с Гомером: «Так же погибнет и каждый, начавший подобное дело».

Он закрыл глаза рукою; видел форум, толпы плебса, сенаторов, выбежавших из курии Гостилия, бой перед статуями царей и миролюбивого Гракха, поднявшего руку на власть...

«Тиберий оказался смелее нас всех», — мелькнуло в голове.

Военачальники тихо расходились, не желая беспокоить полководца. Марий тоже пошел к выходу.

— Сядь, — удержал его Сципион, — ты мне нужен. Недоумевая, Марий уселся рядом со Сципионом и ждал.

— Ты, кажется, знал Гракха, — услышал он спокойные слова полководца. — Скажи, что ты думаешь о нем?

Суровое лицо Мария осветилось ласковой улыбкою:

— Вождь, я скажу тебе правду: честнее и благороднее, чем ты и он, я не встречал в своей жизни мужей. Я любил Тиберия, как друга, как брата, как начальника, а теперь боготворю его, ибо он боролся за лучшую участь земледельцев, даровал им земли.

Сципион молчал.

— Вождь, — продолжал Марий, — вот письмо от моего старого отца: он получил землю Сципиона Назики, орудия для возделывания и волов; моя старая мать может теперь отдохнуть. А таких, как мы, много. И нам ли, беднякам, не боготворить Тиберия, не преклоняться перед ним?

Взволнованный, он встал; лицо его пылало.

— Вождь! Батрак — человек подневольный, но никогда не покорится нобиллю. Это я знаю по себе. А таких нобилей, как ты и Гракх, очень мало...

Сципион молчал. Потом сказал, не поднимая головы:

— Иди.

«И этот ненавидит нас, — думал он. — А ведь облагородился, стал трибуном! И если он пойдет далеко, если, подобно Тиберию, поднимет плебс — быть великим смутам в республике».

Он просмотрел донесения и собирался убрать их в сумку, но вдруг взгляд его остановился на небольшой эпистоле, перевязанной тонкой пурпурной тесьмой.

Сердце его забилось; он краснел и бледнел, разрывая тесьму, догадываясь, от кого письмо.

«Твоя рабыня Лаодика — великому Сципиону Эмилиану.

Письмо твое нас поразило: мы очень плакали. Но я подумала, что ты невредим — следовательно, жить еще можно. Посылаю тебе двуполого ниневийского божка: бедный отец мой говорил, что он приносит счастье, охраняет от болезней и волшебства. Носи его на груди, думая обо мне. О, умоляю тебя, будь милостив, сжался над своей рабыней! Приезжай поскорее, иначе я умру».

Сципион тихо засмеялся, оторвал прикрепленный к дощечке камешек, зашитый в пурпур: нагой, улыбающийся гермафродит, выточенный из золотисто-желтого хризолита, смотрел на него узкими продолговатыми глазами, в которых чудился таинственный призыв. Радость окрылила забившееся сердце; он подумал: «Если бы это письмо я получил раньше, Лизимах, может быть, остался бы жив».

XXXII

Храм Беллоны, богини войны, был открыт настежь. Порфиновые колонны у входа были испещрены воинственными надписями, а внутри храма — увешаны оружием, которое победоносные полководцы возлагали на жертвенник.

В храме был полусумрак, и большая статуя молодой богини смутно белела в отдалении. Здесь с утра собирался сенат. Еще накануне стало известно в городе о счастливом возвращении на родину с большой добычей разрушителя Нуманции.

Сенат решил явиться в полном составе, чтобы почтить своим присутствием знаменитого гражданина.

Главная жрица, стройная молодая девушка, гибкая, строгая, надменная, и жрецы разных возрастов — от юношеского до старческого — все обнаженные до пояса, ожидали полководца, стоя у жертвенника, на котором лежала двойная обоюдоострая секира.

Сципион Эмилиан появился в походном снаряжении: на голове его был блестящий шлем, на груди — металлическая лорика, на левом боку висел меч. Он вошел быстрым шагом воина, остановился. Луцилий и Марий внесли длинные нумантийские мечи, метательные копья, пращи и щиты.

Сенаторы окружили Сципиона с громкими приветственными криками, жали ему

руки, поздравляли с победой, а Назика обнял его, прижал к груди:

— Покорителю Нуманции, привет!

— Усмирителю восстания — привет и поздравления! Лицо Назики осветилось радостью. Он взял Эмилиана под руку и подвел к жертвеннику.

Полунагая жрица принимала из рук полководца оружие и клала на жертвенник, потом схватила секиру и, быстро взмахивая ею, наносила жрецам неглубокие раны, в виде надрезов, на руках, боках и груди. Она подбежала к Сципиону, сделала надрезы себе на обеих грудях и у него на руках:

— Пусть великий полководец — во имя Беллоны — выпьет крови ее жрицы — во имя Беллоны — и даст жрице — во имя Беллоны — своей крови — во имя Беллоны...

Она охватила обеими руками небольшие яблокоподобные груди с кровавыми рубцами и, сжав их, протянула с улыбкой в глазах Эмилиану. Полководец, смущаясь больше от ее взгляда, нежели от обнаженного тела, прильнул губами к ее теплой груди и ощутил во рту солоноватый вкус.

— Пей, — услышал он голос жрицы и схватил губами второй надрез, — дай руку.

Девушка с жадностью впиалась губами в рану и, отпустив его руку, бросилась в круг жрецов. И в то мгновение храм ожил, вспыхнул многочисленными огоньками; все понеслось, закружилось в бешеной пляске. Боевые возгласы сменялись дикими кличами, воплями, звуками труб и букцин. И вдруг сенаторы, подбирая повыше тоги, понеслись, постукивая красными башмаками, по каменным плитам: впереди мчался огромный Назика, — он пел громовым голосом, и весь храм вторил ему во все горло, стуча, визжа, хлопая в ладоши:

Видишь, Беллона,
Ромула воинов?
Громкой победой
Мы упоенные,
Славим, Беллона,
Наша помощница,
Храброго мужа:
Взял он Нуманцию,
Варваров смелых
Бросив растоптанных
В пропасть, Беллона,
Рабства и ужасов!

Сципион Эмилиан отошел от неистовствующей толпы, прислонился к колонне. Голова шла кругом. Он видел полунагую жрицу с окровавленными грудями, смотрел на ее голые ноги, обутые в сандалии, на волосатые ноги жрецов, и отвращение к этим людям наполнило его сердце. Он хотел остановить безумную пляску, сделал шаг, другой... Но пляска уже прекратилась; жрица, захлебываясь словами, пророчествовала.

— Тучи над Римом, — звенел ее свежий голос, взметаясь и падая, — тучи над республикой... Где ты, объединитель народов, гроза варваров, владыка мира? Ты спишь, проснись!.. Есть еще у нас Сципионы, будут величайшие мужи! Они вознесут Рим на такую высоту... О, Беллона, Беллона! Помоги нам, спаси Рим!

Она замолчала и, подойдя к полководцу, обвила его шею голыми руками:

— Беллона обнимает тебя, своего сына. Поцелуй, вождь, мать и гордись: ты заслужил триумф!

Сципион прижал свои губы к теплым губам жрицы, чуть не задохся от ее долгого поцелуя.

— Обращаюсь к сенату за получением триумфа, — сказал он, — и если я достоин...

— Заслужил, заслужил! — загремел весь храм. Назика сказал громким голосом:

— Сенат награждает тебя прозвищем Нумантийского. Эмилиан вышел из храма с затуманенной головой: он не был еще дома, но идти туда не хотелось, однако мысль, что Семпрония ждет его, считает часы, минуты, мгновения, смягчила его сердце. Он вздохнул, стараясь не думать о Лаодике, и быстро направился к Палатинскому холму.

Семпрония встретила мужа смехом сквозь радостные слезы: она обнимала его, целовала ему руки, спрашивала о здоровье; он отвечал спокойно, холодно, и она с ужасом видела, что Публий тот же: каким уехал, таким и вернулся.

Схватила его за руки, с тоской заглядывала в глаза:

— Скажи, что с тобою? Ответь честно: любишь меня или нет? Сципион молчал, отвернувшись; мускул играл на правой щеке.

— Публий! Он молчал.

— Не любишь? Я так и знала... Но почему, почему?

— Не спрашивай, — глухо сказал он, — и не пытайся узнать...

Она побледнела:

— Любишь другую?

Он ласково обнял жену, погладил ее руки:

— Хочешь — будем друзьями? Вырвалась из его объятий, крикнула:

— Ты не отвечаешь, Публий! Я хочу знать! Зачем ты меня мучаешь?

Он подумал, взглянул на нее с сожалением:

— Да, я люблю другую.

В атриуме наступила тишина. Эмилиан стоял с опущенной головой, не осмеливаясь взглянуть на жену, точно совершил преступление, а Семпрония сидела, уронив голову на руки, и слезы капали на мозаичный пол. Потом она встала и, не глядя на него, скрылась за пологом, отделявшим таблин от атриума.

«Она даже не спросила, кого я люблю», — подумал Сципион, но вошел Полибий, и мысли его приняли другое направление.

— Слава богам! — вскричал старик, сжимая его в объятиях и с отцовской нежностью целуя в лоб. — Вот и ты! Сколько долгих месяцев мы были без тебя!

— Но мы беседовали в письмах, дорогой учитель! Я получил сочинения Гиппарха Никейского в целости. Благодарю тебя, что ты прислал мне...

— А ты обратил внимание на список звезд? Они распределены по величинам с указанием места каждой на небе...

Они поговорили о Нуманции, о Риме, и Эмилиан поспешил уйти:

— Будь добр, передай Семпронии, что я к вечеру вернусь...

— Не могу ли я тебе сопутствовать?

— Прости, но я ухожу по неотложным делам. Очутившись на улице, Сципион отпустил раба, который дожидался его перед домом, и углубился в узенькие улочки.

После долгой ходьбы он очутился перед домом Лизимаха и, приказав рабу не предупреждать хозяев о приходе, вошел внутрь.

В атриуме и таблине было тихо — ни голоса, ни звука. Он прошел на цыпочках в

перистиль, спустился в сад.

— Госпожа дома? — спросил он встретившуюся старуху-рабыню.

— Матрона уехала, — ответила рабыня, называя по-римски свою госпожу «матроной», — а дочь ее там, за кустами...

Остановившись, Эмилиан смотрел на скамейку, на которой сидела Лаодика. Девушка показалась ему божественной. Она была в белой шерстяной тунике, обнажавшей загорелые руки, в сандалиях с пряжками, усаженными мелкими зелеными хризопрасами; красный ремень, обвивая ноги, проходил между большим и следующим пальцем. Она поразила его строгостью форм, задумчивым, как будто иным лицом. Белый лоб окаймляли черные косы, закрученные ниже макушки в пучок, из которого торчала шпилька из слоновой кости, похожая на знамя манипула, с головкой, изображавшей руку. Она держала веер из павлиньих перьев, в виде полукруга, с ручкой, украшенной искусной резьбой.

Сципион вышел из-за куста, кашлянул.

Она подняла голову, узнала его, вскочила, вскрикнула, всплеснула руками. И, вспыхнув, опустила голову, дрожа, как от озноба.

Он подошел к ней, взял ее руку:

— Я вернулся в Рим... Ты писала мне... Я рад, что ты ждала меня...

Он сел на скамью, посадил ее рядом с собою. Она подняла на него черные глаза и, не отнимая руки, улыбнулась прежней солнечной улыбкою.

— Я ожила. Публий, — сказала она по-гречески, не замечая, что называет его по имени, — я никуда не уеду из Рима, пока ты здесь... Ты для меня, как говорила Гектору Андромаха, отец и родина и... и будешь супругом возлюбленным...

И, схватив обеими руками тяжелую его руку, она прижала ее к своему сердцу с такой страстью, что кровь закипела у него в жилах.

— Лаодика, — прошептал он, обнимая ее и привлекая к себе.

— Слава Афине, защитнице твоей в боях, и Посейдону, охранявшему тебя в морях! А еще большая слава Афродите, которая смягчила твое сердце...

Обняв его за шею и прижавшись щекой к его грубой обветренной щеке, она шепнула:

— Я знаю, ты любишь меня, Публий! Ты полюбил еще тогда — помнишь?.. Я пела, а ты... я чувствовала, что сердце твое хочет слиться с моим, но ты был холоден... Я знаю, ты не любил моего отца...

И вдруг, отодвинувшись от него, заглянула ему в глаза:

— Расскажи, как он погиб.

— Не сейчас, Лаодика!

Голос его был суров, и она испугалась, что Эмилиан может стать опять холодным, неприступным, встать и уйти.

— Хорошо, хорошо, — поспешно прошептала она, прижимаясь к нему. — Хочешь, я покажу тебе свою азиатскую комнату, — засмеялась она, — я украсила ее к твоему приезду... Я ждала тебя каждый день... Ты мне снился...

— А где Кассандра?

— Мать уехала на несколько дней в Остию. После смерти отца она занялась торговыми делами.

— А ты... что делаешь? Как проводишь время?

— Я мечтала все время о тебе...

Она рассмеялась, вскочила и побежала впереди него, ласково оглядываясь и

рассказывая, что за эти долгие месяцы прочитала «Анабазис» теперь он, Сципион, не должен отказываться от книги.

— Ты любишь Ксенофонта, — заключила она свою порывистую речь, останавливаясь перед ним в перистиле и приглашая движением руки сесть за стол, но он отказался опять от книги, подумав: «От изменника я не хочу ничего иметь».

Он снял с себя шлем, лорику и меч, освободился от тяжелой одежды воина.

— Будь, как дома, — говорила Лаодика, унося его вещи, — позволь быть твоей служанкой, верной рабыней... Ты — самый дорогой гость, которого видели когда-либо стены этого дома...

Она вышла и вскоре вернулась с небольшим серебряным блюдом, от которого струился тонкий запах цветов. Рабыня внесла вслед за нею амфору с вином, золотые кубки, плетеные корзинки с виноградом, яблоками и финиками.

— Попробуй гиметтского меду, — потчевала она его, — мы недавно получили его из Аттики, — он сладок, пахуч и напоминает амброзию... И все же я больше люблю мед из Гиблы, но, увы! Сицилия в руках рабов, и жадные варвары, наверно, опустошили все пчельники...

— Мед великолепен, — подтвердил Эмилиан, взяв лопоту с блюда; он выплевывал воск в глиняную чашку и пил маленькими глотками левкадийское вино. — Что же ты, Лаодика?

— Я уже ела, — улыбнулась она. — Прости, я побегу в азиатскую комнату, посмотрю, все ли в ней в порядке.

Между тем волоокая рабыня принесла медный тазик с водой и дожидалась, когда господин кончит еду. Сципион вымыл липкие руки и, усевшись, ждал девушку.

Все было необычно и складывалось так, думал он, точно боги благоприятствовали их любви. Он застал ее одну, он говорил с ней без свидетелей и будет беседовать еще, смотреть в ее глаза, ощущать всеми нервами живое присутствие этой божественной, афродитоподобной красоты.

— Публий, — услышал он ласковый, проникновенный голос и очнулся от дум: приоткрыв дверь, девушка манила его к себе.

Он вошел в азиатскую комнату. Стены, пол и потолок были украшены пестрыми мохнатыми коврами с изображением нимф, фавнов, кентавров; возле низеньких столиков лежали груды разноцветных подушек; две-три светильни, укрепленные на высоких треножниках, горели ровным розовым светом; на четырехугольном жертвеннике, перед статуей Афродиты, алели угольки, и курильницы, в которых догорали перед богиней благовония, дымились голубыми струйками.

Эмилиан огляделся: у статуи богини стояла Лаодика. Она была в широкой восточной одежде, которая скрадывала формы ее тела. Она подходила к нему медленной походкой, точно в раздумье. От нее исходил тонкий приятный запах, и Сципион понял, что ее тело умащено нардом — драгоценным благовонием Востока.

— Будь у меня дорогим гостем, — зазвенел ее голос, и девушка, опустившись на колени, поклонилась ему до земли.

Бросился к ней, помог встать и, обняв, сжал в объятиях. Под тонкой восточной одеждой он почувствовал нагое тело — пылающее, податливое — услышал прерывистый шепот, и в то же мгновение светильни погасли, только угольки жертвенника продолжали алеть в темноте маленькими пятнышками.

— Публий...

— Лаодика...

Когда светильники вспыхнули вновь, Лаодика лежала, тяжело дыша, на подушках; ноги ее были обнажены, и Эмилиан целовал маленькие ступни, пахнущие нардом.

Лаодика протянула руку и, взяв со столика бронзовый ларчик для женских принадлежностей, подала его Сципиону:

— Взгляни, Публий! Эта циста куплена моим отцом в Пренесте у этрусского мастера. В ней, кроме щеточек и мелких вещиц, находятся драгоценные камни, которые я отобрала к твоему приезду...

Эмилиан молчал, не понимая, зачем она это говорит. Он смотрел на стенки цисты, на которых искусной рукой были выгравированы двенадцать подвигов Геркулеса, и на крышку с выпуклой фигурой девушки. Вглядевшись, он удивился — лицо Лаодики, ее улыбка была схвачена так верно, что, глядя на изображение, он испытывал радость.

— Все эти драгоценности — твои, — шептала Лаодика. — О, прошу тебя, не отказывайся, супруг мой возлюбленный. Взгляни на них и скажи, разве не искусно сделана работа?

Сципион открыл цисту: драгоценные камни загорелись разноцветными искрами, как брызги воды на солнце.

— Зачем мне все это? — пожал он плечами и хотел уже возвратить ей цисту, но Лаодика настояла, чтобы он посмотрел камни.

Вынув змееподобную цепочку, усаженную коссирскими смарагдами, Лаодика надела ее Сципиону на левую руку.

— Камни повертываются, — тихо сказала она, — захочешь меня видеть — поверни так; всегда я, мое лицо, мое тело будут перед твоими глазами. Обещай носить, не снимай никогда.

— Все эти драгоценности, — сказал Сципион, вставая, — это — ты, и я беру их не на память, потому что мы никогда не расстанемся, а как частицу тебя, чтобы ты была всегда со мною. Что же мне подарить тебе? Ты была дальновиднее меня, ты знала, что я приду к тебе, и потому приготовила заранее эти сокровища, ты — сама сокровище! А я?.. В задумчивости он опустил голову.

— Подари мне, Публий, свой кинжал, — улыбнувшись, молвила Лаодика, — я вижу на рукоятке буквы твоего имени и прикажу рядом выжечь мое имя... А драгоценностей мне не нужно: у меня их много.

— Я ухожу. Когда увидимся?

— Завтра, послезавтра, каждый день... Приходи...

— А мать?

— Она придет ненадолго. И если узнает о нашей любви — возблагодарит богов.

Прощаясь, Лаодика долго не отпускала Эмилиана. Лицо ее горело, и она шептала, покрывая поцелуями его лицо и руки:

— О, если б ты остался! Не уходи! О, если бы мы никогда не разлучались, ни на одно мгновение!

XXXIII

На другой день на Марсовом поле Сципион давал сенату отчет о своих действиях во время войны. Выслушав его, сенат подтвердил свое согласие на триумф.

Шествие медленно тронулось к Триумфальным воротам, прошло мимо цирка Фламиния и вступило через Карментальские ворота в город. Оно не пошло прямо к Капитолию, а направилось по Бычьему рынку к цирку Величайшему.

Впереди шли сенаторы в шерстяных тогах с пурпурной каймой; по пути к ним присоединились магистраты разных должностей, вплоть до курульных эдилов, а за ними следовали военные музыканты, которые играли на трубах и букцинах, били в барабаны. Затем следовали телеги с добычей: статуи богов и богинь, грубые и изящные картины, непривычные для римских глаз, с изображением невиданных зверей и птиц, трех-, четырех — и пятиглавых людей. Все это вызывало изумленные восклицания зрителей, смех, негодование; шлемы, щиты, панцири, длинные копья и большие тяжелые мечи вызывали удивление; сосуды, наполненные серебряными слитками, рога для питья, чаши и кубки хотя и были немногочисленны, но вид их вызывал одобрительные возгласы толпы. Несколько человек несли почетные дары — золотые венки, преподнесенные полководцу испанскими общинами. Затем шли, беспрерывно мыча, белые быки с позолоченными рогами, в венках (они были предназначены для жертвоприношения в Капитолии, потому что триумф происходил в честь Юпитера); их вели молодые люди в передниках с красной каймой. За ними следовали знатные нумантийцы в цепях, в траурных одеждах, с опущенными головами; они не надеялись на сохранение жизни, зная суровость Сципиона, и покорно ожидали часа, когда смерть прекратит их унижение, избавит от постыдного рабства.

Триумфатор ехал по Священной дороге и приближался к форуму под звуки торжественной музыки. Сопровождаемый ликторами, одетыми в пурпур и увенчавшими свои прутья лавровыми ветвями, символом победы, он стоял на разукрашенной колеснице, в которую была запряжена четверка белых коней. На нем была пурпуровая, затканная золотом одежда из храмовой сокровищницы Юпитера: расшитая пальмовыми ветвями туника, разрисованная затейливыми узорами и изображениями тога; в правой руке он держал лавровую ветвь, а в левой (на запястье красовалась смарагдовая змееподобная цепочка, подарок Лаодики) скипетр из слоновой кости с орлом; на голове у него был лавровый венок. Триумфатор казался земным воплощением Юпитера Капитолийского: он был величественен, и восторженная толпа бежала за ним с оживленным говором и восклицаниями. А стоящий позади него раб держал над его головой золотой венец Юпитера и кричал громким голосом:

— Помни, что ты только человек!

— Ио! Триумф²⁰! — восклицали воины, а толпа ревела, повторяя этот возглас.

Семпрония, бледная, невеселая, стояла в толпе и думала с тоской, когда, наконец, кончится шествие. Участвовать в триумфе мужа было для нее пыткой, и она, сдерживаясь от слез, жадно смотрела на толпу, ища среди нее соперницу. Сотни красивых матрон, юных римских девушек, гречанок и иных чужеземок проплывали перед ее глазами в сказочном видении, но ни одна, по ее мнению, не была достойна Эмилиана.

За триумфальной колесницей шли освобожденные полководцем из плена римские граждане; на их головах красовались пилеи вольности.

Торжественное шествие замыкалось воинами, с лавровыми ветвями в руках. Они шли по центуриям, пели победные гимны в честь полководца и старинные шутивно-веселые песни, высмеивавшие его.

Семпрония вслушивалась в песню, но слов не понимала. Только припев глубоко врезался ей в уши:

²⁰ Ура, триумф!

Славься, наш вождь знаменитый!
В сечах ты славу обрел!
Воинов вражьих недавно
В дымный Аид отогнал...

Музыка гремела.

— Ио! Триумф! Ио! Триумф!

И вдруг родилась шутливая песня: она ударила ревом, звоном, грохотом, хохотом:

Вечером вождь наш увидел
Женщину в поле: размяк,
Кинулся к ней со словами:
«Девушка, хочешь — пойдем
В лагерь наш? Сладкие вина,
Жареных птиц вертела
Ждут нас, красавица! Что же
Слова не скажешь в ответ?»
Женщина входит в палатку:
Пламя светильни на ней.
В ужасе вождь: он влюбился
В старую сводню без глаз!

Триумфальное шествие вышло на форум. Играла музыка, народ расступался, бежал. Семпрония вглядывалась в лица женщин и девушек, искала среди них ту, которая отняла у нее мужа, похитила, как воровка, проникшая ночью в мирный дом, величайшую драгоценность. Вдруг взгляд ее упал на девушку невиданной красоты: это была не римлянка, а чужеземка; она не спускала сияющих глаз с триумфатора.

Взглянув на Сципиона, Семпрония обомлела: он тоже не спускал глаз с девушки и ласково ей улыбался; Семпронии послышалось, что с его губ сорвалось греческое восклицание.

Колесница проехала, а девушка стояла перед ее глазами «злым наваждением, волшебным видением».

Семпрония верила в волшебство и посещала несколько раз в день старую персиянку, гадалку и чародейку, в надежде, что она отведет любовь мужа от соперницы; вчера еще она отнесла ей два небольших глиняных изображения — свое и мужа, и персиянка, слепив восковые фигурки, оттиснула на них лица супругов; связав затем эти фигурки, старуха взяла длинную иголку, раскалила ее на огне и уколола Сципиона в печень: «Это внушит ему любовь к тебе», — сказала она, получая от Семпронии горсть золотых монет. Но теперь, когда муж улыбался этой девушке, Семпрония видела, что чары персиянки бессильны и испытывала острую ревность, бешенство, жажду мести.

«Узнать, кто она, отправиться к ней и убить, — думала она, сдерживаясь, чтобы не разрыдаться, но мысль, что убийство не возвратит ей мужа, заставила ее искать иного выхода. — Я устала от этой жизни, я должна иметь слепок этой девушки... Я научусь стрелять из лука, поставлю слепок этой блудницы, прострелю ему сердце, и она вскоре умрет... Я буду поджаривать слепок на медленном огне, чтобы известить эту

прекрасную чужеземку... Я буду...».

Триумфальная колесница остановилась на Капитолии. Сципион сошел с нее и, приветствуемый расступившимися сенаторами и магистратами, положил лавровую ветвь на колени статуи Юпитера, произнес благодарственную молитву и принес жертву. Убиваемые быки ревели, лилась кровь, а Семпрония, полузакрыв глаза, думала о девушке, которая (она была в этом уверена) заняла ее место в сердце мужа.

Потом был праздничный пир. Триумфатор угощал войска и народ, щедро наделял всех подарками. Но Семпрония не осталась на пиру, несмотря на то, что Назика несколько раз подходил к ней, уговаривая остаться. Она торопилась к волшебнице-персиянке, полагая, что старуха найдет теперь средство, как устранить опасную соперницу.

XXXIV

Жить Сципиону Назике в Риме стало опасно: где бы он ни появился, один или в сопровождении друзей, — всюду видел злые лица простых людей, их враждебные глаза, слышал оскорбительные возгласы: «Безбожник! Убийца!» А на улицах и площадях должен был уклоняться от камней, швыряемых в него разъяренной толпой.

Он пытался выходить в сопровождении вооруженных рабов и ликторов, которых предоставил ему сенат, прибегая к помощи эдилов, но все было напрасно. Народ не хотел, чтобы он находился в Риме, и кричал: «Вон из города!» В рабов и ликторов летели булыжники с крыш домов, из-за оград, даже из храмов, но кто бросал камни, кто оскорблял видного оптимата — установить было трудно. Враг исчезал, а через несколько мгновений появлялся в другом месте, наносил новый удар.

Однажды камень, попав Назике в губы, раздавил их, вышиб два нижних зуба. С этого времени он перестал выходить из дому, просиживал целые дни за греческими книгами, писал, переводил. Губы распухли, он не мог ни есть, ни говорить и с приходившими сенаторами объяснялся непонятными звуками, кивками головы, и сердился, если его не понимали. Он выздоравливал быстро и ко дню прибытия из Испании Сципиона мог уже свободно говорить. Он решил выходить на улицу с рабами, вооруженными пращами со свинцовыми шариками и камнями, чтобы отбить нападение, и когда он появился в первый раз на улице — плебс стал свистеть, бросать в него чем попало, оскорблять. Тогда заработали пращи: один человек был убит, другие свалены с ног. Оказалось, что они ранены. Разъяренные рабы хотели их прикончить, но толпа дико закричала и оттеснила Назику с его людьми.

— Мы тебя убьем! — грохотали улицы, и опять оскорбления, камни сыпались на оптимата; он хотел было возобновить нападение, но толпа была чересчур велика и могла всех растерзать.

Вечером к Назике пришли сенаторы.

— Оставаться тебе в Риме опасно, — сказал Квинт Метелл Македонский, — уезжай скорее... куда-нибудь подальше: в Грецию, на острова, в Азию — куда хочешь. Семью можешь оставить...

Сципион Назика решил сдать все свои земли в аренду публиканам, а виллу, если не найдется покупателя, завещать жене в вечное владение. Марция должна остаться в Италии. Она поселится в Брундизии, будет наблюдать за порядком в вилле, изредка наезжать в Рим.

— А я, — прибавил он, — отправлюсь в изгнание один, и если положение в Риме

изменится, если это угодно будет богам, возвращусь на родину.

Он уехал с женой в Брундизии, а оттуда отплыл из Италии, побывал в Греции, жил некоторое время на Эвбее, Лесбосе и, наслушавшись от ценителей красоты о Пергамском царстве (говорили, что столица — чудо мира не только по своему месторасположению, памятникам искусства, библиотеке, но и по красоте женщин и девушек, преимущественно гречанок), отправился из Митилены в Пергам.

«Там я займусь науками и философией, — думал он, следя за уходящим берегом Лесбоса, — изучу милетских философов — Фалеса, Анаксимандра и Анаксимена, напишу о них книгу для римской молодежи, затем примусь за Пифагора, за элейскую школу поэта Ксенофана с его учениками Парменидом, Зеноном, Мелиссой, а потом перейду к Гераклиту, Эмпедоклу, Анаксагору и Демокриту. В Пергамской библиотеке я найду полное учение каждого философа, тщательно выберу мысли, заслуживающие внимания, и отмечу, как сор, неценное, непонятное. Так я проведу дни, недели, месяцы, годы до возвращения на родину».

Он высадился в Атарнее с несколькими рабами, нанял десятка два мулов для перевозки имущества и отправился в столицу.

Пергам, расположенный на высокой трахитовой скале, показался ему величественным.

Рослые невольники понесли его к агоре, где находились гостиницы. Рабы его следовали позади, подгоняя мулов, навьюченных кладью.

Всюду слышалась греческая речь. Хозяин гостиницы объяснил на дорическом наречии, что последний Атталид, умерший недавно, был великий ученый, поклонник греческого искусства, и на вопрос Назики, довольны ли были своим царем подданные, ответил:

— Он был тиран.

Дальше словоохотливый грек рассказал о достопримечательностях города и упомянул, как бы вскользь, что в Пергам прибыл недавно великий астроном Гиппарх Никейский.

Сципион Назика привскочил на кресле от радости. Он читал неоднократно сочинения знаменитого ученого и теперь раздумывал, как с ним познакомиться.

— А где он живет? — спросил он притворно-равнодушным голосом, снимая с себя тогу.

— Неподалеку от библиотеки в доме купца Ксантиппа. На другой день утром Назика нанял лектику и отправился на акрополь.

Пересекая агору, он смотрел на толпы народа в хитонах и хламидах, на римлян в тогах, видел эдилов, слышал римскую речь, и тоска по родине заползала в сердце, щемила его... Говор народа разгонял мысли. Продавцы выкрикивали свой товар по-гречески и по-латыни, покупатели, большей частью рабы и невольницы, торговались из-за каждого обола, пересыпая речь руганью и криками.

Остановив лектику перед величественным жертвенником Зевса, построенным пергамским царем Эвменом II, Назика стоял в немом изумлении, созерцая удивительное произведение человеческого гения: длинный мраморный прямоугольник тянулся, казалось, бесконечно, и на вершине четырех ступеней возвышался гладкий цоколь; фриз же, украшенной гигантомахией, был окаймлен карнизом. Назика загляделся на гигантомахию: «Какая сила воображения! Какое умение претворить идеи в жизнь, воплотить их в камень!»

На западной стороне фриза были изображены божества воды и земли, на южной —

великие небесные светила, на восточной — главные олимпийские божества и на северной — ночь с ее созвездиями.

Гигантомахия была несравнима ни с чем! Эти нагие тела с узловатыми мускулами, напряженными в борьбе, эти гневные лица Зевса и Афины, величественность голов, посаженных ваятелем на мощные торсы, эта борьба не на жизнь, а на смерть, яростное сопротивление гигантов, — все это вызывало у Назики такое восхищение, что он готов был простоять перед фризом часы, любуясь и наслаждаясь дивным произведением искусства.

С большим сожалением он отошел от гигантомахии, повелев рабам нести себя дальше.

Город, расположенный по склонам горы, утопал в садах.

Вдоль улиц теснились сводчатые лавки с подвальными помещениями, где хранились запасы продовольствия, предметы первой необходимости, домашняя утварь. Дорога к акрополю была прямая, как натянутая веревка. Навстречу попадались пешеходы, лектики со знатными греками римлянами, тележки, нагруженные зеленью.

У ворот, ведущих на акрополь, Назика сошел с лектики и поспешно зашагал по трахитовой мостовой влево, к храму Афины Паллады. Еще издали он увидел двухэтажную галерею с причудливо расположенными колоннами: внизу — дорическими, а наверху ионическими. Он остановился у базилики, смотрел на храм, на царские дворцы. От нового дворца, в котором жил и умер Аттал III, тянулась прямая дорога к театру; длинная и широкая колоннада соединяла агору с театром, который был окаймлен галереями-колоннадами. Зрелище было великолепное: бесконечная белизна мраморов придавала городу вид огромной мастерской скульптора.

Дальше находилась терраса Афины, украшенная на северной и западной стороне двухэтажными портиками; здесь помещалась знаменитая библиотека с музеем искусств, а ря дом с ней возвышался памятник работы скульптора Эпигона, воздвигнутый Атталом I; победоносный царь воздавал каждый раз благодарность богине после благополучного возвращения с войны.

Назика нашел без труда дом купца Ксантиппа и приказал рабам вызвать хозяина.

Седой грек подошел к лектике и поклонился патрицию.

— У тебя живет Гиппарх из Nikeи? — спросил Назика.

— У меня.

— Дома он?

— Дома, но повелел, чтоб его не беспокоили: он работает.

— Я напишу ему, а ты передай. Возвращайся с ответом. Назика вынул дощечку и написал по-гречески:

«Публий Сципион Назика, римлянин — великому ученому Гиппарху из Nikeи.

Имя твое гремит по вселенной, в Риме ты известен не менее, чем в Элладе и Пергаме; у тебя много почитателей и поклонников — в числе их и я, твой покорный слуга. Добровольно удалясь в изгнание, я узнал, что ты — в Пергаме, и, помолясь всесильному Посейдону о даровании попутных ветров, направил бег своего судна к берегам Азии. Будь добр назначить день и час, когда нам увидеться. Я знаю, что ты пребываешь в размышлениях и созерцании небесных светил, поэтому мне особенно дорог будет твой благосклонный прием. Прощай».

Назика ждал недолго: Ксантипп подошел к нему с более низким поклоном, чем при первой встрече, и возвестил, что великий Гиппарх его ждет.

Назика вошел через пропилеи и переднюю во двор, называемый аулой, где находился жертвенник, и был введен Ксантиппой в простас, или приемную, уставленную бронзо выми статуэтками, утварью, треножниками. Слева из таламоса, спальни, выглянул мальчик и тотчас же скрылся.

За столом, загроможденным свитками папирусов, сидел белобородый старик с желтым морщинистым лицом. Против него на стене висели широкие карты — одни с очертаниями земель, рек, морей и городов, другие с небесными светилами в виде кружков, с надписями по-гречески. Он посматривал на стену и что-то писал, изредка задумываясь. Это был Гиппарх.

Увидев Сципиона Назику, он встал и, поправив на себе складки гиматия, пошел ему навстречу.

— Привет ученому мужу, великому Гиппарху, постигшему тайны небес!

— Привет тебе, стражу республики, победителю Гракха! Назика удивился осведомленности старика о событиях в Риме и, несколько смутившись (ему показалось, что в словах Гиппарха слышалась ирония), ответил, что не считает себя победителем; он только исполнил долг гражданина, свергнув тирана и усмирив восставший плебс.

— Я много думал о Гракхе, — задумавшись, сказал астроном, — и должен тебе сказать, благородный римлянин, что Тиберий, мне кажется, помышлял о благе земледельцев. Доказательством этого служит земельный закон. Теперь обрати свои взоры на пергамские земли, расположенные вне городов: это государственная земля, расчлененная на комы, или участки, а по-римски — общественная земля римского народа. Кто работает на ней? Рабы и свободные поселяне. Кто владеет ею? Римский народ? Как будто он, а на самом деле — публиканы, которые арендуют земли, собирают платежи с земледельцев.

— Я не понимаю тебя, — пробормотал Назика, чувствуя, что Гиппарх чего-то не досказывает.

— Не понимаешь? Тогда слушай: рабы и земледельцы стонут от гнета публиканов, от гнета богачей, и я боюсь, чтоб и у нас не случилось того же, что было у вас в Риме... Не забывай, что Аристоник борется за угнетенных...

— По-твоему, Тиберий был прав? — побледнев, спросил Назика. До сих пор он был спокоен. Друзья его хвалили за совершенный подвиг, он уверен был в своей правоте, и вот нашелся теперь человек, который дает понять, что дело Гракха было справедливо. Назика вспомнил, что даже знать сочувствовала земельному закону, но когда дело коснулось отторжения земель, она испуганно выступила против Тиберия.

— Он боролся за великое дело...

— Но он добивался царской власти! Гиппарх презрительно вздернул плечами:

— Сомневаюсь. Человек, который старается улучшить положение плебса, не может помышлять о тиаре. Это злые наветы его политических противников.

— Если это так, — задумался Назика, — то скажи, почему Эвдем предлагал ему корону Аттала?

Гиппарх поморщился:

— Я высказал только свое мнение, но возможно, что я ошибаюсь. Ведь я не знал Гракха, не встречался никогда с Эвдемом.

Назика со стесненным сердцем встал, подошел к карте, на которой были изображены небесные светила.

— Ты, открывший наступление равноденствия, — сказал он, обернувшись к Гиппарху, — вычисливший параллакс Солнца, составивший список нескольких сотен неподвижных звезд, скажи откровенно, что ты думаешь о вращении Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца?

Гиппарх усмехнулся:

— Эта истина стара, как мир. Разве тебе неизвестно, что пифагорейцы Экфант и Филолай утверждали, что Земля вращается вокруг своей оси и с другими созвездиями вокруг центрального огня? А мудрый Эвдокс объяснил при помощи гомоцентрических сфер кажущееся движение небесных тел вокруг Земли...

— Но Платон и Аристотель оспаривали это утверждение...

— Они заблуждались. Больше всех астрономов я ценю Аристарха Самосского, который обстоятельно доказал вращение Земли и небесных тел вокруг Солнца.

— Мне кажется, — осторожно заметил Назика, — никто, кроме тебя, не поддерживает этих суждений...

— Да, все эти ученые осмеяны... Даже Платон и Аристотель совершили ошибку, отвергнув великие истины.

— Не так ли, — прервал его Назика, — благородный Полибий насмеялся над астрономом Пифеем, величая его бессовестным лгуном?

— Ты говоришь «Об океане» Пифея? Любопытная книга. Он описывает Иберию и Галлию, острова, родящие олово, говорит о треугольной форме Британии. Но что достойно удивления, так это то, что он рассказывает о далеком острове Фуле, за которым простирается безжизненный океан и где бывают очень долгие ночи и дни без ночей.

— Он наблюдал морские приливы и отливы, объяснил влияние полнолуния на приливы...

Потом склонившись вместе над картой Эратосфена, они смотрели нанесенные земли, градусы долготы и широты, беседуя тихо, задушевно, как старые друзья.

— Великие ученые, — говорил Гиппарх, — обожествляли небесные тела: вспомни Пифагора, Платона, Аристотеля и других. Разве Анаксагор на вопрос, зачем он родился, не ответил: «Для созерцания солнца, луны и неба». Разве Ксенофан, посмотрев на небо, не сказал, что «Единое есть бог»? Разве Аристотель не считал небесные тела вечными и бессмертными?

— Но Эпикур...

— Да, Эпикур смеялся над обожествлением небесных тел, но что можно ожидать от философа, который презрительно относился к наукам?

— Я не согласен с тобою, — возразил Назика, — он считал, что науки не содействуют истинному совершенству, нарушают атараксию души...

— Вовсе нет.

— Что же касается небесных тел, то утверждение его неоспоримо: из того, что вечность небесных тел нарушила бы атараксию самосознания, необходимо и очевидно вытекает, что они не вечны, то есть ничто не вечно, если оно уничтожает атараксию единичного самосознания... — Но единичное самосознание бывает неодинаково: у одного человека больше, у другого меньше... — Потому-то взято единичное...

— Если так, то не единичное самосознание, именно то, о котором я говорю, не нарушает атараксии, и поэтому все вечно — и небесные светила, и земля, и человек...

— Я не понимаю тебя.

— Вечные тела, или постоянная материя, разрушаясь, не исчезают даже в пустоте (я не люблю Демокрита с его вихрями атомов, но скорее допускаю необходимость, чем случайность Эпикура); материя видоизменяется, чтобы претвориться в другие тела...

— Но если небесные тела не нарушают атараксии неединичного самосознания, как ты утверждаешь, то они не представляют существующего всеобщего, и природа в них становится несамостоятельной. А ведь это — абсурд. Скажи, разве небесные тела, которые мы наблюдаем, не есть существующее всеобщее? Разве природа не есть самостоятельное целое?

— Все это кажущаяся видимость. Ты забываешь, дорогой Публий, о богах...

— О богах? — вскричал Назика громким голосом, в котором слышались удивление и насмешка. — Неужели ты допускаешь...

— Удивляюсь, — пожал плечами Гиппарх, — в одном ты — последователь Эпикура, а в другом — Демокрита из Абдеры. Но если Демокрит насмеялся над богами, то это было глупо: он противоречил себе...

— Не понимаю тебя.

— Он говорил, что богов нет. А разве можно насмеяться над тем, чего нет?

Когда Сципион Назика уходил, Гиппарх удержал его за руку:

— Взгляни на статуэтки «Умиравший галл» и «Галл с женой», копии скульптур Эпигона. Какая из них тебе нравится больше?

Назика удивился, что не заметил такой красоты. Он смотрел на умирающего галла, который сидит на земле, опершись о нее рукой, а кровь льется из раны: голова склонена, жизнь отлетает из тела... И рядом — другая статуя: галл с гордо поднятой головой и с обнаженным мечом в руке ждет, когда наступит время покончить счеты с жизнью. У его ног — нет, вернее, повиснув на его руке — находится трепещущая покорная жена, и оба знают — он и она — что сначала он убьет ее, а затем пронзит мечом свое сердце, чтобы не попасть в плен к лютым врагам.

Римлянин молча протянул руку к «Галлу и его жене».

— Ты прав, — сказал Гиппарх, — когда я смотрю на эту робкую покорную женщину, я думаю, что ей трудно умирать, что она молода, перед ней жизнь, но долг жены повелевает разделить судьбу мужа. И мне хочется плакать, я едва сдерживаюсь от слез. Как жестока жизнь, заставляющая людей проливать кровь!

Гость молчал. Ему чужда была жалость — у него в груди билось каменное сердце воина, переполненное ненавистью к гражданам, злоумышляющим против отечества, и он, не задумываясь, убил бы кого угодно, будь даже это родной отец, если б он нарушил римский закон, пошел против власти.

«Разве Тиберий не был моим двоюродным братом? Но что значит родство, когда государство в опасности?» Гиппарх сердечно простился с римлянином.

— Ты у меня всегда будешь желанным гостем, — говорил он, низко кланяясь Назике. — Прости, если я сказал что-нибудь лишнее, а мое мнение о Гракхе есть только мое мнение.

И, подняв тяжелую статуэтку, изображающую убивающего себя Галла с уже мертвой женой, он протянул ее гостю.

— Возьми эту скульптуру на память о побежденных в борьбе. Может быть, глядя на них, ты поймешь этих людей, и твое суровое сердце смягчится. Возьми!

Назика с благодарностью взял статуэтку, отметив великое мастерство художника, передавшего человеческие страдания. Но вышел от него с тяжестью на сердце.

Свидание с Гиппархом возмутило его мысли, как камень, брошенный в реку: уже круги отбежали к берегам, пропали, вода успокоилась, а тревожное состояние не проходит. Оно бьется где-то в глубине сознания, как разгоряченная кровь в жилах.

XXXV

Люций Кальпурний Пизон ввел в войсках строгую дисциплину, и когда, после отъезда Фульвия Флакка, рабы напали на конный отряд Тиция и, окружив его, заставили римлян сдать оружие и пройти под ярмом, Пизон рассвирепел: в наказание он заставил Тиция стоять ежедневно, при смене стражи, перед своей палаткой босиком, без пояса, в обрезанной тоге и запретил ему общение с друзьями, пользование баней. А у всадников, бежавших с поля битвы, он приказал отнять лошадей и поставить трусов в ряды пращников.

Разгромив рабов у Мессаны, Пизон отбросил их от Тавромения и тронулся в глубь острова, тесня разрозненные силы противника: он шел на соединение с Публием Рупилием, который, получив приказание сената отрезать Энну от главных сил Клеона, расположенных в окрестностях Гераклеи, Агригента и Гелы, двигался от Катаны. Однако обоих консулов беспокоил Ахей; стремительными налетами он тревожил пехоту и римскую конницу, отбивал обозы, разрушал мосты, отравлял воду в колодцах, сжигал хлеб на корню. За его голову консулы назначили крупную награду золотом, но время шло, а головы мятежника никто не нес.

Легионы Пизона, основательно помятые в нескольких стычках южнее Тавромения (он даже потерял несколько знамен), роптали, двигаясь к Энне, где, говорили они, ожидает их могила, а сенат, разгневанный поражениями, передал главную власть над обоими войсками Публию Рупилию, мужу твердому и решительному. Люций Кальпурний Пизон считал себя обиженным. Подчиняться Рупилию? Исполнять его жесткие требования? Это было для него слишком, и он досадовал на коллегу, которого считал бездарным человеком.

Осадив Энну, расположенную на высокой скале, консулы решили взять ее измором. Не имея сведений о количестве сил и продовольствия в осажденном городе, они посылали опытных разведчиков, которые, проникнув в Энну, обратно не возвращались. Трупы их находили на второй или третий день у лагерных ворот, изуродованные, с дощечками, прибитыми деревянными гвоздями к телу. На дощечках было нацарапано грубыми письменами: «Собака», «Крыса» или «Конский помет».

Перебежчики, к которым консулы привыкли в предыдущих войнах, совершенно отсутствовали. Пизон удивлялся этому, но Рупилий, обдумав положение противника, решил:

— Перебежчиков ждать нечего: рабы или погибнут все до одного или разобьют нас и прорвутся к Клеону.

И стал обдумывать, как победить рабов. Однажды он приказал Пизону:

— Собирайся в поход. Клеон находится южнее Энны, он стягивает свои силы на помощь городу. Приказываю тебе разбить его и гнать без отдыха к морю. Пленных не брать: топить или распинать...

Люций Кальпурний Пизон двинулся глухой беззвездной ночью по неведомой дороге. Воинам было приказано соблюдать тишину. Слева и справа чувствовались невидимые колосья, сухой шепот которых был густо-звещающим.

Легионеры шли привычно-размеренным шагом и дремали от усталости; перед

глазами пронеслись видения: чудилась родина, солнце Италии, женщины в туниках, дети, слышался говор людей. Кто говорит? Они приходили в себя, прислушивались к речам воинов, проснувшихся на несколько мгновений раньше, и догадывались, что слышали сквозь сон говор товарищей.

— Война надоела. Что нам сделали рабы? За что их бьем?

— Слыхали, Гракх убит?

— А земля?

— Землю получим. Триумвиры остались.

Войска шли всю ночь, а утром попали в западню. Рабы окружили их с трех сторон, а с четвертой прыгала, мчась по камням, горная пеннистая речка.

— Войска Клеона? — спросил консул подъехавшего к нему легата Плавтия, своего сына.

— Его.

— Окопаться, вырыть ров, устроить вал с палисадом. Сделать это немедленно.

— Что еще прикажешь, отец?

— Найти человека, который видел бы Ахея, узнай, не найдется ли среди легионов опытный рисовальщик?

— Прислать его к тебе?

— Как можно скорее.

Через час перед полководцем предстал тщедушный легионер.

— Ты — союзник?

— Ты говоришь, вождь!

— Ахея видал?

— Я бежал оттуда из плена.

— Рисовать умеешь?

— На родине, в Кампании, я считался искусным художником.

— Можешь изобразить Ахея?

— Я его помню хорошо.

— За ночь нарисуешь?

— Постараюсь.

И, пошептавшись с ним, консул кликнул Плавтия: — Вечером обезглавить одного из рабов по указанию этого человека.

— Будет исполнено.

На другой день Люций Кальпурний Пизон проснулся от яростного крика: войска Клеона ревели, вопили, дико выли, проклинали. Стрелы, дротики и камни сыпались в римский лагерь.

Консул взглянул на вал: на длинном шесте колыхалась голова Ахея, а на широкой дощечке четко выделялась надпись: «Пес Ахей. Казнен. Вместо него вождем конницы — самозванец. Он поможет нам раздавить Клеона. Он идет сюда. Находится в двух днях пути».

Рабы обезумели. Они кричали об измене, угрожали своим вождям кровавой расправой, требовали взять приступом римский лагерь, разрушить его, жестоко отомстить за смерть Ахея, а потом идти на самозванца, который, наверно, завтра ударит им в тыл.

Напрасно Клеон, бородатый широкоплечий вождь рабов, уверял их, что это — римская хитрость, и если Ахей действительно обезглавлен, то рабы никогда не изменят своим братьям, — сирийцы были непреклонны.

— На приступ! На приступ! — ревели они, окружив Клеона. — Веди нас, вождь! Веди! Боги за нас!

— Безумцы! Мы погибнем! Боги отступятся от нас!

— Веди нас, веди!

— Против римлян!

— Против самозванца!

— Веди, веди!

Пользуясь растерянностью рабов, Пизон приказал выдвинуть вперед катапульты и обстрелять противника.

Огромные балки и глыбы камня падали в лагерь рабов, не столько нанося потери, сколько увеличивая общее отчаяние и смятение: обезумев от страха, рабы бросились бежать, не слушая приказаний Клеона и других вождей, не обращая внимания на угрозы оружием.

Тогда консул приказал зажечь лагерь противника и вывел свои легионы из укрепленного места. Катапульты были поставлены на возвышенные места, и когда лагерь запылал, и Клеон, собравший, наконец, свои войска, бросился на римлян, он был встречен градом тяжелых камней из катапульт, стрелами, мечами, копьями.

Была жестокая сеча. Рабы дрались храбро, не отступая ни на шаг, вызывая к себе уважение римлян.

Клеон, обозревавший с холма поле битвы, увидел, что консул бросает в бой свежие силы: это были воины, побывавшие в Македонии и Африке, в Испании и Сардинии. Что для них представлял этот бой? Военную игру для новобранцев. И они ринулись в гущу неприятеля, точно им приказано было разнять подравшихся рабов.

Клеон понял, что теперь войска его дрогнут, — и не ошибся. Он последовал примеру римлян и ввел в бой остальную пехоту и конницу. Но уже было поздно: прорвав ряды неприятельской пехоты, триарии стали заходить ей в тыл, и Клеон приказал трубить отступление. Это было сделано вовремя, иначе большинство рабов лопало бы в плен или было бы тут же уничтожено.

Люций Кальпурний Пизон поспешно построил легионы и двинулся опять в наступление. Клеон быстро отступал по военной дороге, соединявшей Энну с Агригентом.

Дав легионам однодневный отдых, консул решил чуть свет выступить в поход. Однако он ошибся в своем расчете: враг исчез. Конная разведка, посланная на Агригент, вдоль горной реки, и на Гелу, нигде не обнаружила противника. Окрестные жители уверяли, что войск рабов давно уже не видели.

Пизон задумался: он уверен был, что местное население сочувствует восстанию, и опасался, как бы не поднялись все деревни и города, вся Сицилия, но он вспомнил слова Рупилия и успокоился. Начальник говорил: «Будь я на месте Эвна, я бы вооружил весь остров, всех мужей, молодых женщин, детей с отроческого возраста и двинул бы против врага: я растоптал бы его в неделю, перешел бы в Италию и — тогда... Но эти варвары глупы: они надеются на богов... Что ж, посмотрим, что сильнее — железо или боги».

Распространив слухи, что он идет на Гелу, куда, несомненно, бежал Клеон, Пизон послал ночью небольшую часть войска на Гелу, приказав обойти деревню, у которой он стоял, и свернуть на проселочную дорогу, где должен был дожидаться проводник, а сам выступил в западном направлении, держась левого берега реки. Расчеты его оказались правильными: догадавшись, что Клеон пошел на соединение с Ахеем,

которое, возможно, было только возле Энны (в окрестностях ее находился Ахей), он понял, что оба вождя попытаются снять осаду с Энны и, несомненно, дадут бой Рупилию. Поэтому Пизон быстро двигался вперед, идя с самого утра до позднего вечера.

Разведчики донесли, что они обнаружили рабов в двадцати стадиях. Это заставило консула двигаться быстрее.

Разделив свое войско на две равные половины, он сам принял начальство над одной частью, а другую поручил легату Плавтию, приказав ему перейти реку вброд, а затем, идя правым берегом на север, переправиться против Энны и выйти навстречу противнику.

— Двигаться быстро, даже бегом! Не брать с собой ни палаток, ни продовольствия, только одно оружие. Ступай. Да помогут тебе боги!

Плавтий немедленно отправился в путь.

На другой день разведка донесла консулу, что легат завязал легкий бой с рабами. Пизон двинул свои легионы, нахотившиеся за рощею. Битва была страшная. Обезумевшие рабы бросались в реку, тонули, гибли от мечей, копий и дротиков. Клеон спасся благодаря храбрости и самообладанию. Он прорвался с несколькими тысячами через легионы Плавтия и двинулся на Гимеру. Пизон не стал его преследовать, решив дать отдых легионам, а сам отправился в римский лагерь под Энной.

Войдя в палатку Рупилия, он сказал:

— Приказание твое, коллега, исполнено. Час назад под стенами Энны я разгромил полчища Клеона, — перебил несколько тысяч рабов, можешь взглянуть. Но иди пешком: горы трупов не дадут проехать твоему коню.

XXXVI

Томительно-долго тянулось для Сципиона Назики время в Пергаме, хотя дни занятий были строго распределены и заполнены: одни посвящены философии, другие — астрономии, беседам с Гиппархом, переписке с женой, друзьями. Он получал письма от Люция Кальпурния Пизона и Публия Рупилия, которые находились в Сицилии под Энной. Они сообщали, что осада затягивается, но как только возьмут город — войну можно считать оконченной. «Тогда, — писал Пизон, — останется только добить мелкие остатки варваров, уничтожить вождей Клеона и Ахея». А Рупилий сообщал со свойственной ему обстоятельностью: «Я создаю новые рабочие отряды из местного населения: они должны рыть землю, насыпать валы, исправлять дороги, ковать цепи для мятежников, которые будут взяты в плен».

Иногда Назика бродил по городу. Тоска убивала его, — он не мог ничего делать, не находил себе места. Тогда он выходил из дому (он поселился у Ксантиппа, чтобы ежедневно видеться с Гиппархом) и шел к театру. Он останавливался перед ионийским храмом, в котором почитали обожествляемых царей, смотрел на колонны, увенчанные четырехсторонней капителью, спускался к храму Диониса, возвращался обратно, шел к жертвеннику Зевса, любовался гигантомахией, проходил во двор, где посередине находился огромный мраморный жертвенник, вышиною с дом; он поднимался на широкую площадку, украшенную по краям статуями богов; здесь жрецы закалывали жертвенных животных, а на пепельном холме сваливали золу, и жрец стоял на холме, когда горели в честь богов бедра животных, а внизу волновалась, как море, праздничная толпа.

«И все это пройдет, как сон, — думал он, — народы вымрут, их сменят другие, быть может, варвары, которые создадут свои государства, привьют у себя наше искусство, науки, торговлю, потом придут иные племена, бросятся на них, все разрушат, и так вечно. А затем все возвратится в хаос, чтобы постепенно опять возродиться, и я, Сципион Назика, вернусь на землю точно так же, как возвращаются день и ночь, как возвращаются времена года. Но что я буду делать? Неужели так же, как тогда, поведу оптиматов против Тиберия, и погибнет Гракх, а я так же, как тогда, пойду в изгнание, встречу с Гиппархом? Метампсихоз Пифагора и Платона, роковой круговорот генезиса, вечное возрождение, вечная жизнь!..» Мысли оборвались.

— А ведь все это — химеры, — громко сказал он и оглянулся, боясь, что его услышат, — все эти философские учения — софизмы. Где же истина? Кому она нужна? Вот я: хочу, а не могу вернуться в Рим, даже не имею права жить на своей вилле возле Брундизия...

Невеселый, он вернулся домой, прошел в таламос и, не раздеваясь, прилег на ложе. Но спать не хотелось — осаждали мысли, — они терзали мозг, как Гарпии, и чтобы избавиться от них, он вышел опять из дому.

По улице двигалась пестрая нарядная толпа: пожилые греки в гиматиях и молодые в эскомидах (он видел мужские обнаженные груди в разрезы хитонов, груди нередко волосатые, желто-смуглые от загара), гречанки в полотняных хитонах, похожих на пеплос, опоясанных ниже груди, в мантиях, небрежно накинутых на плечи или покрывавших голову; большинство женщин были одеты в нежные ткани пурпурного цвета, затканые золотом, в косские шелка различных окрасок; иные щеголяли в парчовых мантиях, расшитых орнаментами растений, животных, людей.

Остановившись, Назика смотрел на молодых щеголей, которые ухаживали за женами и дочерьми пергамских купцов, на гетер, поражавших роскошью и тонким вкусом нарядов, на блудниц разных племен и народностей: здесь были стройные белокурые сарматки с грудями девочек-подростков; смуглые иберийки с черными глазами и стрельчатыми ресницами; приземистые широкобедрые эфиопки с белыми, как пена, зубами; высокие египтянки с плоскими грудями и загадочными продолговатыми глазами; грузные лидийки и низкорослые армянки с бесстыжими улыбками; робкие персиянки и аравитянки, хитрые финикийки и еврейки... Перед его глазами мелькали прекрасные лица, но ни одно не возбуждало желаний. «Все эти тела — пища для червей, — думал он, — смерть возьмет свою добычу, она ходит по земле и ищет... Все живое должно умереть, умру и я... Что думать? Предначертанного не избежишь».

Он возвратился домой, лег спать. И снова возник перед глазами Рим, форум с толпами плебеев, Тибрская набережная, сенат, семья, друзья, имения и вилла, украшенная лучшими произведениями греческого искусства.

«Но ведь я верховный жрец и должен вернуться на родину. Не может быть, чтобы я остался здесь надолго!»

К вечеру он почувствовал недомогание — легкий озноб и головокружение. Он не обратил на это внимания, выпил на ночь вина и заснул. Мучили тяжелые сновидения, он горел, не замечая, и когда утром зашел к нему, по обыкновению, Гиппарх, он нашел Назику в постели.

— Что с тобою? — спросил астроном, вглядываясь в изменившееся лицо друга.

— Захворал.

— Я приглашу врача.

— Не нужно.

— Рядом с нами живет Эвриал, искусный грек, второй Гиппократ или Герофил. Он славится на весь Пергам.

К полудню Назике стало хуже, и обеспокоенный Гиппарх привел врача. Это был немолодой человек, крайне близорукий. Он приложил ухо к груди больного, ощупал живот, развел руками.

— Все от болезни духа, — пробормотал он, — твой друг много думает, быть может, тоскует...

— Он — изгнанник... — объяснил Гиппарх.

— Тоска и... небольшая простуда. Болезнь тела излечить нетрудно, а снять тоску способно только отечество. Эта тоска вызывает болезнь легких...

— Выздоровеет он?

— Сам великий Гиппократ не ответил бы на этот вопрос. Через несколько дней Сципион Назика встал. Это уже был не тот человек, каким знал его астроном: он часто задумывался и хотя проводил время в библиотеке, но больше просиживал над свитками папирусов, устремив взгляд в пространство, нежели работал. Беседуя однажды с Гиппархом, он вздохнул:

— Чувствую, дорогой друг, что Рима больше не увижу... Гиппарх, полюбивший римлянина, как брата, стал утешать его, потом сказал:

— Хочешь, поедem вместе в Элладу или Македонию? Или в Иберию? Может быть, утешит тебя любовь? Есть прелестные девушки всюду, а эллинки-гетеры...

— Нет, девушки мне не нужны.

— В македонских лесах много зверей. Почему бы тебе не поохотиться? Ты, кажется, не отстал в этом отношении от Сципиона Эмилиана?

— Я отвык от охоты.

— Искусство, литература...

— ...не идут на ум. Я хочу видеть небо Италии, слышать латинскую речь...

— Разве не слышишь ее в Пергаме?

— Да, но она звучнее, проникновеннее под небом Италии...

— Поедем на Родос. Я уезжаю послезавтра.

— Уезжаешь?

Гиппарх уехал на несколько месяцев, а когда возвратился, Сципион Назика умирал.

XXXVII

Публий Рупилий и Люций Кальпурний Пизон простояли под Энной два года, и это время показалось им настолько долгим, что порой они забывали о Риме, о своих семьях и друзьях, о жизни, которой привыкли жить в столице, о беседах с греческими стоиками, о горячих ваннах и роскошном столе. Они обзавелись смуглотелыми наложницами (обе были от них беременны), питались просто, как легионеры, и если изредка и выпивали, то с осторожностью, помня о военном времени.

Однако Рим напоминал о себе приказами сената, эпистолами жен, детей и друзей, посылками сладостей, вин и подарков. Но все это было быстролетно, случайно и забывалось в вихре битв, стремительных налетов Ахея, отчаянных нападений Клеона.

Однажды, накануне похода против Клеона, Рупилий получил из Рима тревожные известия. Уединившись с Пизоном, он прочитал письмо Квинта Метелла

Македонского, и обоих взволновали строки, писанные торопливой рукой старика:

«...Сенат обеспокоен восстанием Аристоника, побочного сына царя Эвмена II. Боги свидетели, что мы жаждем мира, но Пергамское царство, достояние Рима, должно войти в наши провинции. Этого, как тебе известно, желал сам Аттал III. А этот Аристик посягает на Пергамский престол! Видно, мало его били эфесцы! Он начал с Левки, маленького приморского городка; Смирна и Фокея поддержали его, и он возомнил себя непобедимым. Он занял лидийские города Фиатиры и Аполлониду, созвал под знамена фракийских наемников, освободил десятки тысяч рабов и основал Государство Солнца. Не безумие ли это? А недавно он завоевал Вифинию, Пафлагонию, Каппадокию, Армению и Понт, занял Колофон, Самос и Миндос. Не знаем, чем все это кончится. Берите хоть вы поскорее Энну, иначе сенат усумнится в ваших военных способностях и отзовет вас в Рим».

Рупилий побледнел; гордый, самолюбивый, он не перенес бы такого позора и немедленно покончил бы с собой.

Не дочитав письма, он выбежал из шатра, приказав легатам подготовить легионы к выступлению на рассвете, обошел палатки триариев, беседовал с ними, умоляя не посрамить воинской славы и римского оружия. Старые легионеры обещали уничтожить неприятеля, и успокоенный полководец отправился к Пизону дочитывать письмо Метелла.

Узнав о смерти Сципиона Назики, Рупилий опечалился. Он искренне считал Назику великим человеком, спасшим Рим от тирании Тиберия Гракха, и жалел, что республика потеряла такого гражданина.

Выступив на другой день в поход, Рупилий искусно обошел Клеона, который, не помышляя о возможности нападения римлян, спокойно стоял на отдыхе в междугорье, и бросился на приступ вражеского лагеря. Рабы обратились в бегство, но, окруженные сильным противником, поняли, что выхода нет, и стали сражаться, пока не погибли под ударами мечей разъяренных триариев. Сам Клеон искал смерти, бросаясь на мечи и копья римлян, но воины, твердо помня приказание консула взять его живым, оглушили вождя рабов тяжелым ударом по голове. Он упал замертво, а когда очнулся, — был уже в кандалах: тяжелые цепи гремели на руках и ногах, и он мог ходить только мелкими шажками, часто спотыкаясь и падая.

Уничтожив войско Клеона, Рупилий задумал взять хитростью неуловимого Ахея. Он велел легионерам переодеться в туники, снятые с убитых рабов, и когда воины построились, он с удовольствием объехал их ряды.

Заманить Ахея в ловушку оказалось нетрудно. Рупилий послал в Тавромений, занятый опять рабами, верных перебежчиков и приказал им распустить слухи, что консул Пизон снялся тайком с лагеря и подбирается к войскам Клеона, что он находится в нескольких днях пути от рабов и что еще не поздно спасти Клеона. Узнав об опасном положении вождя, Ахей передал начальствование над конницей Критию и, взяв с собой одну тысячу всадников, отправился под Энну.

Подъезжая к месту стоянки рабов, он удивился, что не видит караулов и никто не спрашивает пропуска. Но он тотчас же подумал, что местность здесь открытая, население на стороне рабов, и Клеону бояться некого...

Въехав в лагерь, всадники спешили. Люди, занятые чем-то у палаток, обернулись к ним, и тут случилось страшное, до того дикое, невообразимое, что Ахей и его воины оцепенели от ужаса: заработали баллисты, катапульты, посыпались стрелы, дротики, засверкали тяжелые копья, мечи, и рабы, окруженные переодетыми легионерами,

заметались, ища выхода из западни, вопя и проклиная предателей. Ахей пытался с несколькими смельчаками пробиться к лагерным воротам, но это оказалось не под силу; Сервий и Аврелий, сражавшиеся с ним рядом, медленно отступали.

— Пришло время проститься, — молвил Аврелий. Сервий понял: он знал, что пощады им не будет. Но Ахей удержал их:

— Еще раз вперед! Не унывать!

Внезапно они остановились. Ворота распахнулись, и что-то тяжелое ударило их по ногам. Больше они ничего не помнили. А когда очнулись, то увидели себя в цепях, на дне глубокой ямы, и рядом с ними сидел голый, окровавленный Клеон.

— Боги отвернулись от нас, — заскрежетал он зубами и дико захохотал. — Как враги взяли вас?

Ахей рассказал. Болела голова, ныли ноги.

Аврелий и Сервий тихо совещались о самоубийстве; они знали, что им, римлянам, пощады не будет: их проступок считался изменой, и беглых воинов ожидала единственная кара — смерть. Но не смерть была страшна, а пытки, и хотя Аврелий говорил, что пытать римских граждан не посмеют, однако не был уверен в этом; он боялся Публия Рупилия, о котором наслышался, как о человеке твердом и жестоком. Сервий же был ко всему равнодушен. Он знал, что их ожидает смерть, и смотрел на пытку, как на начало конца. Мучения? Он перенесет их не хуже Ахея (он помнил, как раба вели на казнь, распинали на кресте, вколачивая в ноги гвозди). Страх? Он знал это слово по названию, но не помнил, чтоб боялся когда-либо; в боях, в жарких схватках он исполнял свое дело спокойно и хорошо, не помышляя об опасности, рубил мечом, как дровосек, защищался от нападений и никогда не был ранен; смерть? Он видел ее сотни раз — гибли его товарищи, враги и все это так просто и не страшно. Упал человек, пронзенный копьем или с отхваченной мечом рукой, рассеченным туловищем и лежит либо в беспамятстве, либо мучаясь — ну и что ж? — если суждено — придет смерть, если суждено — выздоровление. «Как угодно богам», — подумал он и заговорил о еде и питье.

Ахей не боялся мучений. Тогда в Тиндариде он был на краю смерти и теперь ждал равнодушно новых истязаний, оскорблений, пыток. Но его страшила участь конницы. Малоопытный Критий мог двинуться к лагерю Клеона, римляне непременно устроят засаду, и двадцатитысячное войско бесславно погибнет, как стадо баранов. Терзало его и положение Эвна, который, запершись в Энне, ждал помощи от своих полководцев-сподвижников.

Один Клеон ни о чем не думал. На него напало отупение; он молчал, замкнувшись в себя, как улитка в раковину.

Так прошло два дня. Их не кормили и не поили; жажда была мучительнее голода (отвесные лучи солнца жгли нагие тела, возбуждая ее еще больше), и пленники лизали свои цепи, воя от бешенства и отчаяния.

На третий день, когда они сидели в узкой яме в полузабытье, на них упал сверху человек; падая, он рассек тяжелой цепью лицо Сервию и голову Клеону. Оба вскочили, ругаясь. Но, присмотревшись к нему, вскрикнули: это был Критий. Ахей задрожал от страшного предчувствия.

— Конница? — похрипел он. Критий зарыдал.

— Все погибли?

— Не знаю. Мы были окружены, лошади угнаны; оружие похищено...

— Вы спали?!

— Да.

— А караулы?

— Перебиты.

Ахей расхохотался. Смех его был похож на хрип издыхающего зверя.

— Мы дрались голыми руками... камнем...

В полдень им дали поесть и попить. Они набросились на хлеб, как хищники на падаль, рвали его грязными пальцами, набивали им рты, давились. Это была животная жадность, страх, что раздумают и отнимут эту еду, неосмысленное желание урвать кусок друг у друга. Потом они пили, икая и задыхаясь, пили поспешно, разливая из баклаг воду и не замечая этого.

Воины смотрели на них с любопытством. Они знали, что это — вожди, поднявшие много тысяч рабов, и с удивлением присматривались к двум людям, в которых признали римлян.

— Друзья, — заговорил Аврелий, — скажите, что ожидает нас? Если смерть — мы умрем, если пытки... Но нет! Миримские граждане.

Легионеры молчали. Им запрещено было говорить с пленниками.

— Мы боролись за лучшую жизнь... Мы — воины, такие же бедные земледельцы, как и вы!

— Молчать! — крикнул центурион и ударил его прутом по телу. Вспыхнула красная полоса, расширилась, и грудь побагровела.

Аврелий с трудом перевел дыхание, застонал. Он передвинул ноги, закованные в цепи, присел и прыгнул. В одно мгновение его руки опустились на голову центуриона, железо ржаво скрипнуло, и оба повалились на землю.

Центурион был убит на месте.

— Сервий! Убей так же меня...

Бывший легионер был хороший товарищ; умоляющие слова Аврелия заставили его немедленно выполнить просьбу. Он с невероятной силой ударил друга по голове и отвернулся: с его рук капала кровь, а от цепей отваливались кусочки серого мозга.

— И меня! — крикнул Критий.

— И меня! — подхватил Клеон. Сервий грустно улыбнулся:

«А кто же меня? — подумал он, взглянув на товарищей, которых римские воины отгоняли друг от друга ударами копий. — Теперь мы не будем вместе».

Их вывели под стены города, поставили на видном месте. Римские войска были выстроены; на флангах находилась конница. Подъехали верхом на вороных конях Пизон и Рупий, поздоровались с легионами. Воины прокричали громкое приветствие. Заиграли трубы.

Вышел глашатай:

— Осажденные рабы! Сдавайтесь! Никто вам не поможет! Ахей, Клеон и Критий разбиты, войска их уничтожены. Взгляните на ваших вождей!

На стене появился Эвн, окруженный рабами. Он сразу узнал своих сподвижников. Глаза его округлились. Он воздел руки к небу, и его резкий, пронзительный голос прозвучал страстной мольбой:

— О, боги! Помогите нам! Спасите вождей! Дайте нам силу разбить врагов!

Он смотрел на Ахея, Клеона, Крития и Сервия, закованных в кандалы, видел их лица, и сомнение закрадывалось в его душу: «Неужели боги не сжалятся над ними и над нами? Неужели они отвернулись от нас?»

Между тем глашатай прокричал вторично:

— Казнь беглого воина!

Центурион, присутствовавший при распятии Ахея возле Тиндариды, узнал Сервия. Он сообщил консулам, что легионер перешел на сторону рабов, и Рупилий постановил казнить его перед стенами осажденного города. Приказано было выстроить войска и привести пленных вождей.

Сервия раздели донага. Центурионы вышли из рядов, вооружились виноградными лозами и стали наносить беглецу удар за ударом, по мере того как он двигался к месту казни. Спина и зад Сервия были в крови, лозы свистели — жжжа... жжжа... жжжа... — а он молчал, стиснув зубы, и медленно шел, с трудом передвигая ноги, закованные в тяжелые цепи.

Удары сыпались на него непрерывно. Центурионы устали. И когда Сервий, согнувшись, с трудом прошел под ярмом, они отошли, отдав его в руки палача.

В это время со стен Энны послышались крики:

— Слава нашему другу!

Сервий поднял голову и воскликнул:

— Не сдавайтесь, а ты, Эвн, лучше умри!

Он не договорил; несколько рук схватили его за плечи, поволокли. Он рванулся, отбросил от себя людей, и они покатались по земле, яростно ругаясь. На помощь им поспешили другие. Они овладели этим сильным человеком, и он больше не сопротивлялся.

Подойдя к бревну, он опустил на колени, положил шею на грубое дерево. Взмахнула серебряным огнем острая секира, тяжело упала на шею. Хлынула кровь, и голова откатилась. Палач бросился за нею.

— Такая же кара ожидает беглецов, трусов и ослушников! — крикнул глашатай, указав на голову Сервия, воткнутую на копьё.

Легионы угрюмо молчали.

Публий Рупилий выступил из толпы военачальников.

— Бить остальных злодеев скорпионами! — загремел его голос. — Распять перед стенами Энны!

Когда бесчувственные тела свесились на ремнях, Рупилий приказал отливать их водой. Потом надели им на шею колодки, пригвоздили руки.

Со стен доносился грозный рев рабов, протяжный вой невольниц. В этих криках слышались призывы к мести, плач по убиваемым братьям, надрывная тоска, страшная безысходность. Рев и вой возбуждающе действовали на легионы; они волновались... Воины самовольно выходили из строя, громко роптали. Тогда Рупилий распорядился прогнать рабов в город, — засвистели стрелы, копьё, посыпались камни, и стены опустели; но крики долго не умолкали. Энна выла и редела, и три распятых человека, умирая, слушали всю ночь вопли осажденного города.

XXXVIII

Энна сдалась на произвол победителям. Город был разграблен войсками, сожжен и разрушен до основания. Толпы женщин и детей продавались за бесценок в рабство. Тысячи рабов, закованных в кандалы, дожидались своей участи под охраной легионеров.

Эвн был взят в плен: у него не хватило решимости покончить с собою. Все время он надеялся на помощь богов и с виду был спокоен.

Воины, глумясь, подвели его к крестам трех вождей; он взглянул и задрожал: перед ним висели скелеты, белые, кое-где покрытые кусками ссохшегося вонючего мяса; черепа смотрели жуткими впадинами глаз, выклеванных птицами.

— Видишь? — со смехом кричали легионеры, толкая его в грудь и бока.

Они плевали ему в лицо, вспоминая долгие годы этой рабской войны, лишения, суровые взыскания центурионов, невыплату жалованья, пени, налагаемые за ничтожные проступки; они кричали, что Рим слишком милосерд к злодеям, которые в благодарность за кров, пищу и одежду платят изменою; они вопили, требуя самой жестокой расправы с самозванцем.

— Молчите вы, рабы! — крикнул Эвн. — Я, царь Антиох, говорю...

Смех легионеров оглушил его; держась за животы, они хохотали, выкрикивая:

— Не царь, а дерьмо!

— Выкидыш блудницы!

— Падаль!

Эвн понял, что все кончено: боги отступились, люди презирают и оскорбляют. Он взглянул на закованных рабов, на разрушенную Энну и пожалел, что не покончил с собою. Тяжелая слеза покатила по его бронзовой щеке.

Он знал, что его ожидает казнь; Ахей, Клеон и Критий уже погибли; их скелеты вопят о мести... Но кто будет мстить? Кто?

Легионы двигались на Тавромений, рабов гнали по военной дороге, и Эвн принужден был шагать, под свист бичей, рядом с пленниками, которые вчера еще были воинами.

Консул Рупилий ехал во главе легионов на вороной лошади с белым пятном на лбу. Воины бодро шагали, распевая песни. Они шли по безлюдным местам, — деревни опустели, в городах осталось по несколько десятков человек, а еще недавно цветущие виллы чернели печальными пожарищами.

Люций Кальпурний Пизон получил приказание двинуться в западную часть Сицилии. Он шел быстро, развернутым строем, рассыпав отряды конницы по всем направлениям, и уничтожал без сожаления всех подозрительных рабов, невзирая на их пол и возраст.

Оба консула — один, шедший на запад, а другой — на восток, оба представители сената и поборники сурового римского закона, действовали беспощадно: уничтожая людей потому только, что они были рабы и не могли не сочувствовать мятежникам, были уверены, что поступают честно, охраняют целостность и спокойствие республики.

XXXIX

Лаодика встречала Сципиона Эмилиана на пороге азиатской комнаты босиком, с распущенными волосами, в прозрачной тунике, сквозь которую просвечивало юное тело. Она любила этого гордого и сурового римлянина, убеленного на висках сединою, первой любовью девушки и бросалась ему на грудь с таким страстным нетерпением, что он, сжимая ее в объятиях, думал: «Неужели меня, старика, можно еще любить? Она годится мне в дочери, а ведь оторвала меня от жены, овладела моим сердцем».

Однажды, когда они находились в азиатской комнате, внезапно приехала Кассандра. Узнав от рабынь, что у дочери бывает патрон, она неслышно вошла в комнату и остановилась на пороге, бледная, растерянная.

— Лаодика! — крикнула она надломленным голосом. Дочь вскочила, — волосы

окутали плечи и груди длинным черным покрывалом.

Не замечая Сципиона, точно его не было, Кассандра подошла к Лаодике, грозно сказала громким шепотом:

— Бесстыдница! Что ты делаешь? Знаешь, как погиб твой отец? Спроси его.

Побледнев, Эмилиан встал. Откладываемое со дня на день объяснение стало неминуемым, и он решил рассказать обо всем, ничего не утаивая: «Зачем скрывать? Если она любит, если справедлива, то все останется, как было, ну, а если подпадет под чужое влияние — воля богов».

Кассандра взглянула на него, перевела глаза на Лаодику; дочь дрожала всем телом, догадываясь. — Что же ты молчишь?

Лаодика закрыла лицо руками.

— Не надо, мать, не надо... Я не хочу... Оставь нас... Бледная, она опустилась на подушки, не зная, что делать.

Кассандра неслышно удалилась.

Курильницы дымились тонкими благовониями, ворохи цветов, вздымавшихся из ваз, пахли одуряюще-пряно, как тело Лаодики, умащенное миррой и нардом.

Сципион сел рядом с нею, взял ее руку.

— Выслушай меня...

И он принялся говорить о темных делах Лизимаха, указал на жадность, толкнувшую его к торговле блудницами, а рассказывая об измене, не выдержал:

— Я все мог простить, только не это! — воскликнул он, отпустив руку Лаодики. — Наш закон суров, и я, римлянин, обязан ему повиноваться...

Она задрожала.

— И я присудил его к смертной казни.

Эмилиан ожидал, что она вскочит, зарыдает, начнет упрекать его, рвать на себе волосы, но этого не случилось. Она сидела, обхватив обеими руками голову, неподвижно, как изваяние, и Сципион не знал, что сказать ей, как утешить.

Так они просидели долго — молча, как в забытьи, наконец, он сделал движение, чтобы встать и уйти. Она подняла голову (глаза ее были грустны и влажны) и тихо сказала:

— Ты принял нас под свое покровительство, а он порочил твое честное имя... изменил твоей родине... Ты поступил, господин мой, именно так, как следовало поступить...

— Лаодика, я хотел пощадить его, но не имел права...

— Я не осуждаю тебя...

И все же на сердце Эмилиана была тяжесть.

— Да хранят тебя боги, — тихо молвил он и пошел к двери.

Лаодика догнала его и, нежно обняв, шепнула:

— Прости, господин, что мать нарушила твой покой. Приходи завтра. Я люблю тебя больше жизни.

XL

Луцилий ехал на свои сицилийские виллы.

В Риме знали, что восстание на острове подавлено, и десятки публиканов собирались в путь с намерением приняться, наконец, за прерванные занятия.

Луцилий ехал в сопровождении нескольких рабов, которых взял с собой в родной

Суэссе. Он высадился в Милах, миновал Мессану и быстро ехал по военной дороге, стараясь поскорее добраться до Тавромения, а оттуда до Катаны. Чем дальше проникал он в глубь страны, тем больше охватывала его грусть.

На голубом небе, вздымаясь, дымилась Этна, печально ширились желтые необрушенные поля, выскакивали из-за зеленых холмов обугленные дома, виллы, разрушенные деревни и города, высыпали на дорогу голодные женщины и дети, в рубищах, как нищие...

Сердце Луцилия сжималось. Житница Италии, казалось, погибла навсегда, и он уверен был, что от его вилл ничего не осталось.

Широкая военная дорога неприветливо приняла путников: из канав торчали скелеты людей и животных, в стороне чернели кресты с распятыми рабами, и трупный запах заставлял людей зажимать носы. А когда Луцилий выехал из Катаны на дорогу, ведущую в Энну, глаза его растерянно замигали, с недоумением обратились на спутников: бесконечная дорога была усажена справа и слева, как деревьями, большими черными крестами, и на них висели нагие люди со сведенными судорогой лицами, с глазами, вылезшими из орбит, с перебитыми коленями. Превозмогая ужас, сжимавший сердце, понукая коня, он старался не смотреть на двадцать тысяч распятых. Однако глаза поневоле обращались на лица, искали хоть бы в одном из этих несчастных рабов признака жизни. Но все были мертвы, иные, может быть, в обмороке, и только от одного небольшого креста послышался протяжный стон и замер.

Луцилий остановил коня, взгляделся в юное лицо сирийца: из запекшихся губ тянулась тонкая, как нить, клейкая слюна, приликая к смуглой груди, мутные, почти оловянные глаза смотрели пристально и не видели всадника, ноги были искривлены, смяты, — очевидно, раба сочли мертвым и, по обычаю, перебили ему колени.

— Пить... — донесся слабый голос.

Луцилий кликнул раба, приказал напоить распятого ключевой водой, обмыть ему лицо.

Щеки юноши слегка порозовели, взгляд стал осмысленным.

— Да воздадут тебе боги, — шепнул он, и голова его свесилась. Безобразная судорога свела лицо — он был в беспамятстве...

Луцилий, сдерживая накопившееся в груди негодование, готовое прорваться руганью и проклятьями, погнал коня. Он ненавидел Рим за жестокость и издевательства, за угнетение союзников, за разврат, наслаждения и шептал:

— О, если бы рабы восторжествовали! Если б они завоевали Рим, этот грязный лупанар, в котором засели оптиматы, это жирные, как клопы, сводники! Если б они разрушили этот подлый город и распяли на крестах все население! И тогда бы я сказал: «Слишком милосердное возмездие!»

Книга вторая

I

Блоссий скитался по островам Архипелага, размышляя о смерти Тиберия, и нигде не находил себе покоя. «Что значат самые прекрасные создания рук человеческих в

сравнении с человеком, творцом их? — думал он. — Разве Тиберий стоил меньше этого золота и драгоценных камней? А я считал эллинские мраморы, изящные изделия из дорогих металлов выше и важнее человеческой жизни. Так ли это? Ведь создает их человек, и не будь его, не было бы этих удивительных вещей, все стало бы мертвым, бездушным, ненужным. А борьба за плебс? Тиберий отдал за него свою жизнь, за него же и за рабов борется в Азии Аристоник, и оба эти человека, погибший и восставший, делают одно дело...»

Эти мысли не давали ему покоя. И чем больше он думал о Тиберий, тем ближе и роднее казался ему Аристоник, и тем острее ощущал он какое-то неприятное чувство: зачем было ему, Блоссию, ввязываться в сношения с всадниками и торопить Тиберия с выступлением?

Его мучила совесть, он не мог смотреть на вывезенные из Рима драгоценности и однажды, после долгих скитаний по острову Хиосу, решил ехать к Аристонику.

Он высадился в Элее и, навьючив на мулов свои сокровища, тронулся в путь.

Аристоник стоял лагерем в верховьях реки Каика, готовясь к наступлению. Войско его состояло из значительных отрядов фракийских наемников, но в основном — добровольцев из свободных бедняков и отпущенных на волю рабов, которые теперь стали гелиополитами — гражданами Государства Солнца.

Продвигаясь в глубь страны, Блоссий слышал зажигательные рассказы о Аристонике, о Государстве Солнца, о братстве и равенстве людей и не знал, где правда, где выдумка. И хотя слухи были разноречивы, но общая идея борьбы доходила до него без искажений, огромная и великая, перерастающая мысли и человеческие стремления.

Он увиделся с Аристонику недалеко от лагеря. Вождь гелиополитов верхом на коне объезжал новобранцев, которых обучали военачальники-греки.

Аристоник был молод, приветлив, доступен и величественен. Грубоватая красота румянощекой спартанской девушки, твердость воли в глазах, решимость в лице, ловкость движений, громкий голос, вера в победу — все это привлекало людей к этому необыкновенному человеку. И когда Блоссий подъезжал к лагерю, Аристоник, увидев старика-путника, поехал к нему навстречу в сопровождении нескольких гелиополитов.

— Кого шлют добрые боги? — воскликнул он, спешившись и подходя к Блоссию. — Привет мудрости, взирающей на нас из-под этих седин!

— И тебе, Атталид, привет, слава и благосклонность богов! Я — изгнанник Блоссий из Кум, и, припадая к твоим коленям, умоляю, как Одиссей, о дружбе и гостеприимстве!

Аристоник протянул ему руки:

— Я слышал о тебе. Ты друг Тиберия Гракха.

— Горе мне! Господин мой погиб...

— Знаю, но во мне — клянусь Ададом! — найдешь такого же борца за благо народа, каким был благородный Гракх!

— Я ожидал этого, — взволнованным голосом выговорил Блоссий, и губы его задрожали. — Прими же от меня в дар эти сокровища. Употреби их на наше великое дело борьбы и освобождения.

Радость сверкнула в черных глазах Аристонику.

— Подойди ко мне, отец по возрасту, мудрец по уму и брат пред солнечным лицом Адада! — воскликнул он и, обняв Блоссия, стал говорить медленно, проникновенно. — Неимущие и угнетенные объединились под моим знаменем — под

знаменем бога-Солнца, и я назвал их «гражданами Солнца», да, гелиополитами, — повторил он, — ибо это имя родилось у истоков Оронта, между Ливаном и Антиливаном, в сирийском Гелиополисе. И я призвал под свои знамена людей, жаждущих свободы и равенства, замкнул их в братства Адада и отделил их от неверных и угнетателей.

Блоссий вспомнил беседы свои с сирийскими купцами, торговавшими на островах Архипелага (они почитали бога Адада и богиню Атаргатис, были членами братств, распространенных в греческих городах), и улыбнулся светлой старческой улыбкою:

— Да будут равны эллин и варвар, мужчина и женщина, свободный и раб! Да не умрет святая идея борьбы Тиберия Гракха!

Радость обожгла жарким пламенем щеки Аристоники. Он взял Блоссия под руку и, подведя к своему боевому коню, усадил на него. Затем взяв лошадь под уздцы, он повел ее к лагерю, при восторженных криках гелиополитов.

Глядя на белобородого старика, восседавшего на царском коне, воины принимали его за вешего прорицателя, посланника богов, и, расступаясь перед ним, шептали:

— Смотри, сам вождь оказал ему царские почести! Сам вождь, как конюх, ведет его коня!

Аристоник шел среди толп народа, слышал речи и радостные клики воинов, и Блоссий ехал, тоже прислушиваясь к говору людей, и оба эти человека улыбались, как братья, соединенные узами одной идеи, одной радости, единой борьбы.

II

Блоссий неотлучно находился при Аристонике.

После подавления сицилийского восстания рабов вождь гелиополитов начал опять военные действия. Блоссий видел стремительное наступление его войск: как разъяренное море, выступившее от берегов, пенясь и бушуя, мчится неудержимой стеною вперед, так мчалась с высоко занесенными мечами конница, во главе с Аристоником, а за ней быстро шагала многочисленная пехота, звеня оружием; он видел страшный разгром римлян под Левками, которые осаждал Красе, видел взятого в плен, а затем убитого фракийским воином этого сторонника Гракховых законов и искренно оплакивал его, сидя в шатре Аристоники.

А ранней весной Государство Солнца внезапно пошатнулось, как здание, поколебленное землетрясением. Казалось, Фортуна отвратила свое лицо от гелиополитов. Великое дело, взлелеянное Аристоником, поддержанное неимущими, угнетенными и рабами, помощью городов, ненавидевших господство Рима, было сразу уничтожено: консул Перпенна напал врасплох на Атталида и разбил его. Вождь гелиополитов укрылся вместе с Блоссием в Стратоникее, а потом, после изнурительной осады, принужден был сдаться.

Накануне сдачи города Блоссий беседовал с Аристоником.

— Обоим нам пришел конец, — говорил старик, покачивая седой головою. — Вот яд, а там — унижение и позорная смерть. Выбериай.

Спокойная улыбка осветила лицо вождя:

— Будущее — в руках солнечного Адада и цветущей Атаргатис. Я еще молод, и если меня пощадят, то я опять подыму народы, опять поведу их к победам, снова воздвигну Государство Солнца... Я верю, что наше дело не умрет!

— И я тоже верю, Атталид, но римские законы суровые, и пощады быть не

может. — И, сняв с пальца перстень, Блоссий тихо прибавил: — В этом ониксе — две-три капли яда. Для обоих нас хватит...

Аристоник молчал.

— Неужели ты трусишь? — с негодованием воскликнул старик. — О, Атталид, Атталид, не заставляй меня отречься от тебя!

Аристоник грустно улыбнулся:

— Друг, дорогой друг! В боях я был всегда впереди гелиополитов — и неужели я трусил? В отчаянных вылазках и налетах конницы я первый врвался в ряды неприятеля — и разве я трусил? Нет, смерти я не боюсь, не боюсь плена, унижений и позора, но я должен до конца довести свое дело. Я не могу бросить своих братьев, не могу отказаться от надежды, которая меня преследует, ходит по пятам моих мыслей... Скажи, хорошо ль было бы, если б я отравился, а боевое счастье римлян пошатнулось? Нет, я должен идти своим путем.

— Итак — ты сдаешься врагу, — с усилением прошептал Блоссий. — А когда?

— Завтра утром.

Губы старика подергивались.

— Не пора ли проститься? — тихо вымолвил он, глядя с любовью на Аристонику.

Они обнялись. И долго стояли в молчании, не в силах оторваться друг от друга. На глазах обоих сверкали слезы.

Когда Аристоник вышел на улицу, Блоссий открыл оникс и подставил фиал с вином: две мутные тяжелые капли, просочившись сквозь щель драгоценного камня, звонко упали в чашу, и красное вино потемнело, утратив свой цвет. Резкий запах распространился в комнате.

Отбросив от себя перстень, Блоссий обошел мраморы, вазы, картины, потрогал их руками, точно прощаясь с ними, и прилег на ложе. Потом взял чашу и спокойно запрокинул голову. Вино было выпито.

Консул Аквиллий, заменивший умершего Перпенну, боролся с гелиополитами всеми средствами: отравлял питьевую воду, наводнил Азию соглядатаями из местного населения, не пренебрегая даже помощью блудниц, которых посылал на улицы завлекать гелиополитов в сети тонкой хитрости и обмана.

Наконец Азия была усмирена, и Аристоник, закованный в цепи, отправлен в Рим. Казалось, все надежды вождя рушились, и жизнь догорала в его теле, как пламя в светильнике.

Его привели в сенат и, допрашивая, били по щекам, плевали ему в лицо — ему, вождю гелиополитов, основателю Государства Солнца, государства братства и равенства!

Но он был спокоен. Смело глядя в разъяренные лица сенаторов, он говорил:

— Мое дело не умрет. Придут мстители, которые...

Вой оборвал его слова.

Его схватили и отвели в Мамертинскую темницу. А вечером вошли люди, неожиданно повалили на холодный каменный пол и набросили петлю на шею.

Он отбивался от них, потому что хотел жить и бороться. Но перед глазами уже была смерть. Он видел ее, и все-таки маленькая надежда, как трепещущая жилка, билась в его сердце: «Если я уцелею, будет основано опять Государство Солнца, и я опять...»

Петлю затягивали сильнее, упираясь ногами в крепкое, молодое тело. Он посинел, забился, как раненое животное, потерял сознание. А когда тело тяжело вздрогнуло и

успокоилось, палачи, избегая смотреть друг другу в глаза, неслышно удалились.

Сенат был удовлетворен: вождь гелиополитов перестал жить.

III

После смерти Тиберия распределение земель не прекратилось.

Аппий Клавдий Пульхр, удрученный убийством зятя, которого любил, как родного сына, и горем дочери, заболел от потрясения и, выздоровев, долго не мог приняться за работу. Публий же Лициний Кресе Муциан, тесть Гая Гракха, оратор и знаменитый юрист, мало занимался распределением земель; верховный жрец после смерти Сципиона Назики, он вскоре получил консулат и помышлял о войне с Пергамом, надеясь захватить огромные сокровища, накопившиеся в этой стране, и стать одним из влиятельнейших мужей в Риме. Один Гай работал больше всех: ему казалось, что тень Тиберия невидимо присутствует при распределении, и он рад был, что память о брате жива среди земледельцев, среди городского плебса; народ возвеличил убитого трибуна, восхваляя его, громко крича о преступлении сенаторов, и воздвиг в честь его жертвенник. Каждое утро бородатые плебеи, женщины, девушки, дети приносили Тиберию жертву, а иные молились, воздевая руки, умоляя о помощи, прося защиты от нобилей. Оптиматы боялись препятствовать распределению земель, а консул этого года Публий Попилий хвастался впоследствии, что он первый очистил казенные земли от пастухов и заселил хлебопашцами.

Когда Кресе Муциан погиб при Левках, а Аппий Клавдий умер, пришлось спешно произвести выборы; триумвират был пополнен вождями народа Фульвием Флакком и Папирием Карбоном, другом Тиберия. Это были энергичные мужи; они усердно принялись за работу, добиваясь, чтобы раздача земель производилась по всей Италии, а Гай Гракх настоял на непрременной установке межевых камней для предотвращения всяких недоразумений.

В Риме ходили слухи, что триумвиры действуют беспощадно, и Гай решил выехать в местность, где работали коллеги.

Был полдень, когда Гракх на взмыленной лошади прискакал в приморский городок в сопровождении раба. Площадь была густо усеяна народом. Издали он увидел на возвышении человека: это был Фульвий Флакк. Он что-то говорил, а стоявший рядом с ним глашатай кричал громким отрывистым голосом:

— Слушайте! К завтрашнему дню! Граждане обязаны дать сведения об объеме государственных земель! Речь о виллах Люция Опимия, Ливия Друза, Люция Кальпурния Пизона и Публия Попилия Лената! В противном случае будем руководствоваться старинными росписями...

— Это неправильно, — возразил пожилой вилик, пробираясь сквозь толпу к Фульвию Флакку. — Мой господин Ливии Друз купил эти земли недавно. А старинных росписей мы не знаем.

— Болтай да поменьше! — вспыхнул Фульвий Флакк. — Пусть господин твой докажет, что это — частная собственность!

— Нечем доказывать.

— Тогда заберем.

Другой вилик заявил, что господин его Люций Опимий владеет землей с незапамятных времен и что эта земля никогда не была общественной.

— Она наследственная, — волновался управляющий. — Господин мой не отдаст ее

без суда...

— Доказательства есть?

— Слово моего господина.

— Молчи, раб! Завтра будем делить...

Гай Гракх с трудом пробрался к Фульвию Флакку.

— А, это ты! — воскликнул нобиль, весело приветствуя молодого друга. — Какие добрые боги послали тебя в эту местность?

— Юпитер мечет грома...

Фульвий догадался, что Гай приехал с недобрыми вестями и, распустив народ, сошел с трибуны.

— Здесь неподалеку есть хорошая таверна, — молвил он, понизив голос, — можно хорошо позавтракать и выпить неплохого вина.

— Идем.

В таверне они сели за столик и потребовали жареной свинины, белого и красного вина.

— Дела плохи, — говорил по-гречески Гракх, моя руки в глиняной чашке, которую держала услужливая хозяйка, — нобили жалуются на нас в сенат, но отцы государства, — презрительно подчеркнул он, — не решаются вмешиваться в нашу работу. Они боятся плебса. Они понимают, что сила на нашей стороне... Все эти оптиматы — трусливые собаки, и бояться их нечего. Опасен только один...

— Сципион Эмилиан?

— Он. Помнишь закон Папирия? Карбону удалось добиться тайного голосования в комициях, а предложение о переизбрании народных трибунов любое число раз было отвергнуто народным собранием под нажимом Сципиона и Лелия.

— Да, Сципион — враг. Вспомни, что он ответил на вопрос Папирия, справедливо ли поступили сенаторы, умертвив Тиберия? «Если он хотел овладеть республикой, то справедливо». И когда толпа закричала: «Долой тирана!» — он сказал: «Враги отечества справедливо желают моей смерти, ибо невозможно, чтобы Рим пал, пока жив Сципион, и чтобы Сципион остался в живых, пока падет Рим». Но толпа продолжала шуметь, и он воскликнул: «Пусть замолчат те, для кого Италия мачеха! Не думайте, что я стану бояться тех, кого сам привел в цепи, только потому, что их расковали!» А ты, Гай, крикнул, что его следует убить!

— Я и теперь думаю то же...

Задумавшись, Гракх пил вино маленькими глотками.

— Что еще нового?

— Казнен Аристоник...

— Не устояло Государство Солнца, — криво усмехнулся Фульвий Флакк. — Не так же ль рухнуло сицилийское царство рабов? С великаном трудно бороться...

Помолчали.

— Как-то случайно я попал на сходку, — заговорил Гай, — обсуждался вопрос о дороговизне хлеба. Кого там не было! Греки, египтяне, халдеи, персы, иудеи, блудницы, уличные мальчишки, рабы, невольницы, плебейки — все это толпилось, кричало, плакало, ревело, выло, визжало. И в этом шуме преобладало одно слово: «Хлеба!» Я был поражен и ушел с болью в сердце. Жить так нельзя: одни имеют все, другие — ничего...

Фульвий Флакк сжал ему руку, протянул чашу.

— Выпьем за твой трибунал, — молвил он заплетающимся языком. — Будь

решительнее и смелее великого твоего брата! Но и он боролся не напрасно: хлебопашцы получили земли.

Слезы сверкнули на глазах Гая.

— Благородный мой брат, — прошептал он. — Кто добрее, сердечнее был тебя? Толпа, за которую ты боролся, любила тебя, но не могла поддержать и теперь поклоняется тебе, как богу, приносит жертвы. Ты погиб за великое дело!..

— Не тужи, Гай, он счастливее нас. Выпьем лучше за плебс! А теперь позовем эллинку-певицу. Я привез ее из Рима, чтоб она услаждала слух игрой на кифаре и чудесными гекзаметрами Гомера. Эй, хозяйка! — закричал он, хлопнув в ладоши. — Приготовь нам хороший обед на троих, да не забудь подать лучшего вина.

Зная щедрость Фульвия Флакка, хозяйка низко поклонилась:

— Что прикажут благородные мужи? Фульвий задумчиво почесал на щеке бородавку:

— Подашь сочный окорок, жареного гуся, румяного, как девушка, гусиную печень с вкусными приправами, а в молочного поросенка положишь начинку из нежного мяса ягненка, цыплят и голубей; да не забудь перед обедом подать соленых грибов. Прикажи рабыням принести амфору лучшего вина, корзину яблок и груш... А теперь позови госпожу.

Вскоре вошла молодая гречанка, с веселой улыбкой на смуглом лице, неся кифару. Она поклонилась гостям и, встретившись глазами с Гаем, загляделась на него.

— Садись, Кратесиклея, спой нам из Гомера.

— Из «Илиады»? — спросила гречанка, зная, что Фульвий Флакк предпочитает «Илиаду» «Одиссее», и, ударив по струнам, запела:

За руки взявши друг друга у кисти, там в пляске кружились
Юноши вместе и девы, берущие вено большое.
Девы в льняных покрывалах, а юноши в светлых хитонах,
Сотканых крепко из ниток, для блеска чуть маслом
натертых.

Эти увенчаны щедро сплетенными пышно венками,
Те на ремнях посеребренных носят мечи золотые.
То они все в хороводы ногами, привычными к пляске,
Вместе кружатся легко, с быстротою гончарного круга,
Если горшечник, в руках укрепив, его бег испытует,
То разовьются в ряды и одни на других наступают.
Вкруг хоровода теснится большая толпа, наслаждаясь,
А посредине поет и под лад себе вторит на цитре
Богopodobный певец. И все время, как пение длится,²¹
Два скомороха проворных вертятся и прыгают в круге

— Хорошо! — воскликнул Фульвий Флакк и потрепал ее по щеке. — Хвала богам, призвавшим такую обаятельную красоту, как ты, к жизни! Когда я подумаю, что сегодняшней день — мой, мое сердце возносится с благодарностью к Фебу-Аполлону и к Музам, окружающим его. Я счастлив, что поклоняюсь твоей красоте и люблю твоим пленительным лицом с черными солнцами веселых глаз, твоими зубами,

²¹ Гомер. Илиада. XVIII, 595–606. (Перевод Н. М. Минского.)

белыми, как снега Скифии, твоими стройными руками и ногами...

Гракх прервал его, обратившись к Кратесиклее:

— Откуда ты родом и как очутилась в Риме?

— Родом я из Митилены, — певучим голосом ответила гречанка, — а приехала в Рим с отцом. У него была богатая лавка на форуме, но во время восстания Тиберия Гракха он погиб...

— Каким образом?

— Он примкнул к Тиберию и был убит на месте Сципионом Назикою...

Гай опустил голову:

— Ну, а теперь... как ты живешь?

— Лавку я продала, — печально сказала гречанка, и веселые глаза ее затуманились. — А живу тем, что заработаю. Вот господин мой, — кивнула она на Флакка, — покровительствует мне...

Между тем рабыни устали стол кушаньями и принесли воду для омовения рук.

Фульвий Флакк окинул стол веселым взглядом и, взяв кусок поросенка с начинкой, стал есть, усердно потчует Кратесиклею.

— Будь добра, возьми этот кусочек, — говорил он, указывая на блюда, — а теперь этот... гусяная печенка вкусна, как поцелуй... А эта начинка тает во рту... Умоляю тебя, скушай этот ломтик ветчины: от ее жира твои щеки заалеют, как румяная Эос...

Слушая его, Гракх смеялся:

— Ты, дорогой Марк, настоящий поэт! Тебя вдохновляют три вещи: любовь, вино и роскошный стол.

— Ты угадал, Гай! Я знал, что ты умен, как Нестор, и ждал этих слов. Нужно жить для тела, а душа (он махнул рукою)...душа, дорогой мой, рассеивается после смерти, обращаясь в атомы и пустоту, и она — поверь мне — неспособна тогда ни мыслить, ни чувствовать.

— Э, запахло Эпикуром, — улыбнулся Гай и встал, чтобы налить вина.

Но гречанка предупредила его и, наливая вина в его кубок, шепнула:

— Кто ты?

— Гракх.

Вскрикнув, она пролила вино:

— Брат Тиберия?

Он кивнул, недоумевая.

— Ты отомстишь за него, за моего отца, за сотни погибших? Ты должен это сделать. О, умоляю тебя... Я помогу тебе, клянусь Немезидою!

Фульвий Флакк прислушался к их беседе.

— Я не ошибся в тебе, Кратесиклея, — громко сказал он. — В твоей груди бьется мужественное сердце воина.

IV

Гай Гракх и Фульвий Флакк, сопровождаемые толпой земледельцев, выехали из городка, направляясь в виллы нобилей. Они решили действовать при разделе полей по своему усмотрению и, не получив от виликов необходимых сведений, приказали землемерам нарезать лучшие участки, по 30 югеров в каждом, и поставить межевые камни.

Это были поля Ливия Друза и Люция Опимия, самые плодородные в этой области.

Землепашцы, сильные рабы, высокого роста и крепкого телосложения, закованные, подобно виноградарям, в цепи, работали декуриями, по десяти человек в каждой, и подчинялись вольноотпущеннику. Они исподлобья посматривали на толпу людей, которая делила поля, и мрачные глаза их ничего не выражали.

Гракх подошел к ним, спросил декуриона, все ли рабы на работе, и получил краткий ответ:

— В эргастуле шесть невольников: биты бичами за лень и дерзость.

— Рабынь у вас много?

— Двадцать сильных иллирийских невольниц чистят хлевы.

— А еще?

— Есть пряжи, швеи и птичницы.

Фульвий Флакк успел уже осмотреть виллу и, подойдя к Гаю, сказал:

— Земли и постройки в порядке. Эти негодяи Друз и Опимий сумели хорошо повести хозяйство. Но краденое (я не сомневаюсь, что это — общественная земля) должно быть отнято у воров.

— О, как я ненавижу этих злодеев! — с искаженным лицом вымолвил Гракх и приказал землемерам приступить к разделу.

Фульвий, просмотрев списки, задумался:

— Послушай, Гай, государственные земли, находившиеся в тридцати пяти трибах, почти все разделены. Теперь нужно приступить к участкам, захваченным союзниками.

— А чем мы вознаградим за это союзников?

— Я добьюсь консулата и внесу закон о даровании им прав римского гражданства. Я давно уже подстрекаю союзников к возмущению, и они непременно восстанут, когда будут готовы...

— Да, союзники должны получить права... И все же мы приступим немедленно к распределению их полей. Ведь и среди союзников есть бедняки, которые находятся в положении римских земледельцев.

— Да, богачи душат их, — согласился Флакк, — а мы своими действиями возмутим их и облегчим участь неимущих.

Как предполагал Фульвий, так и случилось: захват триумвирами полей вызвал страшное негодование среди союзников. Они обратились в сенат, и представитель их говорил, едва сдерживаясь от бешенства:

— Как нас, опору республики, лишать земель? Кто, как не мы, содействовали могуществу государства, выставляя больше войск, чем вы, платя значительные подати? И нас, не имеющих прав римского гражданства, лишать еще полей в пользу италийской голи? Не бывать этому!

Представителя союзников призвали к спокойствию, но он не унимался и разгневанный выехал в тот же день из Рима.

А раздел союзнических земель между тем продолжался. Триумвиры действовали быстро и усердно: ни нарекания богачей, ни просьбы об отсрочке, ни угрозы, ни жалобы в сенат — ничто не могло их остановить. Гракх и Флакк твердо шли к цели, не отступая ни на шаг.

Тогда латины не выдержали: снарядив посольство, они отправили его в Рим к Сципиону Эмилиану. Во главе посольства находился древний согбенный старик с орлиным носом и поблекшими глазами.

Латины прибыли в Рим вскоре после казни Аристоники и запоздалого известия о самоубийстве Блоссия.

Выслушав латинов, Сципион задумался: Гракх, Флакк и Карбон стояли за отнятие земель у союзников и вознаграждение их правами римского гражданства, требуя, чтобы закон коснулся и неимущих италиков, но это казалось Сципиону и его кружку безумием; он отверг эту мысль и вернулся к своей, строго обдуманной: «Выход из положения — в прекращении работы триумвиров; земли останутся в руках союзников, и действие закона Тиберия потеряет силу. Не будем обострять отношений с союзниками, посмотрим на вещи здраво».

— Я заступлюсь за вас, — сказал он, вставая, и, оглянувшись на сенаторов, которые шумно приветствовали его за «мудрое решение» (эти слова выкрикивались во все горло римлянами и латинами), он прибавил: — Сегодня я приготовлю речь, чтобы завтра произнести на форуме. Комиции, на которых я выступал, постановили отнять судебную власть у триумвиров, а разрешение вопроса, какие земли римских граждан считать государственной собственностью, а какие — частной, возложено на цензоров и их представителей, консулов. Будьте уверены, что сенат приложит все силы, чтобы защитить вас.

Сопровождаемый толпой аристократов и союзников, Сципион возвратился домой, чтобы приняться за работу.

В атриуме он наткнулся на Семпронию. Бледная, с искаженным лицом и дикими глазами, она бросилась ему навстречу:

— Изменник! Вот на кого ты променял меня, римлянку! На дочь клиента, подлого сводника! Он вербовал девушек в деревнях, он... О, боги! — завопила она, всплеснув руками. — Почему вы не послали мне смерть, чтоб я этого не видела?

— Замолчи, — свистящим шепотом произнес Сципион. Она не слышала слов мужа. Дрожа, она схватила его за тогу и, не отпуская, говорила:

— Ты... я тебя любила... Ты был для меня богом... А ты... ты... Разве я виновата, что я бесплодна?.. Все это от богов. А ты пошел к той, которая сегодня любит тебя, а завтра — другого...

— Замолчи, — повторил он, вспыхнув, и оттолкнул ее от себя.

Тяжело дыша, она смотрела на него невидящими глазами, и лицо ее подергивалось. А когда он прошел в таблин, она очнулась, кликнула рабыню и, одевшись, вышла на улицу в сопровождении раба.

В голове у нее шумело, ревность терзала сердце. Перед глазами стояла Лаодика: прекраснее статуи Венеры, она, живой человек, смотрела из толпы на Публия с такой улыбкой, что ей, жене, становилось страшно.

Она отпустила раба и, оглядевшись, бросилась в грязную узенькую улочку, посредине которой ворочались в пыли полуголые загорелые дети.

Пройдя несколько шагов, она остановилась перед невзрачным домиком, толкнула низенькую дверь и проникла в маленький закопченный атриум.

У очага, над огнем которого висел котелок, сидела старуха и, казалось, дремала; седые космы свешивались на ее грудь.

Она поднялась, откинула волосы.

— Кто ко мне? — скрипнула она хриплым голосом.

— Не узнаешь?

Тусклый свет упал на бледное лицо Семпронии, и старуха подобострастно закивала головою.

— Не помогают зелья?

— Ничто не помогает. Ты говорила, что у тебя есть яды... Старуха помолчала, в

раздумье пошевелила губами.

— Мне нужен самый сильный яд... Ты получишь много золота...

Старуха молчала; в глазах ее вспыхнула жадность.

— Хорошо, — медленно выговорила она, — поклянись Немезидой, что никому не скажешь.

Семпрония вручила старухе кожаный мешочек, наполненный золотом, и получила свинцовую трубочку с мутной жидкостью.

— Пять капель! — крикнула старуха. — Человек умрет в беспамятстве; лицо у него почернеет.

V

После ухода Семпронии Сципион отправился к Лаодике. Юная гречанка ожидала его в азиатской комнате, лежа на подушках, и, когда он вошел, вскочила, звонко засмеялась. — Я вздремнула, — молвила она шепотом. — Садись. Моя мать уехала в Остию, мы одни. Вчера она виделась с Корнелией и Семпронией, твоими тещей и супругой...

— Откуда ты знаешь? — беспокоился Сципион.

— Мне сказала моя подруга Кратесиклея. Она — любовница Фульвия Флакка, а у него бывает Гай Гракх.

— Я не понимаю, — пробормотал Сципион. Беспокойство его возрастало.

— Сегодня Корнелия совещалась с этими мужами...

— Когда это было?

— После того, как ты ушел из сената.

Сципион задумался, но, взглянув на Лаодику, махнул рукою:

— Я не хочу догадываться о том, что неизвестно...

— Берегись, — шепнула гречанка, обвивая его шею голыми пахучими руками, — помни, что ты окружен врагами.

— Жизнь и смерть в руках Фортуны, — улыбнулся он, взглянув на нее.

Огни светильен тускнели. Он протянул к ней руки. Лаодика вскочила, сбросила с себя тунику.

Вернувшись домой, Сципион прошел в таблин, чтобы дописать речь. Льняные волокна, пропитанные догоравшим маслом, чадили в невысокой светильне, и быстрые блики бегали по белому пергаменту, купленному у Лизимаха.

Сципион кликнул рабыню и велел оправить волокна в светильне.

Смуглотелая невольница, молодая, некрасивая, с приплюснутым носом и толстыми губами, подлила масла и, остановившись у двери, спросила, что прикажет господин на ужин.

— Подай ломоть ветчины, а вино разбавь холодной водою.

Он работал до глубокой ночи, проголодался. Перед сном съел ветчину и выпил вино. Оно показалось ему горьким, неприятным на вкус.

Он прошел в спальню, взглянул на Семпронию. Она спала, небрежно разметавшись на ложе, но эта небрежность была подозрительна.

«Не спит, — подумал он, — притворяется», — и, раздевшись, лег.

Голова кружилась, в животе появилась боль. Сначала это было колотье, затем резь, она передалась сердцу, груди, — казалось, десятки ножей кромсали внутренности, пробираясь все выше; он хотел привстать, разбудить Семпронию, но липкий пот —

пот боли, ужаса и отчаяния — покрыл его тело. Он застонал и вдруг увидел Семпронию: глаза ее пылали, она подходила к нему торопливым шагом, с подушкой в руке.

— Умираю, — прохрипел Сципион, стараясь сдержать вопль, перешедший в тихий стон.

Семпрония молча бросила ему на голову подушку, навалилась на него всем телом. Задыхаясь, он отталкивал ее, но страшная слабость опутала тело, и члены не повиновались его воле. И вдруг смутное сознание мелькнуло в отяжелевшей голове: он все понял и перестал сопротивляться.

Семпрония отняла подушку, взглянула на искаженное почерневшее лицо мужа.

— Отравительница, — с трудом выговорил Сципион, и мутные невидящие глаза его обратились к жене.

Она задрожала и, уронив подушку, с ужасом смотрела на человека, славой и подвигами которого гремела вся Италия и провинции Рима, смотрела в оцепенении, ничего не сознавая, и стояла странной полуживой статуей. И вдруг поняла, схватилась за голову:

— Горе мне, горе!..

Она рвала на себе волосы и, упав на колени, лобзала безжизненные руки любимого человека и рыдала, точно нелепая случайность внезапно отняла у нее мужа.

А потом дом Сципиона огласили нудные, тягучие вопли. С топотом сбегались рабы, рабыни, и рыдания, наполнив атриум, таблин, перистиль, перекинулись на улицу, где уже толпилась праздная любопытная толпа.

Через час стало известно всему Риму, что великий Сципион Эмилиан умер.

VI

Форум раньше всех узнал о смерти Сципиона. Прибежавший Метелл Македонский, противник Эмилиана в сенате, воскликнул надломленным голосом:

— Тише, квириты, тише! Стены нашего города пали! Африканский умерщвлен во время сна в своем доме! О, горе, горе Риму!

Разноречивые слухи ползли по городу. Нобили говорили шепотом об убийстве: одни обвиняли Гая Гракха, Карбона и Фульвия Флакка, которые, якобы боясь отмены Сципионом аграрного закона Тиберия, поторопились убрать со своего пути единственного человека, способного приостановить раздачу земель; другие видели в преступлении месть Корнелии за убитого сына, умерщвление которого Сципион одобрил; третьи говорили, что он покончил самоубийством, поняв, что не в силах выполнить обещание, данное союзникам; а четвертые утверждали, что его отравила Семпрония из ревности.

Магистраты, прибывшие утром в дом Сципиона, осмотрели труп, но следов насилия не нашли; по искаженному, почерневшему лицу покойника они догадались, что он отравлен, но, допросив рабов и невольниц, ничего не добились. Тогда они велели схватить прислугу и пытаться. Окровавленные рабы, с обугленными руками и ногами, с телами, выжженными до кости, продолжали повторять, что ничего не видели, ничего не знают.

А Семпронию допросить не решились. Ее отчаяние было столь велико, что даже те, кто обвинял ее шепотом в отравлении, принуждены были сознаться, что ошиблись.

Она умоляла богов сжалиться над нею, а мужа — простить ее за причиненное ему

зло, и так убивалась, что Корнелия увела ее в перистиль.

Омыв тело горячей водой, надушив благовониями и натерев мазями, женщины облекли его в тогу, надели на руки браслеты, на палец золотой перстень, в рот положили асе, чтобы душа могла уплатить Харону за перевозку через Стикс, и перенесли в атриум.

Широкое ложе, покрытое золотыми тканями, усыпанное цветами и украшенное венками, наградой за военные подвиги, ожидало покойника. Четыре факела горели в углах ложа. Сципиона положили ногами к входу, прикрыв обезображенное лицо тканью. Звуки флейт, струнных инструментов и гнусавые голоса плакальщиц, тихие и однообразные, наполняли дом. Курильницы дымились благовониями, сжигаемыми на огне. Через вестибюль, увешанный ветвями кипариса и ели, символом смерти, входили сенаторы, оптиматы, старые и молодые воины, толпа почитателей и весь кружок, чтобы отдать последний долг покойнику. Наконец пришли, несколько запоздав, Луцилий, Марий и Квинт Метелл Македонский, противник Сципиона, с которым он имел еще вчера столкновение по поводу его вмешательства в работу триумвиров. Теперь все было забыто. Старый сенатор, возмущенный этим убийством, привел с собой четырех сыновей, которым приказал нести погребальные носилки своего великого противника. И хотя сыновья не любили Сципиона, зная, что он враг аристократии — они не посмели ослушаться своего отца.

Похороны состоялись наскоро, хотя тело, по обычаю, не погребалось в течение трех дней.

На другой день утром глашатай публично известил о смерти Сципиона. Перед домом покойника появились друзья, сенаторы, вольноотпущенники, рабы и воины.

Похоронное шествие, остановившись возле святилища древнеиталийской богини Либитины, продолжало свой путь. Во главе его шли тубицины (число их, по закону XII таблиц, доходило до десяти), играющие на длинных, из слоновой кости, тубах, за ними следовали плакальщицы, поющие нэнии, причитания по покойнику, дальше — танцовщики и мимы в одеждах силенов и сатиров, затем — гордость и слава зрелища — вереница изображений, извлеченных из атриума: это восковые слепки с лиц предков, которые надевали на себя клиенты, облаченные в магистратские инсигнии — тоги преторов, консулов и цензоров. Они ехали на высоких колесницах, предшествуемые ликторами, впереди покойника, потому что предки должны сопровождать своего потомка до самого Аида. Число колесниц было так велико, что, казалось, не будет им конца. За предками шли вольноотпущенники, с бритыми головами, в пилеях (символ свободы), и несли памятники славы Сципиона — картины, изображающие разрушение Карфагена, Нуманции, взятие многих городов, подчиненные народы. Дальше тянулись повозки с предметами из военной добычи предков, напоминающие о доблестной жизни, за ними ехали телеги с дарами и вещами, которые сопровождали покойника в могилу. Потом шли ликторы с опущенными прутьями и секирами, а за ними факелоносцы. Наконец появился покойник, окруженный факелами, стоящий в положении и одежде живого — не мертвец, а его изображение в восковой маске (сам Сципион лежал ничком в гробу, скрытом в похоронной колеснице. Дальше следовали близкие в траурных одеждах, магистраты, сенаторы, всадники, без почетных знаков отличия: мужчины, покрыв головы тогою, женщины — с распущенными волосами, и наконец триумфальная помпа — почитатели, знакомые, рабы и народ.

Когда похоронное шествие, миновав бронзовую волчицу, стоявшую под

смоковницей у Палатина, выехало на форум и остановилось перед рострами (здесь находился помост для гроба), предки сошли с колесниц и разместились в курульных креслах из слоновой кости. Присутствующие окружили их.

Племянник Сципиона, Квинт Фабий Максим, взошел на ростры и произнес надгробную речь, которую сочинил Лелий.

Похоронное шествие двигалось по Аппиевой дороге, царице дорог; прямая, широкая, вымощенная большими гладкими плитами, она тянулась вдаль, и высокие блестящие памятники, усаженные кипарисами, встречали, выстроившись в два ряда, великого мужа из знаменитого рода.

У могилы Сципионов, подземного склепа, поддерживаемого двумя колоннами, воздвигнутыми посередине, шествие остановилось. Это была семейная усыпальница рода (в ней погребались также вольноотпущенники, клиенты и друзья, кроме членов, исключенных из семьи, или неблагодарных вольноотпущенников), построенная в виде дома; огромный Приап, страж гробницы, охранял могилу. Вольноотпущенники принялись спускать вниз кресла, треножки, посуду для еды и питья, одежду, золото, оружие и съестные припасы.

Могила считалась домом, где поселился покойник, чтобы начать другую жизнь, похожую на земную. За склепом наблюдал вольноотпущенник, живший тут же в небольшом домике. Кругом зеленели виноградники, сады, пестрели цветы. Род Корнелиев строго придерживался обычая захоронения умерших и на сжигание трупов смотрел неодобрительно, хотя большинство патрицианских семейств самых древних родов сжигали своих покойников.

Лаодика, в одежде рабыни, шла рядом с Кассандрой за погребальной колесницей. Мать что-то говорила, но она ничего не понимала. Лицо ее, опухшее от слез, окаменело, казалось, навсегда. Когда труп положили в саркофаг и опустили в яму. Лаодика встрепенулась и, вскрикнув, упала замертво на руки Кассандры.

На них оглянулись. Кто-то шепотом сказал:

— Первая и последняя любовь Сципиона...

На могиле приносили в жертву поросенка, когда Кассандра уводила обезумевшую от горя дочь домой.

VII

Хотя раздача земель была приостановлена Сципионом Эмилианом (триумвиры могли работать под наблюдением цензоров и консулов, действия которых отличались медлительностью и нерешительностью), последствия аграрного закона Тиберия Гракха оказались значительными: четыреста тысяч хлебопашцев получили наделы, и число граждан, способных к военной службе, увеличилось на несколько десятков тысяч.

Гай уехал на Сардинию квестором при консуле Аврелии Люции Оресте, взяв с Флакка слово, что тот будет извещать его о событиях в Риме.

Население Сардинии, поработанное римлянами, ненавидело своих властителей. Восстания вспыхивали одно за другим, но консул подавлял их. Гракх отличился в нескольких битвах, показав трусливому римскому юношеству наглядные примеры прежней доблести, стойкости, уважения к военачальникам; он превосходил своей твердостью, скромностью и усердием к службе даже старейших воинов и был назван за свои заслуги «лучшим».

Наступила суровая зима. Воины, не привыкшие к холодам и не имевшие теплой одежды, сильно зябли и не могли воевать. Аврелий Орест потребовал, чтобы города снабдили легионы одеждой, но получил отказ. Посольство сардинцев, отправленное в Рим, сумело добиться в сенате отмены требования полководца, и растерянный консул не знал, что делать.

Подавленный тяжелым положением, Аврелий сидел в холодной палатке, грея над очагом руки, когда вошел Гай. Квестор знал о решении сената и предложил полководцу отпустить его в города.

— Я постараюсь убедить население в том, что помощь легионам необходима, — сказал он, садясь против консула, — и если боги пошлют нам и здесь неудачу, подумаем, что делать.

— Попробуй, — упавшим голосом согласился Орест и, выйдя из палатки, смотрел на квестора, который сел на коня, чтобы в сопровождении небольшого отряда тронуться в путь по снежной равнине.

Деревья, усыпанные легким пухом, четко выделялись на свинцовом небе. Горы и скалы, запорошенные вверху, с наметенными сугробами внизу, остались слева. По военной дороге тянулись обозы из Тибулы и Ольвии в глубь страны. Люди бежали вприпрыжку за повозками, чтобы согреться.

— Что везете? — спросил Гракх, останавливая коня.

— Хлеб и мясо для легионов.

Объехав несколько городов, Гай сумел убедить население в необходимости помочь войскам; он говорил с поработанными людьми, как равный с равными, называл друзьями, ел с ними за одним столом, а уезжая, пожимал им руки.

Спустя несколько дней римляне получили теплую одежду, а через месяц пришло письмо от Фульвия Флакка:

«Берегись лазутчиков, которые доносят о каждом твоём шаге в сенат. Тебя обвиняют, что ты вступил на путь народоправства и демагогии; оптиматы встревожены; ходят слухи, что тебя хотят отправить в Ливию...»

Гракх нахмурился. Он знал, что был бельмом на глазу сената, но никогда не думал, что за ним будут следить и доносить в Рим. Он продолжал исполнять по-прежнему честно свои обязанности, и Аврелий Орест, полюбивший его, как сына, писал в сенат, расхваливая его за строгость к себе и подчиненным и за храбрость в боях. Сенат отвечал, что доверять Гракху нельзя («Его брат Тиберий покушался на целостность республики»), и советовал консулу бдительно следить за каждым его шагом.

Время протекало незаметно: бои и походы чередовались. Римские легионы испытывали недостаток в хлебе — подвоз был плохой, а восставшие племена налетали на обозы и отбивали провиант. Мало надеясь на римское снабжение, Гай послал тайком раба с письмом в Ливию к царю Миципсе, прося его прислать хлеба.

Через некоторое время в римский лагерь прибыли послы от ливийского царя и заявили римскому полководцу, что Миципса, из расположения к Гракху, послал хлебные припасы на Сардинию. Аврелий Орест вспыхнул.

— Как, — закричал он, побагровев, — нам, владыкам мира, подачки? И от кого? От варваров, которые достойны быть у нас рабами! Никогда! Вон отсюда, вон!

Но Гай вступился за посольство:

— Ты несправедлив, консул! Войска ропщут, испытывая недостаток в хлебе. А отказываться от помощи друзей нехорошо. Ты же оскорбляешь послов великого царя...

— Молчи! Я не знаю, какие постыдные дела у тебя с варварами, но зато знаю, что сенат тебе не доверяет. Я считал тебя человеком честным, а ты тайком от меня завязал сношения с ливийцами...

И, прервав свою речь, он закричал послам:

— Уходите же! Кто здесь начальник — я или Гракх? Гай вышел из палатки полководца, не простившись с ним. А через несколько месяцев сенат отозвал легионы, оставив на Сардинии только Аврелия Ореста, и Гракх, в силу своей должности, должен был остаться при консуле. В негодовании он вбежал в палатку полководца.

— Это несправедливо! Неужели легионеры виноваты в случившемся? Я тоже не останусь здесь и уеду с ними!

— Гай Семпроний Гракх, — торжественно сказал Аврелий Орест и погрозил ему пальцем, — ты — квестор и обязан оставаться при консуле!

— Один, а не три года! Я уеду.

— Молчи!

Гай побледнел. Повернувшись, он вышел из палатки в сильном раздражении. А ночью самовольно покинул лагерь, решив немедленно отплыть в Рим.

VIII

Лаодика вбежала в азиатскую комнату и, не дав Кассандре даже войти, бросилась к ней с искаженным лицом.

— Я все знаю! — кричала она, задыхаясь. — Ты добивалась смерти Сципиона, сговаривалась с его врагами!.. Я все знаю! — повторила она, прижимая руки к сердцу, — и я не уважаю, не люблю тебя, мать! Я презираю тебя. Ненавижу.

Кассандра холодно взглянула на дочь:

— Ты сошла с ума. Сципион был нашим врагом: он убил твоего отца, соблазнил тебя...

— Замолчи! Он был прав.

— Прав, что убил отца?

— Отец оказался изменником.

И она беспорядочно рассказала все, что слышала об отце от Сципиона.

Но Кассандра не сдавалась: она упирала на то, что патрон воспользовался ее отъездом, чтобы соблазнить дочь своего клиента, упрекала Лаодику в разврате, называла ее блудницей, податливой девчонкой, дурую.

Лаодика молчала. И когда кончились упреки, она оскорбительно засмеялась:

— Разве ты — мать? Пусть Немезида вырвет у тебя лживый и несправедливый язык! Не соблазнил он меня, а мы полюбили друг друга, не блудница я и не податливая девчонка, потому что любила его одного, не развратница я и не дура... Он любил меня слушать, он любил мое сердце, мою душу, он упивался моим телом, как нектаром богов. Он говорил, что эта азиатская комната — Олимп, а я — Афродита. И я верила ему. Он был для меня и Фебом-Аполлоном, и Зевсом, и Марсом, и жизнью, и всем миром... А ты отняла его у меня, ты, убийца!

— Не я убивала...

— Но ты сговорила с Корнелией, матерью Гракхов, с Фульвием Флакком и с Семпронией, женой Сципиона, и вы отравили его, великого, славу Рима, моего любимого владыку и супруга!

Она топнула, захохотала:

— Ты назвала меня блудницей. Нет, не была я развратницей, и пеняй на себя, если стану гетерою... Уходи, уходи! Что так смотришь на меня? Продавай все, уедем из Рима! Я не хочу оставаться в городе, где он погиб! В Пергам, в Пергам!.. Там я буду отдыхать несколько лет от этого страшного дня... там я... Что же ты стоишь? Уходи, уходи!..

Она зарыдала и, уткнувшись лицом в подушки, неподвижно лежала в полусумраке, жалкая, как избитая рабыня, истекающая кровью.

А Кассандра, выйдя из дому, отправилась к Семпронии просить разрешения о выезде из Рима, но рабыни объявили ей, что госпожа больна и никого не принимает, и лучше поговорить с Корнелией.

Корнелия находилась при дочери, однако не виделась с нею. Семпрония, запершись в своей спальне, не выходила оттуда, а Корнелию не хотела видеть, и когда мать попыталась к ней войти, Семпрония крикнула с такой ненавистью, что Корнелия отшатнулась от двери:

— Ты... ты толкнула меня на преступление... Ты... О мать, мать!..

Эти слова звучали в ушах Корнелии таким осуждением, что она не находила себе места.

Она приняла Кассандру и, узнав, что вдова клиента уезжает с дочерью из Рима, облегченно вздохнула: «Одной свидетельницей меньше — одной тревогой меньше». И она разрешила Кассандре от имени Семпронии продать имущество погибшего Лизимаха и уехать с дочерью в Пергам.

IX

Гракх был встречен народом восторженно. Тысячи плебеев, земледельцы, всадники и мелкие торговцы приветствовали его радостными криками, как благодетеля, а он между тем еще ничего не сделал. Но все помнили его брата и надеялись, что Гай будет продолжать его дело: городской плебс ожидал улучшения своего положения, хлебопашцы, не получившие наделов по вине Сципиона Эмилиана, — земли, а всадники живо еще помнили переговоры с Тиберием.

Такому взгляду на молодого квестора немало способствовал Фульвий Флакк, считавший его несравненно выше себя. Действительно, Гракх превосходил своего друга ясностью суждений, величию дерзаний, неустранимостью и красноречием. (Даже враги считали его великим оратором и большим писателем.) И Фульвий, восторженно преклоняясь перед Гаем, убеждал народ, что Гракх — единственная надежда плебса и всадников, единственный честный вождь, который, не задумываясь, поведет народ против оптиматов и победит их.

Такие же идеи распространял Фульвий Флакк среди союзников, а получив консулат, выступил с законом о даровании им гражданских прав. Сенат пришел в ужас: «Если консул на стороне врагов, то кому же еще верить?» — шептались оптиматы и, чтобы освободиться от вредного мужа, решили послать его на войну с кельтами. Да и народ был недоволен: он опасался, что новые граждане станут посягать на те выгоды, которые плебс получал от оптиматов, и Фульвий принужден был отказаться от своего предложения. Он уехал в Галлию, вел победоносные войны по ту сторону Альп с саллувиями, а его сторонники подстрекали союзников к восстанию.

Находясь на Сардинии, Гай слышал об отпадении от Рима Аскулума, о восстании Фрегелл, решивших силою добиться гражданства, о взятии их претором Люцием

Опимием, срытии стен и превращении города в селение. Друзья писали из Рима, что причиной победы Опимия была главным образом ожесточенная борьба между богатыми и бедными, что дало римлянам возможность подавить восстание раньше, чем оно успело распространиться на другие города и племена, а также измена, открывшая претору доступ в город.

Гракх перечитал конец письма, подплывая к Риму.

«Наглый негодяй, — писал друг об Опимии, — разорил цветущий город и возле места, где находились Фрегеллы, основал римскую колонию Фабратерию. Ты не поверишь, дорогой Гай, куда завело его бесстыдство: он возбуждает судебные дела против жителей несчастного города и римских граждан, обвиняя их в измене, и многие невинные люди предстанут как соучастники восстания перед судом. Ждем твоего возвращения и помощи. Да хранят тебя всеильные боги и сам Юпитер Капитолийский!»

Рим не понравился Гракху. Какая-то тревога отражалась на лицах граждан. Магистраты держали себя вызывающе.

Клиенты, подстрекаемые оптиматами, возбуждали народ против квестора, самовольно уехавшего с Сардинии, и толпа, встречавшая его утром, как вождя, уже вечером заколебалась.

Перед домом Гракхов бродили ремесленники, выкрикивавшие оскорбительные слова, слышались возгласы о привлечении Гая к суду за нарушение воинской дисциплины, а когда вскоре и цензоры возбудили против него обвинение, Гракх принужден был защищаться.

— Разве я не совершал походов, — говорил он, — не служил на военной службе двенадцать лет, в то время как другие ограничиваются обыкновенно десятью годами? Разве я не оставался квестором в течение трех лет, тогда как закон разрешает вернуться домой после одного года? Из всего войска я один взял с собою свою казну полностью, а не привез ничего; другие же, выпив взятое вино, наполнили свои амфоры серебром и золотом.

Речь Гая была настолько убедительна, что цензоры оправдали его единогласно. Вернувшись домой после этой победы, он написал Корнелии эпистола.

Изложив подробно свою жизнь на Сардинии, возвращение в Рим, преследования врагов, он кончил письмо уверениями, что Тиберий является ему во сне и требует продолжать его дело. «И я, мать, буду добиваться трибуната, чтобы отомстить за дорогого брата, убитого злодеями; я облегчу положение не только деревенского, но и городского плебса, опрокину сенат, чтоб передать его власть комициям, обновлю отжившую свой век республику. Все, что есть честного, смелого и любящего родину, станет на мою сторону; плебс поймет, что я борюсь за него».

После смерти Тиберия мать поселилась в Мизенах, лишь изредка наезжая в Рим. Семпрония недавно «бежала», по словам друзей, от тоски по мужу, не желая никого знать — ни матери, ни брата, ни родственников, — подальше от Рима, в Элладу, где хотела спросить дельфийский оракул, как дальше жить, что делать. И о ней не было известий.

Не успел Гай получить ответа на письмо, как против него было возбуждено новое обвинение: утверждали, что он и Фульвий Флакк произвели возмущение в Фрегеллах и руководили восстанием: один — с Сардинии, другой — из Галлии. Но Гракх легко оправдался, сославшись на консула Аврелия Ореста, который хвалил его в своих донесениях сенату, а о Фульвий сказал, что смешно обвинять консула на основании

слухов, которые распространяют враги. Наблюдая за народом, он видел, что оптиматы ищут себе сторонников среди городского плебса, кормят голодных клиентов и требуют от них поддержки в народном собрании.

«Если провести закон, который обеспечит существование клиентов и бедных ремесленников, — думал он, — вся эта толпа хлынет ко мне, станет моей защитницей и я, опираясь на нее, сумею провести ряд полезных законов. Против меня работают Скавр, Опимий и Ленат, но когда на моей стороне будет сила, они подожмут хвосты, как побитые собаки. Я должен стать трибуном, войти в сенат, изменить ход внешних и внутренних дел республики, улучшить состояние плебеев, заключить союз с всадниками. Они помогут мне в борьбе с сенатом».

Гай получил письмо от Корнелии. Он читал его, перечитывал, пожимал плечами: нежность к матери чередовалась с досадою на нее: «Как она не понимает, что наша жизнь — моя и брата — ничто перед благом народа? Тиберий погиб, а я еще жив, и пока я хожу, говорю, двигаю хоть одним членом, — я буду бороться, буду продолжать дело брата и даже больше — осуществлю то, что помешала совершить ему смерть».

Опять и опять перечитывал эпистолу.

Корнелия писала: «Ты говоришь, что отомстить врагам прекрасно, да, это прекрасно, если не вредит отечеству; но если сделать этого нельзя и наши многочисленные враги спустя долгое время не погибнут, пусть они лучше останутся, нежели погибнет республика».

— Никогда! — громко сказал он, стукнув кулаком по столу. — Враги должны погибнуть...

«Если же иначе не можешь поступить, добивайся трибуната после моей смерти; когда я ничего не буду чувствовать, делай что хочешь. Но не стыдно ли тебе будет совершать на моей могиле жертвоприношения, когда ты при моей жизни так мало обращал на меня внимания? Надеюсь, Юпитер не допустит, чтобы ты в своем ослеплении шел этим путем. Если же ты будешь упорствовать, то опасаясь, как бы ты не испортил всей своей жизни».

— Что моя жизнь? — усмехнулся он. — Ждать смерти матери, а затем добиваться трибуната? Зачем? Мать так же переживет меня, как пережила Тиберия. А я пойду своим путем. И когда я переделаю Рим, когда в нем не будет бедняков и нищих, государство станет великим и сильным!

Х

Он сблизился с сословием всадников — с этими публиканами, откупщиками и подрядчиками, председателями различных обществ и товариществ, главной целью которых была нажива и среди которых спекуляция, торговля рабами и блудницами не считались постыдными деяниями, а прибыльными, дозволенными законом, освященными государством способами обогащения.

Войдя в атриум, Гракх увидел перед собой толстого, высокого, белобородого человека с румяными щеками и красным носом, услышал его грубый, охрипший голос:

— Привет благородному брату великого народного трибуна Тиберия Гракха! Прости, что смелость заставила меня войти в твой дом...

— Привет и тебе! Мой дом открыт для друзей...

— Я знал это, — поспешно заметил старик и медленно заговорил, взвешивая

каждое слово. — Я — всадник Муций Помпоний, тот самый, который вел переговоры с Тиберием Гракхом. Меня отправило к тебе товарищество публиканов: оно просит у тебя защиты против сената. Будь добр, помоги нам, и мы поддержим тебя золотом, оружием, чем хочешь. Тиберий был согласен, и если ты...

— Подожди, — прервал его Гракх, — я подумаю.

— Умоляю тебя всеми богами! — воскликнул Помпоний. — Не отказывайся... Мы богаты, мы все можем. Деньги были, есть и будут основой жизни человека. Я имею на тысячу талантов состояния, я могу добиться чего захочу, но я — римлянин и не желаю поступать незаконно, нарушать спокойствие отечества. Послушай, завтра у меня состоится пиршество, и на нем будет присутствовать много всадников. Присмотрись к ним, поговори, если хочешь, и я познакомлю тебя с самыми влиятельными мужами...

Гай задумался. Судьба благоприятствовала ему, но он не хотел подать вида, что доволен предложением.

— Больше всего меня занимает, — сказал он, — положение плебса, но если всадники готовы помочь мне, то я подумаю, что можно сделать и для них.

— Повторяю, мы не пожалеем на это дело ни золота, ни вооруженной силы; у нас есть огромные средства, есть и сыновья, которые будут бороться на твоей стороне... Послушай, благородный муж, — подвинулся к нему старик, — общество публиканов ведет крупную торговлю с Азией, Испанией, Элладой и большими островами Архипелага, оно имеет своих людей в Пергаме, Парфии, Понте, Африке, во всем мире. Мы ввозим в Рим предметы роскоши, лучших рабов, красивейших невольниц, вина, сладости, мы покупаем по оптовой цене, почти за бесценок, а продаем в розницу, наживая половину общей стоимости. Мы арендуем земли в провинциях, и хотя на Сицилии потерпели огромные убытки (проклятый Эвн разорил весь остров!), а в Азии потеряли виллы, стада, склады товаров (безумный Аристоник не пожалел богатств пергамских царей для Государства Солнца!), мы быстро оправались. Ты не был в последние годы в тех местах. Ты бы не узнал разоренных стран: все цветет, как цвело до восстаний. Прости, что я так много говорю, не подумай обо мне: «Вот болтливый старик, у него язык, как у старой сплетницы!»

— Ты сказал обо всем, только забыл упомянуть о податях, которые вы берете на откуп...

— Я умолчал потому только, что твой покойный брат Тиберий обещал передать в наши руки судебную власть. Я полагал, что ты не откажешься провести закон, который наметил Тиберий. И если это так, то рассчитывай на нашу помощь, добиваясь трибуната. Но прости, что я опять много болтаю... Завтра вечером договоримся крепче. Придешь?

— Если никто не помешает...

— Нет, ты должен придти! Я познакомлю тебя с моим сыном Помпонием и с племянником Леторием Мэгом. Славные, храбрые, преданные молодые люди! Если ты доверишься им, то они будут лучшими твоими помощниками, и дела твои, с помощью небожителей, пойдут хорошо. Помпоний отличился в коннице Сципиона Эмилиана под Нуманцией, а Леторий — под Тавромением. Они тебе понравятся, я в этом уверен... Придешь?

— Приду, — согласился Гай, видя, что от старика мудрено отвязаться, — только будь добр, скажи, где ты живешь и когда у тебя соберутся гости?

— Я живу на Эсквилине, но ты не смущайся расстоянием. Я пришлю за тобой лектику после обеда. Мы сможем поговорить о самом главном до пиршества.

— Кроме меня, будут у тебя сенаторы?

— Увы, господин мой, хотя я и нахожусь в родстве с Публием Рупилием, победителем сицилийских рабов, но, как тебе известно, он скончался незадолго до смерти Сципиона Эмилиана, а его племянница, моя вторая жена, оторвалась совсем от своей среды. Она дружила с супругой Публия Попилия Лената, а теперь все между ними кончено.

— Почему?

Старик смущенно молчал, потирая толстыми пальцами красный нос.

— Денежная ссора, — пробормотал он, — супруге Лената понадобилось несколько десятков тысяч сестерциев на покупку юного александрийца, и она обратилась к моей жене, а та отказала... Не подумай, что она жадна — вовсе нет, но у супруги Лената постыдная привычка забывать о долгах...

Муций Помпоний тяжело поднялся и, беспрестанно кланяясь, ушел, с трудом передвигая ноги. С порога дома Гракх видел, как он развалился в лектике, и крепкие рослые рабы быстро понесли эту грузную тушу, точно это была соломинка.

На прощание старик прокричал:

— Да хранит тебя Минерва!

XI

Гай Гракх договорился с всадниками.

За поддержку в борьбе с сенатом, которую они обещали ему, он наметил два закона: судебный, на основании которого суды отнимались у сенаторов и передавались всадникам, и закон о провинции Азии, вводивший, как это было на Сицилии и Сардинии, подати в виде десятины с дохода, причем эта десятина должна была сдаваться цензорами на откуп публиканам не в провинции, а в Риме.

На совещании, состоявшемся до пиршества, Гракх развил намеченные им законы, потребовал от всадников безусловной поддержки в борьбе с оптиматами во время своего трибуната.

— Вы получите, — заключил он свою речь, — право золотого перстня, который будет символом вашей власти, места в театрах в первых четырнадцати рядах, вы упрочите свое положение во всем государстве, власть в Риме, могущество в провинциях.

Всадники покрыли его речь дружными рукоплесканиями.

Муций Помпоний подвел к Гаю своего сына и племянника; они понравились Гракху.

Помпоний, коренастый молодой человек, с широким смуглым лицом и приветливой улыбкой, с белыми, как морская пена, крупными зубами и темным пушком на верхней губе, низко поклонился гостю:

— Счастлив видеть а нашей среде именитого друга. Ты мне нравишься и — клянусь всеми богами! — я буду твоим верным сторонником, если ты захочешь.

— Захочу ли я? — улыбнулся Гракх, дружески пожимая ему руку, и повернулся к Леторию, скромно стоявшему рядом с Муцием Помпонием.

Леторий был плечистый, краснощекий человек, с серыми глазами, в которых вспыхивали лукавые искорки смеха; он сказал, сдерживая улыбку:

— Нас привлекло не пиршество, а твое присутствие. И я говорю тебе просто, радуясь, что ты с нами: «Располагай мною, как найдешь нужным. Твоя воля будет для

меня законом».

Гай сжал его руку:

— И я рад, что нашел таких искренних друзей в вашей среде, — и, повернувшись к Муцию Помпонию, воскликнул: — Дружба с твоим сыном и племянником укрепит еще больше наш союз!

На пиршестве он пробыл недолго, — торопился домой. Роскошь стола, обстановки, множество рабов, невольниц, танцовщицы, певицы, — все это стоило огромных денег, и он подумал, что эти люди вступают в борьбу с сенатом не из-за власти, а ради наживы: побольше прибылей, побольше золота!

Он оглядел столы, уставленные многочисленными блюдами, улыбнулся: «О, если бы здесь был Фульвий! Он не ушел бы до тех пор, пока не догорела бы последняя свечка, пока рабы не принялись бы убирать со столов. Он подружился бы со всеми всадниками, напоил бы их и стал бы приставать к женам и дочерям. Он омрачил бы нашу дружбу яростной ссорой!»

ХII

Добиваясь трибуната, Гай видел, что нобили против него: на выборах было так много народа, что поле, где они происходили, не могло вместить толп, подходивших со всех концов Рима, из соседних вилл и деревень. Все знали, что брат Тиберия, убитого оптиматами, домогается трибуната, и готовы были отдать за него свои голоса.

Многие взобрались на крыши и фронтоны: здания казались усеянными муравьями, и черные точки шевелились, поднимаясь и опускаясь, как ползающие насекомые.

Законы, предложенные им вскоре (о личной безопасности граждан, о запрещении магистрату, лишенному должности, домогаться другой должности), были направлены против лиц, погубивших Тиберия. Думая о брате, он испытывал к его убийцам такую ненависть, что нередко сдерживался, чтобы не натворить глупостей. Кроме того, тревожила мысль о матери, которая была против его трибуната; Корнелия опасалась, очевидно, за жизнь сына, но Гай был смел, тверд, упрям и решителен. Он шел к намеченной цели, невзирая на козни противников, на их хитрость, на распространение слухов, порочащих его имя.

Закон о личной безопасности граждан прошел; он задевал консулов, преследовавших сторонников Тиберия, и Публий Попилий Ленат, не дожидаясь изгнания, добровольно оставил Италию. Второй же закон, направленный против Марка Октавия, пришлось взять обратно: трибун, низложенный Тиберием, отправился тайком в Мизены и умолял Корнелию повлиять на Гая.

— Он губит меня! — восклицал Марк Октавий со слезами на глазах. — Доступ для меня в магистратуру закрыт, что я буду делать? Более десяти лет я не исполняю государственных должностей, — неужели оттого, что я наложил вето на закон Тиберия? Но это несправедливо...

— Молчи! Тебе ли говорить о справедливости? — гневно ответила Корнелия. — Ты изменил Тиберию Гракху, это было не твое вето, оно принадлежало сенату...

— Прости. Десять лет...

Он бросился к ее ногам, схватил край ее стола:

— О, умоляю тебя, благородная госпожа! Сжался надо мной, будь великодушна! Кто я? Ничтожный червь, и если ты оттолкнешь меня, я кончу жизнь самоубийством...

Сердце Корнелии смягчилось:

— Поезжай в Рим. Я напишу Гаю...

— О, госпожа моя!..

— Будь спокоен. Гракх возьмет закон обратно. Получив письмо от Корнелии, Гай долго раздумывал, как ему поступить: с одной стороны, жаль было огорчить мать, с другой — преступно, как ему казалось, щадить Марка Октавия. Однако любовь к матери взяла верх, и он отказался от закона, объявив народу, что Корнелия просит его об этом. Плебеи, уважавшие мать Гракхов ради ее сыновей и отца, согласились, и Марк Октавий мог теперь домогаться магистратуры.

Между тем Фульвий Флакк возвратился в Рим. Победоносно кончив войну с лигурийцами, он отпраздновал свой триумф и теперь был постоянным гостем у Гракхов. Он приходил веселый, оживленный, говорил громко, шутил, рассказывал случаи из своих многочисленных любовных походов с лигурийками и, посмеиваясь, выпивал очередной додрант вина:

— Дорогой мой, прежде всего — жизнь, а потом — остальное. Я боролся, ты знаешь, а чего достиг? Власть сильна но не священна, как возвещают жрецы и авгуры. Власть можно опрокинуть, но это делается не сразу: нужно выждать.

Выслушав Гаю, с жаром развивавшего мысли о новых законах, он принялся обсуждать их, барабанил пальцами по столу:

— Хлебный закон — безусловно необходим, он рассеет враждебную тебе клиентелу, возглавляемую патронами, и ты будешь иметь большинство голосов в комициях. Месячная выдача — пять модиев хлеба на гражданина, по шести с третью асса за модий, — вполне достаточна и по цене доступна для бедняка.

— Это так, но меня смущает, что плебс, получая дешевый хлеб, потребует вскоре дарового, а это создало бы толпы бездельников и лентяев.

— Что же делать? Это необходимо, хотя бы в целях дальнейших законов. Имея почву под ногами, ты обдумаешь новые предложения...

Гракх улыбнулся:

— На этот год я уже обдумал. Улучшая положение городского плебса, нельзя забывать о деревенском. Я хочу вернуть триумвирам права, отнятые у них Сципионом Эмилианом. Пусть они решают самостоятельно, как и прежде, является ли известная земля общественной или частным владением. Я хочу, чтобы бедняки ежегодно наделялись участками.

— Это хорошо. Я согласен.

— Я знал, что ты так ответишь. Однако этот закон я хотел бы дополнить законом о проведении дорог, что, несомненно, облегчило бы земледельцам сбыт съестных припасов и дало бы возможность сбивать цены с заморского хлеба. Я решил широко развернуть постройки мостов, плотин, житниц и общественных сооружений, чтобы дать работу городскому плебсу...

— Плебс будет доволен, но сенат безусловно воспротивится. И в самом деле: всеми этими работами ведают цензоры, и ты вторгаешься в сферу деятельности сената.

— И все же я буду бороться за этот закон! — воскликнул Гай. — Я не знаю твоего мнения, но если ты и против, то я пойду один на форум и сумею убедить плебс...

Фульвий Флакк рассмеялся:

— Дорогой мой, не волнуйся! Сядь. Я именно за этот закон, и если понадобится, то поддержу тебя всюду — и на форуме, и в сенате, и в комициях, и даже на сходках...

— А к концу года я проведу судебный закон, нужно вырвать суды из рук сената и передать всадникам. Разве сенаторы не судят лицепрятно, оправдывая лиц своего

круга, прекращая их грязные дела под разными предлогами?

Фульвий Флакк покачал головою:

— Я знаю, ты договорился с Муцием Помпонием, — молвил он вполголоса, — и сделал большую ошибку. Твой брат Тиберий заблуждался, полагая, что всадники могут помочь в борьбе. Ты плохо знаешь этих людей.

— Позволь, дорогой, борьба с сенатом возможна только при поддержке всадничества...

— Это так. Но подумай, что будет с нашими судами, когда во главе их будут стоять всадники? Эти торгаши, для которых золото — единственный бог, более склонны к подкупу, нежели сенаторы; они загрязнят взятками, пристрастными решениями наши римские суды, и вся вина падет на тебя, законодателя!

— Вина перед кем? Перед потомством? Но оно никогда не поймет того положения, в котором я нахожусь, той среды, которая меня травит, и той безвыходной обстановки, которая привела Тиберия к смерти.

— Делай, как хочешь, — нахмурился Фульвий, — но боюсь, как бы ты, улучшая положение всадничества, не нанес государству неизлечимой раны.

ХIII

Гай Гракх провел намеченные законы, несмотря на противодействие сената.

Оптиматы понимали, что хлебный закон содействовал притоку неимущих, которые, попадая в Рим, поддерживали трибуна; обнищавшие плебеи получали работу в городе и вне его. Строились обширные Семпрониевы амбары для хранения привозного зерна, египетского и сицилийского, и тысячи плотников, кузнецов и иных ремесленников работали с утра до вечера под присмотром надзирателей и нередко самого Гракха.

— Верно ли, что Гракх восстановил аграрный закон своего брата? — с беспокойством спрашивали нобили, приезжавшие из своих вилл в столицу.

— Он всюду сует свой нос, — хмурились сенаторы, — теперь он занялся улучшением дорог, как будто...

— Мы ехали, — с восторгом прервал худощавый нобиль, — по прямым дорогам, выложенным гладкоотесанным камнем, плотно убитым истолченным щебнем... Таких дорог — клянусь Меркурием! — у нас еще не бывало...

— А ты забыл каменные столбы с надписями, обозначающими расстояние? — подхватил другой. — Они стоят на каждой миле, а по обеим сторонам дороги возвышаются белые камни, чтобы легче слезать и садиться на лошадь, не прибегая к чужой помощи.

— Но прекраснее всего — мосты, — сказал третий, не замечая нахмуренных лиц сенаторов. — Они висят над потоками и ложбинами, а кругом копошатся тысячи работающих бедняков...

Народ перевозносил Гракха: всюду, где бы Гай ни появлялся, один или в сопровождении друзей и подрядчиков, его встречали восторженными криками, призывали на него милость богов.

Особенно прочно возросло его могущество ко второй половине года. Враги обвиняли его в стремлении к царской власти.

— Тиберий хотел того же, — с яростью говорили оптиматы, заседаая в сенате, — но благородный Сципион Назика вовремя спас республику. Неужели среди нас не

найдется второго Назики!

— Его окружают публиканы, ремесленники, художники, посланники, военачальники, воины и ученые, — вторили другие.

— Он хитер, деятелен, предприимчив, настойчив в достижении намеченной цели; он умеет быть одинаково приветливым со всеми, а особенно с плебсом.

— Он стал могущественным вождем народа, врагом отечества. Он ввел очередность голосования центурий по жребию...

— Он хочет быть одновременно консулом и народным трибуном. Разве он не избирает судей по своему усмотрению? Разве он не кричит: «Долой сенат! Вся власть комициям!»

Выполняя обещание, данное всадникам, Гай вскоре же предложил закон о провинции Азии, который был принят народом единогласно.

— Отдавать десятину на откуп нашим врагам и где? В Риме! Да он с ума сошел! — кричал Люций Кальпурний Пи-зон.

А Люций Опимий ворчал, ни к кому не обращаясь, новее слышали его слова:

— Поглупел римский сенат, что ли? Из Азии, как из житницы, будут черпать хлеб для раздачи ленивой голи; всадники возьмут на откуп прямые подати... Кажется, все ясно, а сенат не понимает...

Люций Опимий ошибался: сенат понимал, но не знал, что делать.

Несмотря на клятвы и бессильную ярость, пришлось смириться. Всадники требовали, чтобы Гракх был допущен (как народный трибун, он имел право) к участию в совещаниях сената, утверждая, что за ним сила, его поддерживает плебс, что законы народного трибуна увеличивают благосостояние республики.

— Разве вы не видите сооруженных виадуков? — шумели они, перебивая друг друга. — Взгляните на большой, семисводчатый мост, построенный из красного туфа и паперина! Он находится на девятой миле от Рима, по дороге в Габию, и благодаря своей прочности переживет столетия. Разве это не есть достойный памятник величия римского государства.

Оптиматы ожидали, что будут иметь дело с человеком наглым, дерзким, заносчивым, и каково же было их изумление, когда он произнес в сенате речь, насыщенную таким красноречием, какого они еще не слышали, речь, полную вдохновенного жара и призывов к спасению республики от роскоши, голода, безработицы, к укреплению ее путем помощи беднейшему населению.

Его предложения делали честь сенату, и однажды оптиматы были взволнованы кратким докладом Гракха о хлебных припасах, присланных пропретором Фабием из Испании.

— Этот хлеб, — говорил Гай, — я советую продать по низкой цене испанским беднякам, а вырученные деньги отослать городам; Фабию же сделать выговор за притеснение подвластных жителей. Было бы нехорошо, если бы о римском сенате распространилась дурная слава в провинциях и чужих землях, как о пособнике нечестной деятельности пропретора!

Сенат единогласно принял предложение Гракха, даже строптивый несговорчивый Люций Опимий не посмел возражать.

Расходясь, сенаторы тихо беседовали:

— Гай Гракх не такой плохой человек, как о нем говорили, — сказал Публий Лентул, — он любит отечество и служил ему бескорыстно.

— Ты одобряешь действия Гракха? — вскричал Люций Опимий.

— Я не одобряю, а высказываю мнение коллег.

— Неправда, никто этого не думает, кроме тебя.

— Позволь, дорогой, — вмешался Люций Кальпурний Пи-зон, — я, как и ты, противник Гракхов и их законов, но согласись, что Гай мог бы быть нашим сторонником. Нужно только суметь его убедить. А тогда римский сенат был бы блестящим. Гай — умная голова, величайший оратор, кумир черни, и если мы перетянем его на свою сторону — за ним пойдет плебс, пойдут и всадники...

— Легче было Геркулесу добыть пояс Ипполиты, чем нам убедить Гракха, — усмехнулся Люций Опимий.

— Клянусь Юпитером, ты преувеличиваешь...

— Он честолюбив, стремится к власти. Корнелия, эта выжившая из ума старуха, мечтает о диадеме для сына.

— Я не очень верю этим слухам.

— Не говорил ли я, что ты за Гракха?

— Перестань! — вспыхнул Люций Кальпурний Пизон. — Ты лаешь, как Гекуба...

Сенаторы расходились. Голоса их умолкали на пустынной улице. У всех было предчувствие, что Гай не ограничится проведенными законами, а предложит новые, потому что он содействовал избранию в консулы своего друга Фанния, а сам получил трибунат и на следующий год.

XIV

Плебс возлагал на Гракха большие надежды: он ждал новых законов, которые улучшили бы его положение, а народный трибун желал закрепить еще больше свою связь с городским и деревенским плебсом и выступил с военным законом.

Плебеи радовались:

— наших детей, не достигших семнадцати лет, не посмеют теперь брать на военную службу!

— Не будут наказывать смертью за тяжелые поступки.

— Будут снабжать одеждой.

— Без вычета из жалованья!

— Хвала трибуну! Он стоит за нас!

Вскоре Гай провел закон о провинциях, отдаваемых в управление консулам.

— Проклятый Гракх! — ворчал Люций Опимий, подстрекая сенаторов против народного трибуна. — Он отнимает у вас, отцы государства, ваше древнее право. Теперь вам придется назначать провинции, которыми будут управлять проконсулы, до избрания консулов известного года.

Удар был силен: до этого времени сенат, после вступления консулов в должность, рассматривал, какими провинциями они будут управлять по истечении года их службы, и предоставлял своим сторонникам более выгодные провинции, чем лицам независимым. А теперь все это рухнуло.

Но самым важным был закон об отведении колоний; он прошел в декабре, в год консульства Люция Цецилия Метелла и Тита Квинция Фламинина. Образование колоний в Италии — Тарентийской, под названием Нептунии, Капуанской и Минервии на месте греческого города Скиллетиона — было дело трудное: не хватало земель для раздачи, и Гай Гракх возымел мысль основывать колонии в заморских владениях.

Против Гая сидел Фульвий Флакк, рядом с ним Помпоний и Леторий, дальше — Фанний, Друз и Рубрий. Перед ними стояли чаши с вином, яблоки в этрусских корзинках, сладкое печенье, облитое медом.

— Друзья, — заговорил Гракх, искоса поглядывая на Фанния и Друза, которые молчали, — цель основания колоний для всех ясна и необходимость их бесспорна: мы обеспечим участками безземельных и малоземельных граждан, освободим столицу от богачей и бедняков, не желающих заниматься ремеслом и торговлей, дадим доступ в колонии даже зажиточным гражданам, потому что нам нужны большие средства для обзаведения сельскохозяйственными орудиями и инструментами.

— Но не мало ли ты выделил колоний? — воскликнул рябоватый трибун Рубрий. — Я все обдумал и хочу предложить закон об основании колонии на месте Карфагена.

— Хорошо, — сказал Фульвий Флакк, — а на сколько человек?

— На шесть тысяч.

— Поедут граждане в Африку?

— Отчего же нет? — удивился Гай. — Самое главное — мы должны завербовать колонистов, и я придумал, друзья, предложить также союзникам переселиться в эту колонию, а в награду они получают права римского гражданства.

— Прекрасная мысль! — закричали все, только Фанний и Друз молча смотрели на стол, не выражая восторга.

— Вы не согласны? — вспыхнул Гракх.

Фанний поднял голову, глаза его тревожно забегали по лицам друзей.

— Мысль хорошая, но сенат...

— Что сенат? — грубо крикнул Фульвий Флакк. — Куча издыхающих собак! Господа Рима — мы: Гай, я, ты, он...

— Сенат — голова республики, — убежденно возразил Фанний.

— Нет, голова — он, — указал Фульвий на Гракха, — а сенат только зад. Разве он не раболепствует перед нами?

Гай призвал всех к спокойствию.

— Разъясни нам, что тебя смущает, — обратился он к Фаннию.

— Я скажу откровенно: не только сенат, но и народ будет против закона Рубрия, потому что возникновение в провинциях римских колоний побудит союзников добиваться прав гражданства, а новый город может стать со временем соперником Рима; всем известно, что это место проклято Сципионом Эмилианом и обречено оставаться навеки пастбищем. Поэтому я не советую Рубрию выступать с этим законом.

— Глупости! — рассмеялся Флакк. — Сенат для нас не закон, а народ мы сумеем убедить!

— А твое мнение, Ливии? — обратился Гракх к Друзу.

— Мне кажется, что дело не так страшно, как рисует благородный Фанний. Нужно обдумать, обсудить с народом, а затем и провести...

— Что спорить, что сомневаться? — вскричал Гай. — Да здравствует закон Рубрия!

XV

Закон Рубрия прошел через комиции, но плебс неохотно голосовал за него, а сторонники сената возбуждали народ против Гракха, обвиняя его в безбожии: «Место

предано проклятию, — твердили они на форуме и улицах, — боги страшно накажут гордецов, которые там поселятся». Плебс не знал, кого слушать. Граждане, изъявившие желание переселиться в Африку, теперь раздумывали, а на тех, кто собирался ехать, суеверный народ смотрел с ужасом; зато союзники, не колеблясь, соглашались покинуть Италию. Их прельщало римское гражданство, большие участки земли, а мысль, что дети их, ставши римскими гражданами, смогут занимать государственные должности, была решающей. Глядя на союзников, потянулись в Африку и малодушные римляне.

Весною Гай был назначен по жребию ехать на место Карфагена, где основывалась колония, под названием Юнонии, или Гереи. Не хотелось ему оставлять Рим, где его присутствие было необходимо, однако, не желая нарушать постановления граждан, он выехал немедленно, поручив Фульвию Флакку руководить делами народа.

Уезжая, он чувствовал, что положение его непрочно, но почему — затруднился бы сказать. Опираясь на плебс и всадников, он сотрудничал с сенатом, власть которого ограничил, и знал, что оптиматы — смертельные враги; плебс состоял из разнородных элементов: горожане холодно относились к нуждам земледельцев, а те смотрели на городской плебс, как на бездельников и тунеядцев; всадники, поддерживавшие Гракха, пока он не провел выгодных для них законов, теперь охладевали к нему, опасаясь, что в случае победы плебса благосостояние их пошатнется, а некоторые даже отвернулись от него и примкнули к сенаторам, с которыми их связывало родство; Муций Помпоний, могущественный старик, которого Гай считал человеком честным, стал бывать у сенаторов, выдав даже за одного из них свою дочь, сестру Помпония, и уговаривал сына и племянника отречься от Гракха, чтобы не испортить себе будущности. Но молодые всадники оказались честнее старика: они отказались слушать его и заявили, что судьба народного трибуна — их судьба.

Гай узнал об этом от одного из друзей, и уважение к Помпонию и Леторию превратилось у него в чувство глубокой дружбы и любви. Перед отъездом он обнял их, пошутил:

— Не бойтесь оставаться со мной? А что если меня ждет участь Тиберия?

— Разделим ее с тобой! — вскричал Помпоний, и зубы сверкнули белой полоской на его смуглом лице.

— Разве мы не воины? — подхватил Леторий, вздернув плечами.

Фульвий Флакк тихо сказал:

— Мы готовы сразиться не только с олимпийцами, если они сунут нос в наши дела, но и с самой Фортуною!

— А что? — обеспокоился Гракх.

— Против нас возбуждают народ. У меня есть подозрение на твоих друзей...

— Ты шутишь!

— Говорят, эти люди встречаются с Люцием Опимием...

— Да поразит их громовержец! Да проглотит их Тартар! — вскричали Помпоний и Леторий.

Гай отозвал Фульвию в сторону.

— Кто? — выговорил он изменившимся голосом.

— Фанний и Друз.

Гракх засмеялся, похлопал Флакка по плечу:

— Не может быть, ты ошибся. Я за них ручаюсь.

— Ручаться можно за себя и то не всегда.

— Фульвий!

— Если не будет сомнений, то... Гай молчал.

— ...прикажешь их убрать? — продолжал Флакк, спокойно улыбаясь. — Они исчезнут, точно никогда не существовали. И никто их не найдет.

— Это невероятно, невозможно, — не слушая его, шептал Гракх и вдруг, очнувшись, сжал руку друга и бросился к триreme, причалившей к набережной. Он быстро взошел на нее, и вскоре судно отплыло, сопровождаемое напутствиями друзей, плебеев и всадников.

XVI

На Палатине, в доме Гракхов, была тишина послеобеденного отдыха.

В атриуме, у водоема с четырьмя столбиками по углам, стоял стол, за которым молча работали три матроны. Свет проникал сверху, через отверстие в покатой к середине крыши, устроенное для стока дождевой воды. Окон в доме не было, и даже днем сумрак таился причудливыми тенями по углам и у ниш таблина, в которых хранились древние изображения предков — восковые маски, снятые с лиц покойников. Травертиновые колонны и стены носили следы давней облицовки — еще при жизни Семпрония Гракха отца; цветная штукатурка кое-где обваливалась, мозаика и фрески не то выцвели, не то потемнели от времени, а принесение в жертву Ифигении, изображенное на левой стене, потускнело.

И так же неярки казались лица Аргуса и Медеи, расположенные тут же по сторонам. На правой стене тешила взор римлянина сцена войны — бой на мосту через Тибр: Гораций Коклес один сдерживает напор этрусков; рядом с ним, в шлеме и латах, стоит богиня Минерва; она собирается метнуть звонкозвещающее копьё в гущу врагов, — рука занесена, мускулы напряжены, и копьё вот-вот вонзится в воинов. Эта картина, равно как и две крылатые Победы при входе в таблин, написанные, по-видимому, греческим художником, казалось, жила, производя большее впечатление, нежели жертвоприношение Ифигении.

Мозаичный пол, разрисованный под ковер, поистерся, и небольшие разноцветные камешки с изображениями, некогда вставленные в красный цемент, повыпали, но узорчатая надпись у порога четко выделялась, крича о гостеприимности хозяев. С улицы доносился, нарастая и утихая, шум города, похожий на жужжание пчел. И вдруг голос раба, внезапно ворвавшийся в сонную тишину дома, оторвал матрон от дум:

— Семь часов²².

Женщины подняли головы. Старая, с паутинками морщинок у тонких губ и живых глаз, в чепце, одетая в темную шерстяную тунику, ткала на вертикальном станке тогу, старательно проводя нити снизу вверх и пропуская иголку поперек основы, а молодая, смугло-румяная, с черными углями блестящих, как будто покрытых лаком глаз, пряла, привязав кудель у пояса; она несколько подобрала тунику и, вытягивая нитку за ниткой из пряжи, прикрепляла их к крючку веретена; затем, свесив нить между большим и указательным пальцем, она придавала веретену вращательное движение: нитка скручивалась, змейкой обвивалась вокруг веретена, проходила через крючок, и это повторялось до тех пор, пока веретено не было целиком увито. Тогда матрона снимала нитки и бережно клала моток в корзинку. Третья женщина, в траурной

²² 7 часов по римскому зимнему времени соответствует 1 часу без четверти — по нашему.

одежде, с лучистыми страдальческими глазами, вышивала коврик: крупные розы расцветали от действия ее рук, как от солнечных лучей.

Старая наблюдала за прядением молодой с легкой улыбкой на лице. Отложив недотканную тогу, она, как это случалось чуть ли не каждый день со времени отъезда Гракха в Африку, начала беседу о сыне; голос ее был слаб, грусть сквозила в словах:

— Послушай, Лициния, я устала ждать Гая: отчего он не едет? Лары молчат, предсказания авгуров туманны, но я знаю одно: отсутствие его губельно для общего дела. Друз и Опимий склоняют народ на свою сторону, по городу ходят слухи, распространяемые сенатом, — подлые сплетни, порочащие славное имя Гракхов... Гай горяч, вспыльчив... И если он узнает...

По лицу Лицинии мелькнул испуг, согнав румянец, губы дрогнули:

— Не бойся, благородная Корнелия, боги милостливы к дерзающим мужам — к мужам, которые ратуют за справедливость, а мой любимый супруг борется за дело плебеев. Разве он не одержал победы? Разве сенат не подчинился ему?

— Сенат ропщет, что государственные должности заняты его друзьями... И все б это было не страшно, если б сын остался в Риме. А теперь плебс, слушая демагогов, охладевает к нему, коллеги ненавидят за дерзость и захват власти, Друз — на стороне сената, он завидует, а Гай, так же как Тиберий, не хочет крови.

— Покойный мой муж, — тихо сказала матрона в траурной одежде, отложив коврик, — был чересчур мягок, он всегда колебался и оттого погиб, а Гаю не на кого опереться. Плебс — малосознателен: любой, кто даст ему большую подачку, получит больше голосов в комициях; воины растворились в народе, их нужно выбирать крупинка за крупинкою, как чернушку из проса; всадники ничего не стоят; это презренные торгаши, выскочки, вроде Скавра, который путем лести и подкупа идет к своей цели. Ты знаешь, что он делает? Он ловко подражает добродетели Цинцинната и суровости Манлия Торквата, не брезгая ничем, чтобы получить консульство...

— Ты очень строга, Клавдия! — покачала головой Лициния. — Разве Скавр против Гая? Помнишь, мать, — обратилась она к Корнелии с лаской в голосе, — он приходил к нам? Он уверял, что стоит ему только захотеть, и сенат...

— А, вот ты о чем! — вскрикнула Корнелия, и лицо ее загорелось пламенем гнева. — Раньше меня называли тещей Сципиона, а теперь — матерью Гракхов. А он вспомнил эту кличку и насмехается надо мной в сенате, на форуме — всюду...

— Я не понимаю, — пролепетала Лициния.

— Но разве можно, дочь моя, — продолжала Корнелия, — разрушать государство, которое нам — родина, мать, кормилица, за которое с честью сражался доблестный отец мой Сципион Африканский Старший, победитель Ганнибала, и с ним тысячи лучших сынов римской республики? А сенат, во главе со Скавром, губит отечество, преследуя Гракхов...

Клавдия встала, глаза ее сверкали такой ненавистью, что обе матроны задрожали:

— Мать, кровь Тиберия вопит о мщении!

— Он отомщен. Разве Сципион Эмилиан не получил по заслугам?

Лициния возмутилась.

— Чего ты говоришь? — вскрикнула она. — Не повторяй злых слухов, ходивших по городу, не обвиняй своего сына!

— Разве я обвиняю? — прошептала Корнелия. — Но Семпрония... после смерти Сципиона перестала бывать в родительском доме, отреклась от нас, замкнулась в себе... О, горе, горе!..

Она схватилась за голову, седые волосы выбились из-под чепца.

— И подумать только, — продолжала она надтреснутым голосом, — что боги льют столько страданий в мою душу, как в бездонную чашу, а я еще жива, не лишилась рассудка!

Молчание охватило атриум.

Корнелия думала о смерти Сципиона Эмилиана, разрушителя Карфагена и Нуманции, великого римлянина, храброго и честного воина, бескорыстного гражданина, и о смерти Тиберия, народного трибуна, кроткоглазого сына, убитого палками, как собака.

Тогда она избегала выходить на улицу; чувствовала на себе злобные взгляды прежних знакомых, ставших сторонниками сената, слышала за спиной насмешливые рассказы, а Семпрония получала соболезнования о смерти великого гражданина от таких лиц, которых Корнелия не пустила бы на порог своего дома.

Корнелия знала больше: дочь замыкалась в строгое молчание, когда шли беседы о покойном брате, а иногда говорила, хмуря тонкие брови: «Кто идет против нашей власти — тот преступник». В этом ответе звучало гордое уважение римлянки к власти нобилей, оплоту государства. Корнелия, внушавшая детям с малых лет, что власть священна, не раз утверждала: «Благо республики выше и важнее жизни отдельных лиц, и несомненно, тех, кто затеял смуту». Это были мысли отца и мужа; прежде, не задумываясь, она принимала их на веру, а теперь идея о власти дала трещинку, и эта трещинка вызвала противоречия: «Оптиматы убили... кучка... это — власть?.. А разве народный трибун — не власть? И почему олигархия имеет больше прав на власть, чем плебс — все эти массы разоренных земледельцев, бедных ремесленников, угнетаемых рабов?»

Вопросы были не новые. Они обсуждались уже в сципионовском кружке — Полибий первый заронил семена этих опасных идей в юные головы, первый стал выращивать их, как опытный садовник. Сципион Эмилиан считал осуществление власти плебса несбыточной мечтою: он ссылался на Платона, Аристотеля, подкреплял свою мысль стихом из Гомера о единодержавии.

Корнелия живо помнила давнишние события, хотя время заметало веником шумных дней воспоминания, разбрасывая их по ветру. Милый сын, скромный, как девушка, честный, бескорыстный, бесславно погиб! Сципион Назика повел маленькую власть против большой и победил. Как это случилось, что кучка разогнала, избивая, тысячи?

«Как это случилось? Слышите, боги? И почему ты, Юпитер, не вступился за правду, и ты, Минерва, не поразила злодеев?»

Гораций Коклес!

Взглянула на картину и нашла в знаменитом муже древности некоторое сходство с Назикой: такой же лоб, тот же нос, те же глаза. Впрочем, нос не такой и глаза... А может, это показалось? Этот Назика женат на ее старшей сестре, а сестра ненавидит ее, Корнелию, ненавидит Гракхов...

Засмеялась грызущим сердце смехом.

Лициния в ужасе отшатнулась: искаженное лицо Корнелии стало зловещим — хриплый шепот зашуршал в атриуме:

— Этот Назика, этот...

Очнулась, провела рукой по бледному лицу.

— Клавдия, бедная, одинокая... Невестки смотрели на нее, как потерянные.

Корнелия поднялась, хлопнула в ладоши. На пороге вырос смуглый раб, низко поклонился.

— Предупреди Фида, что я выйду. Кликни Хлою. На ногах раба звякнули бронзовые браслеты и утихли. Хлоя, гибкая босоногая македонянка, блестя крупными виноградинами темно-синих глаз, вбежала, шурша короткой туникой, в атриум и, припав на колени, сняла с госпожи сандалии и надела вместо них красные кожаные башмаки с золотыми пряжками, а на плечи накинула длинную выходную одежду, упавшую до пят строгими складками.

Фид между тем вошел и, склонив голову, ждал приказаний. Это был раб, рожденный в доме Гракхов; сверстник Гая по детским играм, он, как и другой такой же раб Филократ, воспитывался вместе с молодым господином, принимал участие в гимнастических упражнениях и состязаниях, недурно знал по-гречески и считался членом семьи. Корнелия любила обоих: это были преданные люди, «любимые дети», как она их называла.

Выйдя на улицу, матрона пошла быстрой походкой бодрой женщины. Фид шел впереди, расталкивая рабов, громкими криками заставляя прохожих сторониться.

Толпа расступалась и тотчас же смыкалась за нею. Крики торговцев восточными сладостями, пирожников, гадателей, разносчиков носились над узенькими улицами, бились бессильно о неуклюжие двухэтажные дома, готовые, казалось, вот-вот рухнуть: верхний этаж частью висел над улицей, деревянные подпорки, кое-где подгнившие, грозили обвалом. Рабы и невольницы перебежали улицу, перекликаясь между собою.

На углу находилась палатка менялы, где толпились молодые щеголи и люди, добивающиеся магистратуры, а дальше лавки вольноотпущенников чередовались с домами, домиками и домищами; впереди на крыше таверны была устроена школа; вывеска гласила: «Диоген, учитель грамоты». Учитель громким голосом декламировал стихи из «Илиады», вызывая насмешки прохожих:

— Ишь вопит, будто брюхо подвело! Шел бы к Гракху — тот накормит, — злобно говорил торговец с порога своей лавки, намекая на хлебный закон, вызвавший прилив деревенского населения в город.

— Вместо того чтоб смущать бедняков посулами, завел бы хоть римские школы, а греческие — не для нас, — поддержал его пожилой вольноотпущенник с надменным лицом, которое выдавало африканское или азиатское происхождение, хотя он считал себя чистокровным римлянином и хвастливо говаривал, беседуя с окружающими: «Мы, римляне...».

— Грек обучает и нашим и своим наукам, — вмешался сухой старичок в поношенной тоге. — Мой господин Корнелий Сципион Эмилиан Африканский Младший не раз говаривал: «Учение — цель жизни»; он знал хорошо по-гречески и учился разным наукам до самой смерти.

— А ты кто будешь? — спросил торговец.

— Был клиентом, а теперь торгую на форуме. Слыхал о лавке Марция Стила?

— Как не слышать? У тебя гемм и золота больше, чем у любого грека.

В это время учитель появился на краю крыши, и детский голосок выговорил несколько слов по-латыни.

— Чья правда? — закричал Марций Стил. — Разве я не говорил?

Но торговец не унимался; он сказал громко, по-видимому, с умыслом:

— Вредный народ эти греки! Не будь их и этих азиатов, понаехавших в Рим, не дошли бы мы до такой подлой жизни! Кто, как не они, торгуют рабами у храма

Кастора? Кто, как не чужестранки, разоряют и заражают дурными болезнями нашу молодежь? Кто, как...

Корнелия больше не слушала. Мысль о внуке, сыне Гая, больно отразилась в ее сердце: мальчик учился у Диогена, и неужели греческое воспитание так же тлетворно, как восточная роскошь, червем подтачивающая дух и тело римской молодежи?

У Мугонских ворот скопление людей было настолько велико, что Фид охрип от криков. Народ стоял сплошной стеною, не пропуская никого.

Корнелия остановилась в нерешительности: колебалась — ждать или повернуть обратно.

— Скажи, Фид, что за причина столь небывалого наплыва толпы?

Фид не успел ответить. Несколько рабов бежали с криками, расталкивая народ:

— Дорогу благородной Аристагоре! Дорогу... Двигалась лектика, окруженная многочисленной толпою.

Ее несли на плечах крепкие, мускулистые сирийцы, одетые все, как на подбор, в разноцветные пенулы, наброшенные поверх туник; они шли ровным шагом, равнодушно поглядывая на народ.

В лектике, усыпанной цветами, полулежала юная гречанка с таким чарующим лицом, что Корнелия невольно загляделась. Небрежно опершись правой рукой на расшитую золотом подушку, девушка держала в левой зеркальце в оправе из слоновой кости с изображением Семелы; оно сверкало на солнце, как раскаленный осколок металла.

По белокурому парику, выглядывавшему у чужестранки из-под вуали, Корнелия догадалась, что эта девушка — гетера.

Заметив впечатление, произведенное ею на народ и особенно на щеголей, старавшихся пробиться сквозь толпу к лектике, Аристагора бесстыдно разлеглась на подушках; это привело римлянок в негодование, а юношей в восторг: одобрительные возгласы вызывали улыбку на ее лице.

Лектика между тем уплывала над толпой, как нарядная лодка, а серебряная занавеска раздувалась парусом, изредка скрывая гетеру от глаз народа. А на смену этой лектике двигалась другая, менее роскошная. В ней возлежала толстая гетера в митре, с наглыми глазами навывкате; румяные щеки готовы были, казалось, лопнуть от полнокровия, из-под паллы выглядывали ноги с мясистыми икрами.

— Дорогу благородной Никополе!..

Корнелия не выдержала: презрительно плюнув, она остановила повелительным жестом лектику и пересекла улицу. Услышала за спиной чей-то голос:

— Это — мать Гракхов.

Но не обернулась, гордо продолжая свой путь.

XVII

Марк Фульвий Флакк, друг Гая, жил на Эсквiline. Его дом поражал современников толпами рабов, азиатской роскошью, вторгшейся в Рим со времени присоединения Пергама.

Фульвий, человек уже пожилой, враг правящей олигархии, считал себя эпикурейцем. Он любил пожить, но не строгой жизнью древности, как жили Сципионы, Метеллы, а по-восточному, чтобы было чем вспомнить прошедший день, и если продолжал бороться на стороне Гая, то потому только, что надеялся на победу

плебса. Восстание рабов на Сицилии и в городах Италии, и за которое он тогда ратовал, которым руководил и за которое готов был сложить свою голову, постигла жестокая неудача, — он упал духом, и, чтобы забыться, стал проводить время в попойках, любовных утехах и увеселениях. На древние нравы, отошедшие в вечность, он смотрел сквозь призму легкого скептицизма и мудрой усмешки, не веря, что возможен возврат к прошлому.

Но, несмотря на это, он продолжал бороться, как упрямый человек, ослепленный мстостью, которому особенно нечего терять. Жизнь? Как эпикуреец, он видел в ней только одно удовольствие, а если оно нарушалось кознями врагов, то дорожить жизнью не приходилось. Положение? Оно пошатнулось во время его консульства, когда он предложил даровать латинам и союзникам права гражданства. Семья? Он не был счастлив со сварливой женой и двумя сыновьями; жена дурно обращалась с рабами, хлестала невольниц по щекам; старший сын, Люций, хотя и борец за дело Гракхов, но легкомысленный щеголь, завсегдатай таверн и лупанаров, для которого победа над женщиной была важнее выступления на форуме, и младший, Квинт, юноша скромный, как девушка, нерешительный, тайно влюбленный в молодую рабыню, далекий от борьбы, — не были людьми стойкими, готовыми на жертвы. Богатство? Оно висело на волоске: стоило только измениться обстановке, и тот плебс, за который шла борьба, неминуемо бросится на своих друзей, науськиваемый свирепыми оптиматами, сожжет их дома, разграбит имущество. И потому Флакк вел рассеянную жизнь, мало заботясь о последствиях приближавшейся грозы.

Он видел, как нарастало столкновение, но не боялся. После провала закона, предложенного им в свое консульство, в городе пошли толки и пересуды. Говорили, что Фульвий подстрекает италиков к отпадению, расстраивает отношения Рима с союзниками. Возраставшая ненависть оптиматов к Флакку перекинулась на Гая. Плебс охладевал даже к нему, слышались насмешливые разговоры о том, что Гракх не порывает связей с олигархией, заискивает у народа, что такой трибун — двуликий Янус, и доверять ему не следует. Этим пересудам способствовал своими речами Ливий Друз, коллега Гая по должности, богач, оратор, которого сенат сумел склонить на свою сторону.

Положение было опасное. Корнелия это чувствовала и решила повидаться с Фульвием: хотелось выяснить, что он предпринимает и нет ли у него сведений, когда возвратится сын.

Флакк одевался, собираясь выйти. Раб набросил на него тогу, протянул ларчик с перстнями. Фульвий выбрал дорогую греческую гемму с выгравированной на одной стороне топаза сценой лесбийской любви, а на другой — инициалами MFF, подошел к зеркалу, вделанному в стену (вверху был изображен Геракл, убивающий Немейского льва, а внизу Парис, протягивающий яблоко Афродите); бледно-медная, ярко-блестящая поверхность отразила гладко выбритое лицо, тонкие губы, темные глаза с морщинками и багровую бородавку на левой щеке; белая паутина висела уже на висках, лысина широким пятном желтела на макушке, подбираясь к затылку.

Раб доложил громким голосом:

— Матрона Корнелия желает видеть господина.

— Проси! — нетерпеливо передернул плечом Флакк.

И с видом занятого человека поспешно вбежал в атриум, бросился к Корнелии, радушно протянул руки:

— Счастлив тебя видеть, благороднейшая римлянка! Прошу тебя, садись. Ты так

редко посещаешь нас... Какой радости обязан я твоему приходу?

Он передохнул, поправил складки тоги. Корнелия поняла, тонко улыбнувшись, сказала:

— Вижу, пришла я некстати — ты собирался уходить. Но я хотела предупредить тебя, что Ливий Друз и Люций Опимий действуют сообща. Берегись, чтоб они не захватили вас врасплох.

— Будь спокойна.

— Говорят, ты ведешь переговоры с латинами...

— Пусть говорят.

— Разве это неправда? Фульвий усмехнулся:

— Будущее покажет. Союзники доверяют Гракху, и когда он приедет, мы сделаем переворот...

— Не надо крови! — воскликнула матрона. — Гай не захочет...

— Ну, если не захочет, его постигнет участь Тиберия.

— Что ты говоришь? — испуганно шепнула Корнелия. — Разве нельзя уладить дело миром?

— Разве живут в мире орел и голубка, лев и серна? — вопросом на вопрос ответил Флакк и тут же стал говорить, что ожидает Гракха со дня на день, и два раба находятся на набережной, чтобы предупредить, как только появится на Тибре судно с лиловыми парусами. — Кроме рабов, — прибавил он, — на пристани находится народ...

— Много? — перебила Корнелия.

— Увы, — вздохнул Фульвий, — плебс изменчив, как море; он за того, кто больше обещает и больше дает...

— Так что же вы медлите? — заволновалась матрона. — Вас еще много... Призови в Рим союзников... Ах, нет, нет! Что я говорю? Нельзя нарушать спокойствия в стране, нельзя идти против власти!

Флакк пристально посмотрел на нее:

— Гай — трибун, вождь народа, и я, консуляр, обязан ему повиноваться. Но все же я посоветую ему поднять рабов, зажечь Рим, перебить сенаторов, точно так же, как они убили Тиберия с единомышленниками.

— Что ты, благородный Фульвий? Разве мало нам резни и восстаний на Сицилии? Овладев Римом, рабы уничтожат не только сенаторов, но и всех римлян...

Флакк нахмурился:

— От судьбы своей не уйдешь; даже Юпитер бессилен против того, что предначертано.

Он встал, подошел к клепсидре, стоявшей на треножнике в углу атриума. По бокам высокой колонки, на которой снизу вверх по порядку было выгравировано двенадцать цифр, стояли нагие мальчик и девочка; мальчик поддерживал фаллос, из которого вытекала тоненькая струйка воды, падая с легким журчанием в цистерну; девочка, с золотой палочкой в руке, стояла в лодочке, и по мере того, как вода прибывала, лодочка подымалась, палочка скользила вверх по цифрам.

— Прости, я тебя задержала, — молвила Корнелия, прощаясь с Фульвием. — Не будешь ли ты настолько добр, чтоб навестить меня завтра?

— Твоя воля. Не гневайся, что дела Гракха нарушают обычаи гостеприимства.

Он проводил ее до двери, кликнул раба Молеста:

— Посмотри, куда направилась матрона, да вели Афродизию приготовить лектику.

— Господин прикажет, чтоб его сопровождали слуги?

— Несколько человек, как всегда.
— Господин препоясается оружием?
— Подай короткий меч. Молест вышел и вскоре вернулся:
— Матрона пошла в сторону Мугонских ворот. Лектика готова.
Пряча меч под тогой, Флакк сказал:
— Молодой господин дома?
— Господин говорит о старшем? Он еще не приходил.
— Как не приходил? Со вчерашнего дня?
Раб молчал, виновато опустив голову.
— А младший?
— Дома.
— Что делает?
— Играет в мяч с юной Асклепидой.

Фульвий усмехнулся: в эту рабыню был влюблен Квинт.

На улице, против двери, стояла на маленьких ножках лектика. Рабы дожидались, беседея вполголоса. Увидев вышедшего из дома Флакка, они поклонились и заняли свои места. Раб, на обязанности которого было бежать впереди и кричать прохожим, чтоб они уступали дорогу, спросил:

— Куда господин прикажет?
— Целийский холм, лагерь чужестранцев.

Раб знал, куда отправляется Фульвий: это было место, отведенное для чужестранцев, там жила гетера Аристагора, о которой говорил весь Рим и красота которой возбуждала зависть и бессильное бешенство жен сенаторов и всадников.

XVIII

Белый корабль, похожий на огромного лебедя, с выгнутой шеей, медленно плыл против течения; справа и слева опускались десятки длинных весел, и гребцы, обнаженные по пояс, вскрикивали каждый раз, когда весла погружались в воду. По обоим берегам Тибра тянулись зелеными полуостровами луга, вздымались широкие рощи, буйно раскидывались в тяжелой истоме кудрявые леса, приземистые кусты, купавшие ветки в прохладных струях.

Гракх стоял рядом с рулевым, всматриваясь в темневшие на правом берегу древние стены Рима.

Было прохладно, несмотря на половину лета. Перемена погоды ощущалась уже у берегов Италии. Изумрудное море приняло темный оттенок налипавшей бури, точно Нептун поднял уже трезубец, чтобы ударить по волнам. Жители Остии надели зимние тоги. Гай полагал, что и в Риме не теплее.

Глядя на набережную, усаженную деревьями, которая тянулась на несколько стадиев вдоль Тибра, на широкую лестницу, сбегавшую к реке, и на склады, похожие на толстых приземистых торговков, охраняющих свою соль, рожь, вино, оливковое масло, рыбу и мясо; видя перед собой огромные помещения, где лежали запасы леса, каменных плит, а в отдалении — бесчисленное множество домов и над ними храмы, а еще выше Капитолий, — Гракх думал о могуществе и богатстве Рима, господство которого над миром принимало чудовищные формы. Рим казался жадным спрутом, он давил побежденных, угнетал, издевался над человеком, делая из него раба, выжимал соки непосильным трудом. Обогатившись добычей со времен второй и третьей

Пунических войн, он строился, разрастался, как дуб. Его ветви осеняли уже Африку, тянулись к Испании и Галлии, заглядывали в Малую Азию, но этот дуб подтачивали черви роскоши, наслаждений, разгула, пьянства. И грустно было Гаю думать об этом, вновь переживать тяжелые времена после разрушения Коринфа и Карфагена.

Он взглянул на берег, и беспокойство закралось в сердце: почти пусто. Несколько рабов, друзья и клиенты дожидались, стоя на ступенях, иные сбегали к воде, желая первыми приветствовать трибуна.

Когда Гай поднимался по лестнице, подошел Фульвий.

— Хвала Меркурию! — воскликнул он. — Ты приезжаешь как раз вовремя.

Они обнялись.

Филократ, раб и друг Гракха, поклонился Флакку, который под одобрительный шепот рабов и клиентов обнял его точно так же, как перед тем господина.

Слух о приезде Гая быстро распространился. На Палатине перед домом Гракхов толпились рабы и ремесленники.

Гая и Фульвия приветствовали радостными криками, но Гракх сразу заметил, что народу меньше; прежде вся улица бывала как бы вымощена головами людей, а теперь — не то.

— Виною всему подлые псы оптиматов — Друз и Опимий, — шепнул Флакк, — но ты не принимай этого близко к сердцу, мы сумеем поднять плебс против власти...

— Да, мы созовем римлян, латинов, союзников. Мы примем необходимые меры...

— Обратись к народу с речью, разве не видишь, что толпа ждет от тебя слова?

Гракх сказал речь, направив ее против оптиматов. Он призывал плебс сплотиться вокруг своего трибуна, указывал на лесть Друза, сенатского наемника, который обещает народу блага и делает уступки для того только, чтобы задобрить плебс.

— Помните, граждане, — заключил он, — я не допустил вашего врага Опимия к консульству, и разве я был неправ? Он ведет уже борьбу против меня и Фульвия Флакка, подлыми сплетнями и ложью стараясь очернить нас, и если он займет на выборах место Фанния — берегитесь! Законы мои будут отменены, и вы испытаете на себе всю тяжесть гнева оптиматов. Скажите, разве я не старался облегчить ваше существование? Вы получили хлеб, у вас была работа по постройке дорог, я дал вам права, о которых вы и не помышляли при жизни моего брата, вашего трибуна! И неужели вы проведете в консулы бешеного волка Опимия, неужели позволите злодею глумиться над собою?

— Никогда! — послышались крики. — Смерть Опимию, смерть оптиматам!

— Мы можем опереться на рабов, — возвысил голос Фульвий. — Мы призовем всех к оружию!

Он старался вовлечь Гая в кровавую борьбу, растоптать сенат и даже всадничество, которому была дана власть в судебных заседаниях. Флакк требовал освободить рабов и бросить их вместе с плебсом на оптиматов. Гай и его вернейшие друзья Помпоний и Леторий были против. Они боялись смут в государстве, а Корнелия доказывала, что освобожденные рабы поработят римлян, разрушат города, деревни и плантации, а римлян обратят в рабство. Она указывала на Сицилию, на восстание Эвна, рисовала картины одна другой страшней и отчаянней. Тогда Фульвий сдавался. Он предлагал выступить только во главе плебса, не освобождая рабов, но у Корнелии был ответ и на это: «У оптиматов есть войско, они прикажут консулу вооружить граждан. Устоит ли тогда плебс?» Флакк был уверен, что устоит, но в доказательствах его отсутствовала логика, и Гракх, морщась, прерывал его: «Прошу тебя, перестань! Будущее покажет,

что делать». Однако Фульвий не унимался; его раздражало, что Гай колеблется между оптиматами и плебсом, не желает порвать с одними и окончательно пристать к другим. Но ведь и сам Флакк не порывал с аристократией, не желая отказаться от старой жизни, от старых привычек. Однако Фульвий рассуждал так: «Если он пристанет к плебсу — я поступлю так же. Разве нельзя пользоваться жизнью среди плебеев и рабов? Я не раз видел таких красивых плебеек и таких полнотелых рабынь, что потом не мог спать спокойно. Вся беда в том, что эти женщины грязны, но у Юния Брута в его лаватрине их так вымоют ночью за отдельную плату²³ что не только грязи и пота, но и кожи не останется на теле».

Корнелия встретила сына на пороге, обняла, прижала к груди, Клавдия поцеловала его в лоб.

— Вот и ты, — говорила Корнелия, заглядывая ему в глаза с той нежностью, на которую способны только матери, — вот и ты! Как я счастлива!..

Лициния стояла, скромно потупив глаза. Гай бросился к ней, сжал ее в объятиях. Она стыдливо освободилась, покраснела.

— А маленький Марк в школе, — сказала она, радостно улыбнувшись. — Хочешь, я пошлю за ним?

Но он не согласился: пусть ребенок учится, не следует отрывать его от дела, а увидеться с отцом успеет.

Флакк, Помпоний и Леторий прошли между тем в таблин и, ожидая Гракха, беседовали вполголоса. Здесь, по древнему обычаю, хранился семейный архив, договора о гостеприимстве с чужестранцами, которые, приезжая в Рим, добровольно становились клиентами римского гражданина, чтобы, став членами семьи, пользоваться заботой патрона и защитой его в суде. Таблин был деловой комнатой и столовой. Бронзовые столы, прикрепленные к стене, напоминали формой храмы — верх имел вид треугольника, похожего на крышу.

Когда вошел Гай, друзья отправились помыться. Лаватрина, или баня, находилась рядом с кухней. Это была полутемная комната с цистерной для холодной воды и небольшим отделением, куда из кухни по трубам проходил горячий пар: цистерна для горячей воды находилась справа.

Фид встретил Гракха у лаватрины, поцеловал ему руку. Гай дружески обнял его, спросил, всем ли довольны рабы и перестала ли Хлоя тосковать по родине?

— По ночам она плачет, — молвил Фид, — все мы жалеем ее...

Гракх задумался. Он давно уже решил отпустить молодую македонянку на волю, но мать не соглашалась: Хлоя знала ее привычки, была старательна, умела угодить матроне в тех маленьких пустячках, без которых Корнелия не могла обойтись. Однажды, настаивая, Гай вспылил, возвысил голос. Мать поднялась и молча вышла из-за стола. С тех пор разговор о Хлое не возобновлялся, но Гракх втайне досадовал на мать. Теперь же, слушая Фида, он решил настоять во что бы то ни стало на освобождении рабыни.

Войдя с друзьями в таблин, он увидел Хлою, которая уставляла стол кушаньями, в то время как Филократ на маленьком отдельном столике переливал родосское вино из амфор в кратеры.

Гай подошел к Хлое и, отозвав ее к ларарию, ласково похлопал по плечу:

— Как живешь? Все по-прежнему грустишь о родине?

²³ В те времена женщины в публичных банях не мылись.

Молодая рабыня припала к руке господина и, подняв голову с черными косами, свисавшими толстыми змеями на грудь, заглянула блестящими увлажненными виноградинами глаз в черные глаза Гракха.

— Зачем спрашиваешь? — шепнула она.

Гай смотрел в темно-синие глаза и чувствовал, что рабыня с каждым мгновением нравится ему все больше.

— Куда поедешь, если я отпущу тебя? Где будешь искать родных? И кто поручкою, что тебя не захватят в дороге купцы, не продадут в Делос?..

Она молчала.

— Я отпускаю тебя на волю...

— А госпожа? — запнулась она. — Нет, ты прав... Некуда мне ехать, в твоём доме хорошо, но я одинока... Пойми, господин... и никто... никто... меня не любит!..

— Я выдам тебя замуж за вольноотпущенника. Она молчала.

— Не хочешь?

— Что мне замужество с нелюбимым? Гракх подумал, улыбнулся:

— Уж не влюблена ли ты, Хлоя?

Вспыхнула, глаза ее сверкнули таким пламенем страсти, что он понял и задрожал: сердце забилось прыжками, как зверек, готовый выскочить наружу. Девушка всем телом подалась к нему, и он, не понимая, как это случилось, охватил ее за стан и тут же ощутил на губах жгучий поцелуй.

Она вырвалась, исчезла — легкая походка прошелестела совсем близко, как ветерок в листве, и вдруг он услышал ее звонкий лукавый голос:

— А где же господин? Ты не видел его, Фид?.. Гай тихо засмеялся и прошел в таблин.

— Мы заждались тебя, — сказал Помпоний, широко улыбнувшись, и большие блестящие зубы сверкнули снежной белизной на его смуглом лице. — Ты успеешь обойти свои владения...

— Тем более, — подхватил Леторий, — что благородные матроны и мы давно тебя не видели, и нам было бы приятно побеседовать с тобой.

Гракх собирался извиниться, но Флакк остановил его грубоватым смехом:

— Извинения принимаем заранее и просим не задерживать...

Гай сел на лавку между женой и матерью, Клавдия рядом с Лицинией, друзья разместились на краю стола, а Фульвий — поближе к винам.

Хлоя обносила гостей и хозяев глиняной чашкой для омовения рук. С полуопущенными глазами, дрожа от радости, переполнявшей сердце, она остановилась перед господином и смотрела на бледные руки, которые он вытирал, и вода тревожно плескалась в чашке, как одушевленная.

Другая рабыня, уже пожилая, взяла с деревянного столика и поставила на стол римское блюдо — мучную кашу, при виде которой на лице Флакка изобразилась гримаса неудовольствия. Затем последовала жареная нарезанная ломтями свинина: брали ее пальцами и, стараясь не выпачкаться жиром, низко наклонялись над столом, на который ложились одна за другой крупные полновесные капли. Потом последовали овощи — горох, капуста и лук, но никто к ним не притронулся, кроме женщин. Наконец рабыня с торжественным видом подала сладкое — круглые жареные лепешки, облитые медом.

Наступило молчание. Гракх, по обычаю, принес ларам жертву кушаньями.

Фид, Филократ и Хлоя ели за отдельным столом.

Во время обеда вернулся из школы маленький Марк в сопровождении раба-воспитателя, называемого педагогом. Педагог сопровождал мальчика в школу, оставался на уроках и возвращался с ним по окончании занятий. Он следил за успехами своего питомца, за правильным произношением по-гречески. Это был раб-грек, не то ритор, не то грамматик, купленный Корнелией после разрушения Муммием Коринфа; попав в дом Гракхов, он был приставлен к маленькому Гаю и настолько хорошо обучил его своему языку и наукам, что Корнелия гордилась образованием сына, а греку обещала свободу, как только подрастет маленький Марк.

Увидев отца, мальчик захлопал в ладоши, но воспитатель строгим взглядом сдержал порыв ребенка. Поклонившись отцу и гостям, Марк молча ждал, когда на него обратят внимание.

— Что же ты не идешь, Марк?! — воскликнул Гракх. Мальчик бросился к отцу, обнял его шею тоненькими ручонками.

— Как учишься? — спрашивал Гай. — Доволен ли тобой учитель и воспитатель? Как себя ведешь?

Мальчик молчал: скромность запрещала школьнику хвалиться.

Грек объяснил, что Марк учится хорошо, по-гречески говорит изрядно, но вся беда в том, что быстро утомляется: в школу приходится отправляться очень рано, с огнем в руках, а учиться шесть часов. И он предложил освободить Марка от домашних занятий.

— Он еще мал, — говорил он, — зачем утруждать ребенка лишними уроками? Заучивания наизусть законов XII таблиц и отрывков из Ливия Андроника вполне достаточно. Когда ты учился, господин, — обратился он к Гаю, — ты не уставал, у тебя было крепкое здоровье, а сын твой очень слаб.

Корнелия запротестовала, но педагог настаивал:

— Берегитесь, чтобы потом не пожалеть. Решено было принять совет педагога. Воспитатель и Марк уселись за третьим столом. Фульвий Флакк хмурился: «Древность хороша, — думал он, — но простые обеды наших предков — просто глупость. Кому нужно жрать мучную кашу и овощи, от которых пучит живот? Свинина и сладкое ничего, но, в общем, я голоден».

Обед кончился. Матроны и Марк удалились.

Фульвий вздохнул свободнее и сказал, намекая на греков, любителей овощей:

— Скучно ты питаешься, Гай! Можно умереть от слабосилия. Я всегда был врагом поедателей листьев.

Гракх смутился:

— Если вы голодны, друзья...

Но Помпоний и Леторий запротестовали, да и Флакк не желал вторично такого обеда.

— Я очень жалею, что был в отсутствии и не мог заказать лучших кушаний. Но вы знаете, друзья, что я довольствуюсь малым, не люблю азиатской пышности, обедов из нескольких десятков блюд, певцов и танцовщиц, увеселяющих гостей.

— В Риме существует уже обычай возлежать за столом, а ты, Гай, избегаешь этого, — упрекнул его Фульвий.

— Предки наши не знали этих глупостей, и если мы стремимся возродить старое, зачем пренебрегать древними обычаями? Я не хочу прослыть лицемером.

Между тем грек, бравший на себя в торжественных случаях обязанность виночерпия, принялся наливать вино из кратера в чаши длинной ложкой, называемой

по емкости киафом.

— Родосского вина может быть выпито четыре секстария, — объявил он.

— Прибавь еще! — крикнул Флакк. — Я один способен выпить все это вино!

— Больше вина нет, — твердо сказал грек, — притом госпожа не разрешит пить больше...

— Ну, если так, — засмеялся Фульвий, — то налей мне покамест один додрант²⁴.

— А нам, — сказал Помпоний, указывая на Летория, — по квадранту²⁵.

— Ну, а мне, — подхватил Гракх, — один киаф, да разведи его горячей водою...

Флакк возмутился:

— Ты во всем умерен, Гай! Это граничит со скупостью, ты ворует у себя все удовольствия.

Гракх вспомнил Хлою, ее темно-синие глаза и улыбнулся:

— Нет, дорогой друг, я не скуплюсь... Послушай, учитель, налей и мне три киафа, чтобы не было обидно друзьям...

— Вот это я понимаю! — смеялся Фульвий, протягивая руку к столику с вином. — Всего хорошего, друг!

— Доброй жизни, коллега, на многие годы! Пожелания сыпались со всех сторон, Флакк не давал покоя виночерпию:

— Еще додрант!

И пил, запрокинув голову.

Он повеселел: глаза его блестели, громкий смех врывался в атриум, где сидели женщины.

— Эх, Гай, Гай, — говорил Фульвий, принимая из рук грека полную чашу, — не умеешь ты жить! Вот я — так пожил!

И умирать не жаль будет. А ты... Ну, хорошо, ты — трибун, провел много законов, о тебе напишут в анналах, как о честном человеке, пылком борце за права плебса, о тебе историки расскажут сотням поколений, поэты, вроде Гомера, воспоют тебя и благородного брата твоего Тиберия, память о тебе будут чтить, но не в этом дело: нужно ли тебе это после смерти? Нет, друг, все это — дым!

Он хрипло рассмеялся, хлопнув Гракха по плечу:

— Ну, скажи теперь, кто счастливее — ты или я? Конечно, я. Я одержал победу над первой красавицей (пусть она гетера, это даже лучше — она знает свое ремесло); догадываешься, о ком говорю? Об Аристагоре. Я расскажу вам, друзья, — повернулся он к Леторию и Помпонию, — все подробности... Я готов опять ехать к ней, я готов... снова провести с нею ночь.

— Тише, — остановил его Гай, — здесь рядом матроны...

— А сколько тебе это обошлось? — шепотом спросил Помпоний.

— Ничего... ровно ничего... Она прислала мне записку... несколько слов по-гречески: «Приезжай... жду тебя... ты покори меня...» И я поехал... Кстати, мне чуть было не помешала благородная матрона...

Он хотел сказать «Корнелия», но сдержался. Понял сквозь хмель, что это оскорбило бы Гракха.

— Везет тебе, — засмеялся Помпоний, — а вот пришлось бы тебе обратиться к ней

²⁴ 3 киафа, или 1/8 литра.

²⁵ 9 киафов, или 3/8 литра.

без приглашения — золота б не хватило...

— Пустяки! Четверть таланта, друзья, нашлось бы, думаю, у каждого из вас.

— Четверть таланта! — воскликнул Гай. — Да на эти деньги можно бы закупить хлеба для бедняков, можно бы....

— Верно! — разом закричали Помпоний и Леторий. — Ты бы, Фульвий...

Но Флакк уже спал. Уронив голову на стол, он слегка похрапывал с носовым присвистом.

XIX

Опасаясь за свою жизнь, Гракх переселился с Палатина в местность, находившуюся у форума, где жили ремесленники и неимущие сословия. Он отдавал себя и жену с ребенком под защиту плебса, не надеясь на безопасность в иных местах города.

Корнелия и Клавдия остались в старом доме.

Целые дни Гай проводил на улицах, заселенных беднотою, или на форуме. Он произносил зажигательные речи, обещая народу новые законы, боролся с возрастающим влиянием Друза и Опимия. Но когда Фанний, проведенный им в консулы, стал склоняться на сторону врагов, Гракх ожесточился. Он обвинял его в измене, в продажности и не щадил лиц, которые колебались между плебсом и олигархией.

Решив провести ряд новых законов, Гай ожидал стечения народа, на поддержку которого рассчитывал. Фульвий разослал своих клиентов по деревням и городам, призывая земледельцев и союзников «раздавить ядовитую змею», как он называл сенат, поддержать народного трибуна: «Жизнь его целиком посвящена борьбе за человеческие права угнетенных, за ваши права, — кричали посланцы, объезжая виллы и деревни. — Бросайте все, спешите в город».

Дни были бурные — гроза надвигалась из бедных лачуг ремесленников, отголоски грома доносились до темных кварталов Субуры, населенных блудницами. Форум бушевал и утихал, опять бушевал.

На Священной дороге, древней улице процессий, которая пересекала форум и выходила к Капитолию, теснился народ. Богатые лавки завлекали прохожих протяжными криками рабов, восхвалявших товары своих хозяев-купцов, вывесками, предметами роскоши, выставленными у входа. Греческая речь слышалась все чаще, а на невольничьих рынках поглощала римскую.

Гай Гракх, окруженный многочисленной толпой, шел по улице.

Впереди возвышался Капитолий с храмом Юпитера.

Гай смотрел на священные места Рима, на Тарпейскую скалу, и злая усмешка блуждала по его губам. Века славы и угнетения народа, века порабощения и издевательств! Каждый камень говорил о крови, вопил о мщении, все напоминало о борьбе патрициев с плебеями, и все отошло, но огонь борьбы не потух, он тлеет в груди лучших мужей, лучших сынов республики.

Форум лежал между Капитолием, Эсквилином и Палатином, как поблекшее от времени руно, истоптанное ногами многих поколений.

Народ прибывал медленно и как-то равнодушно.

Оставив друзей, Гракх прошел мимо мраморной колонны в честь консула Дуилия, украшенной загнутыми клювами карфагенских кораблей, и направился к храму

Кастора. Перед ним белели коринфские колонны, как нарядные эфебы с головами, увитыми листьями аканфа, и поддерживали искусно разрисованный архитрав. А из-за храма доносились громкие крики и шум толпы. Там находились таверны и невольничий рынок. Хитрые, пронырливые греки размещали живой товар на деревянном возвышении. Рабы и невольницы, с ногами, вымазанными гипсом или мелом, признаком рабства, стояли полуодетые, готовые по первому знаку хозяина раздеться перед покупателем. Тут были мужчины и женщины, юноши и девушки, мальчики и девочки, даже дети. Военнопленные различались по венкам на головах, иные — по шапкам. У многих на шее висела надпись с указанием происхождения, качеств, способностей и недостатков. Глашатай, стоявший рядом, выкрикивал имена и достоинства рабов, цену, доказывал невинность девушек, плодовитость или бесплодие женщин.

Гай смотрел на купцов: он знал, что они умели искусственными средствами продолжить детство девочек и мальчиков, замедлить у них первые признаки зрелости. Это были негодяи, жадные торгаши, ничем не брезгавшие, чтобы продать товар с барышом.

В стороне стоял толстый торговец и, визгливо покрикивая: «Продажа в розницу», — заставлял рабов прыгать, производить гимнастические упражнения, произносить отрывки из римских и греческих поэм.

Оптом и в розницу продавались рабочие-невольники: многие из них сидели в деревянных клетках, закованные в цепи. Красный, как кровь, богач сразу покупал полсотни для оливковых плантаций и торговался бешено за каждый асс, с пеною у рта: он заставлял рабов открывать рты, сбавлял цену за порченые зубы, ощупывал мускулы, грудь, ляжки, колени. Это был Салониан, сын Катона Старшего, такой же скопидом, как покойный отец, такой же расчетливый и жадный, выращивавший, по слухам, людей на продажу; сегодня он покупал рабов, а завтра будет скупать молодых тучнобедрых рабынь.

Дальше продавались рабы для удовольствий, рабыни для лупанаров, содержатель притона выбирал девственниц: он уводил их в таверну для освидетельствования и возвращался с руганью, требуя сбавить цену. Возникали споры, и купец, дрожа от ярости, обнажал девушку и на виду у всех доказывал ее девственность, а толпа гиком, хохотом и непристойными шутками разжигала ссору:

— Эй, сводник! Не слушай хитрого грека! Он украл у нее девственность, теперь девчонку сбывает с рук!

— Подержанная вещь!

— Цена ей — два асса!

Купец набрасывался на сводника, и начиналась драка. Но тут вмешивались эдилы. Стражи порядка, благопристойности и мирной торговли, они разнимали буянов и налагали на них пеню, которую тут же взыскивали.

— Почему не указана болезнь? — приставал эдил к купцу.

— Рабыня здорова, господин!

— Здорова? А откуда видно? Грек изворачивался:

— Было указано... Она, должно быть, уронила дощечку. Но эдил знал уловки торгашей и был неумолим, требуя деньги за нарушение правил.

Цены, выкрикиваемые глашатаями, сливались в звенящий гул; плата определялась по народностям, а отсюда по качествам: фригийцы считались робкими, критяне, сицилийцы и каппадокийцы — лжецами, мавры — легкомысленными, сарды —

бунтовщиками, корсиканцы — жестокими, не склонными к работе, далматы — дикими, и потому цены на всех этих рабов были не особенно высоки; притом сарды, корсиканцы и далматы были товар и вовсе невыгодный; их избегали покупать даже закованных в цепи, как носителей заразы — волнений и бунтов. Зато ценились понтийцы и сирийцы, славившиеся силой и выносливостью, азиаты и ионийцы — красотой, а александрийцы — остроумием, утонченным развратом и похабными песнями. И вся эта масса рабов разделялась на старых, или опытных, и молодых, то есть новичков.

Флакк подошел к Гракху, тронул его за плечо.

— Видишь этих людей? — шепнул он. — Ведь не будешь же отрицать, что они — люди? Они ненавидят богачей, купцов, всю эту свору...

— Да, свору псов, — с внезапной ненавистью вымолвил Гай, — и мы должны, Фульвий, перебить псам лапы!

— Верно, но не лучше ли было бы поднять этих рабов, сжечь и разрушить Рим, как Карфаген, и основать Новый Рим, похожий на древний, какой был сотни лет назад?

— Нет, Фульвий, Рим — мозг государства. Нельзя уничтожить то, что возвеличило родину; спасая от смерти большое тело, мы должны отсечь гнилые члены...

Флакк нахмурился:

— В Риме рабов много. Ты начал бы с города, поднял плебс, а рабы в соединении с ним такая сила, что мы бы победили без сомнения. А я привлек бы латинов и союзников, вызвал бы рабов из Кампании и Сицилии...

Гракх зажал пальцами уши:

— Невозможно!

— Ну, как хочешь. Только смотри, чтобы мы не прогадали. Я бы мог подкупить начальника критских лучников...

— Невозможно... Фульвий усмехнулся:

— Ты боишься суда поколений, боишься, что тебя обвинят за пролитую кровь... Напрасно. Поколения будут восхвалять тебя за доблесть, за лучшую жизнь, которую ты даруешь римскому народу. Если же ты споткнешься, то власть тебя раздавит, а плебс безжалостно отвернется...

Гракх замахал руками:

— Не уговаривай меня! Я борюсь с олигархией, но не с властью; власть-закон — единственная сила государства, и каждый гражданин обязан ей подчиняться.

— Чудак, разве не видишь, что эта власть состоит из олигархов?

На форуме собрался уже народ. Толпы плебса состояли из ремесленников и безземельных крестьян, нахлынувших в Рим в поисках работы или дешевого хлеба; было много бородатых латинов и союзников. Они были готовы поддерживать любимого трибуна.

Окинув быстрым взглядом народ, Гай успокоился: все эти люди были за него, с ними он мог сделать, что угодно, и на мгновение слова Фульвия о захвате власти смутили его. Но он тотчас же отогнал эту мысль: надежда уладить все мирным путем не покидала его.

Однако он ошибся в своих расчетах. Враги, по-видимому, учитывали создавшуюся обстановку, и сенат заседал всю эту ночь, решая, что предпринять. Беспокорство среди оптиматов было вызвано ежедневным прибытием в Рим «друзей римского народа», тех друзей, которых особенно опасалась олигархия. Она знала, что все эти бородатые латины и союзники — сторонники Гракха, и предполагала, трусливо прячась за спины

подкупленных коллег народного трибуна, что они вооружены и готовы на все.

Гай слышал о заседании сената, но не обратил на это должного внимания. Он не предполагал, что олигархия может решиться на беззаконие, и побледнел, когда военная труба заиграла на форуме. Предчувствие беды болью отозвалось в сердце.

Наступило молчание.

Голос глашатая прозвучал отчетливо-резко:

— Консул Фанний, избранный народом, объявляет для всеобщего сведения, чтобы никто из союзников или друзей римского народа не смел ни сегодня, ни в ближайшие дни показываться в Риме. Граждане, прибывшие вчера и на днях, обязаны немедленно покинуть город и отойти на расстояние пяти миль, под страхом самого строгого наказания.

Флакк злобно усмехнулся:

— Слышишь, Гай? Не говорил ли я тебе, что сенат — шайка преступников? Не говорил ли я...

Растолкав толпу, Гракх подошел к Фаннию, которого некогда провел в консулы, и крикнул:

— Постыдись, Фанний, ты идешь против народа! Консул, окруженный оптиматами, ответил:

— Порядок прежде всего. Тогда Гай вспыхнул:

— Союзники и друзья римского народа! — закричал он. — Оставайтесь в городе, не исполняйте противозаконного приказа консула! Я, народный трибун, обещаю вам защиту!..

Фанний вспыхнул:

— Кто не исполнит моего приказа, — произнес он, — будет силою выведен за ворота.

На другой день Рим кипел, как горшок на огне. Союзников и друзей народа выгоняли из города, а сопротивлявшихся ликторы секли прутьями.

Гракх, обещавший защитить своих сторонников, не предпринял ничего. Однако, опасаясь втайне наступления оптиматов, он старался задобрить недовольный плебс. Когда спустя несколько дней на форуме должно было произойти перед народом сражение гладиаторов и были поставлены скамьи, которые сдавались внаем, Гай велел убрать их, чтобы люди могли смотреть бесплатно, но магистраты не подчинились требованию народного трибуна. Тогда Гракх ночью перед играми проник с ремесленниками на форум и, приказав снести скамьи, очистил место для народа. Толпа была довольна — на другой день утром она выражала свой восторг, восхваляя Гая, оскорбляя власть, насмехаясь над нею. Но коллеги Гракха были раздражены: в действиях трибуна они видели недопустимое насилие и стали громко называть его тираном.

По городу ходили слухи, что Гракх заявил своим врагам, которые насмеялись над ним: «Довольно зубоскалить! Это у вас перед смертью... Разве вы не видите, какой мрак окружает вас вследствие моих политических успехов?»

XX

Гай предложил закон о даровании союзникам прав римского гражданства, но все были против: и сенат, и всадники, и народ. Даже некоторые друзья отшатнулись от Гракха, не по убеждению, а под влиянием сената.

В день голосования Гай узнал от Фульвия Флакка их имена: консуляр сказал грубо, как всегда, презрительно плюнув:

— Гай Фанний и Марк Ливии Друз продались сенату, как субурские блудницы.

— Не может быть! — возмутился Гракх.

— Ты знаешь, я и раньше подозревал их, а теперь Помпоний утверждает, что это правда.

— От кого он узнал?

— От одного юноши, который бывает у Друза.

— Кто он такой?

— Он из древнего рода Корнелиев, а зовут его Люций Сулла. Я встречал этого юношу в обществе шутов и мимов у гетеры Никополы...

Гай больше не спрашивал и отправился на форум убеждать народ в справедливости и необходимости закона, который оградил бы жизнь, честь и имущество союзников от своеволия и жестокости римских магистратов.

— Квириты, — говорит он, — послушайте, что делается в землях союзников. Недавно прибыл консул в Гипсан, город сидицинов. Жена его захотела помыться в мужской бане, и сидицинским квестором было поручено знатному человеку Марку Марию выгнать из бани всех, кто там мылся. Потом жена заявила мужу, что ей пришлось долго ждать, и баня была плохо вычищена. Консул рассердился, приказал поставить на площади столб, привести Марка Мария, привязать к столбу, стащить с него одежду и высечь розгами. Узнав об этом, граждане других италийских городов постановили, чтоб во время пребывания у них римского правительственного лица никто не смел мыться в бане. Подобный случай произошел и в Ферентине, где были схвачены квесторы; один успел броситься со стены, а другого высекли прутьями. А теперь послушайте о несдержанности молодежи: несколько лет назад был послан в Азию легатом молодой человек; его несли в лек-тике; навстречу попался пастух и спросил в шутку, не мертвого ли несут. Легат разозлился, велел поставить лектику на землю и бить пастуха веревками до смерти.

Он приводил десятки примеров грубости аристократии, издевательства над союзниками и закончил речь следующими словами:

— Этот закон, квириты, увеличит число римских граждан, могущество республики. Наши легионы пополнятся здоровой молодежью, и отечество станет таким же сильным, таким же славным и великим, как было во время Пунических войн.

Однако народ холодно слушал Гракха. Пользуясь этим, выступил консул Фанний, которого оптиматы сумели склонить на свою сторону, и сказал:

— Квириты, Гай Гракх — великий оратор, но тут его искусство не достигает высоты. Неужели вы полагаете, что после того, как дадите латинам права гражданства, вы и впредь будете стоять на народных собраниях так же, как стоите теперь передо мною, и что вы по-прежнему будете находить для себя места на играх и народных увеселениях? Неужели вы не понимаете, что те люди займут каждый свободный уголок?

Толпа заволновалась:

— Не хотим латинов!

— Не дадим союзникам прав гражданства!

— Долой варваров!

Сторонники Гая старались перекричать многочисленные враждебные возгласы.

— Плебс союзников — наши братья!

— Поможем городской бедноте!

— Деревенской!..

— Голосуйте за закон Гракха!

Гай, бледный, нахмуренный, выслушал речь Фанния, искував себе губы, но, когда большинство народа присоединилось к консулу, он понял, что закон не пройдет.

— Стыд и позор тебе, Фанний!

Консул вспыхнул, отвернулся от Гракха. Народ заколебался. Но в это время выступил Ливии Друз и наложил на закон вето.

Гай растерялся. В голове мелькнуло: «Не подвергнуть ли его участи Марка Октавия?» Нет, он не мог этого сделать: народ был против закона.

Понимая, что он подрывает популярность народного трибуна, Гракх все-таки взял свой закон назад.

Когда он ушел с форума со своими сторонниками и плебс начал расходиться, Ливии Друз подошел к Фаннию.

— Закон провален, — молвил он вкрадчивым голосом, приятно улыбаясь, и его тонкие губы растянулись почти до ушей. — Твоя речь решила все дело и по красноречию была выше напыщенных выкриков Гракха. Клянусь Вестой, богиней священного огня, теперь судьба Гая решена!

— Тише, нас могут услышать...

Ливии Друз с обожанием взглянул на Фанния.

— Ты — великий муж Рима, — говорил он, — историк и продолжатель дела Сципиона Эмилиана (а какого дела — он не мог бы сказать), ты принимал участие в его кружке... О, будь добр, не откажи осчастливить мой дом своим присутствием...

— Да, нам нужно поговорить. Сенат поручил мне научить тебя, как дальше вести дело...

Друз, муж знатный, образованный, пользовался всеобщим почетом и влиянием среди граждан. Незадолго до голосования союзнического закона оптиматы обратились к нему за поддержкой, прося противодействовать Гракху и соединиться с ними против него. Ливии, завидовавший высокому положению Гая, не колеблясь, согласился, и Марк Эмилий Скавр, который вел с ним переговоры, сказал: «Ты не должен употреблять насилия или действовать наперекор черни; притворись, что ты — горячий сторонник плебса, постарайся заслужить его расположение и доверие». И Друз, став на сторону сената, начал возбуждать плебс против Гракха, не прекращая с ним дружеских отношений.

Консул и народный трибун шли молча. Фанний думал, что он поступил нехорошо, оплатив Гракху неблагодарностью за его дружбу и поддержку в получении консулата: «Как теперь выйти из этого гадкого положения? Гай Гракх — большая величина, он попадет непременно в анналы историков, и я не хочу, чтобы потомство заклеило меня презренной кличкой предателя. Ливию Друзу все равно: это — выскочка, человек бесчестный... И как я мог дойти до такого позора, я, Гай Фанний, историк, последователь Сципиона Эмилиана?»

А мысли Друза были о другом: он предвкушал радость того дня, когда сенат в благодарность за услуги, оказанные им государству, осыплет его милостями, даст в управление хорошую провинцию. «А потом я добьюсь консулата, стану цензором и, заседаю в сенате, буду решать важные государственные дела...»

Дом Ливия Друза находился на Палатине. Народный трибун жил не хуже ростовщиков-спекулянтов; по городу ходили слухи, что его вольноотпущенники

скупают на Делосе по дешевой цене оптом рабов и перепродают их в римской республике; что Ливий Друз, прикрываясь этими вольноотпущенниками, имеет большую прибыль; что торговля не ограничивается только Италией, а ведется с одинаковым успехом в Элладе, и на Архипелаге, и в Египте, и что жадный трибун подумывает уже об открытии в Афинах и Пергаме крупных доходных лупанаров. Все это были слухи, но одно было несомненно: трибун занимался темными делами, потому что несколько его писцов, поверенных и подрядчиков разъезжали по Италии, странам Востока и Азии; возвращаясь, они привозили редкостные вещицы, дорогие геммы, картины, статуи и людей, купленных по низкой цене.

Лишь только Фанний уселся в кресле отдохнуть — раб доложил, что пришел Люций Опимий.

Ливий Друз забежал по атриуму торопливыми шажками (тогда топорщилась и раздувалась, как парус), бросился к двери:

— Счастье посетило этот бедный дом, — воскликнул он, захлебываясь от восторга, — сам великий Люций Опимий входит в него! Привет тебе, привет!..

Фанний, привстав, поклонился разрушителю Фрегелл. Он испытывал чувство стыда и неловкости, находясь среди мужей, похожих обликом, а не делами на мужей древности.

Люций Опимий, уезжавший лечиться в Кумы, возвратился после долгого отсутствия лишь накануне и, не успев как следует отдохнуть, решил увидаться поскорее с Ливием Друзом, чтобы узнать у него о событиях в Риме. Слушая рассказ Ливия Друза, Люций Опимий перебивал его, задавая вопросы.

— Итак — Гракх поражен, но не сражен! — воскликнул Друз с гортанным смехом, похожим на камешки, сталкивающиеся в мешке. — Скажи, благородный вождь, что я должен делать?

— Первое: не метаться, не работать взапуски, а ты очень торопишься, — произнес перед народом речь, в которой доказывал, ссылаясь на основание Гракхом колоний, что он жаждет любви народа — льстит толпе, предлагая делить земли с уплатой каждым колонистом подати государству и раздражает граждан вредными предложениями о даровании прав латинам; ты доказывал, что сенат заботится о плебсе, как родной отец, и больше, конечно, Гракха, а для этого...

— ...для этого я внес ряд законов, — поспешно прервал Ливий Друз, краснея. — против двух-трех колоний, основанных в провинциях, я предложил двенадцать в Италии с тремя тысячами колонистов в каждой... Фанний побагровел.

— Это недостойно народного трибуна! — вскричал он. — Двенадцать колоний в Италии! Но понимаешь ли ты, что для тридцати шести тысяч колонистов, считая на каждого по пяти югеров земли (я беру самый малый надел), понадобится сто восемьдесят тысяч югеров, а где ты их возьмешь, где? Ведь в Италии, всем известно, свободных земель нет... Что же это? Обман?..

Ливий Друз не смутился:

— Плебеи — стадо баранов: они, не разбираясь, голосуют за что угодно, стоит только пообещать им побольше выгод... Так будет и впредь...

— Хорошая мысль! — воскликнул Опимий. — Дальше?

— Но позволь, — не унимался Фанний, — это грубый обман, народ поймет...

— Дальше? — не слушая его, повторил Опимий.

— Наделяя колонистов землями, Гракх ввел подать за пользование участками, а я предложил освободить от нее новых владельцев поместий. Я предложил отменить

право собственности на наделы, которыми Тиберий, а затем Гай старались обеспечить новых поселенцев от злоупотреблений оптиматов.

— Прекрасно.

— В противовес дарованию латинам прав римского гражданства я выступил защитником и покровителем союзников: отменил телесные наказания латинов в мирное и военное время...

— Великолепно! У тебя, Ливий, золотая голова! Итак — действуем?

— Я готов! — вскричал Ливий Друз. — Борьба с тираном требует хитрости, обмана, и я сумею... убедить народ.

Фанний молчал. Он боялся возражать, чтобы не повредить себе, и жалел, что пошел к Ливию Друзу, который оказался не менее бесчестным, нежели Люций Опимий.

«Оба — негодяи, — думал он, идя в раздумье домой, — но что я могу сделать? Предупредить Гая? Смешно. Ведь я изменил ему. Почему я это сделал, почему? Конечно, по убеждению, ведь я против широкого народоправства... Но тогда... Зачем я дружил с Гаем, принял консулат, зачем... Неужели я такой же негодяй, как они?»

XXI

Опимий, сухощавый человек, с беспокойными глазами, метавшимися, как черные шарики по желтоватому лицу, был доволен.

Облокотившись на левую руку, он лежал на почетном месте и слушал поздравления Ливия Друза, приторно-льстивого и услужливого амфитриона, который возлежал с женой и сыном справа за столом, уставленным кушаньями.

Деревянные ложа, более высокие со стороны стола, были покрыты скверно дубленными козлиными шкурами, и неприятный запах полз по комнате, заставляя морщиться Опимия.

Ливий Друз говорил вкрадчивым голосом, приятно улыбаясь:

— Клянусь всемогущим Юпитером, ты вышел, благородный Опимий, победителем! Хитрые уловки Гракха ему не помогли; что взвешено Фортуною, то непреложно, даже сам Юпитер в этом случае бессилён. Скажи, благородный консул, как ты намерен добить Гая?

Опимий молчал, глядя, как рабы уносили кушанья и наполняли чаши вином.

— Это дело сената, — уклончиво вымолвил он, но когда жена и сын Ливия Друза удалились, сказал: — Я отменю закон Гракха о Карфагене... Это раздражит его, он выкинет глупость, и мы низвергнем тирана.

Ливий Друз смущенно заморгал глазами:

— Не слишком ли это будет? Гай — не плохой и не вредный муж. Он никогда не шел против сената, и если в запальчивости говорил лишнее...

Опимий презрительно усмехнулся:

— Вижу, ты защищаешь его, но довольно неумело. Не понимаю, почему ты пошел с нами, а не с ним?

Он взял у раба чашу и протянул хозяину:

— Всего хорошего!

Ливий Друз смочил в вине губы, притворно вздохнул:

— Ты не понял меня, благородный Опимий! Не Гая защищаю я, а Гракхов... Жаль мне семью Гракхов... Ты сам с большим уважением говорил о Корнелии.

— Вспомни, когда это было, дорогой Ливий! С тех пор я раскусил старую матрону, как трухлявый орех. Я следил за ней и за Фульвием и знаю точно: они вербовали для Гая сторонников среди латинов и союзников, они направляли их под видом жнецов в Рим. А для чего, как ты думаешь? Тщеславная женщина мечтает о царской короне для сына...

— Нет, нет! — вскричал Друз. — Ты ошибаешься... Такие же слухи ходили о Тиберии, их распространял Сципион Назика, но Блоссий не побоялся сказать, что это — наглая ложь, и Назика замолчал.

— Почему знать, что в голове у Гракха? — задумчиво выговорил Опимий. — Я не понимаю, зачем он сеет смуту, угождает плебсу? Мстит за брата? Но месть чересчур велика. Неужели он действительно стоит за плебс? Не верю.

— Я полагаю, что тут одно и другое...

— Ну, а конечная цель?

— Ясно для всех: борьба с сенатом и всадничеством, науськивание одних на других, путем отнятия у сената судебных дел и передачи их всадникам. Он добился, что всадники стали на его сторону.

Опимий громко засмеялся:

— С падением тирана эти мерзкие псы трусили и заколебались, и если я прикажу им идти на своего благодетеля, клянусь Марсом, они пойдут, а если откажутся — я брошу на них критских стрелков!

— Говорят, стрелки за всадников, за Гая...

— Говорят, говорят! — с раздражением перебил Опимий, пьянея. — Я заплатил начальнику их золотом, и он готов вырезать, если понадобится, полгорода...

— Ты подкупил их? — побледнев, прошептал Друз. Образ благородного трибуна, честного, смелого, неподкупного, возник перед его глазами такой, каким он видел его на форуме, во время речи к народу, и стыд окрасил щеки алой краской.

— Ну и что ж? — пожал плечами Опимий. — Власть тирана — власть незаконная, хотя б ее поддержал весь плебс Рима. Народ же, то есть сенат, всадничество и клиенты их, не допустит попраiania древних законов...

Друз был не согласен. По его мнению, народ составлял совокупность богатых и бедных, патронов, клиентов, плебеев и рабов, а не только патронов и клиентов, и он собирался опровергнуть лукавое определение консула, но в это время раб возвестил:

— Госпожа Аристагора!

Друз вспыхнул и побледнел: вторжение гетеры в дом римлянина было оскорблением не только хозяина, но и всей семьи. Он вскочил с ложа, но Опимий удержал его повелительным жестом.

— Что с тобой? — произнес он с тонкой иронией. — Ты вскочил, как влюбленный юноша, и готов...

— Позволь, благородный Опимий! Ты ошибся: не радость заставила меня...

— ...а гнев, хочешь сказать? Ну, ну, брось притворяться!

— Клянусь Юноной!

— Верю, верю, — смеялся Опимий, — но разве ты не в ладах с прекраснейшей из прекрасных, разве...

— Я не знаком с нею... я знаю, что она — гетера... Опимий прищурил правый глаз:

— Ну и что ж? Разве ты не знаешь обычаев Рима? Прошли те времена, когда отцы наши жили строгой добродетельной жизнью, посещая потихоньку субурских блудниц

или собственных рабынь. Я не спорю, что личина добродетели многим к лицу, но ты... разве ты настолько добродетелен, как Гракхи?

— Гракхи живут чистой жизнью, они...

— Ну и дураки! Весь Рим смеется над добродетелью Сципиона и Семпрониев. То, что было позором, стало теперь добродетелью. Впрочем, Аристагора не такая порочная женщина, как о ней говорят...

Друз волновался, на лице его выступили красные пятна.

— Я не могу ее принять, — нерешительно молвил он. — Что скажет завтра жена, что скажут друзья и соседи?

Опимий пожал плечами:

— Жена возмутится, ты на нее прикрикнешь — это теперь принято, а друзья и соседи будут поздравлять тебя с победою.

Он отвернулся от Друза, взглянул на раба:

— Проси госпожу.

Но раб не шевельнулся: он смотрел на своего господина. Это вывело Опимия из себя.

— Слышишь? — прикрикнул он, и в глазах его сверкнула молния.

— Проси, — вспыхнул хозяин, избегая взгляда консула. — Да проводи так, чтоб никто не видел...

Аристагора вошла с улыбкою на лице. За ней следовали два раба: это были бледные мальчики, с тихими, покорными глазами, окруженными синевою, с завитыми волосами. Они освободили гетеру от плаща, сняли с нее обувь, помогли лечь на почетное место, предупредительно освобожденное Опимием.

После поклонов и многочисленных любезностей, которыми недовольный хозяин осыпал гостью, проклиная ее в душе, он сказал:

— Ты осчастливила меня своим посещением, но я не догадываюсь, какая причина заставила тебя прибыть в незнакомый дом...

— Я искала благородного Опимия, — говорила Аристагора, — и мне сказали, что он у тебя, — но тут же она любезно поправилась, — это избавило меня от посещения каждого из вас в отдельности.

Друз молчал, очарованный глазами, лицом, гибким телом, угадываемым под туникой, детскими ножками девушки-гетеры.

Аристагора, притворяясь, что не замечает восторга хозяина, приняла из его рук чашу и, сделав возлияние Вакху, отпила несколько глотков:

— У тебя хорошее вино, Ливий! Налей же и себе, чтобы мы выпили за нашу дружбу.

Друз пил: не вино, а голос гетеры опьянял его. Он чувствовал себя как бы в тумане — тихая грусть и тревожное не то желание, не то ожидание чего-то терзали его. А слова гетеры звоном колокольцев трепетно скользили по сердцу:

— Я посетила вас, благородные мужи, по важному делу.

У меня был Фульвий Флакк, он напился и раскрыл передо мной свою душу...

Опимий приподнялся: искорки сверкали в расширившихся зрачках.

— Он говорил, — продолжала Аристагора, не сводя глаз с Ливия, — что Гай Гракх готовит нападение на сенат, и хотя часть плебса колеблется, эта часть, когда дело дойдет до грабежа и избиения оптиматов, пойдет за своим трибуном. Фульвий готов поднять рабов и бросить на господ, он готовится к схватке...

— Пустяки! — беспечно засмеялся Опимий, но глаза выдавали его: в них таился

страх, переходивший в ужас.

— ...и мое мнение таково: медлить нельзя.

— Пустяки, — неуверенно повторил консул, — на нашей стороне будут публиканы, всадники и стрелки, мы сомнем, перебьем, растопчем эту свору, которую распустил тиран, научив безделью и тунеядству...

— И ты говоришь...

— Говорю — подождем. Они не осмелятся напасть.

Гетера с сожалением пожала плечами и сказала с необыкновенно чистым аттическим произношением, хотя была ионийкой:

— Смотри, чтоб это не было так.

Она протянула ноги рабам, которые принялись обувать ее, и, как бы вскользь, бросила:

— Жду вас к себе, как только минует опасность.

И вдруг злоба исказила ее лицо — прекрасное лицо Афродиты. Вспомнила Гая, смерть Сципиона Эмилиана, его жену, и ненависть к роду Семпрониев сжала ее сердце.

— Как обуваешь? — яростно крикнула она и ткнула красным башмаком, изящно облежавшим ее ногу, в лицо раба с такой силой, что он опрокинулся навзничь: из губ и носа мальчика текла кровь, окрашивая подбородок, в глазах его трепетала покорная мольба, на лице чередовались невозможная боль и страх униженного человека.

«Грабх должен умереть», — подумала она, не обращая внимания на раба, который размазывал кровь и слезы по лицу, и улыбнулась Опимию:

— Не зевай, внук Ромула, покажи твердость и доблесть, иначе тиран восторжествует!

XXII

Вооружившись ножом, надев белокурый парик блудницы, Хлоя вынимала монету из своего ларца (это были ее рабские сбережения), и когда дом погружался в сон, выходила тихонько на улицы и пускалась в путь. Так было и в этот вечер.

От Палатина до форума — путь недалекий, но идти предстояло темными переулками, опасность подстерегала на каждом шагу, и Хлоя, держа нож наготове, шла крадущейся походкой встревоженного животного.

Ночь, изрешеченная крупными мохнатыми звездами, казалось Хлое, безмолвно изливалась в подземное царство Плутона; девушка думала, что такой же мрак стущается у престола всесильного бога, и ей становилось страшно: она испуганно вглядывалась в темноту, следила пытливыми глазами за огоньками в домах, слушала шаги запоздалых прохожих и жалась к домам, точно искала у них защиты.

На Священной улице тускло горели фонари — ряд огромных плошек, в которых на поверхности вонючего масла плавал чадающий фитиль. Прохожие попадались на каждом шагу. Это были преимущественно кутилы, молодые и старые, вольноотпущенники в пилеях, толпы блудниц, пристававших с бесстыдными шутками и предложениями.

На Хлою обратили внимание, и какой-то старичок, от которого крепко пахло вином, схватил ее за руку:

— Пойдем, птичка?

Хлоя сказала, что больна. Старичок отстал.

Не доходя до форума, она увидела ярко горевшие факелы в руках людей и поняла, что это — обход.

«Какая стража?» — подумала она, и как бы в ответ на ее мысли голос глашатая донесся с форума:

— Вторая стража! Приблизительно это была полночь.

Хлоя побежала напрямик через форум, но грубый голос остановил ее:

— Стой!

Она поняла и отдала подошедшему эдилу плату за занятие проституцией и, получив кожаный номерок на эту ночь, поторопилась уйти.

За форумом толпились лачуги ремесленников, мелких торговцев, кустарей, вольноотпущенников и разоренных земледельцев, покинувших деревни. Вся эта беднота, озлобленная, усталая полуголодная, готова была следовать за Гаем, поскольку он стоял за нее и проводил полезные законы, но как только Ливий Друз пообещал больше — плебс охладел к своему вождю, и большинство перешло на сторону Друза.

Добравшись до квартала бедняков, Хлоя сразу очутилась в темноте. Запах кож, паленого волоса, обжигаемой глины, вонь отбросов — все это говорило о тяжелой трудовой жизни, о скученности людей.

На углу улицы стоял неуклюжий двухэтажный дом сапожника. Тусклый свет проникал сверху сквозь полураскрытые ставни. Внизу, очевидно, спали — темнота затопляла землю.

Хлоя остановилась, тихо свистнула. Голова мужчины выглянула из крошечного окошка на улицу.

— Ты?..

Девушка ответила:

— Твоя рабыня.

Ставни захлопнулись, свет погас, и дом погрузился в мрак, точно отошел в неизвестную даль.

Хлоя ждала. Она прижимала руки к груди, стараясь удержать колотившееся сердце.

Скрипнула дверь, приблизились шаги:

— Где ты?

Она бросилась в темноту, схватила любимую руку, прижала к губам и вдруг услышала голос — его голос и, задрожав, уткнулась лицом в тогу.

Обнявшись, они шли к форуму. Тишина, жужжа назойливо, казалось, поглощала ночные звуки. Но сердца обоих бились громко, так громко, что тишины не было, не было и Рима с его борьбой, а были только они, и сердца их разговаривали.

Они остановились в тени храма Кастора, присели на помост, с которого продавались рабы.

— О господин мой, — шепнула македонянка. — Не хочу свободы, не хочу ничего, только б ты был со мной, как теперь, всегда, вечно... И тогда...

Она не договорила, робко закинула ему руки за шею. Он приподнял ее, посадил к себе на колени.

— О господин мой...

И вдруг оторвалась от его губ, поникла головою:

— Я узнала, что Аристагора была вчера у Ливия Друза, там находился консул Опимий, и она подстрекала их против тебя...

— Аристагора!

Гай вспомнил: земная Афродита с душой Эриннии сводила старые счета — жаждала крови, но он был спокоен: смерти не боялся, жаль было Хлою, а также мать, жену и сына, но Хлою — больше всех. «В ее груди бьется такое сердце, полное любви и самоотверженности, какого нет во всем мире», — думал он и с тревожной грустью прижимался к ней, ища на ее груди успокоения и сил на завтрашний день.

На форуме прокричал глашатай:

— Третья стража!

XXIII

Фульвий не мог простить Гаю бездействия во время разгона латинов и союзников. Эти люди, ненавидевшие Рим, были вооружены, плебс непременно поддержал бы трибуна, и разгром оптиматов был обеспечен, если бы даже пришлось столкнуться с критскими стрелками. Почему же Гракх — такой умный, смелый, решительный — сделал эту ошибку, что удержало его от выступления? Было ясно, что он плохой политик, если разрушил то дело, над которым работали он сам, Флакк и Корнелия, Помпоний и Леторий. Что же случилось?

Случилось страшное — падение Гая неминуемо, плебс ему уже не верит, и если остается несколько тысяч, готовых поддержать его, то эти люди будут сметены, растоптаны хорошо вооруженным противником.

Фульвий жалел, что не поднял рабов во время отсутствия Гракха. Случай был упущен, теперь уже поздно — нужно, по крайней мере, умереть с честью, как подобает римлянину.

Он скрипнул зубами, кликнул писца:

— Подай завещание.

Развернув свиток пергамента, он приказал рабу писать под диктовку:

«В случае смерти моей и обоих сыновей завещаю все состояние жене Терции, кроме усадебных земель, каковые поручаю писцу Молесту разделить поровну между моими слугами, которых, всех до одного, отпускаю на волю, а Молесту за верную службу, сверх земли, дарю лавку, что на Авентине. Рабынь тоже освобождаю; вышедшие замуж за вольноотпущенников получают пособие на хозяйственные нужды. Остальным выдать деньги для отъезда на родину».

Он прошелся по атриуму, остановился на пороге таблина.

Молест, старательный пожилой фракиец, скрывая радость, осветившую смуглое его лицо с толстыми губами, сказал:

— Господин очень щедр...

— Пиши: «Кроме того, предложить молодой Асклепиде, в случае смерти Квинта, перейти на службу к матроне Корнелии, матери Гракхов, а если означенная Асклепида не согласится, то отпустить ее на волю и отправить в Афины. Выдать ей на дорогу восемь тысяч сестерциев. Виликам дарю земли, считая надел вдвое, а при большой семье втрое больше обыкновенного надела».

Взгляд его скользнул по картине, изображавшей похищение Европы Зевсом, остановился на борьбе Одиссея и Телемаха с женихами Пенелопы.

— Так же и мы могли бы перебить наглых оптиматов! — громко выговорил он и остановился перед Молестом. — Объяви рабам мою волю да скажи, что желающие могут идти завтра со мной на форум в качестве вольноотпущенников.

Молест поклонился:

— Я первый пойду за тобой, куда прикажешь.

Отпустив писца, Флакк оделся и вышел на улицу... Недалеко от форума он встретился с женой, которую несли в лек-тике сильные невольники.

Фульвий остановил их.

— Я уйду к Гракху, — сказал он, — передай сыновьям, чтобы собрали рабов, готовых выступить, да приготовили оружие...

Терция, молодящаяся матрона, с обвислыми нарумяненными щеками и двойным подбородком, ответила с раздражением:

— Мне надоели твои подозрительные дела, Марк! Делай сам, как хочешь, а меня уволь...

Флакк вспыхнул:

— Прошу тебя сделать, как я сказал, и, пожалуйста, без споров на улице! Я и так смотрю на все сквозь пальцы... Думаешь, я не знаю о твоих отношениях с некоторыми лицами?

— Помолчал бы! — вскрикнула Терция, бросив взгляд на рабов, которые прислушивались к ссоре супругов, опустив головы. — Аристагора трубит о тебе на всех перекрестках, — и, понизив голос, добавила: — Она бывает у Друза, Опимия, часто видится с Септимулеем. Берегись, чтоб она не состряпала тебе больших неприятностей!

Слова Терции обеспокоили Фульвия.

— Ты что-нибудь слыхала?

Терция исподлобья огляделась. Вокруг них шумела толпа: крики, голоса, шорох шагов — все это сливалось в одуряющий гул, и возгласы рабов, бегущих впереди лектик, терялись, как камешки в море.

— Да, слыхала. Завтра Друз выступит с отменой Гракховых законов, Гай, по обыкновению, вспылит, наделает глупостей, его заденут опять, да только посильнее (все это обдуманно), начнется свалка, и вас всех перебьют...

— Я так и знал! — вскричал Флакк, схватившись за бородавку, что служило признаком величайшего волнения. — Но мы не дадимся, чтобы нас перерезали, как стадо баранов. Бороться — так бороться! Я приготовил, Терция, завещание, и если я с сыновьями погибну — отпусти рабов на волю, надели их землей, как я распорядился...

Матрона побледнела. Жадная и скупая, она пришла в ужас, ее пугала не смерть мужа и детей, а убытки, разорение, распределение земель, освобождение рабов, невольниц.

— Да ты с ума сошел! — возмутилась она. — Я не позволю...

— Не место говорить здесь об этом, побеседуем дома... Больше ничего не слыхала?

— Ничего. А эта подлая блудница Аристагора подговаривала Опимия уничтожить Гракха с его сторонниками и похвалялась, что ты спьяна проболтался, будто Гай собирается напасть на оптиматов и перебить их...

Фульвий побагровел.

«Предательница, — подумал он, — прекрасная, как Афродита, злая, как Немезида, — но ничего, я пожертвую всем... Так вот для чего я был ей нужен: напоить меня и выпытать все, быть может, мерзавке и удалось, но, думаю, что это первый и последний раз».

Он ласково простился с Терцией, что крайне взволновало ее. Давно уже муж не обращал на нее внимания, занятый политическими делами и бесчисленными

любовницами, которые были у него в разных кварталах города. Она улыбнулась ему, как улыбалась в первые годы замужества, с многообещающим взглядом, рабы подхватили лектику и дружно зашагали, окунувшись в гущу толпы.

XXIV

С утра на форум стекался народ. Обе стороны расположились в разных частях площади, готовые, по первому знаку вождей, начать свалку. Но вожди — Опимий и Гракх — были люди осторожные, неуверенные в своих силах. Они не надеялись на своих приверженцев, опасаясь, как, например, Опимий, что критские стрелки могут изменить в последнюю минуту, а всадники, основная масса которых колебалась все время, ударят в тыл; Гай тоже не доверял части плебса и всадникам: если они не поддержали его трибуната, то теперь, когда решается исход борьбы, могут поддаться лживым посулам оптиматов и броситься на него.

Фульвий был того же мнения. Напрасно Помпоний и Леторий еще накануне убеждали народ, что Друз — сторонник нобилей, а Гракх — плебса, толпа не верила.

— Что ты там болтаешь? — кричали ремесленники Помпонию. — Нас не обманешь: наш вождь не Гракх, а Ливий Друз, народный трибун!

— Мы раскусили Гракха и потому не выбрали!

— Ливий Друз печется о наших нуждах, он обещает нам такие законы, о которых Гракх и не думал!

— Он отменит Карфагенскую колонию, куда готовы ехать только дураки, и наделит нас колониями в Италии, чтобы не отрывать от родины!..

— Да здравствует Ливий Друз!

Помпоний видел, что эти люди не будут защищать своего вождя, и опечалился: его возмущала подлость врагов, которые, жертвуя честью и доблестью римских граждан, возвели своего сторонника в вожди плебса, унизив обманым способом истинного вождя. Лжевождь и настоящий вождь должны были помериться силами. Друз имел на своей стороне обманутый народ и всадников, а кроме них — консула, стрелков и оптиматов, Гай — несколько тысяч сторонников, из которых почти половина была ненадежна.

Леторий увидел больше, чем Помпоний: все было потеряно, и, по его мнению, не стоило идти на форум, начинать неравную борьбу. Он беседовал об этом с Гракхом:

— Не лучше ль удалиться нам к частной жизни? Подождем, когда народ созреет и поймет, что не Ливий Друз, а ты, Гай, истинный трибун; тогда у тебя будут верные сторонники, и ты сможешь ударить на врага.

Но Флакк, присутствовавший при их беседе, резко возразил:

— Чего ждать? Мы обречены. Разве мы защитили союзников, которых преследовал Фанний? Разве ты, Гай, сдержал свое слово? Всегда ты был истинным римлянином, а на этот раз смалодушничал!

— Нет, друзья, не страх удержал меня, а кровопролитие.

— А ты вспомнил тогда о смерти Тиберия? Кровь? Что такое кровь? Выжимка пищи, текущая по жилам, питающая тело. А жизнь? Разложение крови, жил, тела — пустяки. Все это пойдет в землю и даст новые ростки.

— Может быть, так, а может, и не так, — недоверчиво улыбнулся Гракх.

Но Леторий с жаром перебил его:

— Я верю в метампсихоз Пифагора, и потому я умру так же спокойно, как ложусь

спать. Жизнь — сон, а смерть — пробуждение.

Теперь, вспоминая об этом, Гай смотрел в облачное небо, слушал шум голосов, и в душе его зрело твердое решение помириться с противником, подчиниться мудрости, авторитету и силе сената.

Издали он увидел Опимия: консул совершал жертвоприношение, поглядывая на гракханцев с немой угрозой, и когда поднял обагренный кровью нож, огнем засверкавший на выглянувшем из-за туч солнце, и взмахнул им, поражая животное. Гракх отвернулся. Хлынувшая кровь напомнила ему о крови, готовой пролиться на форуме, и он, едва владея собою, повернулся к Фульвию:

— Видишь, бешеный пес угрожает правнукам Ромула? Флакк хрипло рассмеялся:

— Не говорил я тебе?

— Да, но теперь поздно. Как жаль, что я не послушался твоих советов!

— Критские стрелки куплены, плебс обманут, даже блудницы, которые помогали нам ночью снести скамьи, и те изменили! Аристагора науськивает на тебя Друза и Опимия.

— О, Аристагора! — презрительно плюнул Гай. — За золото она готова отдаться самому грязному, вшивому рабу.

Фульвий сжал зубы. Бешенство окрасило лицо в багровый цвет, бородавка на щеке посинела. Он ненавидел теперь Аристагору, готов был убить ее. Едва владея собою, он смотрел на жертвоприношение. Антиллий, служитель консула-жреца, юноша дерзкий, заносчивый, пробирался сквозь толпу, неся внутренности убитого животного. Теплый вонючий пар заставлял людей шарахаться, зажимать носы.

Дойдя до толпы, окружавшей Флакка, он не остановился, а пошел прямо, точно перед ним никого не было. Но люди не расступились, только морщины на лице Молеста собрались в зловещие складки, а полные щеки Афродизия залила краска, а затем бледность. Железные песты дрогнули в руках вольноотпущенников.

— Эй вы, негодяи, дайте место добрым граж...

Он не договорил, мелькнули песты, послышался хруст, брызнула серовато-белая кашица мозга, струйкой сверкнула кровь, и Антиллий упал лицом в смердящие внутренности.

— Бей его! — в исступлении рывкнул Фульвий и, скользя по внутренностям животного, бросился к трупам и ударом ноги опрокинул его навзничь.

— Он ищет Противоземлю Пифагора, — усмехнулся Леторий, — но шутка его не имела успеха. — Впрочем, — прибавил он, — там, на Противоземле, мы встретимся, и что предначертано Фортуной — выполним.

— Слыхали и это, — пожал плечами Помпоний, — но кто поверит твоим речам? По-твоему, убийство предопределено, и человек, который должен быть убит, не может избежать этого, а я скажу прямо: если б мы посторонились и побили Антиллия, он бы остался жив...

Подошел Гракх; на его нахмуренном лице лежала забота.

— Плохо, друзья, — сказал он и обратился к Флакку: — Зачем убили нахала? Разве не видели, что он подослан Опимием? Теперь столкновение неминуемо...

— Он оскорбил нас!

Гай опустил голову, — возразить было нечего. А на противоположном конце форума Опимий, дрожа от бешенства, призывал народ к мести.

— Граждане, — кричал он, — страшное дело замыслил Гай Гракх — убийства ни в чем неповинных людей, сторонников народа! Неужели вы будете молчать? Неужели

не отомстите за смерть Антиллия, любимца богов, не поразите злодеев, которые нарушают покой в республике? Я призываю вас к мести!

— Лжешь, консул! — произнес кто-то из толпы. — Антиллий первый задел их и поплатился за дерзость. А скажи, призывал ли нас консул к мести, когда вы умертвили Тиберия Гракха, нашего трибуна, а тело его бросили в Тибр?

— Стыд! Позор!

Опимий побледнел. Он понял, что месть — сложное дело, когда призывающий к ней несвободен от упреков. Он замолчал и, повернувшись к магистратам, повелел взять труп Антиллия, лишь только толпа очистит форум.

Небо, облепленное тяжелыми облаками, уже с утра предвещало грозу, и когда упали первые тяжелые капли, а за ними посыпались крупными горошинами другие — как из ведра пошел ливень. Форум мгновенно обезлюдел: даже магистраты, которым велено было убрать труп, скрылись кто куда: одни — в базилики, другие — в таверны, а третьи забились под навесы торговцев сладостями.

Антиллий лежал навзничь — ливень хлестал его длинными серебряными бичами, Юпитер-громовец метал золотые стрелы молний, форум сотрясался, а он все лежал, одинокий, забытый на мокрых расползавшихся внутренностях животного, и мозг, смешанный с кровью, вытекал из раскрытого черепа узенькой серо-алой струйкой, тотчас же смываемой дождем.

XXV

Тайное заседание сената, созванного чуть свет Опимием, приближалось к концу, когда после слов Ливия Друза: «Гракха нужно обезвредить», — на форуме послышался такой вой и неутешный плач, что сенаторы вскочили и, прервав совещание, выбежали на площадь.

Опимий был впереди и всматривался близорукими глазами в приближавшуюся толпу.

После прошедшего дождя было мокро. На каменных плитах лежали растоптанные комья грязи, нанесенной из немощеных улиц; подходившие люди часто скользили и спотыкались.

Друз толкнул в бок Опимия:

— Разве не узнаешь? Несут Антиллия.

На дощатых носилках лежал обнаженный труп служителя. Все его тело исполосовано ударами, покрыто ранами, нанесенными по приказанию консула, чтобы возбудить народ к мести; разбитая голова и лицо были выпачканы краской, похожей на кровь.

Поравнявшись с сенаторами, оптиматы опустили носилки на землю и закричали:

— Какое ужасное несчастье! И это среди бела дня, у всех на глазах! Почему же все молчали, никто не выступил против преступников, почему они оставлены на свободе? О, горе, горе!..

Толпа, окружившая носилки, зашумела. Сдержанный ропот перешел в рев, — казалось, начиналась буря на море. Это кричали сторонники нобилей.

— Что вы вопите, лицемеры? — послышались голоса. — Зачем возбуждаете нас против Гая?

— Обманщики!

— Гробокопатели!

Опимий растерялся. Он не ожидал такого дружного отпора со стороны плебса и предложил сенаторам вернуться в курию, чтобы обсудить положение.

Совещание было краткое. Собрав большинство голосов против Гракха, Септимулей объявил:

— Есть единственный выход, отцы государства, мудрые советники: поручить консулу спасти государство, свергнуть тирана!

Все молчали. Даже самые непримиримые враги Гая испытывали если не стыд, то какую-то неловкость. Слова «спасение государства», «тиран» были явным преувеличением. И старик Квинт Метелл Македонский не выдержал: он выступил просто, как дед среди внуков, и речь его, полная справедливости и гнева, загремела в курии, но не нашла отзвука в сердцах людей.

Метелл говорил:

— Граждане сенаторы! Вы видели Гая Гракха в этих стенах, здесь он совещался с вами и находил одобрение или порицание своей законодательной деятельности. Не вы ль приветствовали его как мудрейшего из граждан, не вы ль с огромным уважением внимали его пылким речам, когда он намечал постройки зданий, вызывал архитекторов из Греции, заботился о науках и искусстве? Он уехал в Африку, и положение сразу изменилось. Отчего? Да будет позволено мне, старику, сказать откровенно: противники постарались очернить Гракха в глазах народа, возбудить против него плебс, и достигли этого. А теперь говорят: нужно спасти государство, свергнуть тирана! Но разве Гракх губит республику? Разве он воспользовался силой, которая была у него в руках, когда Рим наводнили толпы союзников? Разве выступил против сената? Нет, не выступил, а мог выступить, мог не только уничтожить своих врагов, но и...

— Ну и дурак! — послышался чей-то смех. — Мы-то будем умнее...

— Нет, не дурак, — возвысил голос Метелл, — а человек разумный, не желающий ввергать республику в смуту, когда государству нужны силы для дальнейшего развития. Вот вы говорите: тиран. А в чем его тирания? Что он сделал?..

— Он убил Антиллия, — крикнул Опимий, — и домогается царского венца!

Метелл Македонский обвел глазами сенаторов.

— Антиллий убит, это верно, — сказал он, — но правда ли, что Гракх стремится к царской власти? Где доказательства?

— Доказательства в руках у меня и у Ливия Друза, — твердым голосом заявил Опимий, — и если меры не будут своевременно приняты, злодеи нас уничтожат!

— Доказательства? — повторил Метелл.

— Слушайте. Гетера Аристагора говорила мне и повторит благородным отцам государства, чем похвалялся перед ней Фульвий Флакк и что он замышляет сделать...

— Расскажи.

Опимий, прикрашивая замысел Фульвия выдуманными подробностями, сумел убедить всех, кроме Метелла: старик не доверял обиженному Гаем консулу, а показания гетеры, «продажной самки», как называл он блудниц, вызывали в нем стыд и отвращение старого римлянина к гражданам, имеющим общение с такими женщинами.

Нахмурившись, он молчал и, когда стали голосовать о свержении тирана, потихоньку вышел из курии.

Септимулей взошел на ростры и произнес от лица сената древнюю формулу, облакающую консула неограниченной властью:

— Пусть позаботятся консулы, чтобы республика не потерпела ущерба.

Не успел он сойти, как его место занял Опимий. Громкий голос консула загремел, охватив ужасом кровопролития стариков:

— Я, консул, объявляю сенаторам призыв к оружию! Приказываю всадникам явиться завтра утром на форум и каждому привести с собой двух вооруженных рабов. К оружию, граждане, к оружию! Отечество в опасности!

XXVI

Гай отправился на форум, где толпился народ, созванный Фульвием, — сапожники, портные, кузнецы, гончары; но их было мало. Они слушали речь Гракха, позевывая, с тем равнодушием, которое присуще толпе, изверившейся в своем вожде.

Гай заметил отношение плебса и, прервав речь, крикнул:

— Эй, вы, рабы, привыкшие, чтоб вас били и топтали, как скот! Терпите, лижите пятки злодеев, которые издеваются над вами! Унижайтесь, пресмыкайтесь перед консулом, которого сами же ненавидите, трепещите перед сенатом, ступайте к нему, чтоб он за плату повелел вам убивать ваших братьев!.. Неужели вы — римляне? Нет, вы — презренные трусы! Завтра, когда нас будут убивать, вы спрячетесь по своим норам, будете слушать вопли раненых и убиваемых и не придете на помощь! Рабы больше вас стоят: они будут с нами!..

И он, задыхаясь от гнева, удалился с форума. Услышал позади себя легкие шаги. Обернулся. Хлоя подходила к нему, дрожа от радости:

— О господин мой, я утомилась от дум о тебе! Я тебя не видела давно, давно... два дня...

Гракх ласково улыбнулся: «Не уехать ли в самом деле в Македонию, на родину Хлои? Отказаться от политики, борьбы, провести остаток жизни в лесах, в тиши деревенской жизни, в объятиях любимой, забыть навсегда Рим — разве счастье не в этом? И пока еще не поздно...»

Совещание было краткое. Собрав большинство голосов против Гракха, Септимулей объявил:

— Есть единственный выход, отцы государства, мудрые советники: поручить консулу спасти государство, свергнуть тирана!

Все молчали. Даже самые непримиримые враги Гая испытывали если не стыд, то какую-то неловкость. Слова «спасение государства», «тиран» были явным преувеличением. И старик Квинт Метелл Македонский не выдержал: он выступил просто, как дед среди внуков, и речь его, полная справедливости и гнева, загремела в курии, но не нашла отзвука в сердцах людей.

Метелл говорил:

— Граждане сенаторы! Вы видели Гая Гракха в этих стенах, здесь он совещался с вами и находил одобрение или порицание своей законодательной деятельности. Не вы ль приветствовали его как мудрейшего из граждан, не вы ль с огромным уважением внимали его пылким речам, когда он намечал постройки зданий, вызывал архитекторов из Греции, заботился о науках и искусстве? Он уехал в Африку, и положение сразу изменилось. Отчего? Да будет позволено мне, старику, сказать откровенно: противники постарались очернить Гракха в глазах народа, возбудить против него плебс, и достигли этого. А теперь говорят: нужно спасти государство, свергнуть тирана! Но разве Гракх губит республику? Разве он воспользовался силой,

которая была у него в руках, когда Рим наводнили толпы союзников? Разве выступил против сената? Нет, не выступил, а мог выступить, мог не только уничтожить своих врагов, но и...

— Ну и дурак! — послышался чей-то смех. — Мы-то будем умнее...

— Нет, не дурак, — возвысил голос Метелл, — а человек разумный, не желающий ввергать республику в смуту, когда государству нужны силы для дальнейшего развития. Вот вы говорите: тиран. А в чем его тирания? Что он сделал?..

— Он убил Антиллия, — крикнул Опимий, — и домогается царского венца!

Метелл Македонский обвел глазами сенаторов.

— Антиллий убит, это верно, — сказал он, — но правда ли, что Гракх стремится к царской власти? Где доказательства?

— Доказательства в руках у меня и у Ливия Друза, — твердым голосом заявил Опимий, — и если меры не будут своевременно приняты, злодеи нас уничтожат!

— Доказательства? — повторил Метелл.

— Слушайте. Гетера Аристагора говорила мне и повторит благородным отцам государства, чем похвалялся перед ней Фульвий Флакк и что он замышляет сделать...

— Расскажи.

Опимий, прикрашивая замысел Фульвия выдуманными подробностями, сумел убедить всех, кроме Метелла: старик не доверял обиженному Гаем консулу, а показания гетеры, «продажной самки», как называл он блудниц, вызывали в нем стыд и отвращение старого римлянина к гражданам, имеющим общение с такими женщинами.

Нахмурившись, он молчал и, когда стали голосовать о свержении тирана, потихоньку вышел из курии.

Септимулей взошел на ростры и произнес от лица сената древнюю формулу, облакающую консула неограниченной властью:

— Пусть позаботятся консулы, чтобы республика не потерпела ущерба.

Не успел он сойти, как его место занял Опимий. Громкий голос консула загремел, охватив ужасом кровопролития стариков:

— Я, консул, объявляю сенаторам призыв к оружию! Приказываю всадникам явиться завтра утром на форум и каждому привести с собой двух вооруженных рабов. К оружию, граждане, к оружию! Отечество в опасности!

XXVI

Гай отправился на форум, где толпился народ, созванный Фульвием, — сапожники, портные, кузнецы, гончары; но их было мало. Они слушали речь Гракха, позевывая, с тем равнодушием, которое присуще толпе, изверившейся в своем вожде.

Гай заметил отношение плебса и, прервав речь, крикнул:

— Эй, вы, рабы, привыкшие, чтоб вас били и топтали, как скот! Терпите, лижите пятки злодеев, которые издеваются над вами! Унижайтесь, пресмыкайтесь перед консулом, которого сами же ненавидите, трепещите перед сенатом, ступайте к нему, чтоб он за плату повелел вам убивать ваших братьев!.. Неужели вы — римляне? Нет, вы — презренные трусы! Завтра, когда нас будут убивать, вы спрячетесь по своим норам, будете слушать вопли раненых и убиваемых и не придете на помощь! Рабы больше вас стоят: они будут с нами!..

И он, задыхаясь от гнева, удалился с форума. Услышал позади себя легкие шаги.

Обернулся. Хлоя подходила к нему, дрожа от радости:

— О господин мой, я утомилась от дум о тебе! Я тебя не видела давно, давно... два дня...

Гракх ласково улыбнулся: «Не уехать ли в самом деле в Македонию, на родину Хлои? Отказаться от политики, борьбы, провести остаток жизни в лесах, в тиши деревенской жизни, в объятиях любимой, забыть навсегда Рим — разве счастье не в этом? И пока еще не поздно...»

Нет, бежать он не имеет права, он связан с судьбами римского народа; не так же ли за плебс погиб в неравной борьбе любимый брат?

Хлоя шла сзади, не сводя с него глаз.

Они обошли Субуру и направились к Виминалу, знаменитому своими садами.

У дороги то и дело попадались гостиницы, и хозяева зазывали, предлагая комнату и еду за полтора асса, но Гай проходил мимо. Наконец, он свернул с дороги и остановился перед небольшим домиком.

Это была обыкновенная таверна с изображением красноперого петуха на вывеске. Они поднялись на верхний этаж, им подали кислого римского вина в оловянных кружках, ломти хлеба и сыру. Гракх спросил лучшего вина, и услужливый хозяин предложил хиосского.

— Я привел тебя, Хлоя, чтобы поговорить с тобой... может быть, в последний раз. Завтра — решительный день, нас мало, их много, и мы погибнем, если...

Надежда послышалась в последнем слове.

— Беги, господин, беги — шептала рабыня, — беги, пока не поздно!

— Это невозможно.

— О господин, — заплакала она, — скажи, что принесет тебе неравная борьба? За кого ты борешься? Кто тебя поддержит? А там, в Македонии, тихая жизнь, мы бы прожили мирно и счастливо до глубокой старости, до самой смерти. И я всю жизнь была бы твоей верной служанкой, всю жизнь заботилась бы о тебе, как самая последняя рабыня...

Она упала на колени, обняла его ноги:

— О господин мой, сжался над собой и надо мною! Он поднял ее, прижал к груди:

— Ты — единственная... любимая... но я не могу... Я связан с Римом, связан с плебсом... Ты будешь свободна после моей смерти...

Она уронила голову ему на грудь, полузакрыла глаза; горячий шепот обжигал лицо Гая:

— Господин, мы умрем вместе! И я буду молить богов, чтобы я умерла первой, чтоб они избавили меня от горя видеть твою смерть!

Они слились в страстном объятии.

Эфиопка-ночь заглядывала в комнату, когда они вышли из гостиницы. Моросил дождь. Печаль природы тесно соприкасалась с грустью двух человек.

Они шли, крепко обнявшись, — одно тело, одно сердце. Справа шумела Субура — пьяные возгласы, песни и хохот блудниц долго неслись им вслед, как крики филинов, как клетот стервятников над падалью, над мрачным позором державного Рима.

Толпа плебеев и рабов охраняла всю ночь дом Фульвия Флакка. Песни, бряцание оружия, воинственные клики вспыхивали над Эсквилином до самого рассвета.

В доме пили перед окончательной схваткой.

Изредка отворялась дверь, и полупьяные рабы выкатывали на улицу бочки с молодым вином, и толпа набрасывалась на него, принимаясь черпать, чем попало:

кружками, пригоршнями, шапками.

Из дома доносилась песня с неизменным припевом:

Где ты, дева нагая?

Хриплый голос Фульвия грохотал, заглушая молодые голоса.

Помпоний и Леторий, проходя мимо полупьяных плебеев, были остановлены яростными окриками:

— Кто такие? Стой!..

Рабы и плебеи, пошатываясь, подходили к ним, звеня оружием: у одних были в руках мечи, другие размахивали широкими ножами, иные держали железные палки, дубины. И у всех глаза были безумные, дерзкие.

Узнав вождей, они пропустили их и вернулись к бочкам.

Помпоний и Леторий вошли в атриум.

За столами возлежали люди — их было так много, что комната казалась помещением для рабов, лежавших вповалку. Глиняные светильники чадили, в деревянных подсвечниках горели восковые свечи. Пьяные голоса переплетались со звоном чаш и кратеров, с хвастливыми возгласами Флакка:

— Мы их завтра передадим, слышишь, Люций? А тогда... тогда...

— Что тогда? — крикнул Люций, поглядывая на брата, который пил мало, смешивая вино с водою.

— А тогда мы поделим Рим между рабами и плебеями, изберем свой сенат!.. Ни один сенатор, ни один всадник, ни один публикан и купец не попадут туда!..

— Кто же попадет? Мы, что ли?

— Ни ты, ни я. В сенате будут плебеи, бывшие рабы, бедняки — латины и союзники... Мы скажем так: «Хотите, чтобы Гай был вашим советником?» И если они пожелают...

— Ты пьян, отец!

— Замолчи. Я говорю то, что у всех на языке. Вы боитесь высказаться, а я... кого и чего мне бояться?

Он встал и, пошатываясь, подошел к сыну:

— Пройди в таблин. Люций повинился.

— Был у Аристагоры? — хрипло спросил Фульвий, вглядываясь в лицо сына.

— Был, — не моргнув глазом, ответил Люций.

— Ну и что ж?

Люций смело взглянул на отца:

— Я пощадил ее молодость, решив так: победим мы — ее ожидает суд плебса, победят злодеи — клиенты отомстят за нас.

— Эх ты, чудак! — усмехнулся Фульвий. — Рабы! А если все они лягут в бою?

— Не бойся: я послал Геспера и Люцифера в Остию: там они будут дожидаться исхода борьбы. И когда все уляжется, они возвратятся в Рим...

Флакк вздохнул:

— Ну, как хочешь. А я бы поступил иначе: сегодня же ночью она плавала бы в Тибре, и рыбы жрали бы ее холеное тело...

Они вернулись в атриум. И теперь только Фульвий заметил Помпония и Летория. Протянув к ним руки, он воскликнул:

— Что не приходили, дорогие друзья? Где Гай? Что делает?

— Гай спит. Его, как и тебя, охраняет плебс.

— А разве уже поздно?

— Нет. Прошла первая стража.

Светильники, потрескивая, меркли; воск и бараний жир неприятно пахли. Гости дремали на ложах.

Краснолаковая посуда, производимая в Арреции, тускло поблескивала на столах: причудливые извилистые змеи, разинув пасти, подбирались, казалось, к журавлям с длинными, тонкими шеями. Большое зеркало, украшенное изображением Менелая и Елены, отражало сонные лица людей, огни светилен, чернолаковые вазы с линейными орнаментами.

— Ну, Квинт, — обратился Фульвий к младшему сыну, — скажи, где твоя Асклепида?

Квинт вспыхнул, опустив голову.

Посмеиваясь, Флакк хлопнул в ладоши, крикнул:

— Эй, гости дорогие, заснули? Промойте свои глотки, протрите глаза! Сегодня у меня торжество...

Полупьяные гости в недоумении смотрели на хозяина.

— Я женю младшего сына, — смеясь, говорил Фульвий, — женю на невольнице, чтобы всем было известно, что я не брезгаю рабом и плебеем, считаю их людьми, равными римским гражданам, — и, повернувшись к вошедшему рабу, приказал: — Ступай, Афродизий, к госпоже, объяви ей мою волю: если она захочет, пусть придет на торжество. Да не забудь позвать Асклепиду...

Квинт побледнел: решение отца было для него приятной неожиданностью, он не смел и мечтать об этом и недоверчиво поглядывал на гостей, на Люция, ища на их лицах скрытой насмешки. Но все были серьезны, а на лице брата он уловил не то изумление, не то растерянность.

Вошла юная черноокая гречанка, маленькая, худенькая, как девочка.

Квинт вскочил, глаза его пылали.

— Успокойся, — с грубым смехом сказал Фульвий, — мы вас не задержим: ночь велика. Помни, что в приданое за девушкой не получишь ничего, кроме ее юности. Но я имею право сделать невесте свадебный подарок, верно, друзья?

— Верно! — закричали гости, любуясь Асклепидой. — Только не скупись!

— Десять тысяч сестерциев, — подумав, решил Фульвий и вывел на навощенной дощечке цифру: NSX. — Возьми, Асклепида, мой казначей немедленно выплатит эти деньги.

Асклепида низко поклонилась, припала к руке Фульвия. Теперь Квинт понял, что это — не шутка, и обменялся с гречанкой быстрым радостным взглядом.

А Флакк говорил, и слова его падали в тишину густыми басовыми раскатами:

— Время теперь военное, можно не соблюдать торжеств... Это не убежит. Свидетелей достаточно. Скажи, Асклепида, хочешь ли войти в нашу семью, носить имя мужа?

Гречанка подняла голову и сказала певучим голосом: повернувшись к жениху, древнюю римскую формулу: «— Куда ты, Гай, туда и я, твоя Гая».

Подошел Квинт. Супруги подали друг другу правые руки, свидетели закричали: «Счастья!» — и начался пир.

Фульвий приказал позвать Терцию. Он считал, что без жены торжество немислимо, и когда она явилась, бледная, возмущенная, оскорбленная браком сына с

рабыней, Флакк шепнул:

— Не сердись, дай мне счастливо прожить эту ночь! Завтра — в руках Фортуны. А дети пусть тешатся... И пусть тешатся рабы, которых я отпускаю на волю, и рабыни, и дети их, и ты, госпожа супруга!

Терция растроганно взглянула на мужа: вспомнила молодость, брак, встречу с Фульвием в атриуме его дома (как это было давно!), и, схватив мужа за руку, низко опустила голову, чтобы скрыть слезы.

Асклепида испуганно подняла черные глаза на матрону. Во взгляде ее была мольба, и Терция, ради мужа, ради сына, ради гостей и рабов, а больше всего ради опасного положения семьи, в которое повергла всех борьба, ласково кивнула невестке.

Радостные крики гостей потрясли атриум. Дверь распахнулась, и вооруженные рабы и плебеи, с громкими возгласами и поздравлениями ворвались в дом. Они окружили Фульвия и Терцию, жали им руки, называли «друзьями народа», оглушительно орали.

Сбежалась прислуга Флакк вышел на середину атриума, распорядился:

— Выкатить небольшой бочонок вина. Пусть выпьют на радостях и ложатся спать. Часовым дать по одному киафу. Всем быть наготове засветло. Слышишь, Люций?

Он пошатнулся, едва удержался на ногах. Помпоний поддержал его:

— Ложись, мы тебя разбудим, — молвил он, — я и Леторий будем бодрствовать.

Фульвий огляделся: ни жены, ни Квинта, ни Асклепиды в атриуме уже не было. Гости, завернувшись в тоги, укладывались на ложах и на полу

XXVIII

Хмурое утро скучно вставало над Римом. Последние дождевики мелкой пылью едва долетали до земли, и Помпоний, направляясь к жилищу Фульвия, ощущал на своих щеках невидимые брызги.

Сердце его тревожно билось, и он, чтобы придать себе бодрости, насвистывал веселую песню. Дом спал. Рабы и плебеи лежали вповалку на улице, часовые дремали.

— Вста-вай-ай! — протяжно закричал Помпоний, звякнув мечом по железным пестам, прислоненным к двери, и смотрел, как люди вскакивали, озираясь, торопливо хватались за оружие.

Он прошел в дом, оторвал Квинта от Асклепиды и вместе с Люцием принялся будить Флакка, но беззаботный эпикуреец спал, как убитый, и только слово «оптиматы», выкрикнутое тревожным голосом Помпония, подействовало на него: он вскочил и, схватив меч, оглядел Помпония и сыновей налитыми кровью глазами.

— Где оптиматы? — прохрипел он. — Клянусь всеми богами, они должны погибнуть!..

— Или мы, — усмехнулся Помпоний. — Я уверен, что Опимий уже на ногах, а мы только просыпаемся...

— Ладно, ладно, ты всегда недоволен. А скажи, Гай уже встал?

— И ты спрашиваешь?! Он повелевает нам занять Авен-тин, призывать плебс на помощь.

Афродизий и Молест принесли тяжелые доспехи, в которых Фульвий совершал во время своего консульства славные походы и одерживал победы над галлами: панцирь, щит, меч, копьё и шлем. Надев поверх туники панцирь, состоявший из железного нагрудника, Флакк приказал Афродизию стянуть на спине кожаные ремни, повесил на

левом боку через плечо широкий двулезвийный меч и внимательно осмотрел медный, ярко начищенный шлем с черными перьями, а затем — продолговатый деревянный щит, обтянутый бычьей кожей и обитый листовым железом, с накладными выпуклыми перунами в виде украшений.

— Хорошо, подай теперь копье, — и поспешил выйти на улицу.

Рабы и плебеи окружили его с криками радости.

— Братья и друзья, — сказал он, когда шум утих. — Сегодняшний день решает все: или мы — властелины Рима, или — негодная падаль. Враг силен, коварен, подл, хитер, мы — честны и храбры, на нашей стороне справедливость. Посмотрим, кому помогут боги. Я убежден, что Минерва умолит Юпитера бросить громы на головы злодеев. Итак — вперед! Вернется к ларам тот, кто победит!

Он построил отряд в колонны и двинулся во главе его к Авентину. Люди шли с громкими угрожающими криками. Из домов выбегал народ.

— Присоединяйтесь к нам!

— Помогите побить нобилей!

— Дайте хоть рабов!

Одни присоединялись — наскоро выбегали из домов с мечом или куском железа, другие трусливо прятались за дверьми.

— Эй, вы, бабьи угодники! Век вам быть у жен на привязи! Оставайтесь у ларов, пусть вместо вас идут воевать ваши дочери и жены! Они похрабрее вас!..

И грубые шутки, прерываемые хохотом, оглашали улицы.

На углу Аппиевой дороги к отряду присоединились две женщины: старуха-эфиопка с блуждающими глазами и финикийка. Обе были вооружены и заявили Флакку, что бежали от своего господина Скавра, который дурно обращается с рабами.

— Жена его, — скрипнула разбитым голосом эфиопка, хищно сверкнув зубами, — заставляла меня работать дни и ночи, секла скорпионами... Знаете вы, воины, что такое скорпионы? — взвизгнула она. — Это бичи с узлами, в которые вшиты иглы и куски железа. И вот, когда бьют таким бичом, — всхлипнула она, — кажется, что тело обваривают кипятком... И все за то, что однажды я сказала госпоже: «Не смей меня бить! Я такой же человек, как и ты!»

— Слышите, друзья? — крикнул Фульвий. — Помните, что пленным пощады не будет! Все нобили похожи на Скавра. Ну, а ты? — повернулся он к финикийке.

— Меня заклемили раскаленным железом за попытку к бегству, заковали руки и ноги в колодки, повесили на шею собачий ошейник, — гляди!

Флакк криво усмехнулся: на ошейнике было четко выведено: «Бежал, держи меня».

— Я ненавижу рабство, — продолжала финикийка, — мне тридцать пять лет, я помню, как разрушили Карт-Хадашт²⁶ как убили всю мою родню, а меня продали в рабство. Я хочу мстить, господин, мстить! Я скорее умру, чем вернусь в рабство!

На смуглом лице ее горели дикие глаза, грудь вздымалась, рука судорожно сжимала меч.

— А откуда у вас оружие?

— Мы убили вилика, похитили, что попало под руку, подговорили рабов...

К отряду быстро приближалось несколько человек. Вооруженные вилами, мотыгами, топорами, они подбежали, бросились к ногам Фульвия:

²⁶ Карт-Хадашт — название Карфагена на языке его обитателей — финикийских колонистов, означающее в переводе: «Новый город» (примеч А. И. Немировского)

— Господин, возьми нас с собою! Мы готовы биться насмерть!

— Да, да, — крикнул Флакк. — Мы не отступим перед лучниками и гоплитами, мы двинемся на них несокрушимой стеной!

А в это время Гракх, собрав друзей, клиентов и рабов, возвратился домой. Он не хотел вооружаться, надеясь, что все обойдется без кровопролития, и Леторий напрасно уговаривал его:

— Возьми хоть меч, вооружи Филократа, не дай захватить себя живым в случае неудачи!

Гай оттолкнул меч, протянутый другом, и повесил у пояса маленький кинжал.

— Вот все мое вооружение, — сказал он и, надев тогу (так он всегда ходил на форум), направился к выходу.

К нему бросилась жена, ухватила за одежду; маленький Марк загородил дорогу.

— Не ходи, Гай, — умоляла Лициния, — тебя ждет неминуемая гибель, враги готовились весь день и всю ночь. Вспомни брата, убитого оптиматами! Не ходи, Гай, супруг мой возлюбленный!

— Какая ты трусиха! — улыбнулся Гракх. — Все обойдется хорошо — увидишь. Не расстраивайся, будь весела, как всегда.

Но она продолжала упрашивать и, обвинив его шею голыми руками, шептала:

— Что мы без тебя будем делать? Подумай, Гай, не ходи!

— Место трибуна во главе народа!

— Ты не трибун, Гай, и ты имеешь право не идти!

— Я — трибун, лишенный трибуната не народом, а оптиматами. Они подлостью и подкупом добились этого. Народ любит меня и пойдет за мною...

— Гай, ты ослеплен. Большинство идет за Друзом...

— Ничего, они поймут свою ошибку и в последнюю минуту присоединятся к нам...

— Умоляю тебя, Гай, не ходи! Гракх нахмурился:

— Ты просишь о невозможном. Брат мой Тиберий своей кровью доказал нашу правоту, а я, если придется, тоже погибну, но не отступлю перед захватчиками власти, не сдамся на милость насильников, не отрекусь от борьбы!

И, повернувшись к маленькому Марку, он сказал:

— Помни, сын, пока жив род Гракхов — борьба должна продолжаться...

Лициния, рыдая, упала ему на грудь, но Марк дернул мать за тунику:

— Не мешай ему, пусть идет...

Однако жена не отпускала мужа: она осыпала его ласками и поцелуями, что-то шептала, но Гай не слушал. В голове мелькнуло: «Похоже на прощание Гектора с Андромахой»; и вдруг мысль о Фульвий, занявшем уже Авентин, о врагах, готовых начать битву, захлестнула его. Он вырвался из ее объятий и выбежал на улицу.

— Гай, Гай!

Лициния остановилась на пороге, оглядела безумными глазами улицу и увидела Хлою в мужской одежде с обнаженным мечом: македонянка подходила к Гракху с невыразимым выражением на разгоряченном лице. Лициния побледнела — дрогнуло сердце, мелькнула смутная мысль, все закружилось в голове, и она в беспомощности упала ничком на землю.

Марк закричал, прибежали рабы, подняли госпожу и понесли к ее брату Крассу.

В этот день Марк не пошел в школу.

Гракх пришел со своим отрядом на Авентин в то время, когда Фульвий, заняв возвышенность, повелел рыть ров и возводить вал.

Тысячи людей работали молча; одни выбрасывали снизу землю, другие укрепляли ее, утрамбовывали, иные таскали бревна для устройства бруствера.

Флакк распоряжался работами, бегал по Авентину, прикрикивал, шутил, ободрял людей. Увидев Гая, он подошел к нему.

— Сколько у тебя человек?

— Не больше сотни. Остальные подойдут с Леторием. Опасаясь нападения, я разделил отряд на несколько частей. К ним, конечно, присоединятся ремесленники и рабы.

— Хорошо. Разрешите мне распоряжаться работами и руководить битвой: я — заслуженный воин, и потому опытнее тебя.

Гракх смутился: уверенность, с которой Фульвий говорил о столкновении, поколебала его надежды на мир. Тем не менее он сказал:

— Я хочу во избежание кровопролития предложить неприятелю перемирие.

Флакк усмехнулся:

— Попробуй, но я уверен, что Опимий откажется. Ему важно раздавить нас. Не следует забывать, что враг изворотлив, он может напасть внезапно. Поэтому я возьму твоих людей и выставлю заслоны со стороны Капенских и Раудускуланских ворот. Неподалеку от Аппиевой дороги стоит Помпоний. Противник, очевидно, нападёт на участки южнее храма Меркурия: отсюда самый удобный подступ.

— Бери людей, — согласился Гай, — но я все же настаиваю на перемирии.

— Кого же послать?

Взгляд Гракха упал на Квинта, который, задумавшись, грустно стоял под деревом. По лицу юноши катились слезы, которые он поспешно утирал, чтобы никто не видел его горя.

— Пошли с жезлом мира Квинта, — предложил Гай, — я думаю, что один вид его подействует на оптиматов, и они откажутся от борьбы.

— Сомневаюсь. Впрочем, делай, как находишь нужным.

И Фульвий, позвав сына, повелел ему собираться в лагерь противника.

Гракх смотрел на работу людей, на Тита и Мания, усердно копавших ров, на Квинта, который уходил, сопровождаемый Молестом и Афродизием, на отряды, подходившие к Авентину, и думал: «Я хочу избежать братоубийства, а мне его навязывают. Неужели прав был Фульвий, убеждая меня перебить оптиматов, когда латины и союзники стекались в Рим? Неужели был прав?..»

Леторий прибыл с самым большим отрядом. Окинув глазами Авентин, он сказал:

— У нас несколько тысяч, и я советовал бы двинуться на форум, напасть на Опимия. К нам присоединятся рабы и вольноотпущенники.

Но подошедший Флакк воспротивился.

— Ты забываешь, — воскликнул он, — что у них обученное войско — тяжеловооруженные манипулы и критские стрелки! Они раздавят нас прежде, чем мы подойдем к форуму.

Хлоя трудилась наравне с рабами; от непривычки к мужской работе она устала — с лица катился крупными каплями пот. Гракх оторвал ее от рытья земли:

— Отдохни. Отойдем к храму.

Македонянка взглянула на Гая с такой любовью, точно хотела вобрать его, растворить в своей груди. Она последовала за ним, следя за каждым его движением.

Они уселись на ступенях храма Дианы, в безлюдном месте. Голоса доносились слабо, и только бас Фульвия выделялся с необыкновенной силою:

— Рой глубже, что заснул? О бабе задумался? Или:

— Поворачивайся живее! Маний, выставь караулы на всех подступах. Эмилий, свяжись с отрядом Помпония, а ты, Тит, с Леторием!..

Гракх слушал в глубокой задумчивости. Хлоя прижималась к нему, он чувствовал биение ее сердца на своей груди, сжимал ее руки, огрубевшие от работы, гладил ее лицо.

— Гай, — шепнула она, впервые назвав его по имени, — поцелуй меня, ободрит... Может, мы никогда больше не будем вдвоем...

Он привлек ее к себе:

— Послушай, уходи отсюда, пока не поздно, вернись к моей матери, будь утешительницей ее на старости лет, позаботься о маленьком Марке.

Македонянка отрицательно покачала головою.

— Мой путь только с тобой, — твердо сказала она, — наши жизни связаны в крепкий узел, которого никто не развяжет: только меч способен рассечь его.

Издали донесся голос Флакка:

— Гай, Гай, торопись! Квинт возвращается...

Когда Гракх подходил с Хлоей к окопам, юноша уже стоял перед отцом с грустным выражением на лице.

— Ну, что они сказали? — спросил Гай. — Ты видел Опимия и Друза?

— Видел обоих, — ответил Квинт, — они были на форуме среди сенаторов. Я обратился к консулу с предложением перемирия, умолял его сжалиться над гражданами, кровь которых прольется с обеих сторон, но Опимий засмеялся: «Граждан у вас пять с половиной человек, а половина ведь — ты, — ткнул он меня кулаком в грудь, — а остальные — рабы, сброд, сволочь! Кровь ваша послужит удобрением для моих виноградников». Я обратился к сенаторам, просил, умолял; они молчали. Один только Метелл сказал со вздохом: «Мы обсудим твоё предложение», — но консул перебил его: «Отцы-сенаторы, вы поручили мне свергнуть тирана, и я призвал вас к оружию. Приказываю повиноваться мне на время войны. Бунтовщики должны сперва явиться перед судом, а затем просить о сложении наказания». И, обратившись ко мне, крикнул на весь форум: «Квинт, сын Марка Фульвия Флакка, сторонника тирана, объявляю тебе публично: не оскорбляй нас и сенат своим дерзким присутствием, не смей являться к нам иначе, как с изъявлением покорности мятежников!» Тут Опимий и все сенаторы отвернулись от меня. Гракх молчал.

— Не говорил я, что будет так? — засмеялся Фульвий. — Даже Метелл не смог ничего сделать...

Работа на Авентине плохо спорилась; люди попали на каменистую почву, уставали и часто отдыхали. Нужно было выиграть время, и Флакк вторично послал сына к Опимию.

— Скажи ему, что мы согласны разойтись по домам...

— Хорошо, — вздохнул Квинт, — но теперь они меня убьют. Опимий приказал, чтобы я не смел являться иначе, как с просьбой о помиловании.

— Он не посмеет тронуть неповинного человека!

— Я — сын твой...

— Ну и что ж? Сын не должен отвечать за поступки отца. Квинт повиновался со стесненным сердцем. Образ Асклепиды ярким видением возник перед ним.

Шатаясь, как пьяный, добрался он с Молестом и Афродизием до форума — и обомлел: тяжеловооруженные воины стояли прямоугольником, разделенным небольшими промежутками на манипулы, о двух центуриях каждый.

Опимий кончал речь, когда к нему подошел Квинт.

— Итак, воины, — заключил он, — порядок прежде всего! Мы не желаем, чтобы тиран губил дорогое отечество, пятнал свои руки драгоценной кровью римлян!..

Слова его были прерваны восторженными криками. Консул обернулся к Квинту и вспыхнул:

— Посмотрим, с какими речами приходишь ты теперь? Принимают бунтовщики мои условия?

— Гай Гракх велел передать, что распустит народ по домам, если ты прекратишь сбор войска; ведь усмирять-то будет некого!

Опимий рассмеялся:

— Мне надоели эти бесцельные переговоры. Неужели ты думаешь, что я позволю тебе, гадкий щенок, издеваться надо мною, консулом и вождем народа? Нет, ты ответишь по законам республики!

Он повернулся к ликторам:

— Взять его под стражу, а рабов при народе бить нещадно скорпионами.

XXX

Консул приказал играть сигнал к выступлению.

Трубач, воин с большим спиральным инструментом из зубрового рога, оканчивающимся раструбом над его головою, вышел на середину форума и затрубил. Центурионы заняли свои места, трибуны подали громкими голосами команду. Опимий стал во главе, и легион выступил тяжелым шагом, от которого гулко сотрясалась земля.

Вслед за легионом двинулись из-за храма Кастора полупьяные критские стрелки. С утра их напоили вином, смешанным с миррой, внушили, что бунтовщики посягают на их жизнь и оружие, и ярость воинов, усугубленная речью Опимия, превратилась в неистовство, которое с большим трудом сдерживали начальники.

Лучники шли, грубо ругаясь. Они оскорбляли сенат непристойными словами за то, что он не распорядился перебить бунтовщиков раньше, затрагивали встречавшихся по пути матрон бесстыдными предложениями и угрожали греческим торговцам разграбить их лавки.

Разделив легион на две части, Опимий послал один отряд на Аппиеву дорогу, где, по донесениям лазутчиков, стоял Помпоний, а другую часть, рассыпав отдельными центуриями на участке от храма Меркурия до храма Дианы, бросил на приступ, влив в интервалы треть критских лучников. Остальные стрелки были отведены в засаду, за рошу.

Увидев наступавшего врага, Фульвий встретил его градом камней, а затем повелел скатывать под откос бревна, метать дротики и копья. Леторию было приказано ударить врага с фланга.

Леторий вывел свой отряд в тыл противника (обстановка не позволила исполнить приказание) и, напав на воинов, расстроил их ряды. Он перебил большую часть

наступавших стрелков, а остальных обратил в бегство и готовился начать преследование, но в это время Помпоний, теснимый врагом со стороны Аппиевой дороги, загородил, поспешно отступая, ему путь. Консул воспользовался замешательством мятежников и двинул в бой балеарских пращников и остальных критских стрелков.

Запели стрелы, зазвенели камни о щиты, послышались крики, вопли. Лучники и пращники шли, а стрелы пели, камни свистели, и эта звонкая музыка, несущая потери, приводила рабов и плебеев в ужас, расстраивая ряды.

Легионеры обходили гракханцев с флангов. Они занимали уже Авентин, и Флакк, отступая, решил с сотней храбрецов прорваться сквозь цепь критских стрелков. Рядом с ним бежали Люций и македонянка, которую Фульвий видел с Гракхом.

— Где Гай? — крикнул он, замедляя шаг.

— Не знаю, — упавшим голосом вымолвила Хлоя, — я потеряла его...

В это время Опимий, обнаружив отряд Флакка, послал ему наперерез триариев, поседевших в битвах. Бой начался у храма Меркурия.

Хлоя отбивалась тяжелым мечом от двух легионеров, быстро устала и была заколота метательными копьями на глазах Фульвия.

Лежа навзничь, чувствуя железо, пронзившее грудь, она думала о Гае и шептала запекшимися губами благодарственную молитву богам за смерть, посетившую ее раньше Гракха.

Тут же сражались эфиопка и финикиянка.

Старуха, поразив мечом воина, бросилась на него, как гиена, и вырывала с бешеным хохотом глаза из орбит. Длинные скрюченные пальца с черными ногтями, похожими на когти, копошились в крови, и это было до того страшно, что Люций не выдержал, — копьё, брошенное сильной рукою, пронзило грудь эфиопки.

Финикиянка, ловко прикрывая тело щитом, шла вперед. Ее меч звенел, как натянутая струна, трупы громоздились в кучи, финикиянка визжала пронзительным голосом при каждом ударе:

— Это вам за Карфаген!

Наконец и она упала. Три дротика вонзились ей в грудь, и темные черенки, дрожа, закивали тонкими безголовыми стеблями.

Видя, что все потеряно, Фульвий и Люций побежали в сторону домов, где, казалось, скрыться было легче. Они слышали за спиною тяжелые шаги легионеров, пение стрел, но бежали, задыхаясь, почти падая от усталости.

— Отец, сюда! — крикнул вдруг Люций, остановившись перед малопосещаемой лаватриной.

Они бросились внутрь, завалили дверь скамьями и приготовились к борьбе.

Скоро дверь затрещала от бешеных ударов снаружи. Били чем-то тяжелым, вроде тарана: казалось, огромное стенобитное бревно, с остроконечной бараньей головой, раскачиваемое посредством канатов, было установлено снаружи.

Вскоре дверь рухнула. Воины в кожаных шлемах, обитых медью, лезли через сооруженную преграду.

Люций и Фульвий схватили дубовую скамью и, раскачав ее, швырнули в людей: бешеный вой и — тишина.

Зажужжали стрелы, зазвенели метательные копья. Отец и сын, укрываясь от стрел, ложились ничком на землю, вскакивали, наносили удары. Мечи их были покрыты кровью. Она скатывалась с лезвий крупными рубиновыми каплями.

Воины раскидывали скамьи, разрушали стену, стараясь проникнуть внутрь.

Обнаружив, что в лаватрине есть горячая вода, Флакк наполнил жбан и, подкравшись, плеснул кипятком в лица нападавших. Воины в ужасе отступили — двое лишились глаз. Это было страшно.

Борьба принимала ожесточенный характер. Теперь прибавилась еще жажда мести.

— Воды! — кричал Фульвий, и сын таскал кипяток, которым они обваривали легионеров.

Так продолжалось несколько часов. Но когда прибыл Опимий, обстановка изменилась: он повелел зажечь лаватрину и броситься на приступ.

Приказание было немедленно исполнено. Воины, застревая между скамей, падали, спотыкаясь, лезли вперед, — скоро образовалась куча барахтающихся тел, которую бешено рубили Фульвий и Люций.

А легионеры прибывали. Один из них метнул тяжелое копье; уклоняясь, Люций споткнулся, что-то ударило его по голове, и беспросветная ночь заволокла глаза.

Флакк держался дольше. Окруженный со всех сторон, он защищался, как лев, его меч, сверкая, рубил направо и налево, пока подкравшийся сзади воин не нанес ему удар между лопаток. Фульвий пошатнулся, но нашел в себе силу повернуться и поразить врага насмерть.

Опимий стоял, глядя на медные языки огня, лизавшие лаватрину, и ему казалось, что они похожи на рыжие кудри гетеры Никополы, наглой упитанной толстухи.

Две головы, прыгая, как тяжелые мячи, по влажной дорожке, подкатились к ногам консула. Недоумевая, он взгляделся и — вздрогнул: это были головы Фульвия и Люция. Он отвернулся и пошел быстрым шагом к Авентину. Ему показалось, что консуляр подмигнул, а сын его скривил губы в презрительную усмешку.

Оглянувшись, он ускорил шаги, чувствуя, как неприятный холодок ползет по спине, а сердце начинает стучать все сильнее, все отрывистее, как молоток по наковальне, и когда подходили к сборному месту у храма Дианы, вспомнил с досадою, что не спросил центурионов, сколько погибло воинов у лаватрины.

XXXI

Авентин был очищен. Груды трупов лежали на склонах холма, обагрив кровью влажную землю. В плен не брали, а убивали на месте — человеческая жизнь не стоила унции, одной двенадцатой асса, и Минерва, изображенная на ней, олицетворяла не Рим, город закона и права, а жалкий притон разбойников.

В начале боя Гай удалился в храм Дианы. Он слышал бешеные крики, звон оружия и жалел, что отказался тогда от советов Фульвия; его доброта и мягкость, любовь к плебсу и рабам вызвали этот взрыв ярости и ненависти.

«Оптиматы дорожат властью, богатством, спекуляцией, торговлей рабами, — думал он, — боятся, что я уничтожу все это... Все началось с Карфагена... Нет, это был только предлог, чтобы низвергнуть меня, народного трибуна...»

Он остановился перед статуей Дианы, отлитой из бронзы. На строгом лице богини лежала тайна заоблачных дум.

— Нужно умереть, — шепнул он, — скоро там все будет кончено. Фульвий и Хлоя погибли, друзья — тоже.

Он выхватил кинжал, нащупал сердце и замахнулся, но чья-то рука ухватила его сзади.

— Подожди, — услышал он голос Помпония, — бежим!.. Не лучше ли сохранить себя для будущей борьбы, чем бесславно погибнуть?

— Ты один? А где Леторий? Где Фульвий и Хлоя?

— Леторий здесь, он сторожит у входа... Фульвий и Люций, говорят, погибли, а Хлоя — неизвестно где.

— Она тоже погибла, — уверенно вымолвил Гракх, — иначе она была бы здесь...

— Бежим, — повторил Помпоний, — Филократ здесь, нас четверо...

Гай покачал головою.

— Зачем бежать? — говорил он. — Все рухнуло, жить незачем. Скажи, много погибло рабов и плебеев?

— Все погибли. Бежим, пока не поздно!..

Равнодушие к жизни, к борьбе, которую он так любил, для которой пожертвовал лучшими силами, привязанностью, придавили Гракха. Он пошел с друзьями, не стараясь держаться мест, укрытых от глаз противника.

Неподалеку от деревянного моста через Тибр они обнаружили погоню. Центурион во главе отряда шел усиленным маршем.

Гай понял, что спасение невысказимо, и опять хотел лишиться себя жизни, но друзья сказали:

— Беги с Филократом, а мы задержим неприятеля!

Помпоний и Леторий остановились на мосту с обнаженными мечами. Тут некогда, по преданию, Горацій Коклес один удерживал долгое время этрусское войско. Перед глазами друзей возникла картина, виденная в доме Гракхов: Минерва помогает знаменитому римлянину.

— Богиня! — воскликнули они. — Помоги нам отразить нападение!..

Но Минерва не помогла. Центурия набежала сомкнутым строем — десятки мечей опустились на их головы, тела были изрублены и брошены в Тибр.

— Вперед! — крикнул центурион и обратился к Септиму-лею, который сопровождал отряд, надеясь получить голову Гракха (за нее была объявлена консулом награда золотом по весу). — Как прикажешь, господин, захватить их живьем или убить на месте?

— Делай, как хочешь, — пожал плечами Септимулей, — только смотри, чтоб не улизнули.

Смеркалось, когда Гай добежал до рощи, посвященной Эринниям: дальше он идти не мог (поскользнувшись у моста, он вывихнул себе ногу) и, тяжело дыша, опустился на влажную землю.

— Брат Филократ, — молвил он, — слышишь, враг приближается?

— Подождем.

Голоса легионеров доносились все ближе.

Филократ, сдерживаясь, чтобы не разрыдаться, обнял трибуна и пронзил его мечом. А затем, установив меч поудобнее, бросился сам на него.

Воины нашли Гракха и Филократа в объятиях друг друга. Они были еще живы, но никто не мог нанести удар Гаю, пока не был умерщвлен Филократ, прикрывавший его своим телом.

Центурион отрубил Гракху голову и попытался унести, чтоб получить награду, но Септимулей воспротивился.

— Голова принадлежит мне, — сказал оптимат с отвратительным смехом, — по приказанию консула я — только я — должен доставить ее. А ты, — прибавил он, —

получишь повышение по службе.

Центурион молчал: спорить он не решался, боясь мести всесильного оптимата, и только досадовал на себя, что не задержался на мосту, не дал Гракху уйти.

— Тела бросить в Тибр, — донесся с моста голос Септимулей. — Пусть рыбы и раки сожрут народного трибуна!

XXXII

Приобрев в Арпине лошадь, Марий выехал за город ранним утром.

Бледно-васильковое небо, пронизанное багряными лучами солнца, казалось огромной чашей, опрокинутой над землею, и два-три прозрачных облачка, заблудившихся, точно овцы, в широком поле, медленно двигались, как бы в поисках своего стада. Мягкая пыльная дорога лежала между полей, вспаханных деревянным плугом, и пропадала за рощей, прижавшейся к полноводному ручью. Было тепло, и Марий, освободившись от тоги, ехал в одной тунике, понукая коня.

«Как радостно, как прекрасно это небо и солнце, и как противна наша рабская жизнь, — думал он, озираясь на поля и рощи и стараясь забыть кровавую борьбу на Авентине, но мысли упорно возвращались к ней, и окружающая природа, казалось, тускнела, становилась пасмурной.

События в Риме произвели на него тяжелое впечатление: он видел избиение гракханцев, но не примкнул к ним, хотя и ненавидел оптиматов: «Зачем было подвергать себя преследованиям? Что могла сделать кучка людей против легиона? И на что надеялся Гракх? На помощь богов, на помощь копьедержательницы Минервы?» Он усмехнулся, покачал головою: «Нобили поступили с плебсом жестоко: перебили более трех тысяч, трупы бросили в реку, имущество отняли, а вдовам запретили носить траур. Говорят, у Лицинии, жены Гая, они отобрали даже приданое, а Квинта, сына Фульвия Флакка, казнили. Но никто и ничто не может запугать плебеев: придет время, и враги реками крови ответят за каждую пролитую каплю».

К вечеру он подъехал к усадьбе родителей и спросил старика, который, вбивая колья в землю, строил изгородь, где они живут.

— Я — Марий, — сказал старик, приподнявшись с земли, и взгляделся в приезжего. — Здоров я или мутится у меня в голове, — бормотал он, вставая на ноги, — только этот человек... похож...

Марий спрыгнул с коня: — Не узнаешь, отец? Старик всплеснул руками, и крупные слезы покатались по бронзовому лицу.

— Ты? Я так и знал, — говорил он, обнимая сына. — Дождались! Боги вняли нашим мольбам!.. Фульциния! — закричал он. — Беги сюда! Сынок приехал!

Старуха выскочила из-за деревьев, белая от мучной пыли, как мельничиха, и бросилась к сыну: она обхватила его обеими руками, прижалась к нему, плача от радости, и голова, волосы и туника Мария побелели в одно мгновение.

— Фульциния! Что ты делаешь! — воскликнул старик. — Погляди на сына: он постарел на сто лет!

Все засмеялись. Марий, улыбаясь, отряхивался от мучной пыли.

— Ну, как живете? — говорил он, надевая тогу. — Гракхи наделили пахарей землей, а сами погибли...

— Погиб Тиберий, а Гай...

— И Гая умертвили злодеи, но наступит время...

Старик растерялся: сын, военный трибун, заслуженный воин, повторял те же слова, что несколько лет назад, повторял, так же злобно кривя губы, с ненавистью на лице.

— Кто теперь будет защищать плебс? — говорил Марий, отводя коня на зеленую лужайку. — Теперь нобили вас прижмут. Опять ваши земли перейдут к ним...

— Не дадим! — воскликнул старик. — Тиберий Гракх кровью заплатил за землю... Тит и Маний уехали в Рим защищать Гракха...

Марий молча отвернулся от отца.

— Не слышал о них? — спрашивал старик. — Они должны были побывать у тебя...

— Они ночевали четыре ночи, на пятую ушли...

— Куда?

— Куда все уходили...

— Говори толком!

— Они погибли на Авентине...

— Что ты говоришь? Ты видел их трупы?

— Нет, но я там нашел окровавленный молот Тита и ножницы Мания: вот они!

И Марий вынул из кожаной сумки ржавый молот и большие черные ножницы и бросил на землю.

Старик нагнулся и, покачивая головою, любовно погладил инструмент своих друзей.

— Погибли, — шептал он, — такие люди погибли! Стрелы пунов, копья рабов пощадили их, а богачи убили их на родине... О Юпитер, где твоя справедливость? О Минерва, где твоя помощь и сила?

Фульциния, узнав о гибели Тита и Мания, долго не решалась пойти к их женам с этой страшной вестью. Потом тихо вышла из дома, оставив дверь открытой настежь.

Марий молча сидел за столом и пил с отцом кислое римское вино. Изредка они перебрасывались односложными словами. Вино в бочонке убывало. Лучина, мигая длинным лоскутом огня, чадила. В открытую дверь заглядывали мохнатые золотые звезды на темном квадрате неба.

— Противная жизнь, — сказал сын, звякнув тяжелым мячом. — Богачи наглеют: в их руках сила. Нужно ждать...

— Чего?

— Лучших времен. Тогда объявится вождь-мститель и вырежет нобилей...

— Сын мой, что ты говоришь? Если тебя услышат... Ведь ты трибун...

— Отец! Я буду консулом и скажу то же. Я ненавижу оптиматов, всадников, сенат. Честных, доблестных и славных мужей не осталось после смерти Сципиона Эмилиана и Гракхов!

XXXIII

Люций Опимий праздновал в своей загородной вилле победу над гракханцами. Сначала он хотел устроить пир в Риме и пригласить сенаторов, но потом раздумал, опасаясь мести народа, и решил, по совету Ливия Друза, позвать нескольких оптиматов, двух-трех знаменитых гетер, флейтисток и танцовщиц.

За два дня до пиршества виллу приводили в порядок — мыли, чистили; стену и потолок убирала цветами, расставляли статуи, развешивали мифологические картины, изображения нагих дев, сатиров, неистовых менад, а одну комнату, для избранных, — комнату отдыха — приготовили в восточном вкусе, устлав коврами, разложив на них

подушки.

Гости стали собираться пополудни. Сперва приехали Ливий Друз и Скавр, затем Люций Кальпурний Пизон, Гай Фанний, Публий Рутилий Руф, Квинт Метелл Македонский, Аристагора, Никопола, флейтистки, танцовщицы и, наконец, Люций Корнелий Сулла, окруженный шутами, мимами, канатными плясуньями и огнеглотателями.

Это был невзрачный прыщавый юнец лет семнадцати, с неприятными голубыми глазами, то насмешливыми, то угрюмыми, с вздернутым к носу подбородком. Он вошел в атриум с мрачным лицом, поклонился гостям и, увидев свою любовницу Никополу, толстую гетеру с мясистыми икрами и высокой грудью, быстро подошел к ней.

— Скучно мне, Никопола! — шепнул он по-гречески. — Все эти люди пресмыкаются один перед другим, особенно Друз и Скавр. Поедем домой.

— Подождем, Люций! Не следует обижать гостеприимных хозяев... Ты думаешь, будет скучно? Посмотри на танцовщиц, флейтисток...

— Они хороши, — небрежно произнес Сулла, потирая переносицу, и вдруг засмеялся. — Взгляни на Скавра. Разве он похож на доблестного мужа далеких времен? Посмотри, как он важно прохаживается, управляет свою тогу, не заглядывается на молодых танцовщиц и флейтисток. А сенат, это презренное стадо старых дураков, без ума от него.

— Ты не любишь Скавра, но Друз...

— Что мне этот льстец? Не спорю — он умен, и я уважаю его за спасение государства от посягательств Гракха...

Он оглядел исподлобья гостей, и взгляд его упал на Аристагору. Она показалась ему богиней любви, недостижимой мечтой, солнцем, радостью жизни. Рядом с ней стоял Опимий и что-то говорил, их окружали сенаторы, а Скавр уже важно беседовал с Ливией Друзом.

— Каждый раз, как я смотрю на Аристагору, — говорил Сулла, отталкивая от себя шута-карлика, который, кривляясь, хватался за его тогу со словами: «Дырява, дырява! Подружка зашьет тебе своими волосами!», — я испытываю возвышенное чувство преклонения и своей человеческой ничтожности. Это небесная красота, божественная идея...

— А я? — обиделась Никопола, поджав пухлые губы.

— Ты — земная красота, все в тебе тяжело и грузно: и грудь, и ноги, и икры.

В это время канатная плясунья, укрепив толстую веревку на высоте двери, протянула ее вдоль атриума, зацепила за балку над таблином и, вскочив на нее, побежала со смехом над головами гостей.

Это была стройная худенькая девочка-подросток, с большими черными глазами, в коротенькой тунике и во фригийской шапочке. Босые, голые до колен ноги мелькнули в воздухе, смуглые руки трепетали, как крылышки Амура. Она очутилась над Суллой, шепнула:

— Что прикажешь?

— Крикни привет Аристагоре.

Канатная плясунья побежала по веревке к толпе, окружавшей гетеру, и ее звонкий молодой голос радостно прозвучал в атриуме:

— Привет божественной из божественных, госпоже Аристагоре, шлет мой господин Люций Корнелий Сулла!

Аристагора взглянула на прыщавое свиноподобное лицо юнца, встретила ясным взором с мрачными глазами, в которых вспыхивало восхищение, и, преодолевая отвращение, улыбнулась светлой невозмутимой улыбкою.

— Привет благородному патрицию! — поклонилась она. — Да хранят тебя всемогущие боги!

Сулла подошел к ней быстрой походкой и, не обращая внимания на Люция Опимия, который беседовал с гетерою, спросил ее о Пергаме, о Гиппархе, о смерти Сципиона Назики.

— Я рад, — заключил он, — что такая умная, прекрасная и веселая женщина оживляет наше грубое общество.

И, поклонившись, отошел к шутам и мимам.

— Послушай, Люций, — услышал он прерывистый шепот и, обернувшись, встретился глазами с Ливием Друзом, — ты очень дорожишь этой девчонкой?

Друз указывал глазами на канатную плясунью.

— А что?

— Следовало бы оживить общество. Ты не находишь, что скучно? Я прикажу рабам перерезать веревку...

Злобно-насмешливые огоньки сверкнули в мрачных глазах Суллы.

— Ты хочешь крови? — хрипло рассмеялся он. — Изволь. А я хочу огня...

— Я не понимаю тебя, — смутился Друз.

— Я велю поджечь этот дом, чтоб на роскошном костре предать молодое тело сожжению. Тем более, — прибавил он, — что у вас в обычае сжигать покойников...

Ливий Друз вспыхнул и, не дослушав его, поспешил отойти.

А Сулла, засмеявшись, протянул руки плясунье. Она легко спрыгнула и упала в его объятия с зазвеневшим радостью смехом.

Между тем Люций Опимий приглашал гостей к столам. Рабы разносили уже кушанья. Флейтистки заиграли на длинных флейтах, певцы запели греческую песню. На середину артриума выступили полуобнаженные танцовщицы. Легко переступая босыми ногами по мягким коврам, они закружились, гремя кроталлами.

Гости возлегли за столами, и началось пиршество.

На среднем ложе разместились: на почетном месте, называемом консульским, Квинт Метелл Македонский и слева от него Гай Фанний и Люций Кальпурний Пизон; на левом ложе — Публий Рутилий Руф, Марк Эмилий Скавр и Никопола, а на правом — амфитрион, Аристагора и Ливий Друз. Сулла же со своими шутами, мимами, канатными плясуньями и огнеглотателями занял второй стол, возлеги на почетном месте с любимой канатной плясуньей и шутом-карликом.

— Как жаль, что мы лишены радости видеть в своем кругу доблестного Публия Попилия Лентула, — притворно вздохнул Гай Фанний, обращаясь к сотрапезникам, — храбрый муж, он сражался на Авентине, получил много ран, но все же сенат не в силах был защитить его от черни. Ненависть плебса была так велика...

— А куда отправился благородный Попилий Лентул? — спросил Публий Рутилий Руф, искоса поглядывая на Никополу.

— Он уехал на Сицилию, — со вздохом вымолвил Гай Фанний. — Покидая Рим, он молился богам, чтобы ему никогда не пришлось вернуться в неблагодарное отечество...

— Но я думаю, что Лентул скоро утешится на Сицилии, — зазвенел нежный голос Аристагоры, — тем более, что он отправился туда со своей любимой невольницей...

— Слово «любимая» выражает понятие неопределенное, — засмеялся Ливий Друз, — сегодня любимая, завтра может быть нелюбимой, и наоборот. Для меня нелюбимой становится та женщина, которая нарушила равновесие моей души своей холодностью.

Все засмеялись, только одна Аристагора сурово сдвинула тонкие брови.

— Любовь — понятие возвышенное, — тихо сказала она, — и я докажу вам, благородные мужи, на примере, что одно животное влечение не есть любовь. Была у меня в Пергаме подруга, которая влюбилась в римского военачальника. Она не находила себе места в доме — все думала о нем, тосковала, а когда приходил римлянин — оживала. Этот военачальник тоже полюбил ее, они часто виделись, и моя подруга отдалась ему. Вскоре он умер. А она долго горевала и, став гетерою, продолжала любить покойника такой же огромной любовью, как прежде, и, принимая любовников, воображала, что у нее в объятиях оживший покойник. Это духовное и телесное сближение есть любовь.

— А может ли быть любовь только духовная? — воскликнул Публий Рутилий Руф, взяв с репозитория жареного цыпленка, и шепотом прибавил, наклонившись к Никополу: — Ты ничего не кушаешь...

— Благодарю тебя.

— Нет, — говорила Аристагора, — дух без тела, это — идея, и только тело влияет на душу, приводя ее в должное сотрясение, как говорил божественный Платон.

А за столом Суллы беседа была иная: привлеки к себе канатную плясунью, Сулла потчевал ее свининой, поил вином, обнимал. Слушая пьяные возгласы шутов и мимов, он думал, что пир у Опимия — напрасная для него, Суллы, потеря времени. «С Никополой, в обществе этих дураков, мы получили бы гораздо больше удовольствия. Аристагору я хочу иметь — она богоподобна. О Юнона, Венера, все богини, помогите мне в этом деле!»

Пьяные шуты кричали наперерыв загадки:

— Кто любит девчонку утром, днем не видит, а вечером некогда?

— Какая метла не видит огня?

— Какие губы на вкус у девушек?

— Отгадывай, господин!

Сулла засмеялся — толстые чувственные губы раздвинулись, мрачные глаза повеселели:

— Первая загадка проста. Муж, любящий девчонку только утром, — сенатор: днем ему некогда — занят на государственной службе, вечером пирует в кругу друзей, ночью спит и, только проснувшись, утром может уделить время любовным утехам.

— Верно, — воскликнул красноносый шут. — Я придумаю что-нибудь потруднее.

— Вторая загадка, — продолжал Сулла, — еще проще: метла, которая не видит огня, находится на ступенях храма Весты; ею не метут храма, потому что храм моют весталки, и она не видит вечного огня, — метет только ступени..

— Ты мудр, — пробормотал шут-карлик, — еще не было случая, чтобы ты не отгадал.

— А третья, — смеялся Сулла, — самая легкая и самая трудная: вкус девичьих губ неодинаков, потому что каждый любовник будет говорить свое, а как его проверишь? Вкус девичьих губ изменчив; он зависит от душевного состояния девушки... И все же я скажу... (Он привлек к себе канатную плясунью, впился ей в губы)... что у многих девушек губы горьки на вкус... и у тебя тоже, моя маленькая птичка!

Наступила тишина: амфитрион приносил жертву ларам. Рабы и невольницы убрали со столов посуду, смешивали в кратерах вина с водой. Флейтистки в коротких разноцветных туниках окружили столы; вбежали полунагие танцовщицы — стройные, гибкие тела закружились быстро, стремительно, загремели кроталлы, покрывала упали к ногам девушек, две — три светильни погасли, и в розовом полусумраке потянулась вереница нагих широкобедрых девушек. Люций Опимий поднял серебряный кубок.

— Друзья, — громко сказал он, оглядывая гостей быстрым взглядом, — сегодняшней день принес нам окончательное подавление заговора Гая Гракха. Нам было мало уничтожить ядро бунтовщиков, мы решили выкорчевать все, что могло дать ростки: мы вели следствие и теперь знаем: никто больше не угрожает сенату. Поэтому я стал сооружать «Храм Согласия», а пиршество устроил в ознаменование мира в республике и освобождения от смут в которые ввергли наше отечество преступные братья Гракхи.

— Да здравствует Люций Опимий! — закричал Ливий Друз так громко, что Аристагора вздрогнула. — Да здравствует римский сенат!

Светильни вспыхнули и осветили нагих танцовщиц, приближавшихся к столам. Белые, бронзовые, смуглые тела плыли, казалось, в воздухе, кроталлы дребезжали чуть слышно, флейты пискливо плакали.

Пьяные гости выскакивали и, грубо хватая девушек, тащили к ломам. Женские взвизгивания, смех, ругань из-за танцовщиц — все это слилось в такой шум, что Сулла, задремавший за столом, проснулся. Он вскочил, огляделся и, бросившись к юной флейтистке (спяна не отличил одетой от нагой), потащил ее в комнату отдыха.

Гости захлопали в ладоши и поспешили за ним.

Аристагора поднялась с ложа, кликнула рабов. Они надели ей на ноги башмаки, помогли встать.

Через несколько минут она полулежала в лектике, которую несли рослые рабы, направляясь к таверне. Здесь гетера надеялась нанять лошадей, чтобы добраться до Рима.

XXXIV

Геспер и Люцифер прискакали в Рим верхами с большим опозданием после избиения гракханцев.

В Остии ходили разноречивые слухи: одни утверждали, что Гай захватил власть и стоит во главе республики, другие — что он убит и сторонники его погибли, третьи — что сенат заключил с Гракхом мир, сделав ему ряд уступок. Однако настоящее положение в республике стало известно с прибытием в Остию посланца от сената.

Однажды утром оба вольноотпущенника были поражены громкими криками глашатая:

— Граждане, слушайте! Бунтовщики Гай Гракх, Фульвий Флакк и их сторонники перебиты. Они пошли против власти... Горе гражданам, злоумышляющим против государства!

Ошеломленные, они быстро собрались в путь и выехали через несколько часов.

Глухая ночь окутывала Рим, как ветхая тога с мелкими булавочными прорехами, сквозь которые сверкали серебряные песчинки звезд. Пустынные улицы были темны, как ямы, и только на площадях тускло горели светильни, чадя и потрескивая. Запах

бараньего жира был неприятен.

— Переночуем в гостинице, — сказал Геспер, — а завтра разыщем госпожу.

Они нашли небольшую гостиницу, дешевую и грязную, и завалились спать. Но сон их был тревожен: насекомые не давали спать.

Проснувшись на рассвете, вольноотпущенники сели на коней и поехали по направлению к Эсквилину.

На рыбном рынке и на Священной улице, несмотря на раннее время, народу было так много, что прохожим приходилось проталкиваться, усиленно работая локтями. Геспер и Люцифер продвигались с большим трудом. Роскошные лавки, палатки менял были наводнены людьми разных народностей: вдоль улиц, возле домов, и на перекрестках находились будки торговцев, и их было так много, что они стесняли движение; разносчики съестных припасов обращали на себя внимание пронзительными криками: восхваляя свой товар, они приставали к гражданам, предлагали его по самой низкой цене, а особенно нахальные навязывали, хватая прохожих за полы тог, иные осыпали бранью тех, кто отмахивался от них.

Проехав по улицам торговцев зерном и дровами, вольноотпущенники пересекли кварталы сыромятников, сандалициков, гончаров и очутились на пустынном месте.

Впереди был Эсквилин, с чистенькими нарядными домиками, окруженными деревьями, а за ним огромным зеленым пятном, похожим на широкую площадь леса и кустарника, возвышался Виминал с огромными садами, прудами, искусственными гротами и беседками.

— Эсквилин и Виминал — лучшие места Рима, — сказал Геспер, обращаясь к своему спутнику, но Люцифер был оглушен городом, придавлен его деловой толчеей, и голова у него шла кругом; он озирался по сторонам с какой-то растерянностью; в Остии было тоже шумно, но не так, как в Риме: город мира казался рыжебородому вольноотпущеннику кипящим котлом.

Их ожидало печальное зрелище: вместо дома патрона чернели обугленные бревна и балки; все было разрушено, покрыто толстым слоем пепла, в котором рылись две-три рабыни.

Геспер спешил, подошел к невольницам и расспросил их о госпоже.

— Горе нам, горе! — воскликнули они. — Господин и его сыновья убиты, госпожа бежала, а куда — не знаем, слуги и рабыни...

— А дом? Почему сожжен?

— Толпа разграбила... пьяная толпа... Власть отдала ей этот дом... Гракх тоже погиб, и его дом сожгли...

Вольноотпущенники стояли бледные, растерянные. В Риме было страшно. Они ощущали трепет, пробежавший по жилам, и, думая о гибели своего патрона и его семьи, о разграбленном имуществе, приходили в ужас.

— Бежать отсюда, бежать! — озираясь, шепнул Люцифер. Но Геспер воспротивился:

— А месть?

Вечером они добрались до Раудускуланских ворот, ведя лошадей под уздцы.

Рим затихал. Отдаленный шум и говор еще смутно долетал из плотно населенных улиц, из домов и гостиниц, но уже мало-помалу устанавливалась тишина, предвестница вечернего отдыха и покоя.

Геспер и Люцифер вошли в таверну, сели за стол у входа и потребовали вина. В раскрытую дверь белели колонны дома Аристагоры, а верхняя часть его пропадала во

мраке. Порывистый ветер врывался в таверну.

Не сводя глаз с колонн, вольноотпущенники молча пили.

Выйдя на улицу, Геспер шепнул:

— Стереги лошадей, а я сам справлюсь.

Люцифер облегченно вздохнул: он трусил и боялся испортить все дело.

Черная ночь проглотила Геспера, точно он провалился в бездну; Люцифер остался один.

Геспер обошел дом и проник в садик. В перистиле был свет, и вольноотпущенник, притаившись, наблюдал за рабынями, которые вытряхивали тюфяки, готовясь ко сну. Когда же они на мгновение удалились, он бросился вперед, спрятался за колонну и, сняв с себя калиги, прошел на цыпочках в таблин, а оттуда — в атриум. Аристагоры нигде не было.

Он задумался и, догадавшись, что она, вероятно, легла, вернулся в перистиль.

В это время боковая дверь приоткрылась, грудной голос коснулся его слуха:

— Не забудь запереть двери.

При свете огня он увидел богоподобное лицо гречанки, ее грустные глаза, и легкое восклицание сорвалось с его губ: он узнал ее.

— Кто здесь? — с испугом вскрикнула Аристагора.

— Не бойся, госпожа, это — ветер...

— Нет, нет, — воскликнула гетера, направляясь к колонне, за которой стоял Геспер. — О всемогущие боги! — вскрикнула она, увидев его тень. — На помощь!

Из-за колонны сверкнуло лезвие кинжала: холодный клинок, острый, как бритва, мгновенно пронзил ее сердце. Она упала легко и неслышно, и рядом с ней что-то звякнуло и откатилось.

Геспер нагнулся, схватил круглую вещь и бросился в сад.

— На помощь! — кричали рабыни. — Госпожу убивают, режут!

В одно мгновение сад наполнился людьми; они бросились на Геспера, пытаясь его схватить, но вольноотпущенник, отчаянно работая в темноте оружием, пробивался на улицу.

Выбежав к таверне, он огляделся, услышал легкий свист со стороны Раудускуланских ворот. Там был Люцифер, там ожидало спасение и воля.

Геспер бросился к воротам; в темноте виднелись фигуры лошадей и всадника.

— Ты? — шепнул он.

— Я. Вторая стража прошла.

На улицу вырвались крики, и толпа рабов бросилась к воротам.

— На коней! — воскликнул Геспер. — Да хранят нас боги! И они помчались, беспрестанно понукая лошадей, в глубь города, готовые убить всякого, кто бы осмелился их задержать.

Отъехав несколько стадиев, Геспер остановил коня: только теперь он заметил, что был босиком.

— А калиги? — вскричал он. — Я забыл их в перистиле.

— Наденешь мои, — сказал Люцифер, погоняя коня. — А завтра себе купишь...

— Ну, а ты?

— Я переночую где-нибудь под кустом в Виминале.

— А лошади?

— Продай, — посоветовал Люцифер и только теперь стал спрашивать об Аристагоре.

— Убита, — шепнул Геспер, — и если я не ошибся...

Они остановились на ближайшей площади. Геспер разжал руку, и круглая гемма засверкала, как кусок золота, при тусклом пламени светильни. Он взгляделся в нее, протянул Люциферу:

— Узнаешь этого мужа? Нет? Это — Сципион Эмилиан, а убитая гетера — его любовница Лаодика. Я сразу узнал ее!

XXXV

Корнелия находилась в Мизене, когда страшная весть об убийстве Гая и трех тысяч гракханцев распространилась в окрестностях Неаполя.

Друзья, окружавшие ее, сомневались в достоверности слухов и молчали, не желая тревожить старую матрону: они опасались, как бы весть о гибели Гая не свела в гроб несчастную мать.

Однажды, прогуливаясь в саду, они остановились. Нече ловеческий вопль возник где-то близко и затих. На смену ему родился тревожный крик, и прерывистые слова посыпались одно за другим:

— Он? Убит? О боги милостивые! На кого я осталась? Гай мой, Гай!..

— Это она, — молвил вполголоса философ, приехавший недавно из Рима.

— Идем, попытаемся ее утешить...

В атриуме, у имплювия, сидела Корнелия. Слезы катились по ее щекам, изборожденным морщинами; глаза тупо уставились в пространство, ничего не видя. В руке она держала свиток пергамента. Возле нее стояло несколько матрон. Они были в дорожных плащах (очевидно, не успели еще раздеться) и шепотом беседовали с гречанкой, на лице которой было написано такое горе, что стоики и философы растерянно переглянулись.

— Это Клавдия и Лициния, вдовы Гракхов, я сразу их узнал, — сказал философ, взглядываясь в матрон, — а это Терция, супруга Фульвия Флакка... А эта гречанка — Асклепида, которую Флакк выдал замуж за своего сына Квинта...

Друзья молчали.

Корнелия поднялась, оглядела невесток спокойными глазами:

— Горе, как злой орел, растерзало мое сердце. Что мне делать? Бедный Гай! Покинутый всеми, он взывал к народу, помня о своей матери... Что он говорил? Повтори, Лициния!

Вдова Гая, сдерживаясь, чтобы не расплакаться, шепнула:

— Он говорил так на форуме: «Куда я, несчастный, денусь? Куда обращусь? На Капитолий? Но он полон крови брата. В дом? Чтобы увидеть свою несчастную рыдающую и униженную мать?»

— О, горе, горе!

Терция схватила край ее столы, прижала к губам.

— Госпожа моя, — молвила она, задыхаясь от слез, — все мы несчастны. Ты потеряла двух сыновей-героев, Клавдия — супруга, Лициния то же, я — мужа и двух сыновей, Асклепида — супруга... Приюти нас у себя, защити от мести оптиматов, от происков врагов, которые прикидываются друзьями...

— Оставайтесь. Но что я могу против власти? Республика — наша мать, и ее законы священны для всех.

— Госпожа! Республика погубила твоих детей... Глаза Корнелии засверкали.

— Тиберий и Гай — великие мужи, — твердо выговорила она, — но родина дороже и славнее лучших своих сынов. Тиберий наделил пахарей землею, а Гай даровал плебсу, городскому и деревенскому, хлеб, работу, земли, ограничил власть сената...

Она говорила вдохновенно, позабыв, казалось, о своем горе, и слова ее звучали в тишине, установившейся в атриуме, такой убедительностью, такой верою, что дело сыновей не пропадет, переживет века, что все были растроганы.

— Сыновья мои воздвигли себе огромные памятники в потомстве, — шелестел ее старческий голос, — большие памятники, нежели тот, что соорудил себе доблестный отец мой Сципион Африканский Старший. Они проливали кровь за родину в рядах народа, которым держится слава, честь, величие и доблесть Рима. Это были удивительные мужи, богоподобные герои, и я, носившая их в своем чреве, могла ли я помышлять о том, что рожу титанов, которые укажут путь борьбы для многих поколений?

В каком-то изнеможении она уселась опять и продолжала говорить о Тиберии и Гае, об их страданиях и деятельности, точно они были мужами глубокой древности:

— Утверждали, что Тиберий был мягок и нерешителен, но это неправда. Разве он не был храбрым воином, не отличился под Карфагеном, не показал твердость, волю и великодушие под Нуманцией? Разве он не пошел против сената, ратуя за благо деревенского плебса, разве он отступил от своего дела? Нет, он был тверд и решителен. Он был добр, и его доброту, любовь к человеку — будь то раб или плебей — злые недруги обратили в мягкость и нерешительность. Если б он был таков, то никогда бы не стал бороться с сенатом!

Она помолчала, вспоминая голубоглазого сына, и, прослезившись, продолжала:

— Правда, если сравнить Тиберия с Гаем, то старший сын покажется мягким: Гай был смелее, порывистее, вспыльчивее брата. Он умел бороться лучше Тиберия, он умел страстно ненавидеть, умел так же любить. Они оба были великие герои, борцы, оба любили римскую республику. И я горжусь, — всхлипнула она, — что боги даровали мне таких сыновей, украшение моей старости. А теперь оставьте меня, уйдите... Тарсия накормит вас и покажет комнаты, где вы сможете отдохнуть...

Когда они выходили из атриума, Корнелия удержала Лицинию.

— А где мой внук? — шепнула она, сжав ее руку. — Неужели и он...

— Успокойся, мать, я оставила его в Риме, в семье Гая Семпрония Тудитана...

— Он жив? Поклянись!

— Клянусь Вестою!

Лициния ушла со стесненным сердцем и потом, сидя за одним столом со стоиками и философами, слушала их осторожные речи о Корнелии и — молчала.

— Она не в себе, — говорил престарелый грек, вздыхая. — Так, как говорила она, не скажет ни одна мать!

— Мы слышали ее вопли... видели слезы...

— Горе не может смениться такими равнодушием или спокойствием...

— Она больна...

Философ, приехавший недавно из Рима, заглянул в атриум и, возвратившись на свое место, сказал, покачивая головою:

— Я был прав. Корнелия помешалась. Она читает... Подумайте, друзья, читать после такого горя!

Асклепида подняла голову.

— Не больна она и не рехнулась, — тихо заговорила гречанка, оглядывая сотрапезников быстрыми глазами. — Она крепка духом и волей и твердо переносит удары Фортуны.

— Но, позволь, читать теперь, тотчас же...

— А знаешь, что она читает? «Записки» Гая Гракха. Так, в одиночестве, она беседует со своим сыном...

Все молчали. Потом тихо стали выходить из-за стола и на цыпочках, стараясь не шуметь, прошли в сад. Дом погрузился в тишину.

XXXVI

Оставшись одна, Корнелия развернула свиток пергамента. Она смотрела на него несколько минут; она сразу узнала руку сына и думала: «Он писал, живая рука выводила два раза бету и йоту, лямбду, омикон, ню — семь букв, которые так волнуют, что я не решаюсь начать чтение. Сын жил, был молод, говорил, двигался, работал, боролся, и его уже нет. Где он, где его душа, его сердце? И видит ли он меня и Рим, дорогую родину, за благо которой боролся?»

Вздохнув, она принялась читать. Это было большое письмо-наставление друзьям и как бы завещание поколениям, что делать в борьбе с властью, как бороться, чтобы не нарушить благосостояния государства.

Корнелия читала:

«Скажу о себе. Я смотрел на плебеев, и сердце мое обливалось кровью. Мой брат Тиберий Гракх провел аграрный закон, пытаюсь задержать обнищание земледельцев: он наделил их мелкими участками за счет крупных держателей. Но Сципион Эмилиан отменил законы. Я ненавижу его. Кто он? Последний представитель вымирающей семьи Сципионов, получающий доходы с северо-восточной Африки, с Карфагенских земель, патроном которых он состоит. Не так ли пользовались этими доходами Публий Сципион, его сын Публий Корнелий Сципион Африканский Старший? Не так ли получал доходы патрон Греции и Македонии Павел Эмилий? Это они, аристократы, крупные землевладельцы, начали споры с публиканами; откупщики требовали, чтобы Рим содержал постоянные отряды войск в провинциях, а Сципионы говорили, что это излишне, утверждая, что мощь Рима должна опираться на крепких, зажиточных земледельцев. Считая путь Сципиона Эмилиана правильным, Тиберий Гракх пошел по этому пути. Она перелистала несколько страниц, читала: «Всадники враждовали с сенатом, я бросил мечи и ножи на форум, чтоб обе стороны вечно терзали друг дружку — наделил преимуществами всадников...»

Читала дальше:

«Друг, кто бы ты ни был — нобиль, всадник, вольноотпущенник, плебей, раб, чужестранец, если ты ищешь на земле справедливости, если сочувствуешь борьбе с угнетателями, если готов посвятить свою жизнь

для блага народа, помни: с хищниками и злодеями нужно бороться хитростью, а для этого будь твердым, выжми из своего сердца жалость, разорви путы, связывающие или роднящие тебя с поработителями, растопчи веру в милосердие угнетателя, которая, быть может, тлеет еще в твоей груди. Я много заблуждался, не следовал этим наставлениям, которые я даю тебе, как опыт своей деятельности, и потому гибну... Завтра — последний день... Если весь плебс и всадники меня не поддержат, я предпочту смерть позорной жизни».

Корнелия заплакала. И сквозь слезы прочитала еще несколько строк:

«Ливий Друз — предатель. Где его хваленая честность? Где доблесть? Он продался жадным оптиматам. Изменник заслужил удар кинжалом в сердце...»

Откинулась на спинку кресла.

Думала.

Перед глазами возник Рим, не такой, как она привыкла видеть — мирный людской муравейник, а Рим грозный, ревущий, объятый пламенем восстаний, вихрем надвигающихся стычек, яростных сословных боев. Из бедных кварталов, заселенных ремесленниками, блудницами, безработными, шла буря, и она несла на своих крыльях Тиберия и Гая, смелых мужей, дерзнувших пойти против патриархальной власти. И сердце матери забилося радостно и тревожно: Гракхи не умерли, они живут и будут жить тысячи лет, призывая к борьбе племена и народы, пока плебс не добьется вершин справедливости и благополучия.

Словарь

Составлен М. Езерским с дополнениями и исправлениями научного редактора А. И. Немировского. Заново написанные пояснения редактора отмечены звездочкой.

Авентин — один из семи холмов Рима, в глубокой древности заселенный плебеями.

Авгиевы конюшни — конюшни царя Элиды Авгия, очищенные Гераклом.

Авгуры (от лат. авгео — преумножать, преувеличивать) — коллегия жрецов-гадателей, первоначально состоявшая из 3 человек, при Сулле — из 15.

Агесилай II (444–360 гг. до н. э.) — царь Спарты, дипломат и полководец, одержавший ряд побед в войне с персами, утвердив тем самым владычество Спарты в Греции.

Агис IV — царь Спарты (244–241 гг. до н. э.), осуществивший социальные преобразования с целью увеличения боеспособных спартиатов, наделил участками неполноправное население периэков, включив их в гражданскую общину. Убит при попытке проведения долговой реформы.

Агора (греч.) — площадь в греческих городах, центр государственной деятельности и торговли.

А д а д — бог грома, бури и ветра у народов древнего Двуречья. Обычно изображался с двузубцем или трезубцем молнии.

Адгербал — старший сын царя Миципсы, получивший вместе с братом Гиемпсалом и двоюродным братом Югуртой власть над Нумидией. Бежавший в страхе перед Югуртой в Рим, был там в 112 г. до н. э. убит Югуртой.

Адонис (от финикийского «адон» — господин) — божество сирийско-финикийского происхождения, почитавшееся также греками в виде прекрасного юноши, любимца Афродиты.

Аид (Гадес — греч. «ужасный») — бог — владыка царства мертвых, а также само царство мертвых.

Академия — философская школа Платона в Афинах, получившая название по роце героя Гекадема. Ученики жили по строго разработанным религиозным и гигиеническим правилам.

Акрополь — «высокий город» — укрепленный центр («Кремль-цитадель») греческих городов, с храмами, общественными зданиями.

Актеон (миф.) — греческий герой — охотник, обращенный Артемидой в оленя и растерзанный его собственными собаками.

Амбросия — по представлению древних, пища богов, доставлявшая им вечную юность.

Амур, или Купидон — бог любви у римлян, отождествлен с Эросом. Амфикионы — члены амфикионий, религиозно-политических объединений.

Амфитрион — греческий герой, имя которого стало синонимом гостеприимного хозяина.

Амфора — глиняный сосуд с двумя ручками, употреблявшийся для хранения и перевозки вина или оливкового масла.

«А н а б а з и с» (греч. Восхождение) — сочинение Ксенофонта, изображающее поход Кира Младшего против своего брата Артаксеркса, царя персидского, и возвращение на родину греческих наемников, среди которых находился и сам автор.

Анадиомёна — появившаяся на поверхности моря — эпитет богини Афродиты.

Анакреон (580–495 гг. до н. э.) — греческий лирик; в его песнях звучит радость жизни, не лишенная грусти по поводу непрочности существования.

Анаксагор (500–428 гг. до н. э.) — знаменитый ионийский философ, друг Перикла; его учениками были Фукидид и Эврипид. За объяснение солнечного и лунного затмений как естественных явлений был обвинен в безбожии и изгнан из Афин.

Анаксимандр (611–546 гг. до н. э.) — математик и философ из Милета. Началом всего сущего считал безграничное, бесконечное, которое выделяет из себя и воспринимает стихии. Первым открыл наклонение эклиптики и изобрел солнечные часы.

Анаксимен (около 586–526 гг. до н. э.) — греческий философ из Милета, ученик Анаксимандра. Учил, что материальной основой мира является воздух, считая, что остальные элементы мироздания результат разжижения или сгущения воздуха.

Андромаха — супруга великого троянского героя Гектора, убитого Ахиллом.

Андроник Ливии (умер в конце III в. до н. э.) — первый известный латинский поэт, грек из италийского города Тарента, получивший имя своего патрона Ливия. Перевел «сатурнийским» стихом «Одиссею».

Анналы (лат.) — ежегодная запись, летопись, которую вел великий понтифик (верховный жрец Рима). На материале этих анналов впоследствии в Риме появились исторические труды.

Антиполис — колония массилийцев в Нарбоннской Галлии.

Апеликон из Т е о с а — известный собиратель книг и их издатель. Библиотека Апеликона была захвачена Суллой в Афинах и депортирована в Рим.

Аполлон (также Феб) — прекрасный, юный греческий бог света, почитавшийся также народами Малой Азии, впоследствии отождествленный с Гелиосом (Солнцем), бог прорицаний, губитель, но также и целитель.

Аргеи — 27 алтарей в Риме, сооруженных, по преданию, царем Нумой Помпилием; также сплетенные из тростника мужские куклы, бросавшиеся с моста в Тибр для умилоствления Сатурна. Слово «аргеи» происходит от греч. «аргиеи» — аргиевцы, обитатели Аргоса.

Аргус (Аргос) — многоглазый великан, поставленный Герой для охраны возлюбленной Зевса Ио. В переносном смысле — «недремлющий страж».

А р е с * — бог коварной и вероломной войны у греков, в отличие от честной и справедливой войны, которую олицетворяла Афина.

Ариобарзан — царь Каппадокии, возведенный в 92 г. до н. э. Суллой и неоднократно изгоняемый Митридатом VI Евпатором.

Аристарх с о-ва Самоса * (около 320–250 гг. до н. э.) — астроном и математик, первый пытавшийся определить расстояние до Луны и Солнца от Земли. Он выдвинул теорию, что Земля и планеты вращаются вокруг Солнца. Эту гелиоцентрическую теорию, не встретившую поддержки среди современников Аристарха, впоследствии доказал Коперник.

Аристипп из Кирены (около 435–355 г. до н. э.) — греческий философ, ученик Сократа, основатель школы в Кирене (Сев. Африка), учившей, что цель жизни — наслаждение.

Аркадия — центральная гористая часть Пелопоннеса, считавшаяся в древности мирной счастливой страной, населенной пастухами и пастушками.

Архимед (287–212 гг. до н. э.) — великий греческий математик и физик из Сиракуз, убитый при взятии этого города римлянами.

Аспасия — вторая жена Перикла, не считавшаяся законной, так как была чужеземкой. Отличалась выдающимся умом и красотой.

А. с с * — у древних римлян денежная единица и монета, первоначально чеканившаяся из бронзы или меди. Весила 1 римский фунт — 0,325 кг.

Атараксия (греч.) — невозмутимость.

Атриум — в старину главная часть римского дома, ко времени действия романов — прихожая, зал. В атриуме был водоем для стока с крыши дождевой воды, шкаф с восковыми изображениями предков.

Атталиды — династия властителей Пергама, носивших имя Аттал.

Ауспиции* — наблюдения за «вещими» птицами и природными явлениями, считавшимися небесными знаменами. Наблюдения осуществлялись авгурами. Правом начать ауспиции обладали высшие магистраты.

Ахемениды — персидская династия царей, первым из которых был Кир.

Базилика* (греч. «царская») — у греков резиденция архонта-царя, у римлян — торговое и судебное помещение. Первая базилика в Риме была построена М. Порцием Катонем в 184 г. до н. э.

Баллиста — метательное орудие, выбрасывавшее тяжелые камни и длинные бревна под углом в 45°.

Беллона — богиня войны у римлян.

Б и р е м а — судно с двумя рядами весел у римлян.

Биселла — двухместное кресло.

Борей (у греков) — северный холодный ветер, у римлян — аквилон. Букцина — духовой инструмент у древних римлян, употреблявшийся для сигналов к смене караулов, созыва граждан на собрание и пр. Букцинарий — человек, созывающий граждан посредством букцины. Булла — круглая или сердцеобразная золотая коробочка с талисманом внутри, которую носили на шее дети полноправных граждан, а также триумфаторы.

Вакх, или Дионис — бог цветущей природы, вина и веселья.

Вакханалии — празднества в честь Вакха, отличавшиеся разнузданностью и поэтому запрещавшиеся римским сенатом.

Валгалла — по верованию древних германцев — чертог Одина, верховного бога.

Валькирии — по верованию древних германцев так назывались девы-щитоносицы, уносившие души павших воинов в Валгаллу.

Великая Греция* — юг Италии, колонизованный греками в VIII–VI вв. до н. э.

Велиты* — введенные в римский легион во время второй Пунической войны легковооруженные воины. Римский легион во II–I вв. до н. э. имел 1200 велитов. К концу республики велиты исчезают.

Венера* — римская богиня любви и плодородия. отождествлена с Афродитой.

Веста (лат.) — римская богиня домашнего очага, праздник которой — Весталии отмечался ежегодно в Риме 9 июня.

Весталки* — жрецы Весты. Их было при храме Весты шесть. Они должны были поддерживать священный огонь и оставаться девами на протяжении всей службы в 30 лет. Весталки пользовались величайшим почетом, считаясь живыми воплощениями Весты.

Виатор — государственный скороход (курьер), доставлявший общественные извещения и приглашения сенаторам, а также передававший гражданам требования явиться в суд и т. п. и производивший аресты.

Вилла — имение, деревенский дом.

Вил и к — управляющий имением, обычно раб или вольноотпущенник.

В и л и к а — жена или помощница вилика.

Виминал — один из семи холмов Рима, между Квириналом и Эсквили-ном.

В и р и а т — вождь испанского племени лузитанов, предков португальцев, в середине II в. до н. э. успешно боровшийся с римлянами и предательски ими убитый.

Волунтарий — доброволец.

Вольноотпущенник — раб, отпущенный на свободу, но сохранивший зависимость от своего бывшего господина-патрона.

Всадники — публиканы, купцы, ростовщики и крупные землевладельцы, которые не входили в сенат и составляли особое сословие, обладавшее правом ношения золотого кольца и тоги с узкой пурпурной каймой. Они занимали первые 14 рядов в театре.

Газдрубал — полководец, защищавший Карфаген от войск Сципиона Эмилиана.

Галлия Циспаданская — Галлия, лежащая к югу от реки По, т. е. правобережная Галлия.

Ганнибал (247–182 гг. до н. э.) — великий карфагенский полководец, сын Гамилькара Барки, знаменитого полководца, сражавшегося с Римом во время первой Пунической войны (защищал Сицилию) и покорившего большую часть Испании. Ганнибал воевал с римлянами в течение второй Пунической войны, вторгся в Италию,

где продержался 15 лет. Вызванный в Африку для защиты Карфагена, которому угрожал Сципион Африканский Старший, он был разбит римским полководцем при Заме, бежал к сирийскому царю Антиоху Великому, а затем в Малую Азию, где, преследуемый римлянами, принял яд.

Гармония (миф.) — жена Кадма; она получила в качестве свадебного подарка от Гефеста ожерелье, приносящее несчастья.

Гарпии — крылатые женщины-чудовища, птицы с женским лицом, олицетворяющие вихрь и бурю. Они причиняли людям бедствия, как например, в сказании об аргонавтах.

Гаруспик — гадатель по жертвам, прорицатель, истолкователь знамений.

Гастаты (лат.) — тяжеловооруженные воины легиона переднего ряда.

Гесиод — знаменитый греческий поэт, живший в VIII в. до н. э.

Геката — богиня Луны, властительница ночи, привидений, ночных страхов, покровительница колдуний.

Гекатомба — жертва, состоявшая из ста животных, или большая торжественная жертва.

Гектор — сын троянского царя Приама, убитый Ахиллом (см. «Илиаду»).

Гелиос (миф.) — бог Солнца.

Илоты — государственные рабы в Спарте, работавшие на спартиатов.

Гемма — полированный драгоценный камень с вырезанным на нем художественным изображением или надписью.

Гераклит Эфесский (535–475 гг. до н. э.) — греческий философ, учивший, что все течет и не пребывает вечно, а началом природы является вечно живой огонь.

Геркулес (у римлян), или Геракл (у греков) — легендарный народный герой эллинов, сын Зевса и Алкмены, совершивший двенадцать подвигов и много других деяний.

Герма (греч.) — столбик на улицах греческих городов с головой Гермеса и других богов.

Гермес — в греческой мифологии сын Зевса и Маби, бог сна, покровитель стад, торговли, изобретений и открытий, путеводитель странников; у римлян Гермесу соответствует Меркурий.

Геродот — первый греческий историк, «отец истории», живший в V веке до н. э.

Герофил — знаменитый врач древности; создал в 320 г. до н. э. медицинскую школу в Александрии.

Геспериды — дочери Геспера (вариант — Атласа), жившие в садах на краю света. В садах Геспера росли золотые яблоки, охраняемые стоголовым драконом. Геракл убил дракона и овладел золотыми яблоками (одиннадцатый подвиг героя).

Г е с т и я (греч.) — богиня домашнего очага, дочь Кроноса и Реи.

Гетера (греч. «подруга») — нередко высокообразованная чужеземка-куртизанка, заменявшая грекам малообразованных жен.

Гефест (у греков), или Вулкан (у римлян) — бог огненных сил природы, кузнечного ремесла, покровитель оружейников; изображался хромым.

Гигантомахия — борьба гигантов с олимпийскими богами, окончившаяся победой последних. Считалось, что побежденные гиганты были погребены под горами. Гигантомахия стала темой греческого искусства. Наиболее знаменитое ее изображение — алтарь в Пергаме.

Гиганты — исполинские, родственные богам, но враждебные им существа, с телом

человека до пояса и с драконовыми хвостами вместо ног.

Г и м м е т — гора в Аттике, к югу от Афин, знаменитая своими пчельниками и мрамором.

Гимнасий — пространство для гимнастических упражнений, окруженное колоннадой, с банями, местами для состязаний, прогулок и пр., где собирались философы, риторы и т. п.

Гинекей — у древних греков (кроме спартанцев) — задняя часть дома, где жили взаперти женщины.

Гиппарх из Никеи* (160–125 гг. до н. э.) — великий астроном, создатель астрономии, основанной на наблюдении небесных светил, автор географических трудов.

Гиппократ из Коса (около 460–370 гг. до н. э.) — греческий врач из древней фамилии врачей, основатель научной медицины.

Гистрион — актер, комедиант у народов древней Италии.

Гоплит (греч.) — тяжеловооруженный пехотинец в греческом ополчении. Он был вооружен щитом, шлемом, панцирем, поножами. Главное оружие гоплита — меч и копье.

Гораций Коклес* — легендарный герой, ходячий образец римской доблести, Один на свайном мосту через Тибр он отражал воинов царя Порсены.

Гордиев узел — узел, завязанный фригийским царем Гордием на повозке, посвященной им Зевсу. Существовало предание, что развязавший этот узел, станет владыкой мира. Александр Македонский его разрубил.

Гостилий Тулл (672–640 гг. до н. э.) — полубогатый царь Рима.

Грамматик — ученый, сведущий в языках и литературе, занимавшийся толкованием текстов и литературной критикой.

Гулусса — сын основателя нумидийского царства Массиниссы, царствовал вместе с братьями Миципсой и Мастанабалом.

Данубий — название римлянами реки, известной грекам как Истр (Дунай).

Дардан* — греческий город на западном побережье Малой Азии, между Абидосом и Илионом. Здесь был заключен мир между Суллой и Мит-ридатом VI Евпатором. **Дарий III Кодоман** — последний царь династии Ахеменидов, потерпевший в битве при Гавгамелах и изменнически убитый сатрапом Бессом. **Дафнис*** — сицилийский пастух, сын Гермеса и нимфы, которому приписывают изобретение пастушеской поэзии (буколик). Слепленный возлюбленной за измену, он бросился с утеса, но был спасен богами и перенесен на небо. **Декурион** — начальник отряда (декурии), состоявшего из десяти и больше всадников, а также член совета муниципия или колонии. **Д е л и о н** — небольшой бестийский городок в Танагрской области, близ пролива Эврипа, с храмом Аполлона.

Д е л ь ф ы — греческий город у подножия Парнасса, с храмом в честь Аполлона, славившимся оракулом.

Деметра — богиня земли и плодородия у древних греков.

Демиург — творец; демиургами также назывались в Элладе ремесленники.

Демокрит (470–380 гг. до н. э.) — греческий философ, родом из Абдер, мысливший мир бесконечной массой движущихся в пустоте материальных атомов, предшественник современного материализма.

Демос (у греков) — народ, состоявший из земледельцев и ремесленников.

Денарий — римская серебряная монета, состоявшая из 4 сестерциев или 10 ассов.

Децимация — казнь каждого десятого человека, независимо от того, виновен он или нет.

Диагор Мелийский, или М и л о с с к и й — родом с острова Милоса, прозванный безбожником, греческий софист половины V в. до н. э., ученик Демокрита, ядовито осмеивал таинства мистерии, чем возбудил против себя ненависть афинян (за его голову была назначена награда, а сочинения уничтожены); бежал в Коринф.

Диана (у римлян), или Артемида (у греков) — богиня света и Луны, покровительница охотников.

Диктатор — главнокомандующий войсками и верховный судья с неограниченной властью.

Дионисий Сиракузский (409–354 гг. до н. э.) — тиран, ученик Платона, управляющий Сиракузами.

Диоскуры — Кастор и Поллукс — близнецы, дети Леды. Они отождествлялись с утренней и вечерней звездами, указывающими путь странникам.

Дипилон — большие городские ворота в Афинах, находившиеся к северо-востоку от Священных ворот. Диррахион (Диррахиум) — значительный торговый город у Адриатического моря в греческой Иллирии (колония Коркирян). Додрант — мера емкости, равная $\frac{3}{8}$ литра.

Долабелла Гней Корнелий — легат Суллы, консул (81 г. до н. э.), обвиненный вместе с Верресом в грабеже и лихоимстве во время управления Сицилией; он был осужден и отправился в изгнание.

Домиций Гней — из старинного плебейского рода, зять Цинны. Был побежден Помпеем в Африке (при Утике) и пал, сражаясь в первых рядах войска.

Драконовы законы — законы, обнародованные афинским законодателем Драконом в 621 г. до н. э. Они назывались кровавыми, потому что почти все преступления карались смертью.

Драхма — греческая серебряная монета; она соответствовала римскому денарию, весила 3,6 г и равнялась 6 оболам.

Дуилий Гай — знаменитый консул, одержавший в 260 г. до н. э. первую морскую победу над карфагенянами.

Европа (миф.) — дочь финикийского царя Агенора. Влюбленный в нее Зевс обратился в белого быка и, похитив ее, уплыл на о. Крит, где сочетался с нею, приняв вид прекрасного юноши.

Елена (греч.) — древняя богиня растительности, переосмысленная мифами, как жена Менелая, дочь Зевса и Леды.

Законы XII таблиц — первые писанные законы в Риме (451–450 гг. до н. э.), возникшие в ходе борьбы патрициев и плебеев. Законы эти не облегчили экономического положения плебеев и не предоставили им политических прав, но устранили некоторые злоупотребления со стороны патрициев.

Зенон — греческий философ V века до н. э., последователь Парменида, отец «диалектики», прославился своими остроумными аргументами, в которых раскрывал противоречия, присущие понятиям множества, величины и движения.

Иберия — древнее название Испании.

Иды—15-й день месяца для марта, мая, июля и октября; для остальных месяцев иды приходились в 13-й день.

Икар (миф.) — сын Дедала, с которым он бежал из Лабиринта и улетел при помощи восковых крыльев с о. Крита. Во время полета Икар неосторожно

приблизился к Солнцу, крылья растаяли, и он упал в море.

Иллирия — страна, расположенная к северу от Эпира (Греция), со столицей Скодра. В 168 г. до н. э. была завоевана римлянами.

Империй* — высшая власть, которой первоначально обладали цари, а после их свержения высшие магистраты. Империй включал командование войском за чертой Рима. Обладатель империя — император.

Имплювий — водоем для стока с крыши дождевой воды, находившийся в атриуме.

Интеррекс — верховный правитель государства во время междуцарствия.

Ионическая колонна — греческая колонна, легкая, грациозная; вершина ее была украшена завитками, похожими на женские локоны.

Ипполита (миф.) — царица амазонок, пояс которой Геркулес добыл для дочери царя Эврисфея (6-й подвиг героя).

Испания Тарраконская — так называлась в древности северная и восточная часть Пиренейского полуострова. Главные города Испании Тарраконской: Таррако, Новый Карфаген, Сагунт, Нуманция и др.

Ифигения (миф.) — дочь Агамемнона, которую он должен был принести в жертву Артемиде, чтобы умиловать ее за убитую им лань. В момент заклания Артемида жалилась над Ифигенией и заменила ее ланью.

Кадм (миф.) — сын финикийского царя Агенора, брат похищенной Зевсом Европы. Он основал город Кадмею (Фивы), умертвил дракона, за что должен был прослужить Арею 8 лет, женился на его дочери Гармонии, которая родила ему четырех дочерей и сына. Кадм и Гармония были превращены Зевсом в змей и унесены в Элизиум (Елисей-ские поля).

Календы — первый день римского месяца. Отсюда — календарь.

К а л и г а * (лат.) — полусапог воина. У легатов и военных трибунов был украшен серебряными и золотыми гвоздями. К а н ф а р (греч.) — кубок.

К а п и т о л и й * — холм с двумя раздвоенными вершинами, разделенными седловиной. На одной был храм Юпитера Капитолийского, на другом — крепость. Капитолии имелись и в других городах Италии.

Каппадокия — римская провинция в Малой Азии, на берегу Понта.

К а р н е а д (213–129 гг. до н. э.) — греческий диалектик и философ, беспощадный критик религии. Он искал признаков истины, лежащих вне области чувств и конечного разума.

Кассий Спурий Висцеллин — консул, предложивший в 485 г. до н. э. земельный закон; был обвинен в стремлении к царской власти и сброшен с Тарпейской скалы. По другой версии, был убит своим отцом.

К атапульта — метательное оружие, выбрасывавшее длинные стрелы (до 1,5 м) почти в горизонтальном направлении.

Катаста — помост на невольничьем рынке, с него продавали рабов. Также решетка для пытки рабов.

Квадрантал — мера жидкостей, соответствовавшая амфоре, 26,3 литра.

Квадрирема — римское судно с четырьмя рядами весел.

Квестор* (лат.) — магистрат низшего ранга, выполнявший задачи административного характера. Во времена Гракхов было четыре квестора, при Сулле — двадцать. Они ведали не только финансами, но и обладали судебными полномочиями.

Квири* — один из древнейших богов Италии. Культ Квирина был занесен в Рим

сабинами и вошел в троицу богов — Юпитер, Марс и Квири́н. В позднейшую эпоху Квири́н отождествляется с Марсом и сливается с культом Ромула.

Квирина́л — один из семи холмов, Рима.

К в и р и т ы — торжественное обращение к римским гражданам.

Кентавр* — в греческой мифологии существо с туловищем и ногами коня, головой и руками человека. Местом обитания кентавров считалась Фессалия.

Керамик* — северо-западная часть Афин, населенная в древности гончарами.

К е р б е р — мифический страж айда, многоголовый пес.

К е р и о с * (греч.) — мера жидкости и сыпучих тел, около 0,045 л.

Киклопы* — мифические одноглазые великаны, дети Урана и Геи, закованные в цепи Кроном. Греки приписывали киклопам все древние монументальные сооружения.

Кирена* — расположенная к западу от Египта часть побережья Сев. Африки, колонизованная греками с 630 г. до н. э., с 96 г. до н. э. — римская провинция.

«Киропедия»* («Воспитание Кира») — сочинение Ксенофонта (430–354 гг. до н. э.), ученика Сократа, автора многочисленных исторических трудов.

Кифара — древний семиструнный музыкальный инструмент, на котором играли стоя. Женщина, игравшая на кифаре, — кифаристка.

Клеомен III* — царь Спарты (235–222 гг. до н. э.), продолжатель реформ Агиса IV, опиравшийся на военную силу. Устранил древние спартанские органы власти эфорат и герусию.

Клепсидра* (греч. «воровка воды») — водяные часы.

Клиенты* — первоначально свободные плебеи, которым патрицианский род предоставлял участок земли для обработки с обязанностью заботиться о покровителе (патроне) и его защищать. Ко времени действия романов М. Езерского, клиенты — чужеземцы, находившиеся под покровительством патрона, преимущественно патриция, но также беднота (деревенская и городская), находившаяся в зависимости от богачей и охотно продававшая им свои голоса на выборах.

Клитомах из Карфагена (Газдрубал) — ученик академика Кар-неада (около 130 г. до н. э.), один из прославленных философов Новой Академии, автор 400 сочинений.

Когорта — 1/10 легиона (400–500 воинов) или самостоятельный отряд в 1000 человек.

Колоны* — земледельцы и свободные арендаторы земли, вносившие деньги или продукты за пользование землей. Комиции — народное собрание.

Комиции куриатные — патрицианское собрание, состоявшее из 30 курий. В республиканское время они почти утратили свое значение.

Комиции трибутные — собрание граждан, на котором голосование производилось по трибам. Каждая из 35 триб считалась за один голос. Эти собрания посещали патриции и плебеи; здесь избирались квесторы, морские дуумвиры и триумвиры по отведению колоний и обсуждались законы.

Комиции центуриатные — народное собрание, учрежденное, по преданию, шестым римским царем Сервием Туллием. Оно состояло из патрициев и плебеев, распределенных по цензу. Прежде чем подавать голос по предложенному вопросу, лица, принадлежавшие к одной и той же центурии, совещались вместе. Мнение центурии представляло собою один голос. Число голосов в народном собрании равнялось количеству центурий. Но так как большинство центурий принадлежало к первому классу (самые крупные землевладельцы), то этот класс имел перевес над всеми остальными; следовательно, первый класс, состоявший из нобилей, имел в

центуриатных комициях решающее большинство. Однако допуск плебеев в народное собрание являлся доказательством, что плебеи — римские граждане.

Компиталии (лат. компит — перекресток) — праздник в честь общинных богов ларов, происходивший ежегодно в декабре.

Комплювий — отверстие в крыше, через которое дождевая вода стекала в водоем (имплювий), находившийся в атриуме.

Консул — должностное лицо, избираемое в центуриатных комициях на год и вступавшее в исполнение должности 1 января. Консулов было два. Они пользовались военной и гражданской властью. Военная власть включала следующие права: ежегодный набор войска, назначение военных трибунов и центурионов, предводительство войсками в Италии, кроме г. Рима. Им подчинялись все магистраты, кроме народных трибунов.

Консуляр — бывший консул, обладавший почетными правами в сенате. Корницен — воин, подававший сигнал к выступлению войска инструментом из зубрового рога, называемым сочпи.

Кратер (греч.) — сосуд для смешивания вина с водой.

Крез — лидийский царь, царствовавший с 560 до 546 г. до н. э. Разбитый персидским царем Киром, он был взят в плен. Известен огромным богатством, что вошло в поговорку: «Богат как Крез».

К р и с т а — украшение на шлеме из конского хвоста или гривы.

Кроталлы — ручной музыкальный инструмент, похожий на кастаньеты, деревянный или металлический, употреблявшийся при плясках.

Ксенофан (576–480 гг. до н. э.) — поэт, основатель элейской школы (идея абсолютного единства и тождества истины), пантеист, противник многобожия.

Кубикул — название спальни у римлян.

Кунктатор Фабий Максим — диктатор, ведший в Апулии партизанскую войну против Ганнибала и избежавший с ним решительного сражения. Поэтому он прозван Кунктатором (Медлитель).

К у р и я * — патрицианская триба, а также место заседания сената.

Курия Гостилия — здание, воздвигнутое, по преданию, третьим римским царем Туллом Гостилием на форуме, впоследствии ставшее местом заседания сената. Отстроено после пожара в 52 г. до н. э.

Курульное кресло (от лат. курру — колесница) — было складным и делалось из слоновой кости. Правом обладания им пользовались высшие магистраты и курульные эдилы.

Л аватрина — баня, купальня, ванная комната.

Л а р в ы (лемуры) — по верованию римлян — злые духи умерших людей, в противоположность ларам, добрым духам.

Л а р ы — домашние божества, олицетворяющие души предков, добрых людей, хранители домашнего очага, семьи и достояния. Кроме домашних ларов римляне почитали также общественных ларов, которые считались покровителями улиц, городов, государства.

Ларарий — ниша, в которой хранились лары.

Латинская дорога — военная дорога от Рима до Капуи.

Латифундия — большое поместье.

Легат—1) посол римского или иностранного государства; 2) помощник и советник полководца или наместника, назначаемый сенатом. Военный легат замещал

полководца, претора, квестора, наместника, охранял лагерь, командовал легионом.

Легион — крупная войсковая единица у римлян, состоявшая в военное время из 4200–6000 воинов и 300 всадников и разделенная на 10 когорт.

Л е к и ф (греч.) — сосуд для масла.

Лектика — носилки, паланкин, носимый, как правило, шестью рабами.

Лернейская гидра (миф.) — чудовище, жившее в болотах возле г. Лерны и наводившее ужас на окрестных жителей. Геракл (Геркулес) умертвил ее; это второй подвиг героя.

Лета — река забвения в подземном царстве Аида.

Либитина — римская богиня погребения. Ее святилище в Риме было центром, в котором сосредоточивалась вся документация о мертвых.

Либурния* — часть побережья Иллирии, населенное племенем либур-нов, известных пиратов.

Ликторы* (от лат. лигаре — связывать) — почетная свита консулов и других магистратов, обладавших империем. В общественных местах перед диктатором шагало 24 ликтора, перед консулом — 12, перед претором — 6. Ликторы несли фасции (см. ниже).

Лициний Столон — народный трибун, предложивший в 366 г. до н. э. законы в интересах плебеев: 1. Никто не мог владеть участком из общественного поля, превышающим 500 югеров. 2. Вместо военных трибунов избирались два консула, из которых один должен быть плебеем; уплаченные должниками проценты засчитывались в счет долга, а остальная часть долга подлежала оплате в течение трех лет.

Локоть — римская мера длины около 45 см.

Л о р и к а — чешуйчатый панцирь.

Лузитанцы — древнее племя, оказывавшее наиболее упорное сопротивление римлянам. Лузитания соответствовала территории современной Португалии.

Луцина* — древнеримская богиня рождения, соответствующая греческой Илифии. Юнона почиталась с эпитетом Юнона Луцина.

Магистрат* — должностное лицо в Риме. Совокупность магистратов — магистратура. Особенность римской магистратуры — выборность должностных лиц на год (кроме цензора, избиравшегося на пять лет), коллегиальность, ответственность перед избирателями после окончания службы.

Манипул — 1/30 часть легиона, состоящая из 120 и более воинов. Марс* — первоначально бог растительности у многих народов Италии, затем — бог войны.

Массинисса (238–149 гг. до н. э.) — выдающийся правитель Нумидии. Массива — претендент на нумидийский престол, сын Гулуссы. Убит Югуртой.

М а т р о н а — почтенная замужняя женщина у римлян. Матрона носила столу.

Матроналии* — праздник матрон, отмечаемый в календы марта в храме Юноны Люцины на Эсквиллине. Жены получали от мужей в этот день дары.

«Медея» — трагедия Еврипида, главный персонаж которой Медея, кол-хидянка, внучка Гелиоса, помогшая аргонавтам добыть золотое руно.

Меди ми (аттический) — мера емкости в 6 модиев или 52,5 литра.

Мелисс*, с о-ва Самос (V в. до н. э.) — последний представитель элейской философской школы, ученик Парменида. Критикуя пифагорейцев, Гераклита, Эмпедокла, видел мир единым, неподвижным, нерасчлененным. Видный государственный и политический деятель, противник Перикла.

Мелос — самый юго-западный из Кикладских островов (Эгейское море).

Менада — спутница Диониса, участница вакханалий, вакханка.

Менандр* (342–291 гг. до н. э.) — афинский драматург, важнейший представитель т. н. новой комедии, отказавшейся от политических сюжетов, свойственных комедиям Аристофана, и поставившей в центр повседневную жизнь людей из разных слоев общества. В немногих дошедших комедиях Менандра преобладают темы любви, брака.

Менелай — легендарный царь Спарты, супруг похищенной Парисом Елены.

Ментор — друг и земляк Одиссея, воспитатель его сына Телемаха. Имя Ментора стало синонимом мудрого наставника.

Метампсихоз — переселение душ, признаваемое Пифагором и Платоном.

Миля р и м с к а я * — равнялась 1480 м. Расстояния от золотой мили в центре Рима по дорогам отмечались миловыми столбами.

Мим, мима (греч.) — актеры, актрисы, разыгрывавшие сцены, подражавшие бытовым ситуациям, часто неприличного содержания.

Мина — греческая денежная единица, $\frac{1}{60}$ таланта серебра.

Минерва* — у этрусков и римлян богиня, входившая в capitoлийскую троицу богов, покровительница мастерства и ремесел. Была отождествлена с Афиной.

Минотавр — сын Пасифаи, критской царицы, и быка, чудовище с головой быка и туловищем человека.

Митра — восточный головной убор. У греков и римлян митрой также называли неширокую женскую головную повязку.

Миципса* — старший сын *и наследник Массиниссы, которому последний передал царскую власть. Однако Сципион Эмилиан, чтобы ослабить Нумидию, сделал царями Миципсу и его брата.

Музы* — дочери Зевса и богини Воспоминания (Мнемосины). Девять сестер Муз, родившихся в Пиэрии, носили имя «олимпийских». Их имена: Каллиопа, Мельпомена, Эвтерпа, Эрато, Талия, Полигимния, Уралия, Клио, Терпсихора.

Мунихий — гавань Афин, военный порт.

Муниципий — завоеванный город, жители которого получили право гражданства, они имели свой сенат, народное собрание, выборных должностных лиц и казну, находившуюся в ведении квестора.

На бис* (207–192 г. до н. э.) — тиран Спарты, продолживший начатую Агисом и Клеоменом политику социально-политических реформ, предоставил периэкам и илотам гражданские права. Рим организовал против Набиса коалицию греческих государств.

Н а в а р х (греч.) — начальник флота.

Народный трибун — см. Трибун.

Немесида (греч.) — дочь Ночи, богиня Возмездия. Широко почиталась римлянами.

Нептун* — одно из древнейших римских божеств, первоначально связанное с пресными водами. Впоследствии был отождествлен с греческим Посейдоном и стал рассматриваться как бог морей.

Никомед II Эпифан — царь Вифинии, умерший в 91 г. до н. э.

Никомед IV Ф и л о п а т о р * — царь Вифинии, поддерживавший в Митридатских войнах сторону Рима, друг юного Цезаря, незадолго до смерти передал свое царство Риму по завещанию.

Нимфы (миф.) — по верованию древних греков, второстепенные божества,

олицетворявшие силы природы, населявшие рощи, ущелья и источники; они изображались в виде девушек.

Ниоба (миф.) — жена фиванского царя Амфиона; имея шесть сыновей и шесть дочерей, она возгордилась и вздумала сравниться с Латоной, у которой было двое детей: Феб-Аполлон и Артемида. Раздраженная Латона обратилась к своим детям, которые стрелами поразили детей Ниобы. Ниоба с горя превратилась в камень.

Нобили — знатные лица плебейского и патрицианского происхождения, предки которых занимали курульную должность (диктатура, консулат, цензура, претура и эдилат).

Н у м м — монета, деньги.

Обол — мелкая греческая монета весом в шестую часть драхмы.

Одеон — здание, впервые построенное Периклом в Афинах, с остроконечной крышей, похожей на шатер Ксеркса. В нем происходили музыкальные состязания, выступали поэты, философы и др.

Один — верховный бог древних германцев.

Олигархия — форма государственного устройства, в котором власть принадлежит нескольким лицам, стоящим во главе государства и бесконтрольно управляющим им. Поддерживая всецело свое сословие, олигархи способствовали политическим и экономическим выгодам его.

Олимпия — священное место, находившееся в Элиде, с величественным храмом олимпийского Зевса и других богов, с рощами, гимнасием и т. д.

О п с — римская богиня плодородия, жатвы, посевов, жена Сатурна.

Оптиматы (лат.) — наилучшие. Так называли себя консервативно мыслящие римляне, противники демократических реформ в Риме.

О с т а р а — богиня весны у древних германцев. Из весенних цветов ей была посвящена маргаритка.

Охлократия — господство городских низов.

Пакувий Марк (220–130 гг. до н. э.) — живописец и поэт из Брунди-зия, ученик Энния, автор трагедий, в которых подражал Софоклу и Эврипиду.

Палатин — один из семи холмов Рима, на котором возник древний Рим. В императорскую эпоху на Палатине находились дворцы, отсюда русское слово — палата.

Палестра (от греч. пале — борьба) — специальное место для обучения борьбе, школа физического воспитания.

Палилия — сельский пастушеский праздник, справляемый 21-го апреля, в день основания Рима.

П а л л а — верхняя выходная женская одежда до пят, одевавшаяся поверх столы.

П а л л а д и у м — амулет Афины Паллады, обладание которым, по верованию древних, приносило счастье, могущество, славу.

Панеций (180–110 гг. до н. э.) — стоик, живший со 144 г. до н. э. в Риме и бывший другом Сципиона Эмилиана.

Папирус — письменный материал, вырабатываемый из растущего в Египте волокнистого растения семейства осоковых.

Парис — сын троянского царя Приама, похитивший Елену, жену Мене-лая.

Парменид (VI век до н. э.) — греческий философ, развивший учение Ксенофана в догматической форме.

Патриции — аристократы, потомственные граждане, родовая знать, в

противоположность плебейм, простым гражданам; они занимали некоторые государственные должности, не доступные плебейм.

П а т р ы — один из 12 ахейских городов, пристань.

Патрон (лат.) — покровитель, правозащитник, адвокат, патриций в отношении своего клиента, господин в отношении своего вольноотпущенника.

Пафлагония — область, находившаяся на южном побережье Понта к востоку от Вифинии, после победы Рима над Митридатом VI Евпатором. Пафлагония вошла в римские провинции Понт и Вифинию.

Пенаты (лат.) — боги домашнего очага, хранители семьи, общества и государства.

Пенелопа (миф.) — верная супруга Одиссея, мать Телемаха.

Пенины* — правильное Альпы.

Пенины, перевал, ныне Сен-Бернарский.

Пени Ю н и й — народный трибун (126 г. до н. э.), сторонник сената, предложивший высылку из столицы всех неграждан.

П е н у л а — широкий дорожный плащ с капюшоном.

П е п л о с — верхняя выходная одежда гречанок, которой в Риме соответствовала палла.

Пергамент (правильнее «пергамен») — тонко выработанная телячья кожа, применявшаяся в древности наряду с папирусом, как материал для письма. Получил название по месту изготовления — Пергаму, где над изготовлением пергамена работали сотни ремесленников.

П е р и к л (род. между 500–490 г. до н. э., умер в 429 г.) — государственный деятель, вождь демократов. С его именем связано представление о расцвете наук и искусств в Афинах («Золотой век»).

Перистиль — часть греческого, а затем римского дома, окруженная колоннадой.

Персей (212–146 гг. до н. э.) — последний царь Македонии. В 168 г. разбит Павлом Эмилием при Пидне. Умер в плену. **Песен н унт*** — город в Малой Азии, центр культа богини Кибелы.

П и л е й * — войлочная круглая шляпа, которую носили рабы, отпускаемые на свободу.

Пирр (318–272 гг. до н. э.) — эпирский царь, высадившийся в 280 г. до н. э. с войском в Италии как союзник греческого города Тарента, и на протяжении ряда лет успешно воевавший в Риме.

Писистрат (600–527 гг. до н. э.) — афинский тиран, родственник законодателя Солона, вождь демократов. **Питанея** — портовой город на Эолийском берег/ Мизии.

Питтак (650–570 гг. до н. э.) — правитель Митилен (Лемнос), один из семи мудрецов древности.

Пифагор (582–507 гг. до н. э.) — греческий философ, ученик Анаксимандра. Учил о переселении душ (метемпсихоз), о философии чисел, о гармонии сфер и т. д. Об его учении говорят Платон, Аристотель и Филолай.

П и ф е й — греческий путешественник, астроном и географ; посетил в 330 г до н. э. берега западной и северной Европы и германский север. **Полента** — ячменная каша.

Полигнот — знаменитый греческий живописец (около 475–447 гг. до н. э.), расписавший в Афинах Пестрый портик картиной на сюжет Троянской войны.

Пол и фе м — знаменитый киклоп, сын Посейдона (см. «Одиссею»).

Понтийское царство, или **Понт** — образовалось на берегах Понта Эвксинского в

начале III века до н. э., при разложении империи Александра Македонского; оно объединилось под властью Митридатов, эллинизированной персидской семьи.

Понт Эвксинский — название в древности Черного моря.

Понтифик — жрец, состоявший в жреческой коллегии, которому были поручены надзор и управление всем религиозным бытом, общественным и частным богослужением.

Популяры — обозначение в Риме сторонников демократических преобразований, наделения плебеев землей, освобождения их от долгов и усиления влияния всаднического сословия.

Портик — крытая галерея с колоннами.

Порфир (греч. — пурпуровый) — вулканическая горная порода.

Пракситель — знаменитый греческий скульптор. Известна его Афродита Книдская, моделью для которой послужила гетера Фрина.

Претор — высший магистрат, ведавший охраной внутреннего порядка и права, исполнявший обязанности судьи, устраивавший игры в цирке, а также в честь Аполлона и Кибелы. Назначенный управлять провинцией после годичного срока службы, он назывался пропретором.

Преторий — штаб воинского лагеря с палаткой полководца. Перед преторием была площадь (принципий), где хранились знамена легионов, стояли жертвенник, ростры, с которых полководец говорил с воинами.

Префект конницы — начальник конницы.

Префект морской — начальник флота, нередко один из консулов или же претор, если оба консула командовали сухопутными войсками.

П р и а п — в античной мифологии фаллическое божество плодovitости и продолжения рода.

Примипил — центурион первого манипула триариев, старший центурион легиона, обладавший правом заседать в военном совете. Ему доверялась легионная святыня — изображение орла.

Принцип — тяжеловооруженный воин, занимавший место во втором ряду, между гастатами и триариями.

Провинция* — этот политический и административный термин Рима имеет иное значение, чем то же слово у нас. Первоначально, провинция это то, что надо завоевать. Если Цезарю назначали провинцией Галлию, ему следовало ею овладеть. Впоследствии под провинцией понимали завоеванную территорию, «добычу римского народа», управляемую римскими магистратами после окончания их службы в Риме.

Проконсул, пропретор — магистраты, получившие от сената назначение управлять провинциями по истечении срока службы, консулата, претуры.

Прометей* — в греческой мифологии — сын титана Иапета и океаниды Климены. Имя «Прометей» означает «предвидящий». Увидев, что все животные вооружены и одеты, а люди наги и лишены естественного оружия, Прометей крадет у богов для людей огонь, обучает их строить дома и корабли, носить одежды. За кражу огня Прометей был прикован к скале Кавказа и обречен на страшные муки — орел каждый день выклевывал ему печень, которая за ночь отрастала.

Пропилеи* (греч.) — монументальные ворота, вход на акрополь, в священные ворота храма.

Проскрипты* — римские граждане, объявленные вне закона. Их имущество конфисковывалось и продавалось с торгов, земли раздавались ветеранам, рабы

отпускались на свободу.

Проскрипции* — публичное объявление неплатежеспособности должников, а также лиц, объявленных без суда вне закона. Первую проскрипцию политического характера объявил в 82 г до н. э. Сулла, якобы для борьбы с «врагами отечества».

Простас — зала в греческом доме.

Птолемей Лафур* (117—80 гг. до н. э.) — царь Египта.

Пу блик а ны — откупщики налогов, портовых сборов, строительных работ в Риме и в провинциях. Откупы сдавались цензорами в Риме на конкурсной основе.

Пунические войны (264—146 гг до н. э., с перерывами). Первая Пуническая война между Римом и Карфагеном за Сицилию окончилась победой римлян, захватом этого острова и получением контрибуции в сумме 3200 талантов серебром. Вторая Пуническая война носила наиболее упорный характер. Карфагенский полководец Ганнибал вторгся в Италию и нанес римлянам ряд поражений, но в конечном счете римляне разбили Карфаген, добились отказа его от внешних владений и уплаты огромной контрибуции. Третья Пуническая война преследовала целью уничтожение уже не опасного в военном отношении торгового соперника. Карфаген был взят Сципионом Эмилианом и разрушен до основания в 146 г. до н. э.

Пуны * —искаженное римлянами название финикийцев, употреблявшееся применительно к карфагенянам, финикийским колонистам в Африке.

Регул Атилий М а р к — римский консул, воевавший с карфагенянами в Африке в 256 г. до н. э. Разбитый и взятый в плен, он был отпущен в Рим для мирных переговоров. Убедив римлян не заключать мира, он сдержал слово — вернулся в Карфаген и был замучен. Слово «регул» употреблялось как синоним верности данному обещанию.

Риторика (греч.) — искусство красноречия.

Родан — древнее название реки Роны, в Галлии.

Рому л — легендарный основатель Рима и первый его царь, сын Марса и Реи Сильвии. Был вознесен на небо под именем Квирина.

Р о с т р ы — ораторские подмостки на форуме Рима, украшенные металлическими таранами вражеских кораблей, крепившимися на их носу.

Рута (лат.) — горькая трава, в переносном значении «горечь».

Сабины — племя средней Италии, родственное самнитам.

Сапфо* (около 628—568 гг. до н. э.) — великая лирическая поэтесса, родом из Митилены (о. Лесбос), оставившая неподражаемые по искренности и силе чувства эротические стихотворения.

Сарматия* — в понимании римлян область от Вислы до Танаиса (Дона), населенная сарматами или подчиненная этому народу.

Сатурн (лат.) — древний римский бог посевов, отождествлявшийся с Кроном. В честь его 17–19 декабря в Риме отмечались сатурналии. С Сатурном связано представление о золотом веке, эпохе равенства, свободы.

Сейкил* — анакреонтический поэт из города Тралл.

Сейсахфия — облегчение положения должников, реформа Солона (род.

630 г. до н. э.) Секстане — мелкая римская монета, равная $\frac{1}{6}$ асса, Секстар ий — мера емкости, равная $\frac{1}{2}$ литра.

Секстий Латеран — народный трибун, коллега Лициния Столона, своими законами (378–367 гг. до н. э.) проложивший плебеям путь к консульству и сам первый консул из плебеев.

Секстиль — древнее название месяца августа у римлян.

СелевкидыTM династия царей в Сирии с 301 г. до н. э.

Селинунт* — греческий город на западном побережье Сицилии (с VIII в. до н. э.).

Семирамида — легендарная царица, образ которой имел прототипом ассирийскую царицу Шаммурамат (начало IX в. до н. э., завоевательница Египта и Эфиопии. Ей приписывались чудесные подвиги, похождения и сооружение висячих садов, одного из семи чудес света.

Сенат* — в древности совет старейшин в Риме, впоследствии высшее государственное учреждение, состоявшее в конце республики из магистратов, бывших и исполняющих обязанности, как патрицианского, так и плебейского происхождения, называвшихся сенаторами. Сулла довел число сенаторов до 600, Цезарь — до 1000. Сенат не имел постоянной резиденции. Его заседания всегда происходили при закрытых дверях.

Сенатусконсульт* — совет, рекомендация сената в ответ на вопрос председательствующего магистрата.

Сер вий Туллий* — шестой римский царь (578–534 гг. до н. э.), установивший новое разделение гражданства на основании имущества, без учета их принадлежности к патрициям или плебейам. Пять классов, образованных согласно имущественному цензу, имели каждый определенное количество центурий — военных подразделений и единиц для голосования в центуриатных комициях.

Сестерций — римская серебряная монета достоинством в 2,5 асса.

С и к л ь (шекель) — на Ближнем Востоке сначала весовая единица, затем монета.

Сикулы* — древнейшие обитатели острова, давшие ему имя Сицилия. Сикульское море — часть Ионического моря, окружавшая Сицилию. Силен* — в греческой мифологии, демон, сын Гермеса, воспитатель и наставник Диониса. Сильван — италийское божество леса.

С и м п о с и а р х — руководитель пирушки, определявший состав смеси вина.

Синедрион* — совет жрецов и знати в Иерусалиме. Сирены — музы смерти, завлекавшие своим пением мореплавателей в аид.

Систр — египетский музыкальный инструмент.

С к о п а с — знаменитый греческий скульптор IV века до н. э. С к р и б а — писец, писарь, секретарь, переписчик.

Соз Пергамский — знаменитый художник, изобразивший всю «Илиаду» на полу великолепного корабля царя Гиерона II Сиракузского (III век до н. э.). Римские копии мозаик Соза сохранились в некоторых музеях.

Сократ — великий афинский мудрец (470–399 гг. до н. э.), один из родоначальников диалектики, ставившей целью нахождение истины посредством бесед с правильной постановкой вопросов и нахождения на них логически безупречных ответов. Был казнен по обвинению за введение Новых богов и разложение молодежи.

С о л о н — афинский законодатель (VII–VI вв. до н. э.). В 594 г. он провел ряд мер, которыми облегчил положение должников (они известны под названием «Сейсахфия», т. е. «сотрясения бремени»), разделил граждан на четыре класса не по знатности, а по имущественному цензу.

Софисты (греч.) — «учителя мудрости», странствующие философы и ораторы, проповедовавшие относительность всякого теоретического и нравственного знания. Играя словами и применяя словесные ухищрения, софисты осмеивали все

непреложные истины, развивали неуважение к устаревшим обычаям, к религии предков.

Союзники — покоренные Римом племена; сохранив свое самостоятельное управление, они приняли римскую монету, не имели права заключать договоры с другими народностями и были подчинены Риму в военном отношении. Большинство союзников не пользовались правами римского гражданства; полным правом пользовались лишь ближайšie к Риму племена. Союзники должны были поставлять воинов во вспомогательные войска.

Стамнос — сосуд, кувшин.

С т а д и й — мера длины, равная 177,6 м. От слова «стадий» произошло слово «стадион».

Стиль — палочка из слоновой кости или металлическая с заостренным концом, которой греки и римляне писали на навощенной дощечке. Другим концом стилия, имевшим форму лопатки, стирали написанное. Отсюда поговорка: «Почаще оборачивай стиль».

С т о и к и — последователи философа Зенона, жившего в Афинах в конце IV в. до н. э. Стоики проповедовали добродетель и равенство, учили твердо переносить все невзгоды и страдания, ограничивать свои потребности и смотреть на жизнь, как на служение известному долгу. Они считали высшим благом разум.

Стола — одежда знатных матрон, надеваемая поверх туники.

Стоя — крытая колоннада внутри и вне храма, вокруг дома, гимнасия, рынка. С одной стороны стой находилась стена, а с другой — ряд колонн.

Стратег — главнокомандующий войсками и заведующий внешними делами государства.

Таберна — дощатая хижина, лавка, харчевня, цирюльня в Риме. От та-берны — общеевропейское «таверна».

Таблин — комната, расположенная между атриумом и перистилем; вначале она была столовой, а потом деловой комнатой хозяина дома.

Талант — наиболее крупная весовая и денежно-весовая единица у греков (около 26 кг).

Тарпейская скала — южная часть вершины Капитолийского холма, с которой сбрасывали преступников в пропасть.

Тартар (греч.) — глубочайшие недра земли, удаленные от ее поверхности настолько же, насколько земля удалена от неба, он окружен тройной железной стеной и тройным слоем мрака. В нем были заключены Крон и побежденные Титаны под охраной сторуких великанов.

Тезей* (Тесей) — в греческой мифологии сын афинского царя Эгея, освободивший Афины от позорной дани царю Крита Миносу юношами и девушками, предназначенными на съедение Минотаврy. Мифы приписывают Тезею объединение Аттики в одно государство, разделение афинян на три класса и установление ряда празднеств.

Т е л л у с — древнеиталийское божество Земли. Отождествлялась с греч. Геей и с Церерой.

Теренций Публий (185–159 гг. до н. э.) — карфагенский раб, принявший имя господина Теренция и отпущенный им на свободу, великий латинский поэт, один из творцов комедии.

Тессера* (лат.) — дощечка, табличка с боевым приказом, паролем, входной билет,

пропуск для голосования на комициях.

Тиара* — головная повязка, тюрбан, на Востоке знак царского достоинства.

Титон* (греч.) — сын троянского царя Лаомедонта, возлюбленный богини зари Эос, которая унесла его на край земли. Получив по просьбе Эос бессмертие, он не сохранил вечной молодости. Эос его разлюбила. Он был превращен в сверчка.

Тога — выходная белая одежда римских граждан.

Тор — бог войны у древних германцев.

Торкват Манлий, Тит* — римский консул IV в. до н. э., образец римской доблести, приговорил за нарушение дисциплины сына к казни.

Травертин — разновидность известняка.

Трахитовый — неровный, шероховатый.

Триарии — старые, испытанные воины легиона, находившиеся в последнем ряду и в тяжелой ситуации решавшие исход боя.

Трибада* (греч.) — женщина, предающаяся противоестественному разврату.

Трибун военный — командир 1/6 части легиона. В легионе было шесть военных трибунов. Их командование было разделено таким образом, что в течение двух месяцев двое из них ежедневно чередовались, следовательно, каждому из них приходилось исполнять службу по два раза в год в продолжение двух месяцев.

Трибун народный — должностное лицо, защитник плебеев, выбиравшийся из их среды. Эта должность учреждена с 494 г. до н. э. по настоянию плебса. Народный трибун имел право отменять решения нобилей, невыгодные для плебеев, налагая на закон «вето». Личность трибуна была священна и неприкосновенна. Оскорбление его считалось преступлением против богов. Трибун созывал плебеев в трибутные комиции, куда они сходились для обсуждения своих нужд. Т р и б ы * — территориальный и избирательный округ, имевший в трибутных комициях один голос. Первоначально их было 35. Во время Союзнической войны было образовано 10 новых триб для новых граждан, оказавшихся, таким образом, в меньшинстве, несмотря на их огромное количество.

Трирема (лат.) — римское военное судно с тремя рядами весел.

Триумвиры — три выборных лица, облеченные властью.

Триумф — торжественный въезд победоносного полководца в столицу с войсками и добычей, захваченной у неприятеля. Тубицен — трубач.

Туллианум — подземелье в Мамертинской тюрьме; первоначально там находился колодец.

Туника — римская нательная одежда с короткими рукавами.

Т у р м а — десятая часть конного полка, состоящая из 33 человек. Унция — мелкая медная римская монета, равная 1/2 асса. Фавн (миф.) — бог стад и пастбищ. Подобно Сильвану, лесному богу, он живет в чащах, предсказывает будущее, преследует нимф, а также и женщин своей любовью.

Ф а л е с (624–545 г. до н. э.) — греческий философ, основатель Милетской школы. Он считал началом всего сущего — воду. Фасции — символ власти римских царей, консулов, цензоров: связанный красным ремнем пучок березовых или вязовых прутьев с воткнутой в него (за городской чертой Рима) секирой, орудием наказания, казни и устрашения.

Фатум — судьба, рок, а также роковой исход, неотвратимое несчастье. Ф е р и и — праздничные дни.

Ф и б у л а — застежка, скреплявшая края одежды.

Фидий — великий греческий художник-скульптор, друг Перикла, один из творцов Парфенона и создатель статуи Зевса.

Филиппики — речи знаменитого греческого оратора Демосфена против македонского царя Филиппа.

Филолай — ученик Пифагора, современник Сократа и Демокрита. Он первый записал и издал учение Пифагора о природе.

Филон* — ученик Клитобаха, во время Митридатовой войны бежал в Рим, где пользовался огромным влиянием. Его ученик — Цицерон.

Фламиний Тит Квинций — консул, воевавший с Филиппом V Македонским. В 189 г. до н. э. стал цензором.

Фламиния ц и р к — цирк, сооруженный цензором Гаем Фламинием близ храма Беллоны, у западного склона Капитолия.

Фортуна — богиня судьбы.

Фриз — часть верхней колонны между архитравом (антаблемент, лежащий на колоннах) и карнизом.

Фукидид* (464–395 гг. до н. э.) — великий греческий историк, автор истории Пелопоннеской войны, участником которой он был.

Фуле — баснословный остров крайнего Севера, описанный греческим путешественником Пифеем, возможно, Исландия или Норвегия.

Ф у р и и * — греческая колония, основанная в 444 г. до н. э. по инициативе Перикла. В римское время — незначительный город.

Фурии* (лат. неистовые) — в римской мифологии богини мести и угрызений совести, параллель греческим Эринниям.

Халдеи* — древняя народность Месопотамии, имя которой стало в Греции и Риме означать «маг», «прорицатель».

Х и р о н (миф.) — мудрый и справедливый кентавр.

Хитон* — нижняя одежда греков, кусок ткани с отверстиями для рук. Хитоны для рабов, слуг, ремесленников и воинов имели только одно отверстие для левой руки, а правое плечо оставалось обнаженным.

Хламида* — плащ, скрепленный на шее пряжкой и свободно падавший на спину. У греков применялся на войне, на охоте и в дороге.

Цензор — один из двух высших магистратов, управлявших государственным имуществом, составлявших ценз, следивших за нравами.

Центурион* (лат. сотник) — в древности начальник центурии, позднее младший командир в войске, следивший за выполнением воинами распоряжений военных трибунов и легатов. Он командовал манипулой, состоявшей из двух центурий.

Церера* — древнейшая италийская и римская богиня сил земли, произрастания и созревания злаков, а также подземного мира. Считалась вместе с Либером и Либерой плебейским божеством и почиталась в храме, расположенном в долине между Палатином и Авентином.

П и н ц и н н а т — полупоупендарный политический деятель, образец римской доблести. Избранный диктатором и прямо после пахоты отправившийся на войну, он, победив, вернулся к прерванному сельскому труду.

Циста* (лат.) — сундук, ларец.

Э в до. кс из Книда (408–355 гг. до н. э.) — греческий астроном, математик, географ и врач, впервые привел математические доказательства шарообразности земли и ввел деление ее на поясы. Он придумал способ примирения лунного года с солнечным,

определил окружность Земли в 74 тыс. км (в переводе на наше измерение в 40 тыс. км).

Э в р и п * — узкий пролив, отделяющий Беотию (Средняя Греция) от о. Эвбея.

Эгерия* — женское божество роци Дианы в Ариции, согласно легенде, переселившееся в Рим и ставшее советчицей (или супругой) легендарного основателя римской религии Нумы Помпилия.

Эдилитет — вторая плебейская должность, учрежденная одновременно с народным трибуналом.

Эдилы* — первоначально хранители храмов плебейских божеств, впоследствии — помощники народных трибунов, ведавшие городской стражей, наблюдавшие за общественным порядком, за состоянием общественных и частных зданий, устраивавшие общественные игры, главным образом за свой счет.

Электр* — янтарь.

Эмпедокл* (500–440 гг. до н. э.) — знаменитый греческий врач и философ-материалист, большую часть жизни проживший в сицилийском городе Акраганте, где участвовал в демократическом движении. В своем сочинении «О природе» он учит, что «корнями всего существующего являются земля, вода, воздух и огонь, а движущими силами: любовь — сила притяжения и ненависть — сила отталкивания».

Эней* — легендарный троянский герой, сын Афродиты, переселившийся в Италию вместе с уцелевшими дарданами и поселившийся в Лации, где его потомки основали Рим. Римский род Юлиев вел происхождение от сына Энея Юла (Аскания). Странствиям Энея и его войнам в Италии посвящена поэма Вергилия «Энеида».

Энний Квинт* (239–169 гг. до н. э.) — италик по происхождению, хорошо знавший греческий язык и познакомивший римлян с греческой литературой, написал большое количество комедий и трагедий на латыни, а также большую историческую поэму «Анналы».

Эол* — повелитель ветров, правитель острова Эолия, где нашел приют Одиссей во время своих странствий по западным морям. Эол — также мифический родоначальник эллинского племени эолийцев.

Эос — в греческой мифологии богиня утренней зари.

Эпидавр* — город на восточном побережье Пелопоннеса, прославленный храмом Асклепия, бога медицины, куда отовсюду стекались больные. В храме находилась змея, получавшая жертвенные приношения, Отсюда символ современной медицины — змея над чашей.

Эпигон* — пергамский скульптор половины III в. до н. э. Его считают создателем скульптуры Аттала I и, видимо, скульптурных групп гала-тов, дошедших до нас в римских копиях.

Эпикур (341–270 гг. до н. э.) — греческий философ-материалист, последователь Демокрита, основатель философской школы «Сад» в Афинах, получившей широчайшее распространение в древности.

Эпистола (лат.) — письмо, послание.

Эратосфен (276–194 гг. до н. э.) — знаменитый греческий географ, математик и астроном, родом из Кирены. В Александрии он жил при дворе Птолемея Эвергета.

Эргастул — рабочий и смиренный дом для рабов.

Э р е б — тьма, подземное царство тьмы.

Э р е м б ы — название народа, жившего вблизи сидонийцев, вероятно, — арабы.

Эриннии, или Эвмениды (рим. фурии) — богини мести, преследовавшие преступника; особенно они мстили за убийство матери, родственников.

Эскомида — хитон с разрезом для руки, обнажавший грудь.

Эскулап — искаженное римлянами имя греческого бога Асклепия, сына Аполлона и нимфы Корониды, убитого молнией Зевса за воскрешение мертвых.

Эфеб (греч.) — юноша 18 лет, проходивший военное обучение и использовавшийся в сторожевой службе. Ю г е р — мера площади, равная 0,25 га.

Юнона (у римлян), или Гера (у греков) — богиня неба, жена Юпитера, покровительница браков и рождения. Юпитер (у римлян), или Зевс (у греков) — верховное божество, отец богов.

Янус — римский бог времени, всякого начала и начинания разных дел, бог входа, ворот, дверей и проч. Он изображался двуликим и считался первым после Юпитера.